Иностранная литература
3
1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

3

Издательство «Известия»
Москва

МАРТ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Анкета «Иностранной литературы»

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД | ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ | ГАБОР ГАРАИ. ГАБРИЭЛЬ БРАЧО. РИНЧЕН МАРТИН ВИКРАМАСИНГХЕ 217
Б. ГИЛЕНСОН — «Я выбираю путь Ленина» 225
А. МАМОНОВ — Японские поэты о Ленине 233

Проза, поэзия, драматургия

БЕЛА ИЛЛЕШ. БЕЛА БАЛАЖ. МАТЭ ТИМАР. ЖОЗЕФ ЛЕНДЬЕЛ. ИШТВАН ЭРКЕНЬ. *(Рассказы)* . . . 3
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — Час 0 *(Фрагменты поэмы)* . . . 27
ЦИРИЛ КОСМАЧ — Баллада о трубе и облаке *(Окончание)* 35
ПАБЛО ПИКАССО — Десять стихотворений 63
ДЖОН ЛЕ КАРРЕ — В одном немецком городке *(Роман. Окончание. Послесловие Д. Краминова)* 69
ШЕЙХ ШАРЛЬ ТИУБ ШЕРИФ АДРАМЕ СЕК ФРАНСИС-КЛОД ЗОБЕЛЬ. *(Стихи)* 147
ДЖЕЙМС АЛАН МАКФЕРСОН — Золотой берег *(Рассказ)* 149
РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ — Скрипка времени *(Стихи)* . . 161
ФЕЛИКС ДЕ ГУАРАНИА — Ритмы Парагвая *(Стихи)* . 165

Литературное наследие

РОБЕРТ МУЗИЛЬ. Тонка *(Повесть)* 169

Критика

БЕЛА КЕПЕЦИ — В атмосфере споров и исканий (Заметки о венгерской литературе последнего десятилетия) 196

А. ЗВЕРЕВ — «К хаосу или к сообществу?» («Негритянская революция» и современная литература США) 202

Очерки

ИОЖЕФ ДАРВАШ — Рождение книги 238

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Э. Араб-оглы — Панацея или бедствие? Т. Проскурникова — Французская культура в американском зеркале 241

Изобразительное искусство за рубежом

Вьетнамский плакат (Вклейка)

Наши гости

Л. ЛИХАЧЕВА — Главная тема — судьба родины (Василис Василикос в редакции «Иностранной литературы») 249

Среди книг

Издано в СССР

Ю. Суровцев — Доброе знакомство. ◇ В. Кардин — Время горя и надежды. ◇ Евгений Долматовский — Говорит Африка. ◇ М. Харитонов — Нарушенный покой . 253

Издано за рубежом

Е. Бочарникова — Поэзия, материнство, революция. ◇ Г. Ратгауз — Поэт Эрих Арендт. ◇ Н. Никулин — Дебют вьетнамского драматурга ◇ Е. Книпович — Новый роман Гюнтера Грасса. ◇ Т. Балашова — Рвется нить Ариадны 260

На всех языках

Премия имени Бехера — советским переводчикам 271

Из месяца в месяц (Хроника) 272

Авторы этого номера 287

■

На обложке: плакат вьетнамского художника Зианг То.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЫ

БЕЛА ИЛЛЕШ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

1

то случилось добрых полстолетия назад... На празднике, посвященном окончанию учебного года, я не получил в награду книгу и был очень огорчен: ведь я так старался, так мечтал и так, по-моему, заслужил эту награду. Мама пыталась утешить меня добрым советом. Она сказала, что в жизни ничто никогда не сбывается полностью, как хочешь, как надеешься. Всегда получаешь немного меньше или немного хуже того, что заслуживаешь.

— Тот, кто может с этим примириться,— счастливый человек, сынок.

Печальное утешение для бедных и слабых страшно возмутило меня. Я никогда не забывал эту грустную мудрость отречения и примирения и никогда не смирялся с тем, что отречение и примирение — вечный закон жизни. Было бы неправдой утверждать, будто вся моя жизнь была бунтом против него, но часто, когда я чего-то желал (большего, нежели нечто повседневное), мне вспоминалось сие правило, и я всегда решался воспротивиться ему.

Сейчас я расскажу одну историю, в которой все удалось именно так, как я хотел. Даже лучше и прекраснее, чем мог надеяться самый большой оптимист.

Чтобы все стало понятным с самого начала, должен сказать, что четверть века я жил вдали от Венгрии. По политическим причинам. После падения Венгерской советской республики в 1919 году меня разыскивали за убийство. Кого я убил, где и когда, власти, издавшие приказ о моем аресте, знали столь же мало, сколь и я, зато я точно так же, как и власти, разыскивавшие меня, знал, что если меня схватят, то повесят. Не потому, что я убийца, а потому, что сражался против убийц, потому, что я коммунист.

Четверть века я жил за границей, но никогда ни на одно мгновение не отказывался от мысли вернуться в Венгрию, в Будапешт. Четверть века мне мало что было известно о моей матери, и она не часто слышала обо мне. Во время второй мировой войны я даже не знал, жива ли она. Тоска по родине, проявляющаяся иногда в странных настроениях, непривычной сентиментальности, внезапно возникающих давно забытых воспоминаниях, иной раз мучительная, словно физическая боль, все сильнее сливалась с тоской по матери. Во время войны (в которой я прини-

мал участие, будучи солдатом Советской Армии) не раз на полях сражений, когда гремели пушки, сквозь громовые раскаты мне слышался тихий голос матери:

— Береги себя, сынок.

И когда я бывал в дозоре в темном лесу, в ночи, что темнее темного, шепот деревьев звучал для меня голосом карпатских лесов, а иногда чудилось, будто дубы Яноша Араня обращаются ко мне на милом венгерском языке, и, шагая по тычихинскому лесу, я представлял себе, будто нахожусь на Маргитсигете *.

Я не стыжусь признаться в подобных «глупостях» и не жалею, что столько глупостей окрасило мою жизнь, которая, впрочем, и без этого не была гладкой и однообразной.

2

В начале января 1945 года (через двадцать пять лет после того, как я покинул Венгрию) я находился в Кишпеште. Поздно вечером восьмого или девятого января я получил приказ с двумя дюжинами солдат добраться на машинах до Будапешта (где шли жестокие уличные бои), найти улицу Микша, на ней типографию «Атенеум», очистить помещение типографии от немцев и нилашистов и обеспечить охрану здания и станков. Ночь (из-за сильного артиллерийского обстрела я не мог перейти через площадь Барошш) я провел на кладбище Керепеши в мавзолее Ференца Деака. На рассвете советская артиллерия заставила замолчать немецкие батареи, стрелявшие по Восточному вокзалу и площади Барошш, и мне удалось попасть на улицу Роттенбиллер, а оттуда через улицу Дохань на улицу Микша. Примерно к одиннадцати утра мы заняли здание типографии «Атенеум». Выполнив приказ, мы очистили «Нью-Йорк палас» и вернулись в Кишпешт за новыми распоряжениями. Из Кишпешта свежие полки направлялись в Будапешт, и мне удалось получить разрешение присоединиться к украинскому полку. Со мной пошли два украинских писателя: Первомайский, переводчик Петефи на украинский язык, и один из крупнейших украинских романистов Иван Ле. Командование находившегося в Кишпеште гарнизона разрешило нам троим с двенадцатью солдатами, назначенными для нашей охраны, прочесать город, чтобы отыскать мою мать. Как обычно полагается в таких случаях, нам внушили, чтобы мы были осторожны. Итак, мы двинулись в путь. До кафе Эмке на углу проспекта Ракоци и Кёрута мы шли с полком, а там отделились, взяв два грузовика.

Сначала наша маленькая группа отправилась на площадь Изабеллы. В 1919 году здесь жили мои родители. Дворник нашего старого дома по записям в домовых книгах установил, что мои родители уже добрых пятнадцать лет как переселились отсюда. Он даже сказал куда. На улицу Роттенбиллер. Пока я беседовал с дворником, вокруг нас собралось с десяток бледных ребятишек. Первомайский и Иван Ле резали для них тонкими ломтями две буханки солдатского хлеба.

На улице Роттенбиллер я раздобыл новый адрес, а с ним и новое объяснение. Весь день мы ходили из дома в дом, получая все новые и новые адреса, которые один за другим оказывались ошибочными. Приходилось начинать поиски сызнова. Несколько дней спустя я наконец узнал, что мои мать и сестра, если они живы, должны находиться в подвале дома на улице Пожони. Но в то время там еще были немцы.

Мы вернулись в Кишпешт, но через день с двенадцатью провожатыми и двумя мешками хлеба снова были в Будапеште. Теперь нам уда-

* Любимое будапештцами место отдыха, островок на Дунае.

лось дойти до Западного вокзала, но дальше пути не было. Мы раздали два мешка хлеба детям и женщинам и вновь возвратились в Кишпешт. Два дня спустя добрались уже до театра «Вигсинхаз», где совершенно неожиданно попали в многочасовой уличный бой. Насколько мне известно, это было последнее сражение в Пеште. На другой день в пять часов утра вместе с Первомайским, капитаном Матюшевским, двенадцатью красноармейцами и двумя мешками хлеба мы остановились у дома на улице Пожони, в подвале которого могла находиться моя мать.

Подъезд был закрыт. Мы принялись дубасить в дверь. Долго никто не появлялся. И только когда мы стали бить по дверям ружейными прикладами, послышался наконец голос:

— Убирайтесь отсюда, не то полицию позову.

Я был страшно взволнован. Рука, сжимавшая автомат, дрожала. Но эта угроза разрядила напряжение. Я громко рассмеялся. Когда я перевел столь странную угрозу моим товарищам, они захохотали. Человек, стоявший за дверью, вероятно, думал, что имеет дело с сумасшедшими.

— Откройте двери, или мы взорвем их,— сказал я не громко, но с не допускавшей сомнений решительностью.

Стоявший за дверями человек поколебался еще несколько мгновений, но услышав, что я разговариваю с товарищами по-русски, отбросил задвижку.

За дверью оказался тощий, высокий, сутулый, пожилой мужчина в мятой одежде. Он дрожал. Первомайский протянул ему пачку сигарет, а я пожал ему руку. Я сказал, что ищу свою мать. Он глядел мне в лицо недоверчиво, подозрительно. И дрожал. Первомайский протянул ему флягу, а я убедил напуганного человека хлебнуть водки — очень помогает, когда страшно. Он пил, словно выполняя неприятный приказ. Отдав флягу, кистью левой руки вытер рот и глубоко вздохнул.

— Господи боже мой, чем все это кончится?

Потом он повел нас в подвал.

Это было длинное, очень холодное помещение с низким потолком. Воздух в нем был промозглым, кисловатым. Слабые огоньки нескольких свечей не освещали помещение, а скорее делали его таинственным. Люди сидели буквально друг на друге. На бетонном полу лежали дети, женщины. Кто-то стоял на коленях, кто-то сидел на корточках.

— Извольте знать,— очень несвязно объяснял наш провожатый,— извольте знать, ночью здесь снова были немцы, они кого-то искали и грозили, что...

Одна из женщин вскакивает и кричит:

— Русские! Здесь русские!

Какой-то пожилой мужчина протягивает мне руку. Другой обнимает, затем, испугавшись собственной смелости, отбегает от меня.

— Русские! Русские!

В одних возгласах радость, в других — ужас. Одни подбегают ко мне, другие пятятся от меня. Смех и плач. Затем внезапная тишина. Тишину прерывает треск будильника. Из глубины подвала до нас доносится глубокий бас:

— Добро пожаловать, русские товарищи!

Сто рук протянулись ко мне.

Сто дрожащих рук.

3

То, о чем я рассказал, значительно проще рассказать, чем сделать. Пока я искал адрес и местожительство моей матери, перед нами, рядом с нами и позади нас рвались гранаты и взрывались мины. Над нами в воздухе проносились истребители, громыхали бомбардировщики. В

узеньких переулках на грязном, покрытом копотью снегу валялись, загораживая путь, трупы людей, дохлые лошади, перевернутые грузовики, расстрелянные танки. Тут и там горели дома. В другом месте на мостовую рухнула стена.

Тогда у меня не было времени отдать себе отчет в своих мыслях и чувствах, но теперь я знаю, что во мне жила какая-то странная смесь радости и страха: я был счастлив, что снова вижу Будапешт и принимаю участие в его освобождении, но я ощущал каждую рану Будапешта, как собственную, и каждая боль моей матери-столицы отдавалась стократной болью во мне — ее наконец-то, наконец вернувшемся сыне. В то же время я ясно понимал, твердо знал: то, что кажется концом, разрушением — начало и возрождение. Я ликовал оттого, что приближаюсь к матери, и трепетал от страха, что прибуду поздно.

Когда в подвале ко мне протянулись сто рук, я все еще не знал, пришел ли вовремя. Когда я сказал, кого ищу, передо мной в толпе образовался коридор и человек десять показали: сюда, сюда!

Мать лежала на соломенном тюфяке в самом дальнем углу подвала. Под головой у нее (под маленькой головой, обрамленной серебристо-белыми волосами) — сложенная черная матерчатая юбка. Худое, почти детское тело покрывал черный крестьянский платок. Глаза были закрыты. Бледные губы сжаты. Уже несколько дней она спала. Мне сказали, что она спит, но я понял, что она в обмороке, потеряла сознание от голода. Несколько дней она ничего не ела. Теперь медленно умирает...

— Я — врач,— произнесла пожилая женщина в крестьянском платке.— Я не раз осматривала тетушку. Ее нельзя беспокоить! Она уснет тихо, без боли. Быть может, еще сегодня...

Я молча стоял у соломенного тюфяка.

Первомайский не понял слов, но понял их смысл. Он опустился на колени рядом с тюфяком. Подержал зеркальце у лица матери. Затем смочил водкой безжизненное лицо, потер виски и водкой же смочил худые, маленькие руки. Капитан Матюшевский прижал к бледным губам матери алюминиевую флягу.

— Товарищ майор,— повернулся ко мне Матюшевский,— разрешите съездить в Кишпешт за врачом.

Пока мы ждали врача, Первомайский нарезал на куски хлеб, который мы принесли с собой. Люди, получившие от Первомайского кто четверть, кто полбуханки, не верили своим глазам. С робостью они протягивали руки за хлебом. И только когда отходили подальше и полученный хлеб не таял в руках, они радостно и громко кричали:

— Хлеб! Хлеб! Настоящий хлеб!

Полковник медицинской службы Морозов тщательно осмотрел мать. Затем сделал ей инъекцию. Камфару с кофеином. На принесенной с собой спиртовке подогрел молоко. В молоко подмешал коньяку и ласково, но решительно влил матери в рот. Потом сделал новую инъекцию и заставил ее проглотить чайную ложечку мандаринового сока.

Десять минут спустя мать открыла глаза.

Через полчаса она узнала меня.

Час спустя, уже начав понимать, что не грезит, она очень тихо, но весьма твердо произнесла речь, обращенную к Первомайскому и Морозову.

— ...Очень хороший народ венгры! Это не они убивали и жгли, а те, кто сидел у них на шее,— говорила она с поразительной, ошеломляющей четкостью.— Ваш долг помочь нам! Если вы поможете восстановить город и страну, вы найдете в венгерском народе очень хороших друзей.

Она склонила усталую, одурманенную голову и нежной ладонью погладила мою грубую руку.

— Очень хороший народ венгры! — повторила она.— Поэтому у них столько врагов. Но ты должен понять, сынок, вы должны понять, сынки...

Над нашей головой — где-то на втором или на третьем этаже — взорвалась граната. С потолка подвала густо посыпалась штукатурка. Свечи погасли. В руке Первомайского зажегся большой электрический фонарь. Яркий свет прорезал испуганную темноту.

— Нужно помочь, дорогие сынки!

— Все будет, мама! — ответил вместо меня Первомайский.— Будет молоко и масло, ветчина и икра, фрукты и кофе... Все будет, мама!

— Хороший это народ, очень хороший! — повторяла мать.

БЕЛА БАЛАЖ

РОДСТВЕННИКИ

Зимой тысяча девятьсот сорок второго года под Воронежом с лейтенантом Красной Армии Ишамбаевым случилось странное происшествие.

Ишамбаев, родом из Советского Казахстана, получил задание разведать позиции венгерского полка, расположившегося в лесу. Выполнив задание, он направился было обратно, на позиции своей части, но, случайно ступив в яму, вывихнул ногу.

Вытащив ногу из ямы, он ощутил резкую боль: смуглое лицо его с широкими скулами и глазами монгольского разреза сковала тревога. Кругом враги — армия приспешников Гитлера,— а он и шагу ступить не может.

Не успел он осознать тяжелое положение, в котором очутился, как поблизости хрустнул снег. Там... за кустами... Ишамбаев различил фигуру венгерского солдата. Лейтенант вынул револьвер и тихо произнес:

— Руки вверх!

Венгерский солдат заметил его только теперь. Он тотчас бросил винтовку и поднял руки, испуганно глядя на офицера с твердым лицом и монгольскими глазами, чьим пленником он оказался. Страх в нем все возрастал. Может, правда то, о чем говорили немецкие офицеры, будто красные расстреливают всех пленных? А этот красный вдобавок еще азиат! Можно ли ожидать пощады и жалости от него?

А казах между тем думал о том, как бы скрыть от врага свою беспомощность. Чтобы выиграть время, он стал расспрашивать:

— Ты кто такой?

— Студент будапештского университета.

— Какого факультета?

— Филологического.

— Венгерское отделение?

— Да.— Пленный не совсем понимал, к чему тот затеял такой разговор. Что может знать этот азиат о филологии?

— Ты слушал лекции профессора Немета? — продолжал расспросы Ишамбаев.

У венгра захватило дух.

— Как же, еще бы! — бормотал он.— Но откуда вы его знаете?

Слабая улыбка осветила лицо казаха. Он тихо ответил:

— Я получил последнее письмо от профессора Немета за два меся-

ца до начала войны. Я лингвист, преподаватель Алма-Атинского казахского университета. Изучаю родственные связи казахского и венгерского языков.

Теперь улыбнулся пленник Ишамбаева.

— Корни венгерской нации тянутся в Среднюю Азию,— кивнул он.— То есть мы...

Неожиданно он умолк. Венгерские пушки начали обстрел. Рядом разорвался снаряд. Венгр мгновенно прижался к земле. Лейтенант тоже сделал попытку распластаться на земле, но из-за больной ноги ему это не удалось. Теперь уже пленный наверняка заметил, что у Ишамбаева неладно с ногой.

Несколько мгновений оба молчали. Потом студент тихо сказал:

— Профессор Немет считает, что казахи и венгры родственники. Если вы не можете идти, разрешите помочь вам.

Уже смеркалось, когда красноармейцы сбежались к штабу посмотреть на странное зрелище: венгерский пленный тащил на спине советского лейтенанта, взявшего его в плен.

— Кто это тебя притащил, Ишамбаев? — со смехом спрашивали они.

— Родственник,— звучал спокойный ответ.

Перевод Е. ТУМАРКИНОЙ

МАТЭ ТИМАР

ПОПРАВКА К СУДЬБЕ

Причудливо извилистым был когда-то Кёрёш. Как человеческая судьба. Прихотливые изгибы, словно линию жизни людей, живущих по его берегам, прочертил он на ладони Алфельда. Он петлял от Дьомы до Мезётура и поворачивал обратно, образуя полуострова, где разместилось бы немало сыновей-хуторов, выскользнувших из-под лохматой ивовой подмышки праматери-деревни...

На лиманных отмелях плескались стаи рыбешек, извивались пиявки, чилим застилал гладь воды, и оживающие с вечерней зарей мириады комаров звенели, словно их пригласили играть на свадьбе у сына судьи...

В жизни бедняков, осевших по берегам Кёрёша, не меньше узлов навязала нищета. Батраки, землекопы, мелкие арендаторы на нескольких хольдах жили беднее бедного, а если кому и удавалось выбиться из нужды, то разве, как говорится, чтоб было кого помягче подложить господу богу под зад... Хлеба никогда не хватало до новин, от Михайлова дня до Святого Георгия, и чтобы младенцам было просторнее в люльке, а старшим детям — на печке, новорожденных то и дело косила оспа, малярия, чахотка...

Раньше Кёрёш распрямится,
Чем я дом себе построю
И покрою черепицей... —

певали парни, которые шли жить в дом тестя. Так оно и было.

Но в один прекрасный день пришли инженеры, что-то высчитывали, мерили, а вслед за ними барабанщики загрохотали палочками по брюху

барабана: «Эй, люди, за работу, выправим русло Кёрёша!» — «Скорее он вас согнет»,— ворчали осторожные. «Как бы не опередили другие!»— прикидывали расторопные и укладывали котомки. И не успел еще народиться новый месяц, как сотни землекопов рыли новое русло капризной реке, поднимали ее берега, и воды, что ранее растекались по собственной прихоти, за полдня играючи докатились до старинной мечети Тура, чего прежде им хватило бы на целую неделю.

Река получила новый закон, а людей на ее берегах по-прежнему мучил старый...

— Пропала рыба, камыш, перевелся голец, красножабрый лещ, головастый линь. Что-то теперь будет с нами? — чесал затылок дед Халмош.— Коли реке новую сермягу скроили, чего же на нас преет старая?

Он говорил это своему куму, корзинщику Палу Ханде, через сорок лет после того, как спрямили русло реки, и через несколько лет после Красной республики, когда и он запомнил, что боярское «доузечшичинч»* по-венгерски значит — двадцать пять палок: он перевозил отступавших красных через Кёрёш.

Кум Пал Хандя, утешая, цедил сквозь зубы:

— Когда баба одна понесет и дитя без отца взрастет, скупердяй добряком прослывет, а дуплистая ива цвести начнет, тогда и наш брат получит новый закон. Или думаешь, раньше? Ну да, не зря меня Фомой Неверным зовут!

Тут он прикусил язык, чтобы раньше времени не выболтать такое, о чем и теперь вспомнить совестно... А случилось так, что Роза и Эржи, его незамужние дочери, обе разом забеременели, и ей-же-богу, ему нечего было оставить своим незваным шалопаям, кроме надежды на новый закон, на счастливое будущее. Да своей здоровой закваски, если только судьба к нему сжалится и заквасит в пустой квашне доброе тесто...

А вскорости, когда пришел срок, дочери Пала Ханди родили двух сыновей, но старшая, Эржи, и в беде оказалась удачливей. Виновник позора, богатый крестьянин, метил в заседатели, боялся огласки и не жалел денег, чтобы заткнуть рот деревенским сплетникам. Да и сам младенец не долго дышал спертым воздухом избы и умер раньше, чем пропало молоко у матери.

Роза, младшая дочка, даже не знала, как зовут того, кто сделал ей сына Лаци...

— Мы случайно встретились на берегу Кёрёша. Он — бродячий подмастерье, знал кучу всяких историй и песни пел очень хорошие. Одной и меня научил...

— Ну, а хоть имя-то у него было? — ворчал Пал Хандя, а туговатая на ухо Селешне, их соседка, все это подслушивала, боясь пропустить словечко.

— Вроде Ковачем его звали, а может, Сабо... почем я знаю? Помню, он говорил, что волосы у меня рассыпаются словно волны Кёрёша навстречу ветру.

— Ага, значит, его звали Вроде? — поняла глуховатая Селешне. Так Лаци Хандя стал Лаци Вроде, когда вырос настолько, что ему понадобилось имя...

— Даже имя его заклеймил позор,— хрипел сквозь кашель глава дуплистого семейного древа Пал Хандя, а вскоре и он свалился. Мальчику шел тогда четвертый год.

Рос Лаци Хандя, как полевой сорняк, на который никто не взглянет, не позаботится и который все же раньше всех трав извещает, что наступила весна. Он был здоровым ребенком, хоть и жил в нищете, на

* Войска буржуазной Румынии принимали участие в подавлении Венгерской советской республики.

одной мамалыге да вареной кукурузе, которую приходилось запивать водицей из Кёрёша: у них по бедности даже колодца не было. И все-таки Лаци одного за другим одолел всех соседских мальчишек, что пасли свиней на зеленой лужайке...

Силой не взяли, словом отомстили:

— А у тебя отца ситом прихлопнуло.

— Лаци Хандя, Лаци Вроде, Лаци Безродный...

— Эй, спроси у матери, когда она тебе выловит братца из Кёрёша...

Нет такой силы, которая поборола бы стыд, потому что он ранит душу.

Вечерами в темной избе Лаци прижимался к матери и, всхлипывая, спрашивал:

— Мама, ведь правда у меня был отец? Ведь правда когда-нибудь он вернется?

На глаза Розы Хандя набегали слезы. За слезами она не видела кудели, которую пряла за несколько крейцеров, а тут еще сын со своими обидами... Не видела даже завтрашнего дня, а он хоть и был недалеко, но тоже не сулил ничего хорошего.

Так Лаци Хандя рано узнал, каково быть незаконнорожденным и бедным. Быть бедным — значит ложиться без ужина, незаконнорожденным — значит таскать вместо одного горба два.

Смышленым мальчишкой рос Лаци Хандя. В школу еще не ходил, а до того похоже срисовал с подобранной в канаве газеты Миклоша Хорти, что вышло ничуть не хуже, чем у рыночного фотографа. Только нос получился немного кривым...

В школу он день ходил, два нет. До морозов и после того, как они спадали и, значит, не синели ноги. Так и азбуку он запомнил: от А до Ж и от Ф до Я. А тому, что пропущено, его учил старый бобыль дядя Имре, чертя буквы пальцем на запотевшем окне. И все же Лаци полным колосом вызрел к экзамену.

— Чей это мальчик? — спросил его преподобие господин аббат, когда Лаци бойко ответил не только за себя, но и за старшеклассников.

Учитель что-то шепнул, и жирные складки на подбородке аббата сразу обвисли...

— Стало быть, плод греха. Так сказать, дитя любви... Возрос ако крапива...

Духовный наставник не знал, что и крапиве больно, когда ее рвут. Зеленой кровью струится сок, как слезы обиды из глаз крапивы-ребенка...

Так вместе с иконой и тремя кусочками сахара, полученными в награду за хорошие ответы, Лаци Хандя получил и новое прозвище. Получил даром от школьных товарищей:

— Лаци Хандя, Лаци Вроде, Лаци Крапива...

Слезы капали на икону, на незаконного сына Марии, именем которого фарисеи возделывали свою ниву.

Лаци почти обрадовался, когда восьми лет от роду его вместе со всеми прозвищами отдали в пастухи. Он не думал, что слухи о незаконнорожденном потянутся вслед за ним и к свиному стаду. Не было отца, который мог бы вступиться за Лаци, а сам он напрасно хватался за палку — в первый раз схлопотал пощечину, потом пинки и оскорбления:

— Опять не налил воды цыплятам, вонючий ублюдок!

Лаци сбежал...

На другом месте он дал по роже единственному раскормленному хозяйскому сынку, и его избили до крови.

И снова Лаци притащился домой...

Через год-другой он прослыл бродягой, которому не сидится на месте, и больше никто уже не брал его на работу. Теперь он ходил вместе

с матерью полоть или жать в местечко Деч, но и там не ужился. Его мать все считали легкой добычей, потому что она пригуляла сына, и вышло, что тринадцатилетний Лаци вилами огрел по башке хозяина, когда тот зазвал их косить и, подкараулив, накинулся на мать.

— Наверно, отцеубийца делал его, поэтому он такой свирепый,— легкая, как апрельский ветер, полетела молва.

— А мать-то как завизжала. Нет, уж коли ты пошла в люди, так знай, что тут никто своего не упустит. Только парня надо беречься, неровен час — пришибет...

Пролетел еще год...

Лаци Ханде едва минуло четырнадцать, как его забрали жандармы, которые искали соседских кур...

В полиции его встретили пощечиной.

— Куда девал ворованных кур? — набросился на Лаци жандарм — косая сажень в плечах — и поплевал в кулак, чтобы ловчее стукнуть.

— Это не я, господин унтер-офицер,— детский рот скривился в обиде.— Я никогда не крал. Разве что черешню...

— А, значит, сам сознаешься, что вор? Ублюдок! Ворюга! Дождешься, отправлю тебя в колонию. Известно нам про все твои делишки в Дече...

Тут как раз привели тех, что стащили кур. И Лаци выпустили, залепив еще пару пощечин. Теперь он мог околачиваться на базарной площади в поисках работы. По крайней мере никто не интересовался, как занесло сюда этот сорняк. Едва приняв, человеческое общество отвергло его...

Он почти испугался, когда во время следующей жатвы его вдруг хлопнул по плечу страдавший грыжей Янош Черепица, у которого захворал вязальщик.

— Выдюжишь, парень?

Лаци Хандю всего как есть, со всеми его прозвищами, захлестнула радость, как захлестывают волны Кёрёша, когда ветер взвихрит течение.

— Выдюжу, дяденька. Может, пойдем...

— Сколько запросишь?

Для Лаци важнее всего было, что он кому-то понадобился.

— Сколько положите...

И в измученном бедняке доверие всколыхнуло ответную радость.

— Чей ты?

— Розы Хандя...

— А отец кто?

— Нету отца...— И тревога сжала сердце мальчонки: вот и конец всему...

— Не горюй, было время, и я величал своего родителя: «Ваше благородие господин управляющий», а он в девятнадцатом позволил солдатам у себя на глазах избить меня. Словом, я буду косить, ты — вязать, как-нибудь да управимся...

Этим летом у мальчика был отец. Летом? Даже для полярного лета оно было бы слишком коротким: всего десять дней, пока он вязал снопы.

Он вязал их бережливо, ровно. Из-под грабель не выпало ни колоска, и все же сторож, пройдя по полю, бросил Яношу Черепице:

— Два сапога пара. Красный да зеленый. Коммунист да подкидыш.

А Янош Черепица потом по-своему растолковал парню, отчего на свете так много бедных.

— Видишь ли, сынок, все дело в том, что у нас нет земли. А нет ее потому, что у господ помещиков да попов ее слишком много. И делиться с нами они не хотят...

Мальчик слушал, завороженно глядя на Черепицу, словно у того полон рот золота...

— Так будет всегда, покуда мы не направим жизнь по новому руслу. Один раз пытались, да удалось только там.— И он кивнул на багряный край неба, где занималась заря.— Попробуем снова...

— Как с Кёрёшем? — спросил Лаци Хандя.— Дядя Лайош Катона, обходчик, и дядя Миша Тимар, старый батрак хозяина Гергея, рассказывали зимой, как выправляли Кёрёш. Погибли лягушки, выпь, пропали комары...

— Вот-вот, только теперь не реку выправлять надо, а судьбу...

И чувствуя, как изголодался по правде ум подростка, батрак старался побольше говорить с ним каждый раз, когда точил косу; говорил, как поделят землю, и как одни права будут у знатных и у безродных, и как хозяевами станут те, у кого мозолистые ладони. Ведь именно тому, кто больше работает,— тому и больший почет.

— Видишь ли, сынок, без труда да без ума ничего не дается. Работать мы, конечно, умеем, не спорю, и всегда умели; без работы мы бы сами зачахли, но и умом ворочать тоже надо. У меня есть книжки, дам и тебе почитать, учись, сынок. Если любишь читать, конечно...

После ужина он, порывшись в котомке, вытащил потрепанную книжонку и, разворошив на костре клешни потемневших углей, принялся читать вслух:

— «...И эта великая, безмолвная революция подходит все ближе. Она не желает отступать и когда-нибудь неминуемо дойдет и до Будапешта...»

Чуть ли не каждую ночь собирались бедняки у костра Яноша Черепицы, и до рассвета не умолкали речи. О том, что чаша терпения переполнилась, что многое должно перемениться и что, как ее ни дави, а жива сила, которая выправит мир. Мальчик прикидывался, будто спит — иногда и правда задремывал,— но ушки держал на макушке. Он впитывал слова, как раскрытые листья кукурузы впитывают майский ливень.

Но прежде чем Лаци Хандя узнал, какая сила выправит его судьбу, жандармы прогнали косаря с поля, и мальчик один задаром доделал остальную работу. Плата его так и пропала. Да и требовать ее не хотелось...

И лишь тогда снова ожили знакомые ему слова, когда на занятиях для допризывников щуплый инструктор стал злобно хвастать:

— Немецкие союзники на лопатки уложат безбожников-большевиков и предателей-евреев. От Ла-Манша до Азии будет единая империя. Смерть коммунистам!

Лаци Хандя хлопнул себя по лбу и шепнул на ухо сидевшему рядом помощнику инструктора:

— А дядя Янош, когда я работал у него вязальщиком, говорил, что немцы — наши первые враги. Что коммунисты и те, кто за них, сделают всех людей равными. Дадут землю, у кого нет, и что безродные станут не хуже других...

Следующее занятие для Лаци началось с команды «Ложись — встать!» И звучала она и звучала до тех пор, пока у него носом кровь не пошла.

— Большевистский прихвостень!

— Поганый ублюдок...

А он сейчас больше всего походил на крапиву, что тянется к свету...

И ко всему прочему он влюбился...

Как-то на вечеринке Лаци пригласил танцевать белокурую Илонку Селеш, дочку зажиточного крестьянина, и, запинаясь, спросил, можно ли ее после танцев проводить домой...

— Когда узнаешь, кто твой отец,— в лицо рассмеялась девушка.— И потом, я уже обещала другому. Не приставай...

Все тогда смеялись над Лаци Хандей.

Причудлива и переменчива человеческая судьба. Словно старый Кёрёш. Точно так же петляла судьба незаконнорожденного парня и носила его до самого полярного круга, прежде чем обрела новое, прямое русло...

Война порушила ветхую плотину венгерских судеб, и вместе с другими призывниками Лаци Хандю погнали на Запад. По дорогам стонали колеса под вагонами с беженцами, на башнях выли сирены, и жизнь человека стала дешевле пули.

Сперва их высадили в Папе, где на самых доверчивых немедля натянули эсэсовскую форму, и едва зима уступила место весне, как под Шопроном им прочитали приказ: отправляться в Германию. В ту же ночь человек десять из них бежали и спрятались в подвале с картошкой. Здесь их недели две грызли вши, терзал голод. Троих, что вышли на поиски пищи, прикончили нилашисты, двое пропали без вести, а когда — будь, что будет! — на свет божий выбрались остальные пятеро, хутор заняли солдаты в ватниках, с красными звездами.

Стоял апрель, ветер разносил аромат фиалок, и у краснозвездных, должно быть, намечался какой-то праздник: уж больно они были веселы. Один из них, раскосыми глазами похожий на татарина, похлопал Лаци Хандю по плечу.

— Немец — капут. Война — капут. Венгрия — свобода...

Но они-то не были на свободе, они были военнопленными, и жизнь их, прежде чем выправиться, сделала еще одну большую петлю.

Вагоны с окошками, забранными колючей проволокой, протрясли их в Карелию, туда, где народ Калевалы соседствует с лопарями.

Лаци Хандя, как и все, валил сосны, тосковал по дому и держал язык за зубами, потому что в лагерь за ним притащилась старая Венгрия. Фельдфебели да сержанты, деревенские кулаки снова командовали в лагере. И рядом с русско-карельской речью, влекущей к новому руслу, ох как часто раздавалось по-венгерски: «Не рассуждать! Заткнись!»

Даже тут, за колючей проволокой, они не так уж часто снисходили до разговоров с подобными Лаци Ханде; да и такие, как Лаци, тоже больше держались друг друга и еще водили компанию с русскими и карелами.

Арви — так звали тракториста, который вместе со взводом военнопленных отволакивал бревна. Он был огромный, ступал тяжело, как Вяйнямёйнен*, и вот ему-то приглянулся тихий мадьяр, чей взгляд постоянно был прикован к машине. Несколько дней тракторист присматривался к пленному, а потом подозвал к себе.

— Иди, камрад, помогай.— И они вместе взялись за баранку.

На другой день тракторист поделился со своим напарником хлебом, а не прошло и месяца, как они сдружились, перебрасываясь отдельными словами и подбадривая друг друга жестами. И тут Арви прочитал в «Правде» такую новость, от которой у Ханди будто снег растаял под валенками:

— В Венгрии землю делят, Василь. Заводы, шахты отобрали у буржуев. Хорошие порядки наводят у вас дома...

Тихий Лаци Хандя первым принес весть об удивительных событиях на родине и... угодил в карцер. Когда он возле барака пересказывал новости Бенчику, батраку из Кондороша, мимо проходил старшина Гут, командир взвода.

— Вы что тут шушукаетесь? А ты, Хандя, чего зенки вылупил?

— Да вот рассказываю, господин старшина, что нынче передал трак-

---

* Герой карело-финского народного эпоса.

торист,— в струнку вытянулся парень.— Будто дома у нас землю делят и те, кто обижал народ, теперь за это ответит.

— Большевистская пропаганда! И ты еще путаешься с нашими врагами! Есть у тебя самолюбие? Впрочем, ведь ты без роду без племени. А ну, марш чистить сортир!

И еще пинка дал под зад для верности.

Но то ли подействовала новость, то ли помогли сердито шумевшие сосны, кто знает... а только на этот раз не смолчал Лаци Хандя, повернулся к начальнику:

— Чего вы деретесь, господин старшина? Я такой же человек, как и вы. А сортир пусть ваш ординарец чистит, его очередь.

На следующий день тракторист-карел Арви понапрасну ждал Лаци Хандю. Тот гонял крыс в подвале карцера и раздумывал, отчего это новое дозволяет прошлому мутить воду... Бенчик за щепоть махорки рассказал, как было дело. Но Арви, даже когда ему все перевел словак Грегуш, никак не мог взять в толк случившееся: настолько далеко в прошлом было все это для него самого. Когда Лаци выпустили, он и к нему без конца приставал с расспросами, почему да за что его посадили в карцер, если он хорошо работает.

— Знают, что с тобой вожусь, вот и пинает каждый, кому не лень, и еще презирают за безотцовщину. А в лагере те же порядки, как у нас дома были.— И выступили на глазах скупые мужские слезы, как капли смолы на срубе сосны...

Что-то совсем непристойное сказал тогда Арви, потом поговорил с прорабом и взял Лаци Хандю к себе в помощники.

Пригрело солнце заброшенную крапиву...

Тарахтел трактор, белки, перемахивая с дерева на дерево, сбивали на шапки хвою; жена Арви купила новые судки, побольше, а слова и жесты обоих мужчин, связанных общей судьбой, сплелись в тесную дружбу.

— Я был батраком, понимаешь, Василь,— рассказывал Вяйнямёйнен, сдвигая мохнатую шапку.— У моего хозяина был громадный лес. Такой большой, понимаешь, что я на лошади только за неделю добирался до дальних делянок, куда возил хлеб и соль. Случалось, и волки за мной гнались... А на ногах у меня тогда были лапти, и получал я в год три рубля: на рождество, на пасху и еще на Иванов день. Рождественские деньги хозяин удерживал за лапти, пасхальные — за рубаху, а остальные забирал на церковную свечку, за упокой души моей матери. А лупил же он меня, и кроме как «карельский олух» другого имени у меня не бывало... Потом подошла революция. Пришли русские с красными звездами, и я убежал к ним, тогда еще пацаном. В революцию два раза, понимаешь, Василь, а в эту войну три раза меня ранило. Всего пять раз. Но, как говорится, пяток к пятку идет. Так и у меня. Пять пуль всадили, и пять сыновей у меня растет. Все один к одному: Отто, Арви, Эйно, Хлеймар, Вальгрен. Я сам ударником тоже пять раз был, а сын у меня Арви — Герой Советского Союза...

— Не знаю, кто мой отец, понимаешь, Арви,— начал исповедь Лаци Хандя.— У нас говорят: безотцовщина. Ну, как тебе объяснить по-русски? Ни разу в детстве я не надевал башмаков. Никто меня не приласкал, не с кем было дружить. Вот ты говоришь, что у нас кулаки да помещики. А что тут, в лагере? Да те же самые люди распоряжаются, что и у нас дома. Это ты понимаешь, Арви?

Вяйнямёйнен, если чего и не понимал, то чувствовал — все это было ему кровно знакомо. Убаюкивающе-ласково шумели над ними сосны, и даже трактор, казалось, пыхтел приветливей, дружелюбнее.

— Драться нужно, Василь, понимаешь, бороться. Иначе «капут»,

ничего не добьешься. А если кто чего и получит даром, то все равно не оценит, потому что не своим потом добыл.

И вот как-то раз весной сорок седьмого Хандя помахал перед носом Арви письмом от матери. А меж тем само это письмо не торопилось, долгим был его путь от Кёрёша до карельских лесов. Осенью сорок шестого сдали его на почту, и по-весеннему смякла смола, когда оно пришло к сыну.

— Арви, знаешь, я получил два хольда земли. И обо мне подумали, хоть я далеко от дома. Мать пишет, что ждет не дождется. Что новая жизнь налаживается...

Он работал, как работает счастливый человек. Даже голос у него окреп, как твердеет коса, когда ее крепят к косовищу. С некоторым опозданием в лагерь прислали пропагандиста, и Хандя первым стал ему помогать. Он учился, читал венгерские книги и, обычно присев на край чьей-нибудь койки, до зари растолковывал, что там написано, людям, которые годились ему в отцы.

— Нам никогда бы не выбиться из батраков, если бы не русские... А немцы — те всегда только распоряжались венграми. Я прочитал сейчас — выходит, они четыреста лет правили нами.

Находились такие, что ворчали на Хандю: чего, мол, ему больше всех надо, этому мамалыжнику; другие все еще не могли примириться, что попали в плен, и лишь бедняки, такие, как Лаци, соглашались с ним. В бессильной злобе косились на них фельдфебели.

— Что правда, то правда. И сюда-то мы тоже из-за немцев попали.

Созвали собрание. Лаци Хандю выбрали в Антифашистский комитет. Арви, видя, как друг его обретает человеческое достоинство, подбадривал, чтобы тот не сдал, тесал крышу над зданием нового счастья.

— Давай, Василь. Дерись здесь, чтобы дома полегче было. Я заходил в контору, слыхал, что набирают новых рабочих. Значит, вам скоро домой.

И действительно, сбылись его слова. Однажды утром в конце зимы сорок восьмого к станции без лишнего шума подали железнодорожный состав. И вот он — обратный путь, и увалень Вяйнямёйнен громче всех кричал «до свидания». Теперь на его груди сверкало не пять, а шесть ударных значков; и в глазах — столько радости, что другому хватило бы на неделю. И белый платок в руках Лаци Ханди превратился в символ, но только не покорности, а чистосердечной дружбы.

Течение его жизни выравнивалось. Он чувствовал это уже в последний год плена, но окончательно осознал, лишь когда ему на пограничной станции в Захони наложили полный котелок гуляша. Офицер в фуражке пожелал приятного аппетита, здоровья и новой хорошей жизни, а над станцией развевалось трехцветное знамя, только с него упорхнули ангелы, что поддерживали герб, и заодно прихватили с собой на память корону.

Было четвертое апреля, день рождения венгерской свободы...

Лаци Хандя вернулся домой, в прямом русле жизни освобожденной страны потекла и его жизнь, как и на Кёрёше, вздымая время от времени волны. От позавчерашнего дня ко вчерашнему, от вчерашнего к сегодняшнему — как ныне спокойные воды Кёрёша и как судьба многих других работяг — жизнь Лаци Ханди проходила без особых событий, о которых пишут в романах...

Лаци записался в механики на машинно-тракторной станции в Дьоме, и в тот же день ему дали трактор. Полгода его, можно сказать, не замечали, а потом неожиданно вызвали к директору: у него оказались самые высокие показатели, и тут попутно вспомнили, что он всякий день ухаживает за своим трактором, как за единоутробным братом.

— Кто учил тебя, товарищ Хандя? — спросил директор.

— Один тракторист из Карелии. Арви его звали...

— Спасибо ему за такую учебу.

А вскоре, получив первый значок ударника, Лаци принялся догонять учителя...

Не стало Лаци Крапивы, Лаци Вроде, Лаци Безродного, стал Лаци — кормилец и гордость матери. И когда он, распахивая землю у Бодагов, сдружился с их дочерью, председатель совета Янош Черепица, бывший косарь, стал дружкой на свадьбе...

Лаци Хандя, отец троих детей, был членом районного совета, когда весной 1959 года его послали с делегацией в Минск на машиностроительный завод, чтобы принять тракторы, подаренные венгерским кооперативам.

Он посчитал это чересчур большой честью.

— Почему же именно меня, товарищи? Чем я заслужил? Я — незаконнорожденный, меня всегда дразнили Лаци Безродным, Лаци Крапивой. Не хочу ехать, не хочу позорить вас и ту новую жизнь, при которой я стал человеком...

И ему объяснили, что трудом своим он заслужил это больше, чем кто-либо другой.

Пашня уже пылилась, когда он возвращался домой с тракторами, и жена его, Мари Бодаг, не могла отвести удивленных глаз от высоченной, чуть не до потолка, медвежьей папахи.

— Откуда это?

— Подарок из Минска. Человек двадцать встречали нас у поезда. Мне показался знакомым один, что стоял впереди, да и он тоже все приглядывался ко мне. Здоровенный такой детина, а наград у него — во всю грудь. И все обращались к нему «товарищ директор». За ужином нас посадили рядом, и тут он вдруг спрашивает: уж не был ли я пленным в Карелии. Оказалось, это Арви, мой тракторист, теперь он, поди ж ты, директор завода! А Хлеймар, его сын,— ученый, работает на полюсе, он-то и застрелил медведя, из которого сшили папаху. У них я и жил. Вам всем поклоны...

Земля дышала. Дышала глубоко, как женщина, жаждущая любви, и облака над ней тяжелели от влаги. Но вот, наконец, пашня дождалась плуга... А второй его сын дождался вечера. Анти, которого дома звали Арви. Анти — это имя больше всего походило на Арви, да и в календаре не нашлось ничего другого, когда пришло время подобрать имя сыну. Анти уже ходил в школу, но по-прежнему каждый вечер забирался к отцу на колени и, жадный до рассказов, до ласки, приставал:

— Расскажи что-нибудь, папа...

И в который уже раз Лаци Хандя заканчивал день сказкой-былью о своей жизни:

— ...Когда-то жизнь у нас была такая же запутанная, как русло Кёрёша, пока его не выправили. Землей распоряжались богатые, а батраки да пастушата орошали ее своим потом. Дети бедняков ходили босые, голодные, безродным дразнили каждого, кто рос без отца... Знавал и я одного такого. Лаци Крапивой звали. Колотил его каждый, жандармы били... И вот однажды пошел он по свету правды искать, и в самой глуши соснового леса сморил его сон. Проснулся он от шума трактора. На тракторе сидел светловолосый великан; он приветливо спросил Лаци Крапицу: «Чего ты здесь ищешь?» — «Правду»,— ответил тот пробуждаясь. «Ну, за этим не стоило забираться в такую даль, мои братья донесли ее и до твоего дома. А если уж ты пришел сюда, то давай забирайся на трактор, иди ко мне на выучку». И принял его, как сына. Три года работал там Лаци Крапива. И многое он узнал. Узнал, что труд красит жизнь, что все люди равны и что хуже всего война. Минул срок обучения, и великан отпустил Лаци домой на берега Кёрёша, где

не стало больше голодных, босых ребятишек, не стало богатых бездельников и где не дразнили больше безродным того, кто не знал отца. Трактористом вернулся домой Лаци Крапива, на тракторе стал работать и дома. Пашет, молотит да жизни радуется. Ну, вот и сказке конец, пора спать...

Анти уснул, а шумный выводок не унимался. Лаци, старший сын, баюкает годовалую Марику и напевает вполголоса, чтобы скорее заснула малышка:

Вьется над нами
Красное знамя,
Знамя свободы
Для всех народов...

Лаци Хандя укладывает сына и припев старой песни слышит уже на крыльце, куда толкнули его удары вдруг застучавшего сердца и скупые мужские слезы, которые надо было скрыть... Лаци смотрит на яркие, чуть подрагивающие звезды...

С севера легкий прохладный ветер ласкает его лицо. Со стороны Кёрёша, вместе с руслом которого выправили судьбы людей.

ЙОЖЕФ ЛЕНДЬЕЛ

ГОЛУБИ

С незапамятных времен до наших дней и, наверно, еще долго-долго символом и девизом мира будет голубь с оливковой ветвью в клюве. Я хочу рассказать один небольшой эпизод, ничего не домысливая и не прибавляя от себя. Я видел это своими глазами — и не так уж давно по сравнению с моей долгой жизнью, но за последнее время этот случай чуть ли не сотни раз приходил мне на память.

Был полдень, на дворе ни души. Безветрие и тишина, воздух, прогретый солнцем. Я отдыхал, прислонившись спиной к теневой стене амбара, безмятежно и чутко.

У меня не осталось ни забот, ни тревог, или все они отошли от меня далеко. Напротив, из огороженного птичьего двора доносился писк сотен цыплят, и этот писк тоже был частью тишины.

Вдруг, мгновенно и неожиданно, часто взмахивая крыльями, из-под амбарного навеса и отовсюду в воздух вскинулись голуби, иные так близко от меня, что кончиками крыльев задевали мое лицо. Целая стая поднялась от голубятни, и еще больше — с крыши конюшни; никогда я не думал, что здесь такая уйма голубей. Никто не смог бы их сосчитать, и все они кружили поблизости.

Не человек их вспугнул и не зверь; и выстрела я не слышал. От выстрела голуби разлетелись бы в разные стороны, унеслись в спасительную даль, и лишь там, в безопасности, успокоились бы их испуганно бьющиеся сердечки. Но голуби не улетали, они продолжали кружить над обнесенным колючей проволокой прямоугольником двора, где по-прежнему пищали, голосили, дрались цыплята.

Шурша крыльями, круг за кругом описывали голуби, словно воздушный вихрь швырял, увлекал их с собой, вертел, а между тем они сами создавали этот вихрь. Вверх, вниз, то опускаясь чуть не до самой

ограды, то взмывая над крышами, перепутанными параболами, пересекая орбиты друг друга, сплошной тучей.

Я, наверно, с минуту наблюдал за этим мятущимся и в то же время подчиненным какой-то закономерности смерчем: в иных случаях и минута — не малое время. И лишь взглянув выше, понял, почему всполошились голуби.

Вверху, в безоблачной полуденной выси, прямо над цыплятами, распластав крылья, кружил ястреб — устрашающе медленно, с рассчитанной точностью. Вот-вот он сложит крылья и когтистым, клювастым, тяжелым граненым камнем обрушится на облюбованную добычу. Но между ним и добычей — голуби, их огромное скопище сбивает прицел его зорких глаз.

Ястреб еще какое-то время кружил над цыплятами, потом притворно ленивыми взмахами поплыл вдаль, превратился в крохотную точку и исчез.

Вот и все. И такими иногда бывают голуби. Я оставляю при себе возвышенные сравнения, дабы не взлетели они выше голубей облаками высокопарных слов.

ИШТВАН ЭРКЕНЬ

ОДНОМИНУТНЫЕ НОВЕЛЛЫ

Песня

Сочинителя песен звали Енё Янасом.

Судьба свела нас после прорыва русских, потому что его батарею разбили, а я под Николаевкой потерял свою часть. Мы прошли вместе километров триста, изредка подсаживаясь на попутный транспорт, а больше пешком, по снегу, по льду, всегда под огнем противника, пока, наконец, под Белгородом его не скосило короткой очередью.

До той поры я не представлял, как сочиняют песни. Кто бы подумал, что это такое простое дело? Из Янаса песни так и перли, лились, били струей, как родник из-под земли. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал — все моментально становилось песней, со словами, рифмами, мелодией. Оставалось только придумать название.

В народную песню превратился жестяной бидон с повидлом, который мы откопали из-под развалин разбитого снарядами склада. И встретился нам какой-то мост, который, можно сказать, прямо у нас под носом взорвали партизаны. А когда мы перебирались через реку под разрушенным мостом, по льдинам, Енё Янас уже напевал:

Старый деревянный мост прогнил в воде.
Господи, хоть ты бы мне помог в беде.
Как же мне добраться к Аннушке моей,
Переплыть стремнину с тысячью смертей?

Я все допытывался, как это у него получается. А он говорил, что и сам не знает. Я выспрашивал, сколько песен он сочинил. И этого он не знал. Может, три, а может, четыре тысячи...

Уже показался Белгород, когда начал падать снег. Я надвинул поглубже свою ушанку, но все равно слышал, как напевает Янас:

Покрывает землю белой пеленой,
Слышу, мчатся сани, может быть, за мной.
Кружись, кружись, снежинка...

Послышалось пять щелчков. Пришел конец Янасу, осталась неоконченной песня...

Иногда она приходит мне на память. Я пытаюсь ее продолжить. Ломаю голову, подбирая рифму к слову «снежинка». Но напрасно. Каждый из нас умеет делать что-нибудь такое, что после него не способен сделать никто другой. Так уж оно повелось.

Изучайте иностранные языки!

Я не знаю немецкого языка.

Между Алексеевкой и Буденным надо было втащить на холм несколько орудий, которые по самые оси увязли в грязи. Когда в третий раз пришла моя очередь и примерно на середине подъема это чертовски тяжелое полевое орудие начало сползать обратно, я сделал вид, что хочу отлучиться по нужде, и удрал.

Мне известно было, где находится наша позиция. Я пересек огромное поле подсолнечника, затем выбрался на жнивье. Жирная, черная земля налипала на подошвы, как свинцовые пластины на башмаках у водолаза, с помощью которых опускаются на дно моря. Шел я, должно быть, минут двадцать, как вдруг буквально наткнулся на сержанта-венгра и какого-то немца, даже не знаю, в каком чине, потому что я не разбирался в немецких знаках различия. И надо же быть такому дьявольскому невезению, что я наткнулся на них именно на таком голом месте.

Сержант стоял, а немец, растопырив колени, сидел на складном стуле. Сержант курил, а немец ел. Из тюбика, вроде как для зубной пасты, он выдавливал плавленый сыр на кусок хлеба и только взглядом остановил меня.

— Was sucht er hier? — спросил он.

— Чего тебе здесь надо? — перевел сержант.

Я сказал, что потерял свою часть.

— Er hat seine Einheit verloren, — сказал сержант.

— Warum ohne Waffe?

— Где твое оружие? — спросил сержант.

Я ответил, что я из трудбата.

— Jude,— сказал сержант.

Это даже я понял. Я пояснил, что я не еврей, а просто меня как распространителя «Непсавы» в Дьёре призвали в особый трудбат.

— Was? — спросил немец.

— Jude,— сказал сержант.

Немец встал. Отряхнул с мундира крошки.

— Ich werde ihn erschiessen,— сказал он.

— Сейчас господин фельдфебель расстреляет тебя,— перевел сержант.

Я почувствовал, как меня прошибает пот и к горлу подкатывает тошнота. Немец закрутил тюбик с сыром и взялся за автомат. Говори я по-немецки, я, наверное, смог бы объяснить ему, что раз не ношу желтой повязки, значит, я не еврей,— и тогда все было бы по-другому.

— Er soll zehn Schritte weiter gehen.

— Отойди на десять шагов,— сказал сержант.

Я сделал десять шагов, по щиколотку увязая в грязи.

— Gut.

— Хорошо.

Я остановился. Фельдфебель направил на меня автомат. Я только помню, что у меня вдруг сделалась неимоверно тяжелая голова и все внутри оборвалось. Фельдфебель опустил автомат.

— Was ist sein letzter Wunsch? — спросил он.

— Говори свое последнее желание,— перевел сержант.

Я сказал, что хотел бы сходить по нужде.

— Er will scheissen,— перевел сержант.

— Gut.

— Хорошо.

Пока я делал свои дела, фельдфебель держал автомат наперевес. Когда я поднялся, он снова нацелился.

— Fertig? — спросил он.

— Готово?

Я сказал — готово.

— Fertig,— доложил сержант.

Автомат фельдфебеля был нацелен мне куда-то в пупок. Минуты полторы, наверное, я стоял так. Затем, все еще продолжая в меня целиться, фельдфебель сказал:

— Er soll hupfen.

— Прыгай! — перевел сержант.

За прыжками последовала команда ползти по-пластунски. Потом — пятнадцать раз упор лежа. Напоследок фельдфебель скомандовал «кругом».

Я исполнил.

— Stechschritt!

— Парадный шаг!— перевел сержант.

— Marsch! — сказал фельдфебель.

— Шагом — марш! — перевел сержант.

Я зашагал. Просто идти и то можно было с трудом, а уж чеканить парадный шаг... Комья грязи так и летели выше головы. Я двигался ужасно медленно и все время чувствовал, как фельдфебель целит мне в спину. Я и сейчас могу показать то место, куда было направлено дуло автомата. Если бы не эта грязь, все мои страхи тянулись бы минут пять. А так прошло, наверное, полчаса, прежде чем я решился лечь на живот и оглянуться.

Я не знаю также и итальянского: к сожалению, у меня вообще нет способностей к языкам. В прошлом году, когда я летом отдыхал с группой наших туристов в Римини, однажды вечером у роскошной гостиницы «Регина Палаце» я увидел того фельдфебеля. Мне не повезло. Подойди я на полминуты раньше, я бы убил его, а так он даже не заметил меня. Вместе с многочисленными спутниками он сел в красный автобус со стеклянной крышей, тогда как я, по причине незнания языков, кричал по-венгерски:

— Остановитесь! Высадите эту фашистскую свинью!

Швейцар, темнокожий суданец, на целую голову выше меня, погрозил пальцем, чтобы я убирался прочь. Я даже ему не мог объяснить, в чем дело, хотя он, наверное, помимо итальянского знал французский и английский. Я же, к сожалению, кроме венгерского, не говорю ни на каком другом языке.

Торт «наполеон»

Мой сын, паршивец, не хочет говорить. Ему скоро исполнится два года, а он даже «папа» произносит таким тоном, словно снисходит ко мне в своей царственной милости. Зато он прекрасно понимает все, что ему говорят, и даже сложные поручения выполняет играючи. «Пойди

на кухню и скажи маме, что мне надо уходить, пусть подает обед». Он идет на кухню, что-то мурлычет маме, и представьте себе — через две минуты обед на столе.

Больше всего меня раздражает в этой ситуации то, что не он усваивает наш язык, а мы — его. Медленно, но верно он приучил нас изъясняться на каком-то воровском жаргоне, где жестов и мимики больше, чем слов. Если он что-нибудь ищет и потом вдруг находит, режущее слух «и-и-и» разносится далеко вокруг, оповещая мир о великой радости; если же ему не удается найти, то свое возмущение он выражает протяжным «не-е-э», словно по тарелке скребут ножом. Если ему захочется пить, он ковыляет к комоду, где в прошлом году, когда он болел, стоял подслащенный чай. С тех пор он повадился лазать туда за водой и если находит питье, то похмыкиванием выражает свое удовлетворение.

И вот я решил — хватит! Вчера, когда мы остались дома вдвоем и уселись на ковре друг против друга, я начал:

— А теперь, сынок, давай потолкуем.

— Гм, гм,— дружелюбно отозвался он и устремил на меня доверчивый взгляд.

— Э, нет, сынок,— решительно возразил я.— На этот раз мы будем говорить по-человечески.

Я помахал перед ним пакетом, на котором красовалась надпись «Кондитерская», после чего, как я заметил, его лицо стало еще более приветливым, и это заронило во мне подозрение, что он умеет не только говорить, но и читать. Я вытащил торт «наполеон» и перочинным ножом разрезал его на маленькие кусочки.

По роду своей деятельности я знаю, сколь богат и прекрасен венгерский язык...

Я протянул первый кусочек:

— Ну, сынок, теперь скажи: торт.

Он раскрыл и снова закрыл рот, давая понять, что именно туда я могу положить торт. Но я положил пирожное себе в рот и принялся уничтожать, аппетитно похрустывая.

— Не-е-э! — заверещал он возмущенно.

Я показал ему второй кусок.

— Скажи как следует: торт.

Он не проронил ни звука. Я съел и этот кусок. Вынул третий. Когда я проглотил и его, сын сказал: «Беб-бе» — нечто такое, чего он еще никогда не говорил и что, по всей вероятности, означало: подлый вымогатель. Четвертый и пятый куски исчезли один за другим, а когда я взялся за шестой, сын вдруг сказал:

— Тогт.

Наступил драматический момент. Если я сейчас отдам ему лакомство, то через двадцать лет невропатологи будут вынуждены гипнозом лечить его от картавости. Может быть, я жестокий отец, но я съел и шестой кусок.

— Только графы имеют право картавить, сынок. А нам с тобой не положено, потому как твой отец всего-навсего простой писатель, а не граф.

Сын весело улыбнулся и повторил:

— Граф.

Он прекрасно произнес это слово. «Р» хрустнуло, как скорлупа ореха. Я знавал одного немолодого писателя, который согласился бы года на два пойти в дворовые псы, лишь бы научиться такому «р». Вероятно, ему раньше времени отдали торт.

На этот раз отдал и я. Он жевал его медленно и с явной гордостью, очевидно сознавая, что это первый заработанный им кусок. Я показал ему следующий:

— Скажи: сахар.

Произнести «р» в конце слова — это уже работа для мужчины. Он произнес. Потом он сказал: рыба, груша, роза, ручка, кефир... Наверное, с полчаса мы твердили всякие двухсложные слова; я говорил, он повторял. И вот тут я зарвался.

— Сынок,— потребовал я,— скажи: на дворе трава, на траве дрова.

Он жалобно посмотрел на мой всемогущий рот и попытался было воспроизвести эту фразу своим крохотным, розовым, нежным, как лепесток земляники, ротиком. Но слова не хотели появляться на свет, они где-то застряли, перепутались, и вышла лишь какая-то бесформенная мешанина. Он опустил голову и заплакал. А мне пришло на ум нечто такое, о чем я давно не задумывался, что считал прочно забытым и никогда бы не воскресил в своей памяти, если бы не увидел, как плачет мой сын. Я подумал, как далеко не сразу, ценой каких мук и страданий нам достается наше умение. Мне стало стыдно, я высморкался, отдал ему весь пакет и вышел из комнаты. Минут через десять я осторожно заглянул в дверь: сын по-прежнему сидел на полу и, всхлипывая, уничтожал один кусок за другим.

Молодожены на липучке

В свадебное путешествие они не поехали. Да и стоит ли? В Будапеште тоже неплохо, сказал молодой муж, здесь и театры, и концерты, и кино — развлечений масса. Они остались дома и так, тихо, мирно, проводили медовый месяц.

А однажды вечером они попали на подвешенную к лампе липкую бумагу.

Глупая случайность.

■

Муж. Любишь меня, радость моя?

Жена. Очень.

Муж. Тогда иди ко мне.

Жена. Как, опять?

Муж. Иди-иди.

Жена. Ох, и ненасытный же ты!

Муж. Иди-иди-иди-иди!

Жена. Сейчас, только у меня к чему-то приклеились туфли.

Муж. Сними туфельки и иди скорей.

Жена. Тогда мы опять на весь вечер застрянем дома. А сегодня концерт Чайковского в Музыкальной академии.

Муж. Наплевать на Чайковского.

Жена. Ты предпочел бы сходить в театр?

Муж. Ах, все эти наши пьесы прямо в зубах навязли... Скажи, а тебе не кажется, что мы как будто раскачиваемся?

Жена. Что это ты вбил себе в голову?

Муж. Такое ощущение, как будто меня подвесили на веревке и я раскачиваюсь взад-вперед.

Жена. Не обращай внимания. Посмотри лучше, что идет в Опере.

Муж. А где газета?

Жена. В кухне на столе.

Муж. Я не могу сдвинуться с места, у меня тоже к чему-то прилипли ноги.

Жена. Странно... Кажется, там сегодня «Бал-маскарад».

Муж. Скажи... То, к чему приклеились твои туфли, это какая-то блестящая липкая мазь?

Жена. Что-то в этом роде.

Муж. Вот! Теперь я и руки не могу оторвать.

Жена. До чего же ты, оказывается, нытик! Кончится тем, что мы опять останемся дома.

Муж. Ой, что это дергает?

Жена. Это я пытаюсь выбраться из липучки.

Муж. Не дури, еще, чего доброго, оторвемся и упадем.

Жена. Скажи, ты всегда со всем миришься? А я-то и полюбила тебя потому, что ты казался мне таким сильным, всегда веселым, и еще говорил, что обожаешь музыку...

Муж. Какой толк, что я обожаю музыку, если не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Жена. Ну, не ты первый завяз в чем-то. Есть инвалиды, безногие. Но и те живут, работают и даже не унывают.

Муж. Вот опять мы как будто поворачиваемся.

Жена. Это тебя беспокоит?

Муж. Меня все беспокоит, чего я не понимаю.

Жена. Тогда я тебе объясню. Дует из входной двери, и сквозняк поворачивает эту липкую штуку, к которой мы приклеились. Надеюсь, ты успокоился?

Муж. Какое там успокоился, когда я по пояс увяз в этом клейстере!

Жена. Знай одно твердишь! Без двадцати семь. Теперь только на такси успеем в Оперу.

Муж. Ты ни во что не ставишь реальные обстоятельства?

Жена. Мы же условились, что наш брак не будет похож на другие. Мы не станем скучать, отмалчиваться, ссориться, ненавидеть, разводиться... И еще я хочу всегда быть веселой, родить трех карапузов и отдать их в музыкальную школу.

Муж. Теперь я увяз по горло.

Жена. Будь добр, сними трубку и вызови такси.

Земляки

Корреспондент вскарабкался на леса, осторожно пробрался по качающейся доске и оттуда сделал несколько снимков. Так Габор Бодя оказался на переднем плане, но позади него хорошо был виден котлован, а в котловане бригада и транспортеры.

Корреспондент был очень молодой. Очень проворный. Очень старательный. Перо в его руке летало так, словно он в нетерпении строчил по воздуху.

— Итак, я слушаю,— сказал он, спустившись с лесов.— Теперь можно писать не только о хорошем. Пострадавшего увезла «скорая помощь»?

— Его просто перевязали,— сказал Бодя.— А потом он пошел с нами в общежитие.

— Пожалуй, это будет даже не репортаж,— размышлял вслух корреспондент.— Напишу-ка я о вас радиопьесу... Так с чего началась драка?

Бодя, пока его фотографировали, снял свою засаленную шляпу. Теперь он ее снова напялил и заглянул в котлован.

— Кое-кому стала не нравиться общая касса,— сказал он.

— Что это за общая касса?

— Мы поровну делим заработки.

— Да это же неправильно,— возразил корреспондент.

— Для нас правильно,— сказал Бодя.— Ведь мы земляки, из одной местности.

— Как это? — удивился журналист.— И все вы одинаково работаете?

— Да, почти,— сказал Бодя.

— Разве нет среди вас таких, что послабее, неопытнее?

— Есть и такие.

— Кто, например?

Бодя заглянул в котлован. Теперь землекопы вывозили тачками землю с самого нижнего слоя.

— Это так прямо сказать нельзя,— ответил он.

— А кто самый сильный, тоже нельзя сказать? — корреспондент был явно недоволен.— Вот уж ему-то определенно не везет, по-моему.

Бодя сверху вниз взглянул на корреспондента. Землекоп был видный, красивый парень, весь из мускулов и сухожилий, как ствол пальмы. Такой богатырь, казалось, мог бы остановить на ходу пассажирский экспресс.

— Сила — это не важно,— сказал он.

— А что же тогда важно?

— То, что все мы одинаково, с охотой работаем. Если видим в ком желание, тому сами даем работу по силам. А в ком нет такого желания работать сообща, может уходить, мы не держим.

— И находились такие?

— Один.

— Тоже ваш земляк?

— Да.

— Как его звали?

— Уж и не помню.

— Вы ничего не помните,— взорвался корреспондент.— И о той драке, наверное, тоже забыли?

У Боди на лоб набежали морщины.

— Об этом нет.

— Ну, и кто был зачинщиком? — выспрашивал корреспондент.— Или опять забыли?

Бодя снова заглянул в котлован.

— Зачем об этом писать? — спросил он.

— Вот-вот, вместо того, чтобы радоваться, что теперь и о таких вещах можно писать,— возмутился корреспондент.

— Радоваться-то я радуюсь,— сказал Бодя.— Да ведь только мы все — земляки. Все честные, трудолюбивые, все землекопы. Вместе живем в общежитии, вместе едим, поровну делим заработки...

Корреспондент перебил его. Перо забегало еще быстрее, словно теперь он не писал, а стенографировал.

— Это я уже слышал,— сказал он.— Так что, выходит, это не вы подрались в кафе?

— Ну, мы,— сказал Бодя.

— Не вы вызывали «скорую помощь»?

— Ну, мы.

— И не вы давали показания в милиции?

— Ну, мы,— сказал Бодя.

— А куда девался этот тип?

— Перешел в другую бригаду,— сказал Бодя.

— Тогда почему же вы не называете его имя?

— Потому что он вернулся обратно,— сказал Бодя.

— Вернулся? — уставился на него корреспондент.— Ну, так покажите мне его.

— Отсюда его не очень-то хорошо видно,— сказал Бодя и заглянул в котлован,— сейчас он уже без повязки.

Хорошая смерть

Дядюшка Пали умер от хронического порока сердца. Он прожил всего три недели после своего семьдесят первого дня рождения. Но работал даже в эти годы, правда, уже не у станка, а «только в качестве инструктора», как он говорил. В семьдесят один год, старый, он вставал в половине пятого, садился в трамвай, кошмарный утренний трамвай, похожий скорее на виноградный пресс, и ехал через весь город к центру, а затем снова на окраину в Уйпешт, где он работал. «И зачем это нужно в ваши-то годы работать, дядя Пали? — «А вы разве не будете работать? И вы тоже будете. На то мы и люди».

Я знаю его лет пять. Началось с того, что я написал о нем репортаж: о его первом рационализаторском предложении, каком — сейчас уж и не помню. С тех пор я считался в семье у дяди Пали кем-то вроде дальнего родственника; я не терял из виду его, а он — меня. Иногда мы встречались. В таких случаях он говорил: «Мы слушали вас по радио».— «В самом деле? Ну и как вам понравилось?» — «Мы узнали вас по голосу»,— говорил он. А понравилась ему моя вещь или нет, об этом он никогда не высказывался. Он даже не понимал вопроса. Вероятнее всего, он полагал, что моя работа такая же, как и его,— из моих рук тоже не выходит ни одной испорченной, бракованной детали. В этом он, к сожалению, ошибался.

Его дочь зашла известить меня, что он умер. Вечером я на трамвае отправился к ним. Он лежал в постели, со сложенными руками; на маленьком столике в ногах, на бархатных подушечках — его три награды. Дочь вышла разогреть ужин. Мы вдвоем стояли у постели умершего — его зять и я. Он не любил своего зятя. Он считал его плохим мужем и плохим слесарем, но они не ссорились, потому что старик никогда ни с кем не ссорился. Слесарь стоял позади меня и тоже смотрел на покойного с той особой почтительностью, с какой полагается — в присутствии посторонних — смотреть на умерших. Лицо дяди Пали не изменилось. Оно покоилось на подушке, мраморно-белое и умиротворенное, с закрытыми глазами, как бы обращенными в себя, по обыкновению усопших. Может быть, он составлял план обучения новичков в своем цехе на том свете. А вот на что стоило смотреть, так это на его руки.

Я не мог оторвать от них взгляда. Руки дяди Пали, казалось, выросли. Они стали еще больше, чем были, желтые, одна подле другой, покоились они на впалом животе. Это были огромные руки, в них чувствовалась крупная кость; на кисти, покрытой желтоватыми пятнами, проступало несколько рыжих волосков. Пальцы его — мозолистые, узловатые, корявые, как сучья; кончики пальцев расплющены, и на них желтые, плоские, широкие, толстые ногти. Под ногтем указательного пальца на правой руке маленький черный кровоподтек... Я подумал: сколько всего создали эти руки. Дядя Пали пятьдесят три года проработал на заводе; на свете работают тысячи и тысячи станков, вертятся сотни и сотни тысяч осей, цилиндров и втулок, которые он отшлифовал до блеска, точно по чертежу и размерам. Он завершил свое дело. Каждую деталь, которая попадала ему в руки, он добросовестно обработал и передал дальше. На земле после него не осталось пробела. Плоды его труда — как железнодорожные рельсы — могут несколько раз опоясать

земной шар. Я не испытываю сожаления, не чувствую себя потрясенным, слезы не щиплют глаза. Я стою, как перед завершенным произведением, словно перед фразой, в конце которой стоит точка.

Я не испытываю жалости. Я думаю о самом себе — в присутствии мертвых я не могу думать ни о ком другом, кроме как о себе. Я хотел бы кончить жизнь, как ту фразу, в конце которой стоит точка; я хотел бы, чтобы рядом со мной тоже какое-то время постоял кто-то, без сострадания, без жалости и умиления, с легкой завистью в сердце.

Смысл жизни

Если много-много стручков перца нанизать на бечевку, то получится связка перца.

Если их не нанизывать, то никакой связки не получится.

А ведь перец один и тот же, такой же красный, такой же острый! Но все-таки это не связка.

Неужто же бечевка делает перец связкой? Нет, не бечевка. Бечевка тут, как мы знаем, дело второстепенное, а то и третьестепенное.

Так что же тогда?

Кто задумается над этим вопросом и постарается, чтобы мысли его не разбегались, а работали только в одном направлении, тот может напасть на след великих истин.

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ

Час О

ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

Февральской ночью 1934 года трагически оборвалась жизнь выдающегося народного героя Никарагуа и всей Латинской Америки Аугусто Сесара Сандино. Он пал жертвой злодейского убийства, организованного силами североамериканского империализма и никарагуанской реакцией.

Лютую ненависть питали убийцы к Сандино. Это он первым на латиноамериканском континенте зажег факел вооруженной борьбы против империализма Соединенных Штатов. Это он во главе горстки беззаветных храбрецов-патриотов в течение почти семи лет отважно сражался с врагом, захватившим их родину. Это он и его соратники в итоге антиимпериалистической партизанской войны вынудили Соединенные Штаты вывести из Никарагуа свой оккупационный корпус.

«Я не профессиональный политик, просто рядовой рабочий. Моя профессия — механик, и с молотком в руке я зарабатывал себе на хлеб...» — напишет впоследствии генерал Сандино, родившийся в небольшом индейском селении; немало пришлось ему поскитаться, пока судьба не занесла его в Мексику начала двадцатых годов, где еще слышались раскаты недавних революционных битв и где он, молодой парень, окунулся в рабочее движение, познакомился с идеями борьбы за лучшее будущее, изучал методы борьбы.

Возвратившись в Никарагуа, Сандино нашел свою страну оккупированной морской пехотой США. «Когда я прибыл на родину, то еще не представлял себе, какие задачи меня ожидают. События определили, что мне делать... Я понял, что должен участвовать в борьбе против североамериканского господства»,— говорил Сандино. На собственные сбережения он покупает оружие и вместе с двадцатью девятью единомышленниками — потом число их возрастет — поднимает в горах Лас Сеговиас, на севере страны, знамя борьбы за свободу и независимость.

Патриотов, сражавшихся в невероятно тяжелых условиях, не мог остановить и беспощадный, зверский террор со стороны численно превосходившего и хорошо вооруженного противника (спустя десятки лет американские оккупанты во Вьетнаме повторят — в несравненно большем масштабе, уже с напалмом и новейшей боевой техникой — преступления своих предшественников в Никарагуа; да и только ли предшественников? Как известно, например, американский лейтенант Риджуэй, воевавший против Сандино, через многие годы, став генералом армии США и, несомненно, используя «никарагуанский опыт», заливал кровью корейскую землю!). История иной раз повторяется: сегодня Вашингтон демагогически предлагает частично, постепенно отзывать свои войска из Вьетнама — почти сорок лет назад Вашингтон предлагал частично, постепенно отзывать свои войска из Никарагуа. Ответ Сандино прозвучал категорично: борьба будет продолжаться, пока все американские солдаты не покинут пределы его родины. И американским захватчикам в конце концов пришлось уйти.

Подвиг Сандино воспламенял сердца людей во многих уголках мира. На Первой конференции коммунистов Латинской Америки, в июне 1929 года, вспоминает ее участник Паулино Гонсалес Альберди, подчеркивалась вся важность движения солидарности латиноамериканских коммунистов с вооруженной борьбой никарагуанцев во главе с патриотом Аугусто Сесаром Сандино против вторгшихся в их страну войск США... О своей солидарности с Сандино заявляли виднейшие представители культуры Латинской Америки и Европы, среди них Хосе Карлос Мариатеги, Габриэла Мистраль, Мигель Анхель Астуриас, Ромен Роллан, Анри Барбюс.

Имя Сандино и ныне пламенеет на знамени борьбы народов Никарагуа и всей Латинской Америки. Герою посвятил свою поэму «Час О» никарагуанский поэт Эрнесто Карденаль, с творчеством которого мы знакомили читателей «Иностранной литера-

туры» (№ 6, 1969). Карденаль пишет не только о подвиге и гибели Сандино, поэт повествует и о своих современниках, друзьях, которые вместе с ним, воодушевленные примером Сандино, несколько лет назад выступали против диктатуры генерала Анастасио Сомосы, более известного под презрительным прозвищем Тачо Сомоса, еще более известного как убийца Аугусто Сесара Сандино «варфоломеевской ночью» 21 февраля 1934 года. Диктатор Сомоса, в течение двадцати лет возглавлявший режим жесточайшей тирании в Никарагуа, был убит патриотом, молодым поэтом Ригоберто Лопесом, однако сыновья Сомосы, руки которых обагрены другими преступлениями, пока еще цепляются за власть в Манагуа. Продолжая борьбу против реакционной диктатуры, никарагуанский народ знает, что для его врагов неминуемо пробьет Час 0— час возмездья...

ЮРИЯ ДАШКЕВИЧ

Сторож! Сколько ночи?
Сторож! Сколько ночи?

Исайя, 21.II

Тропические ночи Центральной Америки:
пики вулканов и глади лагун под луною,
огни президентских дворцов, и казармы,
и резкий удар колокольный,
означающий «дверь на запор до рассвета!»
...«Сколько раз я, куря сигарету, обрекал Человека на смерть»,—
признавался Убико*, диктатор, куря сигарету...
Дворца розоватая груда. Убико болен — простуда.
А снаружи бомбы толпу разогнали. Ночь в Гватемале...
...Сан-Сальвадор, погруженный во тьму и шпионство.
Шепотки за дверями семейных домов и дешевых отелей,
крик и стон в полицейских участках. Горе. Ночь в Сальвадоре...
...Со звоном разбилось стекло во дворце президента —
Берегись, Карйас **! Народ засыпает тебя камнями!
Полиция. Выстрелы. Стоны. Несчастье. Ночь в Гондурасе...
...Пулеметы целятся в улицы из окон дворца шоколадно-бисквитного,
каски стальные обходят дозором город Манагуа. Ночь в Никарагуа...

Сторож! Сколько ночи?
Сторож! Сколько ночи?

Крестьяне Гондураса клали деньги себе в шляпы —
это когда у них были деньги, это когда у них были земли,
это когда они их засевали, это когда собирали посевы.
Это когда не было заграничных займов,
это когда не было налогов компании «Пирпонт Морган»,
это когда не она получала плоды земли гондурасской,
а те, кто ее засеял.

Но потом явилась «Юнайтед фрут компани»,
и прочие фруктовые компании,
и прочие железнодорожные компании,
и прочие пароходные компании...
«Юнайтед фрут»
со своими концессиями, со своими репрессиями,
со своими налогами, со своими подлогами,
со своими контрактами, фрахтами, пактами,

---

* Диктатор Гватемалы, свергнутый демократической революцией 1944 года.
** Диктатор Гондураса, находившийся у власти с 1932 по 1949 год.

со своими дотациями на всеобщую эксплуатацию,
со своими экспертами по импорту и по экспорту,
со сбором контрибуции, со срывом конституции...
...Компания разлагала конгресс, и литературу,
и сельскохозяйственную культуру.

Гроздья бананов душисто-белые
гнили на почве плантаций, в вагонах железной дороги
или, напротив, срезались спелые
и, не дожив до порта, в море швырялись с борта;
бананы, бананы — бигого сорта, бананы, бананы — мятого сорта,
бананы, бананы — бросового сорта;
только чтоб не продать дешево,
только чтобы скупить дешево. Дешево... Дешево...

Приказ от «Юнайтед фрут» по станции Тропикаль Радио:
«Компания больше не покупает бананов».
А в вагонах железной дороги бананов — хоть брось.
Гниют бананы, бананы, бананы...
Только чтоб не продать дешево,
Только чтобы скупить дешево — 19 сентаво за гроздь.
Рабочим — не деньги, а векселя и долговые квитанции.
И без дела лежат плантации,
и расселились на землях бесплодных колонии безработных и голодных...

Был в Никарагуа один человек из селения Никиногомо,
жил в Тампико*, работал в «Уастека петролеум»
и скопил пять тысяч долларов.
Он не был военным и не был политиком.
Он взял из пяти три тысячи
и пустился в путь в Никарагуа,
чтоб вступить в революцию, что возглавил Монкада**.
Приехал — и что же видит он? Монкада сложил оружье...
Растерян, печален и удручен, он скрылся на Серро-Комуне.
Три дня он думал: что предпринять?
Он не был политик, он не был солдат.
Подумав, он взглянул окрест и сказал себе: «Кто-то нужен...»
И первый свой написал манифест, призвав не слагать оружья.
И генерал Монкада сообщил захватчикам-американцам:
«КАПИТУЛИРУЕМ. ВСЕ—ЗА. ОДИН ЛИШЬ НЕ ХОЧЕТ СДАТЬСЯ».
И мистер Стимсон ***, министр США, шлет ему ультиматум.
И Монкада велит ему передать: «От народа не жди благодарности!..»
А он собирает своих людей: двадцать девять (а с ним — тридцать)
против засилия США в Америке Латинской...
А люди его:
одни — мальчишки в соломенных шляпах, в сандалиях или босые,
седобородые старики (а за поясом — нож) — другие,
тощие дети двенадцати лет, ружья отцов прихватившие лихо,
белые, негры, индейцы с застывшим ликом,
в рваных штанах, без пищи, в рубище нищем,
идут шеренгой, неся пред собою знамя —

---

* Один из нефтедобывающих центров в Мексике.

** Никарагуанский генерал, выступил в 1926 году против правительства консерваторов, позднее при поддержке США стал президентом Никарагуа.

*** Полковник Генри Л. Стимсон был государственным секретарем в кабинете президента США Гувера (1929—1933), представителем президента в Никарагуа, позднее — военным министром США.

ткань на палке, срезанной где-то в дороге,—
молча идут под ветрами, громами, дождями,
и шлепают в лужах селений босые грязные ноги.
Да здравствует Сандино!..
...И все они братьями были, покуда их всех не убили.
И сраженье вели с самолетами под прикрытьем душистых кустов,
получая за труд свой бранный лишь лохмотья, покрытые пылью,
да пищу, а часто — траву, пригодную лишь для кормов.
Пули свои экономили, словно они — из золота,
из камней одни делали бомбы, из осколков стекла — другие,
третьи — из динамита, обернутого кожею,
а пушки — из труб и гранаты — из банок из-под сардин.

«Это бандит,— говорил по-английски Сомоса,— по-испански:
грабитель»,—
а у Сандино не было соли посыпать на хлеб,
и Монкада на разных банкетах его называл бандитом,
а люди Сандино дрожали в горах от ветров и дождей.
Что за свет вдалеке? То звезда в небесах?
Нет, то лагерь Сандино в высоких и черных горах.
Там его люди сидят пред горящим костром,
с ружьем за плечами, укутанные тряпьем,
курят иль грустную Севера песню затянут вдруг,
сидят неподвижно, лишь движутся тени вокруг.

Лицо его было задумчиво-смутное, точно у призрака,
глубоко погруженное в раздумье и мысль,
нахмуренное в боях и под резким вихрем,
лицо поэта, которого воином сделала жизнь.
Нервное — и скованное покоем воли,
мрачное — и сияющее светом дивным,
грустное, как закат на вершинах горных,
веселое, как рассвет на вершинах горных,—
два лица, наложенные одно на другое,—
такое было лицо у Сандино.
На свету лицо это молодело,
в темноте наполнялось печалью усталой.
Он в горных ущельях прошел ученье,
в котором жизнь ему отказала.

Что за свет вдалеке в полуночных горах Лас Сеговиас?
То лагерь Сандино! То искрится песня звонкая.

Коль меня Аделита оставит,
отыщу по морям и по земле.
По земле — в военном составе,
*по морям — на боевом корабле...**

Телеграмма мистера Лэйна**, посланника американского,
государственному секретарю — послана из Манагуа
14 февраля 1934, в 6.15; получена в Вашингтоне в 8.50:
«Из официальных источников известно:
прибытие Сандино задерживается...»

---

* Из песни, популярной во времена Мексиканской революции.
** Имеется в виду Артур Блисс Лэйн, тогда посланник США в Никарагуа.

Телеграмма мистера Лэйна, посланника американского,
государственному секретарю от 16 февраля,
сообщающая о прибытии Сандино в Манагуа,
не числится в бумагах государственного департамента...

В 6 часов вечера, 21 февраля
слушал Сомосу американский посланник,
а четверо каторжников рыли могилу...

«Кто умер?» — спросил один из них. «Никто»,— ответил сторож тюрьмы.
«Тогда для кого могила?» — «Работайте и молчите».

Американский посланник завтракает с Монкадой.
«Кофе, сэр?» Но Монкада смотрит в окно.
«Кофе, сэр? Very good — прекрасный»... —
«Что?» Монкада рассеян, как будто ему все равно.
«О, конечно, о, certainly!» — и засмеялся.
...А пятеро заперты в тесной казарме,
у окон и дверей — стража...
Пятеро заперты в тесной казарме.
Один приглашен к президенту на ужин,
он говорит: «Пошли!» — и выходит с друзьями
(это тот, для которого рыли яму).
В десять вечера едут в машине в Манагуа (мир подписан)
на ужин к президенту Никарагуа...
На перекрестке выросла стража.
В одну машину — двоих постарше,
других — в другую и в другую сторону.
Туда, где четверо роют яму.
«Куда мы?» — спросил человек, для которого яму рыли.
Ответа он не услышал.
Потом машина стала, и страж сказал: «Выходите».
Трое вышли, и крикнул кто-то: «Огонь!»

«Я был в то время в концерте»,— рассказывал после Сомоса.
И правда, он был в концерте иль на банкете,
смотрел на какую-нибудь балерину
иль предавался другим, дерьмовым развлеченьям.
В десять часов вечера Сомоса вдруг содрогнулся.
В десять часов вечера за стеной зазвонил телефон.
«Сандино зовет к телефону!..» Сомоса почувствовал ужас.
«Тряпка, не трусь!» — отозвался один из знакомых.
Сомоса распорядился не отвечать на звонок.
Балерина все танцевала, развлекая убийцу.
А за стеной в темноте все звонило, звонило, звонило...
А при свете фонарном засыпáли могилу.
Засыпáли землею под февральской луною.

В час, когда светит большая звезда над Чонталес,
индианки выходят месить на лепешки маис,
идут сборщики каучука, лесорубы и корчеватели пней
под луной, обливающей серебром банановые деревья,
и слышится крик койотов и маленьких попугаев
и уханье сов под серебряным светом луны.
И свинка-пака, хранительница водоемов,
и крыса-агути покидают свои норы,

а лохматый ведьмак ловит пьяниц, что сбились с дороги.
И птица-плакальщица плачет по берегам рек:
«Нашли его?» — «Нет!» — «Нашли его?» — «Нет!»
Птица стонет трескуче, как будто хрустит ветвь,
и ущелье смолкает, прислушиваясь к чему-то...
Снова крик — это птица опять повторяет печальный вопрос и ответ,
мелодию грустную, мелодию смутную...

А пока что в салонах дворца президента,
в судебных дворах и казармах,
в американской дипломатической миссии и в полицейском участке
те, кто не спал в эту ночь, смотрят в тусклом рассвете
на руки свои, что как будто запятнаны свежею кровью.

«Я это сделал,— сказал по-английски Сомоса.—
Я сделал это для блага Никарагуа — for the good of Nicaragua».

Апрель в Никарагуа... Поля пересохли от зноя.
Это время пожаров в полях, и пастбищ с пожухлой травою,
и как будто обугленных черных холмов,
и расплавленных солнц, ярко-красных, как кровь,
и чудовищных лун, ярко-красных, как солнце,
и далеких пожаров ночных, ярко-красных, как звезды...

Апрель в Никарагуа — это месяц смерти.
Их убили в апреле.
Я участвовал с ними в апрельском восстанье
и тоже орудовал пулеметом «райзинг»,
и Адольфо Баэс Боне * был мне другом и братом.
Его гнали грузовики и самолеты,
рефлекторы и бомбы со слезоточивым газом,
его полиция травила собаками;
я помню красные тучи над дворцом президента
и красную луну над дворцом президента.
Подпольное радио говорило: «Он жив, он не умер».
И народ верил, что он не умер.
(И это ведь правда, что он не умер!..)
Ибо родится порой человек на земле,
означающий ту землю,
И земля, что взяла в свое лоно того человека,
означает того человека.
И люди, рожденные позже на той земле,
означают того человека.
И Адольфо Баэс Боне был тем человеком.

«Если б меня заставили выбрать жребий,—
сказал мне Баэс Боне за три дня до смерти,—
быть убитым подобно Сандино
или быть президентом подобно его убийце,
я выбрал бы жребий Сандино».
И он выбрал жребий Сандино.
Слава — это не то, что записано в книгах Истории,
слава — коршун над полем и зловонье гниющей плоти.
Но когда умирает герой — нету смерти:
есть второе рожденье героя — в его Народе.

* Патриот, боровшийся против диктатуры Сомосы, был убит в 1954 году после зверских пыток, производившихся лично сыном диктатора, по прозвищу Тачито.

Позже США поставляли Сомосе еще оружье,
оружье, чтоб людей — в тюрьмы,
оружье, чтоб книги — в пепел,
оружье, чтоб украсть у Хуана пять песо...
Я видел, как везли оружье по проспекту Рузвельта.
И молча его провожали глазами люди:
тощий, босой, со старым велосипедом,
негр, толстогубый, курчавый, и женщина в желтом,
усатый, с гноящимся глазом, и лысый,
толстый, курносый, косой, хромоножка —
и лица у всех них казались лицом человека, что только что умер.

Музыка мамбо скользит по проулкам Манагуа.
С глазами кроваво-мутными, словно глаза акулы,
акулы под защитой оружья,
Сомоса танцует мамбо — веселое мамбо,
в то время как их убивают.
А Тачито Сомоса (сынок) поднялся во дворец президента
сменить рубаху на чистую. Кровью запятнана. Кровью...
Даже собаки в тюрьме выли в ту ночь от горя.
А кто живет близ казармы, слышали крики.
Вначале — крик одинокий в глуби ночи,
после — еще крик, а за ним — другие,
и после всего — тишина... А потом еще выстрел,
один только выстрел. И снова потом тишина и вой санитарной машины.
Это ведь как? За тобой запирают тюремные двери,
начинаются тут же вопросы, допросы, внушенья и обвиненья
в конспирации; проповедь, исповедь, галлюцинации;
фото твоей жены как маяк средь твоей ночи,
ночи, полной каких-то шумов, и стонов, и воев,
и безмолвья — безмолвья могилы...
И снова все тот же вопрос, все тот же, все тот же,
тот же звук, повторенный стократно. Ослепляющий свет. И тьма.
И долгие месяцы тьмы вслед за этою тьмою.
О, если б можно уснуть нынче ночью в своей постели,
не страшась, что тебя подымут и погонят из дому прикладом,
под хлоп дверей и звонок, проколовший сумрак!

Выстрелы слышны в ночи, иль это только сдается?
Тяжкие грузовики катят, стоят и снова
катят куда-то. Ты разве не слышишь их голос?
Там, на углу. Это смена идет караула.
Слышишь бряцанье оружья и смех?
У портного напротив окно засветилось.
Где слышны удары? Здесь, на углу, или там, у портного?
Может, ты тоже попал этой ночью в списки?!
Ночь продолжается, много еще остается ночи.
День наступит — и будет лишь ночью с солнцем.

Мистер Уилен, американский посол,— на празднике во дворце
президента.
Свет из окон дворца заливает Манагуа.
В камерах заключенные слышат музыку из дворца президента,
смешанную с криками тех, кого пытают электрическим током.
В президентском дворце мистер Уилен сказал: «Fine party» * —

---

* Прекрасная игра *(англ.)*.

подобно тому как Рузвельт сказал Сэмнеру Уэллесу* про Сомосу:
«Somoza is a son of a bich, but he's ours» —
«Сомоса — мерзавец, но он — наш».
Раб иноземцев, тиран своего народа,
поставленный интервенцией, поддержанный «non-intervention»:
СОМОСА «FOREVER» — «ВЕЧНЫЙ».

Шпион выходит днем на добычу, полицейский — ночью на слежку...
Аресты ночные: тех, кто взят за беседу в автобусе,
за то, что кричал «Ура!», отпустил соленую шутку.
«Обвиняется в том, что говорил дурно о Президенте»...
И суд: это будет судить судья с лицом жабы
или в военном трибунале судья с песьей мордой,
тех, кого заставляли пить мочу и есть испражненья,
тех, в чье горло вставили штык, чей глаз проткнули иглою,
кого пронзали током и слепили снопом света...
А в Гватемале, Мексике, Коста-Рике
изгнанники просыпаются ночью с криком,
им снится, что снова пытают их адской машиной,
что опять перед ними с иглою стоит Тачито...

Когда в Никарагуа спускается вечер,
во дворце президента собираются тени.
Оживают лица.
Покрытые тьмою лица.
Покрытые кровью лица.
Адольфо Баэс; Пабло Леаль безъязычный;
Луис Габуарди, мой товарищ по классу, что крикнул,
когда его жгли живым: «СМЕРТЬ СОМОСЕ!»
Лицо шестнадцатилетнего телеграфиста
(не сохранилось его имя),
что ночью передавал в Коста-Рику
сообщенья подпольные — телеграммы,
дрожащие сквозь огромность ночи,
из темной Никарагуа Сомосы-сына,
и был раскрыт, и умер, глядя в лицо Тачито;
и теперь еще смотрит в лицо Тачито
(а имени нет в исторических книгах).
Лицо другого мальчишки, которого ночью поймали,
когда он расклеивал надписи «СОМОСА — ВОР»,
и несколько полицейских с хохотом потащили куда-то в лес, подальше...
Лица, лица еще, тени, другие тени...
Умансóр, Эстрада... Сóкратес**... другие... другие...
и великая тень Аугусто Сесара Сандино,
и тень его насильственной смерти — тень преступленья...
Каждой ночью в Манагуа дворец президента
заселяют тени.
Но герои рождаются в час смерти
и зеленые травы встают на земле обожженной.

* Сэмнер Уэллес был помощником по латиноамериканским делам государственного секретаря США в кабинете Рузвельта.

** Генералы Хуан Пабло Умансор и Франсиско Эстрада, боевые соратники Сандино, были расстреляны вместе с ним. Почти одновременно был убит и брат героя — Сократес Сандино.

ЦИРИЛ КОСМАЧ

Баллада о труде и облаке

Перевод со словенского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

V

Словно тяжкий груз свалился у него с души. И хотя пела труба печально и грустными были слова народной песни, хотя старик и мальчик тоже не выглядели особенно веселыми и в первый миг показались даже не совсем реальными, Петер Майцен вздохнул с облегчением. Он снова почувствовал под ногами твердую почву, природа ожила — он видел наконец трубу, которая так долго его тревожила. С чистым сердцем и благодарностью смотрел он на мальчика и старика. Думал было подать голос, подойти ближе, но продолжал стоять тихо и неподвижно, не желая нарушать это милое, трогательное согласие, которому труба придавала какую-то необычность и даже таинственность.

— Еще! — попросил мальчик, поднимая руку.

— Ведь уже три раза играл! — ласково ответил старик и погладил его по кудрявой голове.

— Ну еще один разик!..

— Подожди немного, дай дух перевести!

Старик отдал трубу мальчику. Бережно, с любовью тот принял ее в свои объятия, словно живое существо: ягненка, зайку или дикую козочку. Старик обнял его за плечи, притянул к себе и, закрыв глаза, начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, будто утешая его или баюкая, а быть может, лишь для того, чтоб почувствовать жар сердца, соединявший их. И солнце так же ласково и тепло освещало и его голову и трубу.

— Идиллия!..— произнес Петер Майцен; им овладело чувство той доброй печали, которое появлялось всегда, когда он видел подлинно сердечную близость между людьми. «Старая идиллия. Дед и внук. Одному уже перехватывает дыхание, у другого его еще не хватает. Два поколения... уходящее и будущее, каждый на своем берегу, а между ними среднее поколение упрямо гребет по бурной и мутной реке жизни...»

Окончание. Начало в № 2.

— Мм... что поделаешь... так уж...— растягивая слова, пробормотал старик, не открывая глаз и не переставая покачиваться. Чуть слышно затянул он своим низким, глухим, надтреснутым голосом:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

— А потом еще три раза сыграете! — громко сказал мальчик и погрозил пальцем.

— Ладно,— покорно кивнул дед.— Три раза...

— Как всегда.

— Как всегда...

— А потом сказку!

— А потом сказку... Но ведь сказку я уже рассказывал! — встрепенулся старик и открыл глаза.— Разве не рассказывал?

— Я хочу еще одну! — попросил мальчик.— Вы обещали две: одну — утром, другую — вечером.

— Ну раз так, конечно, расскажу,— сдался старик.— Но сперва пойдем в погребок горло промочим.

— Только обязательно, ладно?

— Ладно, ладно,— согласился дед.— А вот солнышка надо побольше пустить.— Он наклонился к лозе и обеими руками раздвинул плети. Любовно взвешивая на ладони тяжелые гроздья, он протяжно приговаривал: — Вот так, вылезайте сюда!.. На солнышко! Солнышко вам соку даст, соку даст... Солнышко вам сахару даст, сахару даст...

— А как солнышко даст винограду сахару? — спросил мальчик, опускаясь на корточки рядом с дедом.

— Как?.. А вот так, возьмет и даст! — задумчиво ответил старик, не поворачивая головы.— Солнце все дает. Силу... Свет... Огонь... да, и огонь дает солнце... солнце дает... солнце! Да, да: солнце дает солнце! Все, что есть на свете, все от солнца! Да, да!

— А где солнышко берет сахар? — спросил мальчик.

— Где берет?.. Просто он у него есть! — по-прежнему рассеянно ответил старик, продолжая подставлять гроздья солнечному свету. — Издавна есть... И всегда будет... До тех пор, пока... А когда солнышка не станет, не станет и силы, и света... И огня не станет... И солнца не станет! Что поделаешь!..

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

Старик говорил медленно, раздумчиво, а напевал явно бессознательно и машинально. Часто повторяемая песенка стала как бы частью его самого, она сама собою звучала через равные промежутки времени. Потому и напевал он лишь первые две строчки.

— Дедушка, а оно само его делает? — раздался детский голос.

— Что делает? — посмотрел на него старик.

— Сахар.

— Кто делает сахар?

— Солнышко.

— А, солнышко...

— Ведь вы сказали, что оно дает сахар винограду! — не отставал мальчик.

— Солнышко?.. Конечно, дает. Сахар дает и силу дает...

— Дедушка, пойдем в погребок! — прервал его внук, которому, очевидно, стало скучно.

— Пойдем...— вздохнул старик и медленно, щадя свои старые больные кости, поднялся.

— Но сперва вы еще поиграйте,— мальчик протянул трубу.— Ведь у вас уже перевелся дух.

— Перевелся...— печально улыбнулся старик и взял трубу.— Посмотри-ка, мое окошко еще закрыто?

Мальчик поднялся на цыпочки, вытянул шею в сторону дома с красной крышей и кивнул головой:

— Закрыто, закрыто.

— Мм, закрыто... — повторил дед и провел ладонью по глазам и по лбу.

— А почему вы все спрашиваете про окошко? — спросил мальчик.

— Да так вот, спрашиваю...— ответил старик и положил ему на голову свою большую ладонь.— Спрашиваю... Что поделаешь!

Он вздохнул и запел:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

— Ну, поиграйте!

— Сейчас...

— Ну, пожалуйста! — не отставал мальчик.

Старик облизнул толстые фиолетовые губы, расправил плечи, набрал в легкие воздуха и поднял трубу, засверкавшую в солнечных лучах червонным золотом.

— Ну же! — приказал ребенок и взмахнул рукой.

Труба запела.

Петеру Майцену стало не по себе, как было недавно, когда он еще не знал, есть ли в самом деле труба или это плод его воображения. Откровенно говоря, ему жаль было, что она пела не только в его воображении, почему — он и сам не понимал: мелодия не утратила ни выразительности, ни загадочности. Труба пела печально не только оттого, что песня была грустная, ее звуки сами по себе рождали более глубокую, неизбывную тоску. И его обожгла мысль о том, что, пожалуй, труба каким-то роковым образом связывает все, что происходит в его душе и вокруг него. Разве не долетели ее звуки до Черного лога и не подняли его на ноги, словно подтверждая его сомнения, мрачные раздумья, предчувствия смерти? Она вытащила его из дома. Не будь ее, он остался бы в комнате, спокойно сидел за столом и писал. А потом она запела и в его повести; она подгоняла Темникара в решающие минуты, толкала его вперед, понуждала вынести решение, действовать, вступить в бой и принять смерть. Неужели она в самом деле предрекает гибель?

— Еще! — мальчуган опять взмахнул рукой.

И вновь запела труба.

— Как проникновенно она звучит! — сказал Петер Майцен. Его снова бил озноб, и, раздосадованный своим состоянием, он вступил в спор с самим собой: «Какая гибель? И какая тут может быть связь?.. Что общего между этим стариком и Темникаром? Что общего между Темникаром и Чрнилогаром? Между Чрнилогаром и этим стариком?.. Хотя нет! Здесь есть связь, должна быть связь! Чрнилогар наверняка слышал трубу, но промолчал. Почему промолчал? И почему не велел мне идти в Тихий дол?.. Странно!.. Пожалуй, сейчас все это прояснится. Все. И гордая печаль Яворки станет понятной».

— Еще! — просил мальчик, размахивая рукой.

В третий раз запела труба.

«Что за глупости! — покачал головой Петер Майцен, потому что недоброе предчувствие опять кольнуло его.— Что здесь прояснять? Дело ведь яснее ясного, наверно. Дед учит внука играть на трубе. И чтоб не мешать домашним, они ушли в виноградник. Вот и все!.. Нет, не то! Проклятое наваждение! Все подозрительно, все важно, все взаимосвя-

занно, все загадочно! Хватит! По крайней мере, на сегодня!.. Перекинусь словом со стариком, поиграю с мальчиком, приду в себя, успокоюсь, а потом домой — и за стол!»

— Еще! — твердил мальчик.

— Да ведь я уже три раза сыграл! — старик ласково погладил кудрявую голову мальчика.

— Ну ладно, тогда пойдемте в погребок и расскажите сказку,— сказал мальчик, взял трубу и уже повернулся, собираясь идти.

— Добрый день! — громко поздоровался Петер Майцен и шутливо добавил: — Так это вы тут трубите?

Старик и ребенок, можно сказать, почти совсем не удивились при виде незнакомого человека.

— Мы,— не спеша подтвердил старик,— мы трубим...

— И уже долгонько трубите! — шутливо продолжал Петер Майцен.

— Долгонько...— грустно улыбнулся старик, словно оправдываясь.— Долгонько. Уже три дня...

— Да ну? — удивился Петер Майцен, не зная, как понимать его ответ.

— Три дня!..— вздохнул старик.— Что поделаешь... Хотите пропустить стаканчик?

— Можно,— согласился Петер Майцен, только сейчас почувствовав, что у него пересохло в горле.— Вам тоже это не помешает, раз вы три дня трубите! — добавил он с улыбкой.

— Три дня, три дня! — кивнул головой старик.— Что поделаешь, так уж это!.. Ну теперь иди! — обратился он к внуку.— И не бойся!

— А я и не боюсь! — с обидой ответил малыш.

— Чего ему бояться? — спросил Петер Майцен.— У меня тоже вот такой мальчик.

— Ну вот видишь! — старик ободряюще потрепал ребенка по плечу.— Вот господин тоже папа. И мальчик у него есть.

— А девочка? — заинтересовался мальчуган.

— И девочка есть.

— Как у нас,— кивнул дед.— Только она не дома. Нет ее дома. Мы ее к дяде отправили. А сами уходим в виноградник... Что поделаешь!..

— Играть его учите?

Старик грустно улыбнулся.

— Нет,— ответил он, снова кладя свою большую ласковую ладонь на голову внука.— По правде говоря, он меня учит. Так-то... Малец сам играет и просто помешался на трубе. Уж и клапаны перебирает, только дыхания пока не хватает. Но дыхание придет. Верно, Янкец?

— Так тебя Янкецем зовут?

— Янкец он, Янкец,— сказал старик, обнимая внука.— Янкец Блажич... Я тоже Блажич. Конечно, старый Блажич. А средний дома. Лежит...

— Больной?

— Больной, больной!.. Что поделаешь, так уж это!.. Ну пойдем в погребок!

Петер Майцен хотел было проститься с ними, но ему вдруг почему-то стало жаль старика, а еще больше мальчугана, серьезного и грустного не по возрасту. Он подыскивал подходящее слово, но, так и не найдя его, протянул руку:

— Ну-ка покажи мне эту мою трубу!

— Труба папина! — решительно возразил Янкец и посмотрел на деда.

— Покажи, покажи! Ведь господин не съест ее!

Петер Майцен взял в руки трубу и внимательно осмотрел ее, хоть

ничего не понимал в музыкальных инструментах. Он знал, что выглядит смешным, но не выпускал трубы из рук — его не покидало ощущение, что она на самом деле таит в себе печаль и что именно эту трубу слышал Темникар.

— Старая она, старая!.. — заговорил дед.

— А как ее зовут?

— Крылатый рог,— тотчас отозвался Янкец.

— Далеко ее слышно. Даже в Черном логе! — сказал Петер Майцен и посмотрел на старика.

— В Черном логе слышно? — воскликнул Янкец и схватил трубу. — Дедушка, сыграйте!

— Что ж тут удивительного! — спокойно ответил старик.— Труба есть труба... Потому ее и в армии держат... И в Судный день труба, говорят, заиграет...

— Только если вы будете играть на ней, то Чрнилогар ее не услышит,— с ударением сказал Петер Майцен и улыбнулся.

— Почему не услышит? — спросил мальчик.

— Сегодня он уже ее не слышал,— Петер Майцен обращался к старому Блажичу.— И диву дался, когда я сказал, что слышу.

Старый Блажич ничуть не удивился.

— Наверно, привык уже,— невозмутимо протянул он.— Знаете, ведь ухо постепенно привыкает... Или он глуховат. Может и такое быть, хотя ему не так уж много лет. Сколько? Пятьдесят. Всего-то и есть!.. Что поделаешь!.. Со временем все становится хуже. У одних раньше, у других позже; у одних — то, у других — се. Я, к примеру, хорошо пока слышу. Совсем неплохо слышу, слава богу! А вижу похуже... Ну-ка, Янкец, погляди, окошко еще закрыто...

— Закрыто, закрыто! Я уже смотрел,— ответил Янкец, вкладывая ему в руки трубу.

— Да, мы вон там живем,— старик повернулся к Петеру Майцену, указывая трубой на дом с красной крышей.

— Красивый дом.

— Дом-то?.. Красивый, конечно, красивый...

— Видно, горел.

— Горел, конечно, горел... Что поделаешь, так уж это...

— Во время войны?

— Во время войны, конечно, во время войны... Что поделаешь!..

— Дедушка, поиграйте!

— Сейчас..

— Ну, пожалуйста!

Старый Блажич облизнул губы и поднял трубу. Набрал в грудь воздуха, но не издал ни звука. Повернувшись к Петеру Майцену, он показал взглядом на внука и тихонько шепнул:

— Не сердитесь, сударь! Ребенок есть ребенок!..

Петер Майцен вопросительно посмотрел на него, но тот уже держал мундштук у губ и зажмурил глаза.

— Давайте! — громко скомандовал Янкец и взмахнул рукой.

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

запела труба.

«Она в самом деле звучит печально или это душа моя отзывается печалью? — спросил себя Петер Майцен.— Ну, ладно, пусть дело во мне, и конец! Только хотелось бы мне знать, почему я должен сердиться? И почему они играют три дня? И почему окно должно быть закрыто? Или все это старческие причуды? Не понимаю. Ничего не понимаю.

В самом ли деле он старый и дряхлый или все его внимание поглощено одной мыслью и она ни на миг не отпускает его?.. Странно! Чрнилогар болтлив и любопытен, как старая баба, а этого старика вовсе не интересует пришлый человек — кто он, откуда появился и что делает в этой глуши».

Петер Майцен огляделся вокруг. Взгляд его остановился на омуте. Яворка уже была там. Она стирала; намочив в воде простыню, она свернула ее и начала бить по белым мосткам. Потом вдруг выпрямилась и посмотрела в их сторону. «Будто слушает. И кто знает, что труба пробуждает в ее душе?» — подумал Петер Майцен. О ней тоже ничего не удалось выяснить. По крайней мере, здесь... Но что же надо выяснять? Она прижалась в лесу к дереву и не захотела разговаривать. Что тут таинственного?

«Верно, самое таинственное сегодня — это мое утомленное воображение!» Он поглядел на небо, опять увидел белое облако. И так обрадовался, что чуть было вслух не приветствовал его. В удалявшихся звуках трубы звенела печаль, но теперь в ней звучали какие-то ласковые ноты. «Впрочем, и облако лишь моя фантазия наделяет смыслом,— усмехнулся он,— тем не менее я рад. Какую надежду несет оно с собой? Что я начну работать? Конечно, оно велит мне идти домой и садиться за стол. И я пойду. Сейчас же пойду. Только вот в погребок загляну и распрощаюсь».

— Еще! — сказал Янкец.

— Да ведь я уже три раза сыграл,— ласково возразил дед, возвращая ему трубу.

Они спустились вниз по винограднику. Старый Блажич несколько раз останавливался, чтобы подвязать лозу к колышку или взвесить на ладони гроздь. Янкец шел осторожно, не выпуская из рук трубу, Петер Майцен смотрел на Тихий дол, и всякий раз его взгляд задерживался на омуте, где большим цветком покачивалась Яворка.

— Чудесная долина! — сказал он.

— А, долина?.. — задумчиво переспросил старик.— Чудесная долина, конечно, чудесная долина...

— Кругом спокойно, чисто, красиво: луг, речка, омут и этот косматый граб.

— А, граб?.. Граб тоже красивый, конечно, красивый граб...

— И девушка тоже ничего! — озорно произнес Петер Майцен и улыбнулся.

— А, девушка?.. — так же задумчиво повторил старый Блажич, не обращая никакого внимания на окружающее.— Девушка тоже ничего, конечно, ничего...

«Совсем не в себе старик,— подумал Петер Майцен.— Видно, забыл уж, что посулил мне стаканчик. Может, проститься?»

Но он никак не мог подобрать подходящих слов, и прежде чем сообразил, что сказать, они уже подошли к дому.

— О, да ведь это мой погребок! — начал Петер Майцен с наигранным оживлением.— Совсем недавно я смотрел на него из долины. Он так приветливо улыбался мне со склона.

— Приветливо, приветливо...— кивал старый Блажич. Он совал толстую руку в трещины стены, под низкую соломенную кровлю, за косяк и под порог и все время чуть слышно напевал:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

— Ключ ищете? — спросил Петер Майцен.

— Ключ, конечно, ключ...

— Он в двери.

— А, в двери?.. Да, ведь это я сам в двери его оставил! — глубоко вздохнул старик и неуверенно покачал головой.— Ну, что поделаешь!..

Он медленно отворил тяжелые, окованные двери, пронзительно заскрипевшие в проржавевших петлях. Изнутри повеяло приятной прохладой, напоенной винным ароматом и запахом плесени.

Петер Майцен сел на порог.

— Сюда! Сюда! — приглашал старик внутрь к старинному прессу, где стояли две низенькие треногие табуретки.— Вон на ту садитесь! Это моя. Я там сижу. А Янкец на пороге. Верно, Янкец? — ласково обратился он к мальчугану и, подойдя ближе, опять погладил его по кудрявой голове.— Да, вот так-то: я сижу в углу, а Янкец — на пороге. Чтобы дом было видно. Я-то уж плохо вижу... Да ведь я это уже вам говорил!.. Что поделаешь... Ну-ка, Янкец, погляди, закрыто ли окошко?

Янкец посмотрел в сторону дома и скучающим голосом сообщил:

— Закрыто, закрыто.

— Закрыто, закрыто...— бормотал старый Блажич. Он взял стоявший на прессе щербатый майоликовый кувшин и медленно подошел к бочкам с вином. Послышался глухой удар — старик выбил затычку. Потом, задержав дыхание, он по трубочке потянул вино из бочки. Вино полилось в кувшин, а старик негромко затянул:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

Янкец сидел на пороге, держа трубу на коленях.

— Значит, твой папа играет на трубе? — спросил Петер Майцен.

— Папа играет. Только сейчас не играет,— ответил мальчуган.

— А почему?

— Потому что у него больше нет дыхания.

— Так тяжело болеет?

— Тяжело болеет, тяжело,— донесся из полутьмы голос старика,— что поделаешь...

— Но ведь он выздоровеет,— сказал Петер Майцен.

— Нет, не выздоровеет! — покачал головой Янкец.

— Кто это тебе сказал?

— Он сам.

— А что с ним? — Петер Майцен повернулся к старику.

— Чахотка у него, чахотка!..

— Нынче чахотку лечат.

— Лечат? — быстро переспросил Янкец.

— Конечно, лечат.

— А у вас была чахотка?

— Нет, не было.

— Не было? — протянул мальчик и с упреком посмотрел на него, словно хотел сказать: «Зачем же вы тогда говорите?»

— Эх, что поделаешь, так уж это!..— снова заговорил старик. Плеск вина прекратился. Старый Блажич постучал по кувшину и забормотал: — Ну, теперь довольно!.. Сколько нальется, столько и выпьется...

Он с шумом забил затычку и не спеша вернулся на свое место. Потом взял грязный стакан, повертел в нем толстым пальцем, подул в него, вытер о штаны и, поставив перед Петером Майценом, стал наливать. Вино струилось плавной дугой; цветом оно напоминало чуть разбавленную водой кровь.

— Пейте!

Петер Майцен выпил и отставил стакан.

— Кислое. Что поделаешь, раз солнца нет!..— сказал старик, опускаясь на табуретку. Он молча налил себе и тоже выпил. Рука у него слегка дрожала, красная струйка потекла по небритому подбородку. Осушив стакан, он поставил его перед Петером Майценом и, опершись локтем о колено, уставился прямо перед собой.

Молчание становилось тягостным. Не зная, что сказать, Петер Майцен опять повернулся к мальчику.

— А папа тебя иногда носит на плечах?

— Нет,— отрицательно качнул головой мальчик.— Давно не носит.

— А мама?

— Мамы нет дома.

— Нет дома, мамы нет дома...— забормотал старик.

— Давно уж нет! — вздохнул мальчик.

— Давно нет, давно нет!..— вздохнул дед.— Что поделаешь, так уж это!..

— А куда она уехала? — спросил Петер Майцен.

— Уехала... Уехала...— Блажич развел руками.— Что поделаешь, уехала... Пейте!..

И снова воцарилось молчание. И снова стало горько Петеру Майцену.

— А у вас только один сын?

— Что, сын?.. Четверо у меня было, четверо! — качал головой старик.— Да троих уж нет!..

— Погибли?..

— Погибли, погибли!.. Что поделаешь, так уж это!..

— Нет, не так! — вдруг сказал мальчик.— Они сгорели.

— Сгорели, сгорели!..— вздохнул старик и наполнил стакан.— Что поделаешь!.. Пейте!

Петер Майцен выпил и подождал, пока старик последует его примеру. Он ожидал, что старый Блажич расскажет подробнее о своих сыновьях, но тот молчал.

— А когда это случилось? — спросил Петер Майцен.— Когда дом сожгли?..

— Тогда, тогда...

— Как же это было?

— Как?.. Они домой пришли, а их окружили. Они не захотели сдаваться, и дом подожгли... Впрочем, откуда мне знать? Меня еще раньше взяли. Как ребята ушли в лес, меня сразу же на Раб * отправили. Мать дома одна осталась.

— И бабушка тоже сгорела,— добавил Янкец.

— Тоже, тоже!..— вздохнул старик.— Что поделаешь, так уж это!.. Пейте!..

— Когда ж это произошло? В каком году? — помолчав, спросил Петер Майцен.

— В каком году?.. В сорок третьем. В сочельник.

— В сочельник! — вырвалось у Петера Майцена.

— Да, в самый сочельник... Ребята пришли домой мать проведать, поесть да обогреться. Сами знаете, родной дом есть родной дом, и у родной матери всегда что-нибудь вкусненькое припрятано... Ну, а их окружили и дом подожгли... Так мать и погибла с тремя своими сыновьями... А вот того, что лежит сейчас больной, самого младшего, с ними не было. Он был связным и ходил куда-то в Приморье... Ну вот, теперь ему тоже конец! — тихо вздохнул он. Потом нагнулся к Петеру Майцену и чуть слышно шепнул: — Кончается он... кончается...— Он провел рукой

---

* Концентрационный лагерь на о-ве Раб, где оккупанты содержали заложников из гражданского населения.

по лицу и произнес обычным тоном: — Ну-ка, Янкец, взгляни, закрыто ли еще окошко!

— Закрыто,— отвечал мальчик.

— Закрыто...— бормотал старый Блажич, наливая стакан Петеру Майцену.— Пейте!.. Что поделаешь!..— И, взяв майоликовый кувшин, снова пошел к бочкам. Вновь раздался глухой удар — вылетела затычка, вновь зажурчало вино, вновь он постучал по кувшину и сказал самому себе: — Ну, сколько нальется, столько и выпьется! — и вновь негромко запел:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

Петер Майцен решил все же уйти, хотя и понимал, что это неудобно.

— Ну ладно, мне пора домой,— произнес он и встал.

— Куда вы спешите? — почти с испугом спросил старик и подошел к нему с кувшином.— Ведь вы же сказали, что отдыхаете?

— Верно. Но отдых отдыхом, а работа все же у меня есть.

— Ясное дело, у каждого человека своя работа, у каждого,— кивнул старик, наливая.— Каждый человек должен работать, до самой смерти работать... А чем вы занимаетесь, смею спросить?

— Пишу немного.

— А, пишете?.. Значит, так сказать, у вас свое писание?.. Вы чиновник, да? — спрашивал он, не проявляя, однако, особого любопытства. Видно было, что говорил он лишь для того, чтоб удержать собеседника.— Да, сейчас все пишут... Что поделаешь... Пейте!

— Спасибо, спасибо! Я промочил горло.

— Ну еще немного выпейте!.. И садитесь!.. Янкец, пригласи господина сесть.

— Садитесь,— безучастно произнес Янкец.

— Ну вот видите. Садитесь же! — повторил старик.

Петер Майцен сел, но, не выдержав мучительного чувства неловкости, снова встал и подошел к мальчику.

— Хочешь, я тебя покатаю?

— Хочу,— ответил тот без всякого оживления.

— Как тебя папа катал? На плечах?

— На плечах тоже.

Петер Майцен посадил его на плечи. Несколько раз пронес туда и обратно мимо погребка, потом пошел по тропинке вниз. Однако Янкец остановил его:

— Пойдем обратно. Тетя идет.

Петер Майцен оглянулся и увидел женщину в черном платье, которая недавно разговаривала возле омута с Яворкой.

— Как твою тетю зовут? — спросил он.

— Тетя Минка.

— А как зовут ту тетю, что стирает?

— Тетя Змага.

— Она тоже твоя тетя?

— Нет,— коротко ответил мальчик.— Пойдем обратно!

Женщина подошла ближе. В левой руке она несла корзинку, в правой — бочонок.

— Ты куда забрался, Янкец? — закричала она издали.

— Господин со мной играет.

— Вы откуда? — спросила женщина, подойдя совсем близко.— Не из Черного ли лога?

— Как вы угадали? — удивился Петер Майцен.

— Да так. Слыхала... Спасибо, что поиграли с малышом, бедняжкой нашим!

— А папа спит? — спросил Янкец.

— Спит...— тихо ответила женщина, отворачиваясь и исчезая в погребке.

Петер Майцен прошел по тропинке и повернул назад. Проходя мимо двери, он услыхал отголоски разговора.

— Чиновник он, чиновник,— говорил старый Блажич.

— Какой там чиновник! — возразила женщина.— Истории он пишет.

— А, истории пишет?

— Пишет. О наших бы тоже написал, если б знал! — вздохнула женщина.

— Чего ж тут писать? — протянул старик.— Трое ребят пришли домой к матери, их окружили, вместе с матерью они и сгорели в доме. Это страшно, какая же это история.

— А что ж такое, по-вашему, истории?

— Истории есть... истории... В историях должны великие дела происходить!

Петер Майцен опустил мальчика на землю. Янкец взял его за руку, повел в погребок и сунул в руки стакан.

— Папа потом всегда вино пьет,— объяснил он.— А вы тоже запыхались.

— Пейте, пейте, пожалуйста!.. Кислое оно, да что поделаешь! — воскликнул старик.

Женщина посадила Янкеца на приступку и поставила ему на колени тарелку с яичницей.

— А папа тоже ел яичницу? — спросил он.

— Тоже, тоже,— кивнула она и погладила его по голове.— Ешь, пожалуйста! — Отвернувшись, она вытерла передником глаза и подошла к Петеру Майцену.— Пишете сейчас новую историю?

— Пишу... медленно...

— Знаете, когда я служила в городе, я много читала. А сейчас уж давно больше не читаю. Некогда. Да и что читать! Если красиво написано — значит неправда, а про плохое читать... не хочется! И потом, книги все-таки для молодых. Молодой человек все подряд читает — и хорошее и плохое, для него все живое. А когда человек станет старше... Эх, чего там, у каждого своя история, чего ж нам еще печатные читать!..

— Верно, у каждого,— согласился Петер Майцен.

— Конечно. Можно даже, наверно, сказать, что человек для того на свете и живет, чтоб свою историю пережить.

— Эх, что поделаешь...— вздохнул старик.— Ты поторопись. Поторопись, чтоб он один дома не оставался.

Женщина взяла бочонок, подошла к бочке и постучала по ней.

— К концу идет, к концу! — заметила она.— А могильщиков всегда жажда томит.

— Сколько нальется, столько и выпьется...— вздохнул старый Блажич и ладонью вытер лоб.

Женщина нацедила вина в бочонок и взяла корзинку.

— Вот так. Теперь я пошла.

— Я тоже домой пойду,— заявил Янкец.

— Да зачем тебе домой? — ласково спросила тетка, гладя его по волосам.

— И мне пора,— сказал Петер Майцен, вставая.

— Куда вам спешить! — воскликнул старик и взял его за руку.— Оставайтесь!.. Янкец, скажи господину, пусть остается.

— Оставайтесь,— спокойно сказал ребенок.

— Оставайтесь! — поддержала их женщина.— Не оставляйте их одних.

Она исчезла. Воцарилось молчание, и в помещении, которое казалось все более и более тесным, почти ощутимо утверждалась печаль. Янкец неподвижно сидел на пороге, старый Блажич смотрел куда-то прямо перед собой, и опять слышалась его песенка:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

«Надо бы что-нибудь сказать,— мучительно думал Петер Майцен.—А что скажешь? Что?» Подобрать подходящие слова не удавалось, вместо них появилось хорошо знакомое чувство собственной немощи и бессилия. Он смотрел на Блажича, на Янкеца и удрученно думал, что сейчас сам он слабее старика и даже ребенка.

Он полез в карман за сигаретами и спичками.

«Впрочем, это единственное, что я умею делать в таких случаях!» — сказал он себе с горьким презрением и изо всех сил чиркнул спичкой по коробку.

Старик, вздрогнув, посмотрел на него. Какую-то долю секунды он, казалось, не узнавал его, но тут же пришел в себя и, грустно улыбнувшись, проворно наполнил ему стакан.

— Пейте!.. Пейте!.. Что поделаешь!..

Петер Майцен принял стакан и выпил его почти залпом. Подержал стакан в руке, заглянул внутрь, словно в тонком, розоватом осадке хотел найти слова бодрости и утешения.

— Да, каждому надо жить,— беззвучно произнес старик.— Каждому надо жить. Каждому!.. И каждому придется умереть. Каждому!.. Что поделаешь, так уж это:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет...

«И чего я не ушел вместе с теткой!» — сказал себе Петер Майцен, но тут же подумал, что уходить некрасиво, некрасиво даже думать об этом. «Но тогда что же мне тут делать? Что сказать старику и мальчику?.. Может, не так уж все страшно. Если б я ушел с теткой, она мне рассказала бы, что, собственно, происходит с молодым Блажичем... И мы встретили бы девушку. Ведь дорога почти наверняка ведет мимо омута. И уж тут пришлось бы ей заговорить. А если кроется здесь какая-то тайна, тетка рассказала бы мне о ней... Да какая может быть тайна? Но даже, если она есть, зачем мне всюду совать свой нос? Разве не хватит мне сегодня тайн? И разве мало у меня забот с Темникаром? Вполне достаточно! Он перерос меня, и теперь я его боюсь».

Старый Блажич с шумом вогнал затычку. И Петер Майцен вздрогнул, словно бы этот удар подтвердил его мысли.

Старик выглянул из тьмы, не спеша уселся на своей табуретке и наполнил стакан.

— Пейте!

— Довольно уже, хватит!

— Или уходить хотите? Конечно, если ждет работа, если спешите...

— Нет, нет, я никуда не спешу! — прервал его Петер Майцен, сам удивившись своим словам.

«Нет, ей-богу, я здесь лишний. Пойду!» — твердо решил он, но не мог заставить себя сдвинуться с места.

— Дедушка, поиграйте! — попросил мальчик, протягивая деду трубу.

— Сейчас? — спросил старик и погладил его по голове.

— Ведь у вас же перевелся дух?

— Перевелся,— кивнул старик и взял трубу.— А как окошко? Закрыто еще?

— Закрыто.

— Закрыто. Конечно, закрыто,— покорно произнес старик.— Ведь тетка еще не вернулась домой.

— Нет еще. Она с теткой Змагой разговаривает,— спокойно ответил Янкец, показывая рукой на долину.

— Сирота,— вздохнул старик, направляясь к своей табуретке.

— Тетя не сирота! — возразил мальчуган.— Ведь у взрослых не бывает пап и мам, только дети бывают сиротами. Я буду сиротой, когда мой папа умрет.

— Нет, нет! — заторопился дед, опять подходя к нему.— Я говорю: тетя Змага сирота.

— Змага? Да ведь она взрослая! — не соглашался ребенок.

— Взрослая? Конечно, взрослая. Но и взрослые бывают сироты. А некоторые на всю жизнь остаются сиротами.

— А я не хочу быть сиротой, когда стану взрослым! — решительно сказал Янкец.

— Конечно, ты не будешь! — согласился дед.

— Я буду парнем, когда стану большим.

— Конечно, будешь парнем. Большим парнем. Парнем что надо!

— А когда будет война, я не пойду в партизаны,— серьезно сказал мальчик.

— О... о... о! — протянул старик.— А ведь ты всегда говорил, что станешь партизаном.

— Я бы стал,— неторопливо рассуждал мальчик,— да только не буду, чтоб мои дети не были сиротами.

— Ох! — всхлипнул старик и покачал головой.— Куда ж ты денешься, сынок? Ведь сейчас такие войны, от них не скроешься. Они повсюду настигнут, повсюду, домой к тебе придут.

Янкец молчал, не сводя с деда широко открытых глаз.

— Что поделаешь! — вздохнул старик.— Видишь, лучше бы вовсе не иметь детей.

Янкец проглотил слюну и ошарашенно спросил:

— Но ведь дети всегда есть. Или нет?

— Конечно, есть. И всегда будут,— подтвердил старик.— Дети всегда будут, слава богу! Только войны больше не должно быть.

Мальчик удивленно смотрел на него, и взгляд его был полон недоверия.

— Дедушка, поиграйте! — снова попросил он.

Старик покачнулся.

— Сейчас,— кивнул он и положил руку на голову ребенка.— Конечно, поиграю.

— Ну давайте!..— мальчик нетерпеливо поднял руки.

Старый Блажич медленно отошел к прессу и с затаенным вздохом опустился на свою табуретку. Осмотрел трубу, словно впервые держал ее в руках. Вытер ладонью мундштук и смочил языком толстые фиолетовые губы. Набрал в грудь воздуха и поднял трубу. Но не издал ни звука. Нагнулся к Петеру Майцену и, понизив голос, повторил:

— Не сердитесь, сударь. Ребенок есть ребенок!

— Конечно, конечно! — с готовностью ответил Петер Майцен. И опять кровь бросилась ему в лицо от поспешности и даже неуместности своего ответа. «И что это сегодня со мной? — спрашивал он себя с досадой.— Почему я не могу по-хорошему поговорить со стариком? Почему не могу найти ни одного бодрого слова для ребенка? Неужели я совершенно впал в отчаянье?»

Старик выпрямился, оперся затылком о трухлявый столб старого пресса, зажмурил глаза, задержал дыхание — труба запела.

Петер Майцен не сводил глаз со старой трубы, странно мерцавшей в полутьме погребка. Звуки ее ударялись в стены, отражались от них, сталкивались, ломались и умирали в растерзанном эхе, которое новые и новые звуки безжалостно пригвождали к земляному полу.

«Это смерть! — содрогнулся он.— Нет, просто случайное совпадение,— пытался он успокоить себя.— Но если это даже чистое совпадение, то весьма странно, ведь я услышал трубу именно тогда, когда вдохновение пропало и меня впервые охватили сомнения и отчаянье. Она обрушилась на меня и настолько выбила из колеи, что пришлось уйти из дому. Она звала меня к себе. Почему? Потому что Чрнилогар не хотел ее слышать. Конечно, из-за Чрнилогара я и пошел в Тихий дол. Иначе не пошел бы! А теперь что есть, то есть. Вначале все шло хорошо. И не без пользы для моей работы: труба перенеслась к Темникару, и я даже радовался этому. Но Темникар — вымысел, а здесь — правда, жизнь. Нет, тут не история, как сказал бы старый Блажич. Для него все, до чего он дожил и что ему довелось пережить, сплошной ужас, а не вымышленная история. Может быть, и о Темникаре он сказал бы, что это сплошной ужас, а не вымышленная история. Господи, а может, это и впрямь не вымысел? Разве ужасы, которые творятся человеком якобы во имя человека и вполне ощутимо для него, не могут быть предметом вымысла? Или человек и человечество воистину начали творить такое, что уже никакому перу не под силу? Неужто и Темникар перешел ту грань? Если это так, значит, он последовал за той же трубой, которая и меня вытащила из дому, чтобы показать мне никогда прежде не виданные ужасы».

Труба смолкла. Последние звуки отразились от стен и постепенно пропали в трепещущем эхе.

Петер Майцен снова видел перед собой старика и мальчика. И снова его болезненно кольнула мысль о том, что он все время соединяет горькую реальность с горьким миром своей фантазии и собственной горечью.

Мальчик осторожно взял трубу из рук старика.

— А теперь расскажите сказку.

— Сказку? — прохрипел дед, опустошая стакан.— Да, конечно.

— А какую, знаете?

— Нет еще,— качнул головой старик и поднял руку ко лбу.— А может быть, господин расскажет сказку?

— Да я ни одной сказки не знаю,— растерялся Петер Майцен.

— Ни одной не знаете? — удивился мальчик, и в глазах его появились сомнение и жалость.

— Ни единой.

— Знаешь, Янкец, господин пишет истории,— сказал старик.— А истории не для детей. Для детей сказки.

— Дедушка! — взмолился Янкец.— Расскажите сказку о пасту́шке и яворе.

Петер Майцен насторожился.

— О пасту́шке и яворе? — пробормотал старый Блажич, не открывая глаз.— А она не слишком грустная?

— Грустная, зато красивая.

— Ну, ладно. Только подожди, я немножко передохну. А ты пока посмотри, закрыто ли окошко.

«О пастушке и яворе? — задумался Петер Майцен.— Я такой сказки не знаю... А может, это сказка о Яворке? Может, старый Блажич тоже видел, как девушка обнимала явор? И, может, он знает, что означает этот явор, раз выдумал о нем сказку?.. Ах, нет! Это невозможно. Опять совпадение.... Но до чего же странное совпадение. Прямо-таки невероятное! Пастушка и явор? Грустная, зато красивая сказка?.. Дождусь-ка ее.

этой сказки. Ведь все равно придется ждать, пока старик проснется».

Он прислонился к стене. Перед его глазами была как бы картина в черной раме, прекрасная и совершенно отчетливая. На высоком пороге, точно на деревянном коне, сидел Янкец. На коленях у него поблескивала труба, и волосы его в прозрачном воздухе тоже казались совсем золотыми. Мальчик был нарисован на фоне пейзажа, пейзажа, лишенного перспективы, как на картинах художников-примитивистов или на детских рисунках. Справа петляла дорога, слева на голом склоне рос дуб. Над головой мальчика во всю длину картины перекинулась широкая розовато-белая дуга: поле цветущей гречихи. Выше нее простиралась поляна, на ней — деревья и среди них дом под красной крышей. В закрытом окне чердака плясали солнечные блики. А надо всем синело небо, и на небе стояло белое облако.

— Облако! — шепнул Петер Майцен, обрадовавшись, как ребенок.— Облако! Я совсем о нем забыл. А оно вернулось. Вот хорошо-то — выдумаешь какое-нибудь знамение и сам в него поверишь.

Он посмотрел на мальчика и на старика, словно облако им тоже должно принести избавление.

«Но ведь это мое облако! Оно несет в себе надежду, что я все-таки закончу повесть о Темникаре. И это его облако тоже. Темникар еще жив. Жив. Далеко внизу, под своим облаком, он торопливо шагает в последний свой бой...»

Взгляд Петера Майцена скользнул мимо дома и остановился на поле цветущей гречихи, спокойной и розовой, как снег, освещенный вечерним солнцем. Он смотрел и смотрел, но так и не уловил того мгновенья, когда гречиха и впрямь превратилась в снег и вокруг уже стояла зима.

А посередине заснеженного поля стоял человек — Темникар.

Темникар стоял над осыпью перед Робами, над крутой белой осыпью, неподвижно, как черная статуя, как нечто извечное и вместе с тем рожденное сегодня, как нечто неодушевленное и в то же время до ужаса живое, как может быть живым человек, который знает, что волею судьбы через несколько часов будет мертв. Его резко расчерченное морщинами лицо было серым, как камень, и, как камень, неподвижным. Лишь во впадинах глаз пылали жаркие огоньки: в них отражались Брезы, отражался покрытый снегом, сверкающий на солнце купол горы.

Он решительно покачал головой и зажмурился, а открыв глаза, снова перевел взгляд с ровных заснеженных покосов в долину, где по тому берегу реки проходила граница света и тени.

— Скоро час! — твердо произнес Темникар.— Хорошо я шел. И теперь, можно сказать, достиг цели. Выйти еще на тропу — и я на месте.

Он запыхался, по спине струйками стекал пот. Хотел было хлебнуть из баклажки, но раздумал: «Нет! Надо идти, чтоб кроты псоглавые меня не обогнали!»

Он повернул влево, думая по осыпи добраться до тропы, что пересекала скалы и вела к Чарьевой пещере. Хватался за камни, за стебли сухой травы, за кусты, за корни. Его жесткие ладони были разбиты и ободраны в кровь, но так затвердели от холода, что боли он не чувствовал. Да и мысли его были слишком далеки от этого. Одна мысль сверлила мозг: как бы Мартин со своими подручными не опередил его. Она подстегивала как бич. Давно уже не испытывал он такой легкости, такого прилива сил.

«Вы хорошо несете меня, старые кости, хорошо! Вот так бы и дальше, и мы их обставим!» — подбадривал он себя.

Он был уже недалеко от тропы, как вдруг замер на месте.

«Нет, с этой стороны нельзя, отсюда Мартин поведет своих кротов псоглавых. Они увидят мои следы и все будет напрасно».

Вернувшись обратно по собственному следу, он стал размышлять, откуда лучше подобраться к тропе.

«По скалам! — внезапно озарила его догадка.— По скалам, как, бывало, я взбирался к пещере, когда был пастухом».

Ему и в голову не приходило, что четырнадцатилетний подросток не чета семидесятилетнему старику. Ни на секунду не усомнился он в том, что сможет взобраться. Нашел место, где взбирался когда-то, и начал подъем. А вскоре уже достиг первого уступа и присел отдохнуть. Уступ был узким, вроде бы даже стал чуть уже, чем в годы его юности, и в памяти вдруг ожили былые страхи:

«А что будет, если свалишься?»

«Если б тогда свалился, тебя давно бы уже не было! — ответил он самому себе и теснее прижался к скале.— А теперь падать нельзя. Ни в коем случае! Упаду — погибну не только я, погибнут все, кто в пещере. Ну-ка, вперед!»

Собрав всю силу в руках, он подтянулся, взобрался на второй уступ и снова передохнул. Дважды он еще отдыхал и вскоре благополучно достиг тропы.

— Ну, слава богу! — вслух произнес он и сел в снег. Потянулся к баклажке и сделал два больших глотка. Вытер усы, огляделся.

«Что ж теперь? — хмуро вопросил он себя.— Где мне их ждать? И как сделать, чтоб они первыми не уложили меня? Ведь их пятеро!»

«Юстин Гачник тоже был один, а управился с девятью!» — последовал ответ; он вспомнил о знаменитом контрабандисте, голыми руками справившемся с девятью стражниками на границе: подстерег на узкой тропе возле Великой гла́вы и друг за другом отправил к ее подножию. Трое разбились насмерть, и остальным досталось как следует.

«Подожду их у Великой главы,— решил он.— Там можно укрыться. Они меня не увидят и не услышат. Пойдут они гуськом по скалам, пойдут медленно, по одному, потому что тропа узкая и внизу пропасть. А кому не по себе станет, тот поползет на всех четырех. Поползет, как коварный зверь, и я... ударю по зверю!»

Эта мысль придала ему новые силы.

— Ударю по зверю, а не по человеку! — твердо сказал он, вставая.

Надо было быстрее добраться до большой скалы, действительно напоминавшей огромную голову. Темникар шагал уверенно, то и дело повторяя:

— По зверю ударю, не по человеку!..

Он выбрал подходящее местечко за скалой. Утоптал снег вокруг, чтоб ничто не мешало двигаться. Прислонился к скале. Потянулся к баклажке и выпил.

— Пожалуй, хлебну еще, потом уже не придется...— проворчал он, подвесил было баклажку к поясу, но передумал.— Черт искушать станет! — И поставил ее в снег рядом с собою.

Сунул руки в карманы и стал смотреть на освещенные Брезы.

«Около пяти солнце еще будет высоко... к тому времени со всем будет покончено...»

Поглядел в долину. Граница света и тени была уже за рекой.

«Половина третьего...— Он угрюмо вглядывался вдаль.— Где же они, кроты псоглавые? Черепаха и та уж доползла бы!»

Прислушался.

Тишина. Глухая тишина. И такая напряженная, что он невольно нащупал револьвер. Потом не спеша взял топор и по привычке пальцем провел по лезвию. И тут вдруг показалось, будто кто-то стоит за спиной, наблюдает за ним: не враг, а кто-то хорошо знакомый, свой. Он оглянулся. Позади была голая серая скала.

«Один я. Один!.. Сижу в засаде у Великой главы и поджидаю с топором в руке, как тать. Кто увидел бы, глазам не поверил... А ты сам бы поверил?»

Отложив в сторону топор, он взялся за баклажку. Но, не успев приложить ее к губам, замер, затаив дыхание: послышались голоса.

— Идут! — шепнул он и полез за револьвером. Проверил его. Не привык он обращаться с этим оружием, да и не очень ему доверял. Впрочем, если б и доверял, сейчас все равно нельзя было стрелять. «Нет, с этим чертом связываться нечего. Одного свалишь, другие унесут ноги. Топором ударю, топором. По зверю ударю, не по человеку!»

— Теперь, ребята, потише! — донесся из-за поворота скалы голос Мартина.— Зимою далеко слыхать.

— Далеко слыхать,— шепотом повторил Темникар, берясь за топор.

— Ну, затянемся еще разок,— сказал Мартин.— А потом конец, пока не отправим их в Вифлеем.

«Нет, не придется вам больше покурить! — возразил Темникар.— Не придется... не придется...»

— Мартин, дал бы глоточек пропустить,— прозвучал чей-то хриплый голос.— Ведь люди же мы все-таки!

«Люди?» — помрачнел Темникар.

— Моя мать говорит, что нет, хе-хе! — ответил Мартин.

«Верно, не люди! — решительно поддержал его Темникар.— Не люди. Твоя мать права. Бедная! Она всегда слыла разумной женщиной. И в молодые годы была девка не промах. Когда Тилчка умерла, она ко мне все липла. Еще бы немного, и я взял бы ее. И тогда Мартин мог бы стать моим сыном. И сейчас... сейчас я поджидал бы его с топором!.. Господи, откуда такие мысли?.. Ну а все-таки, как бы ты поступил, если б Мартин в самом деле был твоим сыном и находился на другой стороне? — Старик зябко поежился при этой мысли.— До чего я дошел и что только в голову не лезет?.. А могло бы быть и такое!.. Слыхал я, что и такое бывало!..»

— Ну, Миха, ступай вперед! — приказал Мартин.

— Почему я? — хрипло спросил Миха.

— Кто-то должен быть первым. Всем сразу нельзя.

— Кто-то должен быть первым! — шепотом повторил Темникар и встал поустойчивей.

— Знаю я,—ворчал Миха.

— Чего же тогда ноешь? — насмешливо спросил Мартин.— Или уже полумертвых боишься?

— Не боюсь я... только ты чертовски ошибаешься, если думаешь, что они безоружные.

— Конечно, не безоружные,— фыркнул Мартин.— Но ведь сегодня сочельник. Им и в голову не придет, что мы в гости к ним собираемся. Полеживают себе в своей берлоге, а мы к самому входу и подберемся.

— Это еще видно будет,— бурчал Миха.

— Это еще видно будет,— повторил Темникар, словно злосчастный Миха был его союзником.

— Конечно, видно будет! — отрезал Мартин.— Подберемся

к самой пещере. И начнем с гранат. А потом ворвемся — и без пощады...

— Без пощады! — пробормотал Темникар и невольно глянул на холодную сталь своего топора.

— Надо перебить всех до одного!

— Всех до одного! — повторил Темникар.

— Хватит! — отрезал Мартин.— Иди вперед и ни слова больше!

— Ни слова больше! — повторил Темникар, точно этот приказ относился и к нему.

— Тихо! — прошипел Мартин.

— Тихо! — повторил Темникар.

И воцарилась тишина — ледяная, промерзшая тишина.

Руки Темникара железной хваткой впились в рукоять топора. Взгляд вонзился в край скалы. Не было больше мыслей, исчезли чувства. Он ждал лишь, когда появится первая голова. Ждал долго, очень долго, целую вечность.

Наконец показалась голова злосчастного Михи.

— Будь ты самим господом богом, все равно ударю! — Хрип вырвался из груди Темникара, он размахнулся и занес топор. Послышался слабый стон, Миха покачнулся. Темникар схватил его за плечо и рывком притянул к себе, чтоб тот упал у него за спиной. Повернулся, хотел еще раз ударить, но увидел на снегу кровь. Он знал, что бедняга мертв — и в тот же миг у него самого что-то внутри надломилось, словно душа рассталась с телом. Но сейчас не время было думать об этом. Думать надо было лишь о том, чтобы свалить второго так же, как первого. Он не сводил взгляда с края скалы.

— По зверю ударю, не по человеку,— хрипло повторял он.

Появилась вторая голова. Темникар размахнулся. И с каким-то странным удовлетворением почувствовал, что опять попал в цель.

Появилась третья голова. Она была у самой земли, потому что третий полз на четвереньках. Темникар подождал, пока он подползет ближе, и занес топор. Но в эту минуту человек начал подниматься, топор скользнул у него по голове и вонзился в плечо. Раздался истошный крик, и он встал на ноги. Темникар быстро поднял топор и снова замахнулся, но человек покачнулся и полетел вниз.

— Упал! — послышался голос Мартина.

— Упал! — повторил Темникар. Он понял: Мартин решил, будто у третьего закружилась голова и он рухнул вниз. Он почувствовал облегчение, но инстинкт подсказывал ему, что близится самое худшее и вместе с ним и его конец.

— Как и следует... как и следует...— отозвалась его душа откуда-то издалека, из белой ледяной тишины.

Появился четвертый. Темникар занес топор, но рука вдруг замерла: человек увидел его. Это длилось всего мгновение, но Темникар отчетливо разглядел выпученные от ужаса глаза и разинутый, готовый издать вопль рот. Он понимал, что этого нельзя допустить, и быстро размахнулся во второй раз. Однако человек успел повернуться и кинуться назад. Темникар задел его только по спине. Прыгнув вперед, он ударил еще и еще раз. Человек упал. Споткнувшись, Темникар повалился на него.

— Темникар! — раздалось в тишине.

Изумленный и почти нечеловеческий крик словно подбросил его кверху. Шагах в десяти от него стоял Мартин, и вид у него был такой, словно перед ним встало привидение.

— А... а... а!..— прохрипел Темникар и, подняв топор, пошел на него.

— Темникар! Вы с ума сошли! — крикнул Мартин.— Стойте! Стойте!.. Я убью вас! Убью!

— Не убьешь! — хрипел Темникар.

Загремели выстрелы. Темникар увидел вырывающееся из дула пламя. Что-то горячее хлестнуло его по бедру, но он не остановился.

— Стойте! — снова крикнул Мартин и спустил курок. Но, видно, он не успел как следует прицелиться: рука его дрогнула, и пули зарылись в снег под ногами Темникара.— Я убью вас! Убью!..— вопил Мартин.

— Не убьешь! — прохрипел Темникар, напрягая все силы.

Мартин в ужасе выкатил глаза, словно к нему приближалось неуязвимое для пуль чудовище, а не старый Темникар.

— Пощадите меня! Пощадите! — завопил он и повернул назад. Спрятавшись за выступом, он выставил винтовку.— Я убью вас! Убью!.. — визжал он.

— Не убьешь! — хрипел Темникар.

Загремели выстрелы. Пули ушли в пустоту.

Темникар размахнулся и с силой ударил по стволу винтовки, как, бывало, вгонял в скалы стальные клинья.

Мартин, обезумев, завыл.

Темникар был уже перед ним. Вжимаясь в скалу, парень трясся всем телом и всхлипывал:

— Темникар! Пощадите меня!.. Пощадите...

Бросив топор, Темникар взялся за ствол и одним рывком выдернул винтовку из дрожащих рук Мартина.

— Пощадите, Темникар!.. Пощадите!..— визжал Мартин, отбиваясь руками и ногами.

Темникар схватил его в охапку, поднес к краю тропы и встряхнул, как сноп соломы.

— Темникар! — в смертельном ужасе кричал Мартин, судорожно цепляясь за него.— Мы вместе упадем!.. Мы вместе свалимся!.. Вместе упадем!.. Темника...а...ар!

Старик почувствовал, как земля уходит у него из-под ног.

«Конец! — с облегчением подумал он, закрывая глаза. И черная бездна поглотила его. Он падал долго, ударился обо что-то и полетел в какую-то еще более глубокую пропасть.— Конец!» — повторил он, проваливаясь в бездну.

И все же это еще не был конец. На белой осыпи возле Роб он пришел в себя еще раз. Смертельная усталость не давала пошелохнуться. С мукой он раскрыл глаза и увидел Брезы, пылавшие в лучах заходящего солнца.

«Должно быть, скоро пять...» — с затаенной радостью отметил он. Тяжелое, очень тяжелое дело было сделано — это он сознавал, но что за дело и как он его совершил, он не знал, понимал лишь, что дело это хорошее, такое хорошее, что теперь он может спокойно лежать и очень скоро уснет. Он чувствовал, что уснет крепко, грудь его ширилась и наполнялась блаженным покоем, словно Тилчка обняла его и сказала: «Спи, усталый ты очень!..»

Он смотрел на Брезы. Круглая гора ширилась и росла, ширилась и росла, заливая его своим теплым, розовым светом. Он раскрыл изумленные глаза, стараясь охватить взглядом широкие заснеженные покосы, но не смог, потому что они заняли собой все небо.

«Ох, второй год хорошие травы будут!» — удовлетворенно подумал он и закрыл глаза. Сон был где-то уже совсем рядом, так

близко, что он ощущал его мягкую руку, а он так устал, так устал, что едва смог прошептать из последних сил:

— Спокойной ночи, Тилчка...

Петер Майцен вздрогнул и чуть не свалился с табуретки. Старый Блажич, положив руку ему на колено, смотрел на него широко открытыми глазами.

— Умер,— прошептал он.

— Умер,— кивнул Петер Майцен.

— Умер...— повторил старик, и скупые слезы показались на его опухших веках.— Окно открыто.

— Окно открыто,— повторил Петер Майцен, вдруг сообразив, что старик говорит о своем сыне, а не о Темникаре.

— Так мы условились,— шептал Блажич, все ближе наклоняясь к нему.— Когда он умрет, тетка распахнет окно. И сейчас... сейчас...— тряся головой, он показал на склон.

Петер Майцен посмотрел на залитый солнцем дом, проглядывающий из зеленеющих деревьев. На стеклах чердачного оконца уже не плясали блики заходящего солнца. Оно было черным, безжизненным. Петера Майцена пронзила дрожь, словно мимо пронеслась смерть. Молодой Блажич скончался. Петер Майцен встал, но слов не было. Он только протянул руку, чтобы выразить старику свое соболезнование, но тот, очевидно, его не понял. Схватив стакан, он стал наливать вино.

— Дедушка, окошко открыто! — крикнул Янкец.

Кувшин дрогнул и стукнул по стакану, стакан зазвенел и закачался, но старик подхватил его, поставил перед Петером Майценом и зашептал:

— Мы сидели на винограднике, чтоб мальчик не видел.

— Дедушка, окошко открыто! — повторил Янкец, вставая.— Теперь мы пойдем домой?

Старик обнял его и стал гладить своими корявыми пальцами.

— Больно! — повел головой мальчуган.

— Больно!..— прохрипел старик.— Конечно, больно...

В голосе его прозвучали необычные нотки, и внук поднял на него удивленный взгляд. А старик все не отпускал его и все гладил его по голове.

— Дедушка, сыграйте!

Старик медленно взял трубу и оглянулся на Петера Майцена.

— Сыграйте! — мальчик нетерпеливо покрутил рукой.

— Сейчас,— вздохнул дед и улыбнулся.

— Ну, давайте!

Старик провел рукой по глазам, облизнул губы и медленно поднял трубу.

Петер Майцен замер, как пригвожденный.

Старик наклонился к нему и едва слышно прошептал:

— Понимаете, сударь,— ребенок есть ребенок!..

Петер Майцен едва нашел в себе силы кивнуть.

Труба запела. Звуки забили в холодные и темные стены погребка. Они колотились в стены, как колотится в сердце печаль, не видя нигде выхода.

С трудом сдерживал себя Петер Майцен. В его сердце тоже билась печаль. Когда труба умолкла, он подошел к старику и молча взял его за руку.

— Ну вот теперь и мы пойдем,— покорно ответил тот.— Запрем погребок и пойдем.

— Нет! — возразил Янкец.— Еще разок!

Петер Майцен повернулся и опрометью бросился наружу. Он пере-

бежал через дорогу, миновал виноградники. И остановился только возле омута. Яворки нигде не было. На зеленой траве были разостланы белые простыни, и три ивы спешили ему навстречу, как три хмурые тетки, три черные Парки.

И тогда вновь запела труба.

Он оглянулся. Погребок больше не казался ему головкой черноокой дивчины, задремавшей среди зелени, теперь это был огромный череп.

— Смерть! — содрогнулся Петер Майцен и почти бегом поспешил вон из Тихого дола.

VI

Отдышался он только в лесу. Спустился к речке, снял рубашку и умылся. Вскоре он совсем успокоился.

— Вот она, жизнь,— произнес он.— Обыкновенная будничная жизнь. Случай, только необыкновенный. Впрочем, чего в жизни не случается!

Закурив сигарету, он решил больше не думать об этом, расправил плечи и быстро зашагал по дороге. Столбы солнечного света казались уже более блеклыми и более косо падали между отвесными соснами.

У явора, вспомнив о девушке, он остановился.

«Куда она делась?.. Наверно, пошла помочь тетке».

Он погладил гладкий ствол дерева и пошел дальше, но тут же остановился. Впереди, между деревьями, что-то блеснуло. Вглядевшись, он узнал Чрнилогара. С косой на плече тот шел ему навстречу.

— Еще и этот кошмар! — воскликнул он и, быстро сойдя с дороги, укрылся за толстой сосной.

Медленно и почти неслышно Чрнилогар прошел мимо. Сухощавый и костлявый, он и в самом деле напоминал скелет. Туловище его равномерно покачивалось, коса рассекала солнечные столбы. Около явора крестьянин что-то пробурчал, махнул рукой и пошел дальше.

Петер Майцен уже пожалел, что сошел с дороги. Его охватило какое-то злорадное желание встретиться с Чрнилогаром.

«А как бы ты заговорил, увидев, что я был в Тихом доле? И узнав, что я все-таки нашел трубу?»

Он чуть было не выскочил из-за сосны. Но взял себя в руки. «Ладно. Пусть идет. Увидимся еще!»

Подождав, пока Чрнилогар скроется за поворотом, он поспешил домой. И вскоре стоял на перекрестке, откуда начиналась аллея. Как прекрасна была она в лучах вечернего солнца! В конце ее, подобно волшебному замку, белела усадьба. Все окна пылали. И солнечные столбы между соснами сверкали подобно трубам большого органа.

Торжественное волнение охватило Петера Майцена.

И Темникар уже был в аллее. Он шагал, гордо выпрямившись. На пороге его ждала Тилчка. Она была в зеленой юбке и черной блузке. Белые руки прижаты к высокой груди. Но вот она раскинула их в стороны и воскликнула:

— Ты вернулся, Ерней!

— Вернулся.

— Долго же тебя не было!

— Долго.

— И ты все сделал?

— Все!

— Все!.. О Ерней!..

Петер Майцен замер на месте. На пороге стояла Яворка. От неожиданности он так растерялся, что невольно воскликнул:

— Яворка!

Девушка встрепенулась и взглянула на него. Печаль и гнев сменялись в ее взгляде.

«Я проговорился, что видел ее у явора!» — сообразил он.

— Не сердитесь! — забормотал он по-прежнему растерянно.

Девушка соскочила с порога, скользнула мимо него и высокая, стройная медленно пошла по аллее. Ее длинные золотые волосы развевались на вечернем ветерке, подобно боевому знамени.

— Эй! — пронзительный голос толкнул его в спину.

Позади стояла Чрнилогарица.

— Кто это? — указал он вдаль.

— Где? — спросила женщина, вытягивая шею.

Аллея была пуста, Яворка словно провалилась сквозь землю.

— Где? — повторила Чрнилогарица, удивленно поглядев на него и видимо думая, что ему опять что-то померещилось.

Петер Майцен понял ее взгляд и не произнес больше ни слова. Он лишь пожал плечами и пошел в дом.

Чрнилогарица последовала за ним.

— И где вы были? — спросила она.

— В Тихом доле.

— В Тихом доле? — удивилась она.— И видели нашего?

— Видел! И трубу тоже видел.

— И трубу тоже? — разинула она рот.— Чью трубу?

— Блажичеву!

— Блажичеву! И вы были там?

— Был. Молодой Блажич только что умер.

— Умер,— вздохнула она, прислоняясь к косяку кухонной двери.

— Умер,— с невольным злорадством повторил Петер Майцен.

VII

Крепко закрыв дверь своей комнаты, он подошел к окну и посмотрел вдоль аллеи. Она была светла и пустынна.

— Да ведь была же Яворка! — произнес он.— И раз ее не видела Чрнилогарица, значит, она искала меня. Зачем?.. И откуда она знает, кто я и что я вообще здесь? Блажичева тетка сказала? Зачем? Что ей от меня нужно?

Он отвернулся от окна и принялся шагать из угла в угол.

«Еще одно странное совпадение. Теперь Яворка оказалась впутанной в видения Темникара. А может, это оттого, что она стояла на пороге?.. Кто знает! Все возможно!.. Но оставим и Яворку, и видения. Ведь я пишу реалистическую повесть. И сейчас реалистичнее всего сесть за стол и приняться за работу».

Он сел за стол и придвинул пишущую машинку. Написал каких-нибудь пять фраз и стал их править и переиначивать, хотя прекрасно понимал, что ни одна из них никуда не годится. Но он заставил себя сидеть и мучиться до тех пор, пока не позвали к ужину.

Ужинали в кухне. Чрнилогар понуро сидел в углу, низко опустив голову, и громко хлебал. Чрнилогарица хлопотала возле печки и часто вытирала передником лицо. Петер Майцен чувствовал что-то неладное. И пожалел о том, что не попросил приносить ему еду в комнату.

Молчание явно тяготило хозяев. Да и Петеру Майцену было не по себе, поэтому он спешил покончить с едой.

Чрнилогарица поставила перед ним чашку с кофе, вытерла лицо и спросила:

— Теперь вы знаете, как он их побил?

— Кто? — недоуменно спросил Петер Майцен.

— Тот крестьянин, о котором вы пишете. Я говорю: теперь вы знаете, как он побил этих белогвардейцев?

— Знаю,— коротко ответил он.

Помолчав, Чрнилогарица спросила:

— Ну и как?

— Четырех уложил топором, а с пятым вместе бросился вниз, в пропасть.

— Ой! — разинула рот женщина.— Зачем же он бросился в пропасть? Или тот потянул его за собой?

— Нет!

— Зачем же тогда?

— Затем, что бросился. И затем, что так должно было быть. Больше я вам ничего не могу сказать.

Чрнилогарица помолчала и спросила дрогнувшим голосом:

— И что было потом? Что было с его домашними?

— Дом сожгли, сына и дочь убили, а жене на колоде отрубили голову.

Женщина вскрикнула и посмотрела на мужа:

— Слыхал?

— Слыхал,— пробурчал Чрнилогар и смерил ее исподлобья таким взглядом, словно бы не возражал, если б ей тоже отрубили голову.

— Жутко-то как! — содрогнулась она.— Знай он, что так будет, не пошел бы.

— А он знал,— возразил Петер Майцен.

— Знал? — удивилась она.— Как он мог знать?

— Знал. И не только знал, даже видел собственными глазами, как это произошло. На пути к скалам он вспомнил о доме. И спросил себя, что станет с его домашними, когда он перебьет белогвардейцев... и перед глазами у него сразу встала картина казни и пожара.

Женщина, не сводя с него глаз, вытерла губы.

— Он даже чуть не вернулся,— продолжал Петер Майцен.— Думаете, это невозможно? Многие, собиравшиеся совершить подвиг, пугались и возвращались домой.

Женщина отвернулась к печи.

Чрнилогар громко откашлялся, вздохнул и сказал:

— А он несмотря ни на что пошел...

— Несмотря ни на что...— кивнул Петер Майцен.

— Хм, такое дело,— почесал подбородок крестьянин.— Разные люди бывают.

«Хм,— подумал Петер Майцен.— Что-то у них есть на душе. Кто знает, что... Может, Блажичи? — вдруг пришло ему в голову.— Нет! — отогнал он эту мысль.— Я два раза наводил разговор на Черный лог, а старый Блажич и бровью не повел... Может, сам не знает?»

Он посмотрел на хозяина и мимоходом бросил:

— Вечером прощаться пойдете?

Муж и жена переглянулись.

— Может быть, и пойдем,— ответила женщина.

— Хм, такое дело,— произнес крестьянин.— Может, и пойдем.

— Я бы тоже пошел,— сказал Петер Майцен.— А сейчас попытаюсь поработать, а то весь день пропал. Я не помешаю вам, если буду печатать ночью?

— Нет, нет!

— Спокойной ночи!

Петер Майцен вернулся к себе в комнату, радуясь, что наконец-то

остался один. Но радость его длилась недолго. Едва он подошел к столу и кинул взгляд на свои бумаги, как его тут же охватила хорошо знакомая тоска. Новым было лишь чувство смутной тревоги, которой он прежде не знал.

«Полчаса отдохну! Успокоюсь и соберусь с мыслями!»

Он закурил сигарету, сложил за спиной руки и зашагал из угла в угол, как узник в одиночной камере. Но спокойствие не приходило. Холодный камень на душе становился все тяжелее и тяжелее, неведомая тревога перерастала в страх, какой появлялся в детстве, когда в темноте приходилось возвращаться мимо кладбища.

«Эх, ну чего я с ума схожу! — разозлился он на себя.— Это все сегодняшние переживания. Надо как-то позабыть о них. Позабыть о старом Блажиче и Янкеце. И о трубе. Да, прежде всего о трубе — ведь именно она виновница всех моих сегодняшних переживаний, всех встреч и мыслей о смерти... Но труба теперь есть и у Темникара, ей еще придется петь... Как? Снова труба!» — встрепенулся он и прислушался.

Тишина. За окном слышалось лишь затаенное дыхание ночи.

«Нет, сейчас это в самом деле был прислух! — с облегчением вздохнул он.— Она поет в моей голове. Не может сейчас трубить старый Блажич. Никак не может!» Отогнав эту мысль, он отчетливо увидел перед собой окутанный тьмою Тихий дол, погребок, похожий на череп, черный омут, черный граб и белые простыни, расстеленные на черной траве, увидел черные ивы, черный дуб на склоне, серый пояс цветущей гречихи, черные деревья и среди них дом Блажича, а перед домом — старика, посылавшего во тьму свою печаль.

«Нет, нет! Об этом я вообще не должен думать!.. Сейчас я должен думать о Темникаре, и только о Темникаре!..»

Призвав на помощь всю свою силу воли, он посмотрел в окно. Ночь, хотя и безлунная, была достаточно ясной и светлой, можно было различить стволы деревьев и серую пустынную аллею... Но аллея не была пустынной — по ней быстро приближалась черная фигура.

«Яворка?» — догадался он, узнав стройный стан и легкую, летящую походку. Он напряг зрение, но что это: девушка не приближалась, наоборот — она быстро уходила прочь, а потом вдруг вовсе исчезла, словно бы растаяла. И все это длилось одно мгновение.

«И это тоже видение?» Он протер глаза и опять посмотрел в окно. Снова на аллее показалась черная фигура: она то приближалась, то удалялась и таяла. И снова все продолжалось мгновение.

«Что же это такое?» — спросил он себя. Он не сводил глаз с аллеи, но тщетно: аллея была пустынной, все тени оставались неподвижными.

— Привиделось, привиделось,— зашептал он, отворачиваясь от окна.— Устал я. Самое разумное сейчас лечь и попытаться уснуть.

Он стал было раздеваться, но передумал. Он боялся ночи, хоть не желал в этом себе признаться.

«Нет, надо работать! Надо!» — убеждал он себя, садясь за стол. Он прочел то, что написал перед ужином. Фразы рассыпались, слова были глухие и вымученные, бесцветные и невыразительные — без тени поэзии,— мертвые, чужие. Он взял карандаш и принялся править, но вскоре им овладело отчаянье.

— Нет, нет и нет! — подавленно качал он головой.— Не идет!.. Все выглядело таким ясным и законченным, а теперь... Что тому виной? Странная обстановка? Унылый мужик?.. Или его жена...

Петер Майцен вздрогнул — в дверь словно бы постучали. Он выжидал. Постучали громче, и дверь медленно отворилась, прежде чем он успел произнести хоть слово.

— Яворка! — воскликнул он, и его точно подбросило со стула.

В дверях стояла девушка, спокойная и прекрасная, а тем временем комната наполнялась необъяснимой печалью.

— Пожалуйста, входите,— сказал Петер Майцен. Он попытался улыбнуться, но не смог.

Яворка приложила палец к губам и тихо закрыла дверь. Потом подошла к нему и молча протянула руку; ладонь у нее была мягкая и теплая, а взгляд — ясный, хотя в нем застыла грусть.

— Вы искали меня? — спросил он.

Девушка вытащила из большого, пришитого к юбке кармана тетрадку и карандаш, присела к столу и начала быстро-быстро писать.

— Она немая! — невольно вырвался у него громкий возглас.

Яворка подняла голову и грустно кивнула.

Петер Майцен, окаменев, ждал, что она напишет.

Она встала и протянула ему тетрадку.

«Мне отрезали язык,— прочел он.— Вырезали звезду. Вы увидите. Тетка Блажичева рассказала мне, что вы пишете истории. Вы приехали в самое время. Я все вам расскажу, чтоб вы написали и мою историю. Змага Горьянец».

Петер Майцен не мог, в полном смысле слова, не мог поднять глаз. Он читал и перечитывал написанное и лишь спустя некоторое время поднял голову.

Девушка стояла в двух шагах от него. Выпрямившись, она обеими руками широко распахнула блузку: на белой сильной груди и на стройной шее отчетливо виднелись шрамы в виде пятиконечной звезды.

Петер Майцен замер, только сердце его громко стучало.

Яворка закрыла грудь. Взгляд ее говорил, что она ждет ответа. А он не знал, что сказать, не было слов. Она подошла ближе, взяла тетрадку из его рук и быстро написала:

«Говорите! Ведь я слышу!»

— Говорите! Ведь я слышу! — тихо прочитал Петер Майцен.— Говорите! Ведь я слышу,— повторил он. Но слов не было. Он молчал.

Яворка не сводила с него глаз, становилось все более и более тяжко. Потом в ее больших глазах отразились разочарование, печаль, гнев и даже презрение. Она выхватила тетрадку из его рук и стремительно повернулась к двери.

— Яворка! Змага!..

Не оглядываясь, она закрыла за собой дверь.

Петер Майцен не пошел за ней, он снова почувствовал, какой он рядом с нею мелкий и жалкий. Он подошел к окну и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Вскоре Яворка появилась на аллее. Быстро, точно на невидимых крыльях, удалялась стройная черная фигура.

— Ушла!..— вздохнул он, когда она скрылась меж черных стволов.— Ушла! — повторил он, глядя пустыми глазами на пустую аллею.

VIII

Петер Майцен не знал, как долго он глядел в ночь, а оторвавшись в конце концов от окна, понял, что больше не напишет здесь ни единого слова.

— Конец! — подавленно пробормотал он, хорошо зная это особое чувство. Он оглядел комнату: она казалась такой чужой и мрачной, что он готов был бежать отсюда сейчас же.

«Самое разумное собраться и уехать,— сказал он себе.— Но почему Почему?» — спрашивал он себя, полный отчаянья и досады, шагая из угла в угол.

В дверь снова постучали, и он замер на месте, затаив дыхание.

«Яворка! Вернулась! Что я ей скажу?» Его охватило такое волнение, что он даже не ответил на стук.

Дверь медленно отворилась, и вошел Чрнилогар.

Петер Майцен стиснул зубы: чаша терпения переполнилась, надо, не мешкая, собираться и уезжать. И, должно быть, взгляд у него был такой свирепый, что крестьянин остановился на пороге.

— Не сердитесь...— заикался он, почесывая свой костлявый подбородок,— не сердитесь, если я вам помешаю...

— Вы знаете Змагу Горьянец? — выпалил Петер Майцен.

— Змагу Горьянец?..— переспросил хозяин и посмотрел на него из-под косматых бровей.

— Да! Ту самую, которой отрезали язык и вырезали звезду.

— Вы уже все знаете!..— прохрипел крестьянин.

— Нет, я еще ничего не знаю! — резко ответил Петер Майцен.— И не желаю знать! Не желаю! — Он кричал, уже почти не сдерживаясь, потом, резко повернувшись к столу, схватил свои бумаги и стал их комкать.

Хозяин откашлялся и спросил безжизненным голосом:

— Или писанье у вас не идет?

Петер Майцен не ответил. Он бросил бумаги в печь и зажег спичку. В печи зашелестело, потом загудело, завыло, застонало.

— Слышите, как стонет?

— Кто стонет? — вздрогнул крестьянин.

— Темникар! — показал на печь Петер Майцен.— И почему бы ему не стонать? Ведь он все-таки живой человек!

— Хм, такое дело! Если б вы слышали, как в самом деле стонут в огне живые люди...

— А вы слышали? — спросил Петер Майцен, не оборачиваясь.

— Слышал...

— Блажичей?

— Блажичей... Ведь вы все уже знаете. Я потому и пришел... Хочу вам рассказать...

— Я вам уже сказал, что ничего больше не желаю слушать! — Петер Майцен сам устыдился собственной грубости.— Не обижайтесь! — примирительно добавил он.— Но вы должны понять, что у меня своих дел по горло!

— Понимаю... понимаю...— кивал крестьянин, глядя прямо перед собой.

Петер Майцен вытащил из шкафа чемодан, поставил его на стол и начал укладывать в него свои папки.

— Неужто уезжаете? — испуганно спросил хозяин.

— Нет,— солгал Петер Майцен.— Я кое-что позабыл дома, съезжу возьму.

Крестьянин замолчал. Он молчал очень долго. Потом снова откашлялся и опасливо спросил:

— Не сердитесь, если я еще кой о чем вас спрошу. Вы бы стали писать о Темникаре, если бы он не схватился с белогвардейцами?

— Не знаю,— коротко ответил Петер Майцен.

— Хм, такое дело... Тогда вы считали бы его предателем?

— Если бы я не считал, он наверняка сам так считал бы.

— Хм... А как бы вы тогда о нем писали? Какой был бы конец?

— Конец он тоже нашел бы сам. Рано или поздно вспомнил бы Иуду Искариота: взял веревку и удавился.

— Хм, такое дело... Это мне в голову не пришло...

— Как же иначе? — посмотрел на него Петер Майцен.— Ведь я еще

за ужином сказал, что Темникар не смог бы жить с таким камнем на душе и покончил бы с собой.

— Да... да...— закивал хозяин, опять опуская голову.

— А теперь довольно! — сказал Петер Майцен.— Хватит!

— Не сердитесь! — ответил крестьянин.— А когда вы поедете?

— Сейчас. Немедленно.

— А, немедленно...— протянул крестьянин.— До утра не подождете?

— Зачем? — спросил Петер Майцен и посмотрел на него.

— Так... Чтобы ночью не ходить...

— Я не боюсь!

— Не потому, просто...

— Нет уж, решил ехать, значит, поеду!

— Ну, раз так, не буду вам больше мешать. Счастливого пути!

— Спасибо! И не запирайте дверь в сенях!

— Ладно! — ответил хозяин и вышел.

IX

Петер Майцен быстро собрал вещи и растянулся на постели, чтобы спокойно выкурить сигарету. Он глядел в потолок и вслушивался в размеренные шорохи ночи. В комнату влетела летучая мышь, где-то поблизости заухала сова, и сердце Петера Майцена заколотилось сильнее. Потом заскрипела дверь в сенях и на дороге послышались быстро удалявшиеся шаги.

Петер Майцен подбежал к окну. В аллее покачивалась фигура хозяина. В длинной руке он держал фонарь. Его прозрачная тень подобно привидению скользила меж черных стволов деревьев.

«Куда он? — с тревогой подумал Петер Майцен.— И зачем ему фонарь? Ведь ночь не такая уж темная».

Он смотрел вслед хозяину, пока свет фонаря не исчез. Потом бросил в окно окурок, надел рюкзак, взял чемодан, пишущую машинку и на цыпочках вышел из комнаты.

Быстрым шагом он двинулся по аллее. Потом вдруг снова увидел фонарь и остановился, ожидая, что свет исчезнет. Однако фонарь застыл на месте.

«Что это значит? Не меня же поджидает Чрнилогар?» — подумал он с неприязнью. Прикинул, можно ли обойти его, но, не зная другой дороги, пошел дальше.

Фонарь стоял на перекрестке посреди дороги.

Петер Майцен не спеша осмотрелся. Крестьянина нигде не было. Он посмотрел еще раз. И внезапно увидел: Чрнилогар висел на дубе.

— Повесился! — тихо сказал Петер Майцен. Но ужаса не почувствовал, сам поразившись своему спокойствию. Он даже не спросил себя, почему повесился Чрнилогар. Он уже все знал.

Поставив рядом с фонарем чемодан и пишущую машинку, Петер Майцен вернулся в дом.

Он тихо открыл дверь в спальню и во тьму сказал о том, что произошло. Женщина закричала, но с постели не встала. Судя по всему, ее это ничуть не удивило. Она зажгла свет, посмотрела на Петера Майцена пустыми глазами и простонала:

— Ведь я знала, что он плохо кончит!..

Петер Майцен промолчал. Потом строго спросил:

— Он предал их?

— А-а-а? — растерялась женщина.

— Я говорю, он предал Блажичей?

— Нет! — всхлипнула она.— Не предал... он только... только... знал, что дом уже окружили...

— И не пошел их предупредить?

— Ведь он хотел пойти! — взвыла женщина.— Правда хотел пойти, но я ему сказала: зачем попусту рисковать?

— Ах, вот как,— сказал Петер Майцен и невольно выразил вслух свою мысль: — Значит, и вы их предали.

— О! — застонала женщина, словно ей всадили нож в спину.— О! — она зашаталась, словно вся тяжесть предательства и самоубийства только сейчас обрушилась на нее. И вдруг стихла, как бы найдя выход: — Ведь пастушка пошла!

— Пастушка? — удивился Петер Майцен.— Какая пастушка? Яворка?

— А? — спросила женщина.

— Девушка, которой потом отрезали язык.

— Вы уже знаете? — она смотрела на него, разинув рот, как на волшебника.

— Знаю,— подтвердил он. И неожиданно содрогнулся от сознания собственной вины.— Ведь это я его повесил! — пробормотал он.— Я виноват!..

— Да! Вы виноваты! — воскликнула женщина.— Вы и ваш Темникар! Зачем вы выдумываете такие глупости? Не будь вас, он бы еще пожил! Сатана проклятый! — Она схватила будильник и швырнула в Петера Майцена. Часы ударились о дверь и рассыпались. Пружина подкатилась к постели и дрожала там, как грешная душа.

Петер Майцен вспомнил о пружине, звеневшей в Темнике. И, повернувшись, вышел из комнаты.

— Погодите! — закричала женщина и в одной рубашке бросилась за ним.— Погодите! Погодите!

Петер Майцен уже был в сенях.

— Куда же вы? — она схватила его за руку.

— Уезжаю. Домой,— ответил он и попытался высвободиться.

— Нет! — закричала она в смертельном ужасе.— Нет! Вы выдадите меня!

Он оттолкнул ее.

— Не выдавайте меня! Не выдавайте меня! — Она бросилась к нему и обхватила его обеими руками.— Я дам вам десять тысяч! Двадцать тысяч! Сто тысяч!.. Все вам отдам! Все! Только не выдавайте!

— Это меня не касается! — резко ответил он, отталкивая ее.

— И вы не выдадите меня?

— Я сказал — меня это не касается! — повторил он.

— О... о... о!..— она зарыдала и опустилась на пол.

Петер Майцен поднял ее и отвел в спальню.

— Погодите! — опять закричала женщина.— Погодите, пока я хоть людей позову!

— Ладно,— ответил он.— Я подожду на улице.

X

Петер Майцен вышел из дому, встал на пороге и рукой провел по лбу, покрытому холодным потом. Но дышалось легче. Воздух не был больше насыщен той гнетущей печалью, которая весь день прижимала его к земле. Он выпрямился, вздохнул всей грудью — и только тут почувствовал, как пусто у него на душе, пусто и безжизненно.

— Кончено! — пробормотал он с отчаяньем, сам не зная, что, собственно, кончено.— Все кончено!..

Медленно он побрел по аллее. Справа и слева высились прямые деревья. Он не поднимал головы к их вершинам, ибо знал, что они неподвижны и хмуры подобно караулу у гроба, не поднимал глаз к небу, ибо чувствовал, что оно высокое, очень высокое и темное.

— Кончено!..— повторил он.— Все кончено!..

Ноги несли его вперед. Возле фонаря он остановился, сел на чемодан и без единой мысли в голове устремил взор в пустое пространство.

Спустя некоторое время в нем пробудился голос разума, он осознал, что сидит прямо под висельником и что в этом есть что-то противоестественное и жуткое, но не ужаснулся.

«Послушай, ты сидишь под висельником, которому сам вложил в руки веревку!» — строго заговорил разум.

«О нет! — покачал он головой.— О нет!.. Слишком слаб я для таких дел. Темникар ее дал, Темникар...»

И тут он увидел Темникара. Темникар стоял посреди аллеи в своей старой шинели и старых сапогах, с баклажкой за поясом и топором под мышкой. Был он весь серый, словно поднялся из пепла собственного дома. Но не из пепла он был, а из металла, закаленного в кровавом пламени, прямой и гордый, и на лице у него застыло величавое выражение борца за справедливость. И был он огромен, выше деревьев.

— И я... я хотел написать о нем повесть,— сокрушенно бормотал Петер Майцен.— Хотел написать простую историю о простом крестьянине, а он рос и рос в моем воображении и теперь вот встал передо мной во всем своем величии. Мое перо чересчур слабо. Я создал его лишь в своем воображении, в моем воображении он и останется.

Голова Петера Майцена опускалась все ниже. Всеми силами он старался не думать, слишком болезненно колотилось сердце, тяжелое и холодное, стучавшее в страшной пустоте его груди, точно безжизненный железный маятник в мрачной башне!..

По лесу прошелестел ветер. К ногам Петера Майцена прилетел лист, затрепетал, как смертельно раненная птица, и застыл. За ним прилетел другой, потом еще один, будто висельник срывал их с дерева и бросал вниз. Но Петер Майцен не думал о нем.

Послышались шаги, и он встал. Охотнее всего он забрал бы сейчас свои вещи и исчез, однако приходилось стоять и ждать.

В круг света постепенно вступили старый Блажич и Чрнилогарица, Яворка и маленький Янкец с трубой. Мельком взглянули на самоубийцу и безмолвно перевели взгляд на Петера Майцена.

Он нагнулся за рюкзаком. И услышал вздох старого Блажича и его сокрушенный голос:

— Отмучился!..

— Отмучился!..— зарыдала Чрнилогарица и повалилась на землю.— Ой, отмучился!

Петер Майцен огляделся. Перед ним стояли старик, ребенок и девушка. Их освещали золотые снопы слабого света от закопченного фонаря. Он посмотрел в глубину аллеи. Темникар в самом деле стоял там, громадный и могучий, выше самых высоких деревьев.

Несколько мгновений Петер Майцен смотрел на него, потом поднял чемодан и пишущую машинку.

— Ну, прощайте...— едва смог произнести он и потонул в темной ночи.

А ночь была не такой уж темной. Вскоре печаль вытеснила отчаянье. Он протер глаза и увидел перед собой серую дорогу. Размеренным шагом ступил он на нее.. Мир был беспределен, тишина поднималась к самому небу. На дальнем краю беспредельности печально пела труба, над распростертыми крыльями тишины в небе безмятежно плыло белое облако.

ПАБЛО ПИКАССО

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Перевод с испанского
ВЛАДИМИРА ВОЛЬКЕНШТЕЙНА

Вряд ли есть необходимость представлять читателю художника Пабло Пикассо. Но о поэте Пабло Пикассо хочется сказать несколько слов.

Эти десять стихотворений он написал на своем родном — испанском языке 8 и 9 января 1959 года; вскоре стихи были изданы на острове Мальорка; в минувшем, 1969, году они были опубликованы (в оригинале и параллельно по-французски, в переводе Пьера Дэкса) парижским еженедельником «Леттр франсэз».

Читая стихи Пикассо, чувствуешь, что для их автора поэтическое творчество — не хобби, не «скрипка Энгра». Пикассо-поэт продолжает Пикассо-художника, Пикассо-поэт видит мир глазами Пикассо-рисовальщика и живописца. Опираясь на свой опыт художника, используя сложный опыт французской поэзии сюрреализма, главным образом двадцатых и тридцатых годов, Пикассо пытается уловить и зафиксировать в слове свои догоняющие друг друга и друг с другом сцепляющиеся ассоциации, которые, казалось бы, совершенно случайно, не поддаваясь контролю разума, «автоматически» возникают в глубинах творящего «я» и своевольно ложатся на бумагу.

«Казалось бы...» Ибо у Пикассо, как у всякого настоящего мастера, этот автоматизм и неосознанность письма довольно относительны. В строчках, на первый взгляд случайных и сбивчивых (надо сказать, что в русском переводе они звучат менее сбивчиво, чем в оригинале), явственно ощутимо творческое сознание художника. При всей неожиданности и остраненности ассоциаций, они в этом поэтическом этюде Пикассо в конечном счете не выходят за границы четко очерченного круга — тематического, изобразительного, эмоционального,— который можно определить как будни и праздничества в испанском селенье. Ошеломительные метафоры, кажущаяся лексическая несовместимость, синтаксическая разорванность — все подтянуто к центральному стержню, к сознательному стремлению поймать и запечатлеть многообразие и трагичность жизни, головокружительную смену персонажей, ландшафтов, предметов, ракурсов и масштабов, уловить тайну их монтажа в жизни и в творчестве.

Есть здесь, наверно, и изрядная доля улыбки, озорства, экспериментаторской дерзости — всего того, что придает юношеский задор живописи и графике этого нестареющего художника. Своего апогея озорство поэта-экспериментатора достигает, пожалуй, в последних частях стихотворной сюиты, где за стремительным инвентарем следует арифметический ряд, продолженный в бесконечность (нечто сходное можно найти у Поля Элюара, у Жака Превера, у Раймона Кено...).

Десять стихотворений Пабло Пикассо интересно читать в их последовательности — так же, как, скажем, смотреть его листы, посвященные корриде, или портретную серию, запечатлевшую внутреннюю эволюцию Поля Элюара,— тогда замысел воспринимается в движении, динамика множится на динамику и столкновение немыслимых в своей дерзости метафор рождает трагический и жизнеутверждающий образ современной испанской жизни, увиденный Пикассо-художником и написанный Пикассо-поэтом.

МОРИС ВАКСМАХЕР

8.1.59

у края колодца на сырой траве
беспечный парень спал почти что голый
одетый лишь в медвежью или овечью шкуру
меж двух или трех сторон света
превратившихся в древесных лягушек и куропаток внутри и снаружи
хлебные крошки лежат и мокнут на краю печи
вместе с их мулетами и шелковыми простынями
и металлическими покрывалами
яйцо слишком быстро сваренное вкрутую
мгновенно превращается в пылающие угли
цыпленок и кусок арбуза
и повисшие над ним вороны
больше ничего только ожидающее тамбурина крыло сосны
и бахрома покрывала которое попадает в ловушку
под растянутой простыней каменного леса собранного
среди мертвых фиговых деревьев попадающих в ловушку
под пупком каменных глыб
крики и припевы разбросанные повсюду
дверь разрисована толстой кистью
под куском застывшего неба
которое стоит как часовой у колыбели
сверкая крошками и свистками
над домом брошенным в море
где муха обжегшаяся о край печи
остужает свои лапки на кране умывальника

9.1.59 (1)

коробки с ваксой попадают в ловушку
растянувшись разбросав ноги среди запаха
мальвы прибиты к двери
корраля окрашены охрой и готовы
к празднику разбиты на куски
и покрыты гнойниками
тысячи жадных глаз
прикованы
к четкам эстремадурских колбас
скрипка играет
посреди площади Плача и Скорби
гроздья анчоусов
висят под крышами
и плащ в час огня в сосновой роще
кружится в танце
и искрящийся суп из кремневых раков
стоит на окне

9.1.59 (2)

затем приходит почтальон и сборщик
оваций и криков «олле!» и слепой из
приходской церкви и дрозд и девушки
Рамона и старшая дочь доньи
Пакиты старая дева
и священник дрожащий от холода
все шафрановые и зеленые
нагруженные лапшой
и черным виноградом и апельсинами
и алоэ сочным и крепким и редисом
и еще у них была сковорода
с яйцами и картофелем со шкварками
они чесались от укусов блох
и удивленно звенел дверной колокольчик
буря не щадит ни бедняков ни богачей
они сушили у огня
свою грязную одежду вымокшую под дождем

9.1.59 (3)

старшая дочь Филис покрытая вшами
рехнулась и бросилась
на кровать в чем была
проглатывая слезы и вздыхая
накрылась матрасом
для того чтоб ее приняли за Мессалину
каковой она не являлась
так думали сын алькальда и трактирщик
и они буквально спятили от удовольствия
один играл на тамбурине
а другой на трехструнной скрипке
они ели апельсины
и золотая пыль апельсинового сока
брызгала на одежду
а жалюзи на окнах были приспущены
и освещенные солнцем
казались лестницей для прогулок мух
и они пели песни о матушке Селестине

9.1.59 (4)

когда почтальон узнал что делала девушка
на ткани цвета спелой ржи
он поднял ее и накинул на нее
свой плащ из синего бархата и помолился богу
на полу стояли глиняные кувшины
за окном расцветал жасмин и резвились быки
и девушка села вышивать на рубахе узоры
но путала нити не хватало лишь
генеральши и ее дочерей
чтоб начался праздник
а девчонка заплакав совсем перепутала нити
дело в том что не рассчитав тяжесть матраса
она придавила себе поясницу
и аптекарь решил ее осмотреть
но это нарушало порядок праздника
установленный Господом и потому
все меньше надежд оставалось на его милость

9.1.59 (5)

и шаловливым и пылким в любви и веселым
стоит быть лишь для того
чтобы каждый час проходящий
использовать в полную меру и потому
даже можно пощекотать мальчишку
дед которого едет верхом на осле
и издали видно
как он грязь счищает с подошв
ударяя их друг о друга
про него бы никто не сказал
что он что-то создал или наоборот уничтожил
так он неповоротлив
но при малейшем шуме
и при первой капле дождя
он скачет домой что есть духу
его волосы и мешок с мукой намокают
а гора гремит как погремушка
и розовый куст шелестит у моря
а на столе рядом с супом стеклянный кувшин
хлеб ложки нож помидоры и его лицо

9.1.59 (6)

хорош лишь тот с кем не случается плохого
говорил портной а также тот к кому не приходит
стыд
как лучи заходящего солнца проникающие
сквозь трещины и щели
и лижущие решетки стульев
и освещающие закоулок где задержался вечер
привлеченные мулами на арене
и смеющиеся чистыми раскатами уличных певцов
и был рассвет сожжен
и походил на рану в коже ночи
и небо было горчичного цвета
а арена была окрашена кобальтом
и люди топча мак и траву
на зеленой арене задорно плясали
в четыре часа пополудни а вовсе не в пять
молния приезда девушки-циркачки
изменила цвет в суповой миске
цвет стал мягок и внезапно испортился
танец со стариком

9.1.59 (7)

Ахонхолин мокрый как суп
и более пьяный чем дыра
танцевал халео* без передышки
богохульствовал кашлял
мочился под пианино и ветры пускал
а жена его красивая глупая женщина
плакала и красными как вареные раки руками
в клочки грязной бумаги
заворачивала маленьких устриц
и прятала их в подол
а ее законные сыновья следствие законного брака
Хуанито Энрико и Бальдомеро (который тоже уже
родился)
тут же сидели стыдясь за отца
и карамельки сосали
так в котелке веселья и радости
варился праздничный день

---

* Испанский народный танец.

9.1.59 (8)

башмак сыра сапог риса
пара яиц гнездо улиток
ствол и цыпленок канарейка
и перепелка чаша чернильница
медный реал дрозд
сказка карандаш кувшин
шар игра в жмурки
история матушки Селестины
и квадрилья парней из Севильи
тореро и дядя Перикито а также
все остальные а именно
собака святого Рохо три четыре
половина и четверть
море волны и рыба
поле и ягнята и коровы
и быки Лагартихо и маленькие ящерки
четверо мальчишек Эчихи
миндаль каштаны лесные орехи
и сушеный виноград куропатки щеглы
базилик тимьян розмарин лаванда

9.1.59 (9)

дым от сухой травы манеж проволока
камень дерево и известь красное вино
балка водка и кролик маслины
перец и соль лимон апельсин
рубаха манишка трусы носки
и чулки камни и камни и еще
камни и такой и такой и другой и такой
и другой и такой и такой и другой и другой
и такой и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6
и 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и 13
и 14 и 15 и 16 и 17 и 18 и 19
и 20 и 21 и 22 и 23 и 24 и 25
и 26 и 27 и 28 и 29 и 30 и 31 и 32 и 33
и 34 и 35 и 36 и 37 и 38 и 39 и 40 и 41
и 42 и 43 и 44 и 45 и...

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

В одном немецком городке

РОМАН

Перевод с английского
И. КУЛАКОВСКОЙ-ЕРШОВОЙ
и Т. ОЗЕРСКОЙ

13. Нелегкая доля ищейки

Среда

Он сидел за столом в шифровальной и, даже не сняв плаща, упаковывал бесполезные трофеи своего расследования: пустую кобуру, сложенную вчетверо гравюру, нож для разрезания бумаги с выгравированной на нем надписью от Маргарет Айкман, синюю записную книжку-календарь для советников посольства, книжечку для дипломатической скидки и металлическую коробочку с пятью деревянными пуговицами одинакового размера, к которым он теперь прибавил шестую пуговицу и три сигарных окурка.

— Не расстраивайтесь,— сочувственно сказал Корк.— Все образуется.

— О да, без сомнения. Как с вашими вкладами и с земельным участком на Карибских островах. Лео же всеобщий любимчик. Все его оплакивают, как блудного сына. Мы все без ума от Лео, хоть он и надел нам петлю на шею.

— Учтите, ему ведь ничего не стоило кого хочешь обвести вокруг пальца.— Корк сидел без пиджака на складной кровати и надевал уличные ботинки. Рукава рубашки были у него перехвачены выше локтя металлическими браслетами, а рубашка была совсем как с рекламы в метро. Из коридора не доносилось ни звука.— Вот ведь что в нем поражало. Тихий, но пальца в рот не клади.

Застучал аппарат, и Корк укоризненно на него покосился.

— Без мыла влезет в душу,— продолжал он.— Это он умел. Было в нем какое-то обаяние. Мог наплести вам черт-те чего, и вы верили.

Тэрнер уложил все в бумажный пакет со штампом «СЕКРЕТНО» и припиской: «Вскрывать только в присутствии двух лиц, имеющих допуск».

Окончание. Начало в №№ 1, 2.

— Это я прошу запечатать и переслать Ламли,— сказал он, и Корк написал расписку и отдал ему.

— Я хорошо помню, как увидел его впервые,— сказал Корк таким нигранно веселым тоном, что Тэрнер невольно подумал: «Весело, как на похоронах».— Я был совсем зеленый тогда. Совсем щенок. И женат всего полгода. Если бы я не отшил его, я бы...

— Вы стали бы вкладывать свои денежки, следуя его советам. И одолжили бы ему шифровальный код — почитать на ночь в постели.— Сложив сумку пополам, Тэрнер стал застегивать пряжку.

— Нет, не шифровальный код. Джейнет. Он взял бы к себе в постель ее.— Корк ухмыльнулся.— Чертов греховодник! А вы бы никогда не подумали, что он такой. Ну ладно, пошли пообедаем.

Тэрнер в последний раз яростно щелкнул замком сумки.

— Де Лилл у себя?

— Сомневаюсь. Из Лондона пришла шифровка в полтора метра длиной. Значит, свистать всех наверх. Полный сбор дипломатов.— Он рассмеялся.— Им бы надо было пустить в ход старые черные флаги. Обработать депутатов. Провести встречи на всех уровнях. Все перевернуть, не оставить камня на камне. А они идут на новый заем. Дивлюсь я, откуда немцы добывают иной раз средства. Знаете, что сказал мне однажды Лео? «Послушай, Билл, мы скоро одержим большую дипломатическую победу. Отправимся в бундестаг и предложим им заем в миллион фунтов стерлингов. Мы с тобой вдвоем, ты и я. Думаю, они все там попадают в обморок». И он, знаете ли, недалек был от истины, этот наш мудрый Лео.

Тэрнер набрал номер де Лилла, но там никто не взял трубки.

— Передайте ему, что я звонил, чтобы попрощаться,— сказал Тэрнер Корку и тут же передумал: — Впрочем, ладно, не стоит беспокоиться.

Он позвонил в транспортный отдел и справился о своем билете. Все в порядке, заверили его. Мистер Брэдфилд лично обращался к ним по этому поводу, и билет для Тэрнера лежит у дежурного. По-видимому, звонок Брэдфилда произвел там сильное впечатление. Корк взял со стула свой плащ.

— Дайте-ка телеграмму Ламли и сообщите, каким рейсом я прилетаю.

— Мне кажется, старший советник уже позаботился об этом,— сказал Корк, и щеки его слегка порозовели.

— Что ж. Благодарствую.— Тэрнер направился к двери, потом обернулся и окинул взглядом комнату, прощаясь с ней навсегда.— Надеюсь, с вашим первенцем у вас все будет в порядке. И ваши мечты осуществятся. И у всех остальных, надеюсь, тоже. Каждый, надеюсь, достигнет того, к чему стремится.

— Послушайте, смотрите вы на это легче: бывают положения, когда ничего поделать нельзя и приходится складывать оружие, верно? — сочувственно сказал Корк.

— Верно.

— Я хочу сказать, что не может все на свете проходить хорошо и гладко. В жизни так не бывает. Это все романтика. Для школьниц. А вы тоже вроде Лео — не можете успокоиться, оставить все как есть. Ну ладно, что вы делаете сегодня после обеда? В американском кино днем показывают какой-то недурной фильм. Нет, это вам не подойдет — там будет уйма детского визга.

— Что это значит: Лео не мог успокоиться? Что вы хотели этим сказать?

Корк слонялся по комнате, проверяя аппараты, выдвигая ящики письменных столов, просматривая подготовленные к уничтожению секретные бумаги.

— Не прощал. И не то чтобы мстил. Он как-то поссорился с Фрэдом Энгером. Фрэд был из административного отдела. Говорят, это длилось пять лет, пока Фрэда не отозвали.

— Из-за чего они поссорились?

— Да ни из-за чего.— Корк подобрал с пола листок бумаги и начал читать.— Дело выеденного яйца не стоило. Фрэд спилил липу в саду у Лео — по его словам, это дерево могло обрушить его ограду. И так оно и случилось бы. Фрэд сказал мне. «Билл,— сказал он,— это дерево осенью все равно свалилось бы».

— Лео, как видно, тянуло к земле,— сказал Тэрнер.— Хотелось иметь свой клочок. Не нравилось вариться в общем котле.

— Сказать вам, что он сделал? Сплел венок из веток этой липы, принес его в посольство и прибил к двери кабинета Фрэда. Здоровенными двухдюймовыми гвоздищами. Вроде как распял его на двери. Наши немцы думали, что Фрэд подохнет со смеху. Но только Лео было не до смеха. Он и не думал шутить. Он это всерьез. Он был вне себя от злости, понимаете. Но дипломаты этого не замечали. Он с ними был сама любезность, сама учтивость. И такой внимательный... Я не хочу сказать, что на самом деле он не был внимателен к людям. Я просто о том, что лучше было не подворачиваться Лео под горячую руку. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.

— Он волочился за вашей женой, так, что ли?

— Я положил этому конец,— сказал Корк.— Вот и все. Потому что наблюдал разные другие случаи. Года два назад у нас тут устраивались благотворительные вечера с танцами. Лео зачастил на них. Ничего лишнего себе не позволял, между прочим. Хотел как-то раз преподнести ей фен для волос — вот и все. Каков шутник, а? Я ему сказал: «Посуши своим феном чьи-нибудь еще волосы. А эти я посушу сам». Так ему и сказал. А впрочем, что с него возьмешь? Знаете, как говорят об этих эмигрантах: «Они потеряли все, кроме своего акцента». И это сущая правда, честное слово. Беда Лео была в том, что он хотел вернуть все обратно. Вот почему, мне кажется, так и получилось — схватил какие-то папки с бумагами и дал тягу. Верно, сбыл их тому, кто больше дал. Но мы, думается, не меньше ему задолжали.— Закончив осмотр и убедившись, что все в порядке, Корк сложил стопкой брошюры у себя на столе и подошел к двери, возле которой стоял Тэрнер.— Вы, верно, откуда-нибудь с севера? — спросил он.— Судя по вашему выговору.

— Вы его близко знали?

— Лео? Ну да, как мы все. Случалось, купишь иной раз что-нибудь с его помощью, другой раз угостишь его. Или попросишь сделать заказ у Голландца.

— У Голландца?

— Это экспортная фирма из Амстердама. Обслуживает дипломатов. Дешевле и без хлопот, понимаете? Доставляют что хотите: масло, мясо, радиоприемники, автомобили, любую вещь.

— И фены?

— Что угодно. Принимают заказы каждый понедельник. Сегодня вы заполняете карточку, передаете ее Лео, на следующей неделе вам доставляют заказ. Вероятно, он получал свою долю — сами понимаете. Но поймать его на этом никто не мог. Можно считать и пересчитывать, пока не посинеешь,— и все равно никогда не поймешь, из чего складывались его комиссионные. Впрочем, мне думается, брал он все теми же чудовищными сигарами. Совершенно омерзительная гадость, сказать

по правде. Не думаю, чтобы он получал от них удовольствие,— курил просто потому, что даровые. И еще назло — потому что мы приставали к нему, подшучивали. — Корк простодушно рассмеялся. — Но он все равно умел обвести вокруг пальца любого из нас, чего уж тут скрывать, и вас бы, наверно, обвел. Ну ладно, я поплыл. До свиданья.

— Вы начали рассказывать о том, как впервые познакомились с ним.

— Разве? Ну что ж... — Он снова рассмеялся. — Я хочу сказать: его слова никогда нельзя было принимать на веру. Итак, мой первый день здесь. Микки Краб приводит меня к нему. Мы с Микки уже все обошли. «Теперь,— говорит Микки,— заходим в последнюю гавань»,— и мы спускаемся вниз, к Лео. «Это Корк,— говорит Микки. — Только что прибыл к нам в шифровальную». Так я познакомился с Лео. — Прервав свой рассказ, Корк уселся на вращающееся кресло возле двери и откинулся на спинку с видом важного чиновника, которым он видел себя в мечтах.— «По рюмочке вишневки»,— предлагает Лео. Считается, что нам здесь пить не положено, но Лео на это всегда плевать хотел, и не потому, чтобы сам любил выпить, заметьте. «Надо отметить прибытие новичка. Вы, случайно, не поете, Корк?»—«Только в ванной»,— ответил я, и они рассмеялись. Он пытался завербовать меня в хор, понимаете? Это всегда производило на всех впечатление. Весьма набожный господин этот мистер Гартинг, подумал я. Не слишком ли уж? «Хотите сигару, Корк?»—«Нет, благодарю».—«Тогда сигарету».—«Не откажусь, мистер Гартинг». И вот мы сидим там у него, как самые что ни на есть заправские дипломаты, потягиваем вишневку, и я думаю: да, вы тут недурно устроились — прямо по-царски. Кресло, ковер, карты на стенах — полная экипировка. Между прочим, учтите, Фрэд Энгер забрал отсюда кучу всего, когда уезжал. Половина-то вещей — конфискованные. От них «освободили» кое-кого. Совсем как в старые времена, во время оккупации. «Ну, что нового в Лондоне, Корк? — спрашивает Лео.— Или все по-старому?» Это он, понимаете, помогал мне освоиться, хитрюга чертов. «Как там наш старик швейцар из главного подъезда — все так же важен, когда приезжают послы?» И ведь, знаете, попал в самую точку. «А камины? По-прежнему каждое утро топят камины, а, Корк?» — «Да что ж,— говорю я,— все в общем-то идет неплохо, как ему и положено, все в свое время». Словом, несу какой-то бред. «О! Вот как? — говорит он.— Дело в том, что всего несколько месяцев назад я получил письмо от Ивена Уолдебира, и он сообщил мне, что они там проводят центральное отопление. А этот старикашка, который вечно торчит у десятого подъезда? Он и сейчас днем и ночью там, а, Корк? И все читает вслух свои молитвы? Только что-то нам от его молитв не слишком много проку». Поверите, я уже готов был называть его «сэр». Ивен Уолдебир возглавлял в то время Западное управление и, можно сказать, был приравнен к богам. Ну, а потом он опять перекинулся на хор, и экспортера-голландца, и на разные прочие вещи: все, что только в его силах, он во всем готов помочь... Наконец выходим мы оттуда, и я смотрю на Микки Краба, а он, того и гляди, уписается. Сложился от хохота пополам. «Лео? — говорит он.— Лео? Да он в жизни не переступил порога министерства иностранных дел. Он и в Англии-то с сорок пятого года не был».— Корк умолк и покачал головой.— А все равно,— повторил он с добродушной улыбкой,— не приходится его винить, верно? — Он встал.— Я хочу сказать, что мы все видели его проделки и тем не менее попадались на удочку, разве не так? И Артур, и... Ну все, словом. Это как с моей виллой,— простодушно добавил он.— Я знаю, что никогда мне ее не иметь, а все-таки не теряю надежды. Я хочу сказать, что, видно, так надо — иначе нельзя жить, нельзя жить без иллюзий.

Вынув руки из карманов плаща, Тэрнер поглядел сначала на Корка, а потом на ключ, который сжимал в своей мощной ладони; казалось, его раздирали противоречивые чувства и он был в нерешительности.

— Какой номер у Микки Краба?

Он взял трубку и набрал номер; Корк с сомнением и испугом наблюдал за ним.

— Они же не хотят, чтобы вы продолжали его разыскивать,— с беспокойством заметил Корк. — Право же, я думаю, что они на это не рассчитывают.

— А я, черт подери, и не собираюсь его разыскивать. Я собираюсь пообедать с Крабом, сесть вечером на самолет, и никакая сила на свете не заставит меня хотя бы один лишний час пробыть в этих стенах, где слоняются призраки. — Он швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты.

Дверь в кабинет де Лилла была распахнута настежь, но самого де Лилла не было за письменным столом. Тэрнер нацарапал записку: «Зашел попрощаться. Прощайте. Алан Тэрнер». Рука его дрожала от гнева и унижения. Через вестибюль небольшими группами не спеша проходили сотрудники и исчезали за дверью на залитой солнцем улице: все направлялись в посольскую столовую, чтобы пообедать или перехватить бутерброд. У подъезда стоял «роллс-ройс» посла. Гонт что-то говорил шепотом Медоузу, стоя у двери, но при виде Тэрнера сразу умолк.

— Вот,— сказал он, протягивая Тэрнеру конверт.— Вот ваш билет. — На лице у него было написано: отправляйтесь туда, откуда прибыли.

— Если вы готовы, я к вашим услугам, старина,— донесся голос Краба, как всегда, откуда-то из темного угла. — Вот он я!

Официантки в столовой были вышколенные — необычайно молчаливые, сдержанные. Краб заказал улиток, которые были, по его мнению, очень хороши. Они заняли столик в маленькой нише; на стене, унося мысли к негам и греховным соблазнам, висела гравюра в рамке: танцующие нимфы и пастухи.

— Вы были с ним в тот вечер в Кёльне. В тот вечер, когда он ввязался в драку.

— Нечто феноменальное,— сказал Краб. — Ей-богу. Вам разбавить водой? — спросил он и капнул по несколько капель воды в каждый стакан — словно пролил скудные поминальные слезы над могилой трезвенника. — Не знаю, что на него нашло.

— А вы часто проводили с ним вечера?

Краб неуверенно ухмыльнулся; они выпили.

— Это было пять лет назад, понимаете ли. У Мэри захворала мать, и она стала то и дело улетать к ней в Англию. А я оставался на положении, так сказать, соломенного вдовца.

— И вы стали время от времени сматываться из дома по вечерам вместе с Лео — выпить, подцепить девчонку, верно?

— Более или менее.

— В Кёльн?

— Обождите, старина,— сказал Краб. — Вы, черт возьми, прямо как следователь. — Он отхлебнул еще виски и, когда алкоголь разлился по жилам, поежился, словно плохой актер с запоздалой реакцией. — Господи! — сказал он. — Ну и денек. Господи!

— Ночные кабаки в Кёльне лучше, чем здесь?

— Здесь этого себе не позволишь, старина,— сказал Краб, нервно оглянувшись. — Или вам придется сначала напоить половину правитель-

ства. В Бонне надо быть чертовски осторожным. Чертовски осторожным,— без особой нужды повторил он и потряс головой для большей убедительности.— В Кёльне куда проще.

— И девчонки лучше?

— Я этим не занимаюсь, старина. Уже который год.

— Но Лео был до них охотник, верно?

— Он любит девчонок,— сказал Краб.

— Значит, в тот вечер вы отправились в Кёльн. Ваша жена была в Англии, и вы решили кутнуть вместе с Лео.

— Мы просто сидели за столиком. Выпивали, и все.— Он подкрепил свои слова жестом. — Лео рассказывал про армию: вспоминал, так сказать, былое. Странная штука. Он любил армию. Да, да, Лео ее любил. Ему надо бы оставаться там, я так считаю. Но только они бы не оставили его; кадровым — ни за что! Ему не хватало дисциплины, я так считаю. Он же был мальчишка, в сущности. Как и я. А когда ты молод, тебе все нипочем. Это приходит позже. В Шерборне лупили меня как собаку. Жуть. Колотили почем зря — сунут голову в раковину и держат, а те, что постарше, чтоб им сдохнуть, молотят по спине. Но мне было наплевать тогда. Я думал, что такова жизнь. — Он тронул Тэрнера за руку.— Я *ненавижу* их теперь, старина,— прошептал он.— Я и не знал, что это сидит во мне. А потом вдруг вылезло наружу. Сейчас бы я мог перестрелять этих подонков за здорово живешь. Истинная правда.

— Вы встречали Лео, когда были в армии?

— Нет.

— Так откуда вы его знаете?

— Мы как-то столкнулись в Контрольной комиссии. В Мёнхенгладбахе. В четвертой группе.

— Это когда он работал по разбору претензий?

Огорошенный вопросом Тэрнера, Краб реагировал на него совершенно в духе того животного, с которым была созвучна его фамилия. Он весь съежился и, казалось, прямо на глазах начал обрастать незримым панцирем, под которым и замер, ожидая, пока минует опасность. Понурив голову, сгорбив спину, он поглядывал на Тэрнера краем розового глаза из-под полуопущенных век.

— Значит, вы выпивали и разговаривали?

— Да, помаленьку. Ждали, когда начнется кабаре. Я люблю хорошее кабаре. — Внезапно он принялся рассказывать абсолютно неправдоподобную историю о том, как он во Франкфурте во время последней конференции свободных демократов привел к себе какую-то девчонку.— Полное фиаско! — горделиво объявил он.— Чего она только не вытворяла, эта чертова мартышка, а у меня — просто никак.

— Значит, драка разгорелась после кабаре?

— Нет, раньше. Возле стойки бара собралась компания немцев — шумели, горланили песни. Лео это пришлось не по нутру. Он начал поглядывать на них. Начал рыть землю копытами. Потом вдруг крикнул официанту: «Zahlen»,— счет. Так вот, ни с того ни с сего. И во всю глотку притом. Я ему говорю: «Эй, старина, что случилось?» А он ноль внимания. «Я еще не хочу уходить,— говорю я. — Сейчас выйдут девочки, хочу поглядеть». Как об стену горох. Официант приносит счет. Лео пробегает его глазами, лезет в карман и кладет на тарелку пуговицу.

— Какую пуговицу?

— Просто пуговицу. Вроде той, что официантка нашла тогда на столике в вокзальном буфете. Обыкновенную дерьмовую пуговицу, деревянную, с двумя дырками. — В нем до сих пор кипело возмущение. — Какого черта, кто же это оплачивает счета пуговицами! Годится это? Я подумал было, что это забавы ради. Даже рассмеялся поначалу.

«А где же все остальное, что было на ней надето?» — спросил я его. Я все считал, что он шутит. Только он и не думал шутить.

— Дальше.

— «Получите,— говорит он. — Сдачи не надо». И встает со стула как ни в чем не бывало. «Пошли отсюда, Микки,— говорит он. — Здесь воняет». Тут они и налетели на него. Боже милостивый! Фантастика! Я глазам своим не поверил. Подумать, что Лео такое может. Уложил троих, а четвертый сбежал. И тут кто-то как треснет его бутылкой по голове. Общая свалка. Прямо как где-нибудь в Ист-Энде. Он умел постоять за себя, ничего не скажешь. Но в общем они его одолели. Опрокинули спиной на стойку и давай обрабатывать. В жизни такого не видал. И все молча, никто ни слова. Без всяких там «будешь знать!». В полном молчании. Система. Очухались мы уже на улице. Лео стоял на четвереньках, а они подошли и дали ему еще раза два на прощание, а у меня прямо кишки выворачивало на мостовую.

— Упились?

— Какое к черту — трезв был, как монах. Мне дали пинка в живот, старина.

— Вам?

Голова у него вдруг отчаянно затряслась, и он, наклонившись, отхлебнул из стакана.

— Пытался выручить его,— пробормотал он. — Схватился с остальными, чтобы он мог удрать. Беда в том,— пояснил он, сделав основательный глоток,— что я уже не тот, каким был когда-то. А Прашко к тому времени и вовсе смотался. — Он хмыкнул. — Когда пуговица упала на тарелку, он был уже одной ногой за дверью. Он, верно, знал, как это бывает. Я его не виню.

— Прашко частенько наведывался туда? В ту пору? — спросил Тэрнер таким тоном, словно осведомлялся о старинном приятеле.

— Я тогда впервые увидел его, старина. И больше не встречал. У них с Лео после этого пошло врозь. Осуждать тоже не приходится — член парламента и всякое такое. Вредит положению.

— А вы потом как?

— Боже милостивый. Сидел тихо, как мышь, старина. — По телу у него пробежала дрожь. — Могли в два счета отозвать домой. Засунуть в какую-нибудь блошиную дыру. Вместе с Мэри. Нет, покорно благодарю.

— И чем все это кончилось?

— Думается мне, Прашко сообщил Зибкрону. Полицейские свалили нас возле посольства, дежурный взял такси, мы добрались ко мне домой, вызвали врача. Затем появился Ивен Уолдебир, он был тогда политическим советником посольства. Следом за ним приехал Людвиг Зибкрон в огромном грязном «мерседесе». Что тут началось, бог ты мой! Ну и задал же Зибкрон Лео жару! Сидел у меня в гостиной и давал ему жару, я думал, этому конца не будет. Не очень-то мне это было по душе. А с того, признаться, все как с гуся вода. Ведь, если вдуматься, дело-то было нешуточное. Наш дипломат затевает, черт побери, скандал в ночном кабаке, вступает в драку с мирными гражданами. Тут многим могли дать по шее.

Официант подал почки в мадере.

— Славно,— сказал Краб.— Гляньте сюда. Пальчики оближешь. В самый раз после улиток.

— Что сказал Лео Зибкрону?

— Ничего. Абсолютно ничего. Вы не знаете Лео. Скрытный — это не то слово. Ни Уолдебир, ни я, ни Зибкрон — никто не выжал из него ни ползвука. И ведь, учтите, как старались. Уолдебир устроил ему

отпуск, наложили швы, вставили новые зубы, бог знает, чего только не делали. Всем говорили, что это случилось с ним в Югославии: купался и нырнул в мелком месте. Ну и расквасил физиономию. Ничего себе — нырнул! О господи.

— А как по-вашему, почему все это произошло?

— Понятия не имею, старина. Никуда больше не ходил с ним после этого. Опасная штука.

— И у вас нет никакого мнения на этот счет?

— Сожалею,— сказал Краб. Он снова ушел в свою скорлупу, изборожденное морщинами лицо потеряло осмысленность.

— Видели вы когда-нибудь этот ключ?

— Никогда. — Он радостно осклабился. — Небось у Лео нашли? Да, в прежние времена Лео по части юбок был не дурак. Теперь немного остепенился.

— А вам это никого не приводит на память?

Краб продолжал смотреть на ключ.

— Попробуйте поговорить с Майрой Медоуз.

— Почему с ней?

— Она всегда не прочь. У нее уже был младенец. В Лондоне. Говорят, половина наших шоферов каждую неделю проходит через ее спальню.

— А не упоминал он когда-нибудь про женщину по фамилии Айкман? Он вроде как собирался на ней жениться?

На лице Краба отразилось недоумение, мучительное старание припомнить.

— Айкман? — повторил он. — Занятно. Это из тех, его давнишних. Из Берлина. Правильно, он говорил о ней. Они тогда работали вместе с русскими. Правильно. Она была одной из этих самых — связных, что ли. Берлин, Гамбург. Ну, всякое такое. Вышивала ему эти дурацкие подушечки. Забота и внимание.

— А чем, собственно, он занимался с русскими? — помолчав, спросил Тэрнер. — В чем заключалась его работа?

— Двусторонние переговоры, четырехсторонние — принимал в них участие. Берлин — он ведь как бы сам по себе, вы понимаете. Особый мир, тем более в те дни. Остров. Особый вид острова. — Он покачал головой. — Только это не для него,— добавил он. — Коммунисты — это совсем не по его части. Слишком независимый парень, на черта ему это.

— А эта Айкман?

— Мисс Брандт, мисс Этлинг и мисс Айкман.

— Кто они такие?

— Три куколки. Из Берлина. Он приехал туда вместе с ними из Англии. Красотки писаные, говорил Лео. Нигде на свете таких не видал. А я скажу: он тогда вообще не видал женщин. Эти были эмигрантки и возвращались на родину, в Германию. Вместе с оккупационной армией. Так же, как Лео. В Кройдоне, в аэропорту, он сидел на своем чемодане, ждал самолета, и вдруг эти три куколки в военной форме прошли, вильнули бедрами. Мисс Айкман, мисс Брандт и мисс Этлинг. Оказалось — приписаны к той же части. С этой минуты он больше ни на кого не смотрел. Он, Прашко и еще один малый. Они вместе прилетели из Англии в сорок пятом. И эти куколки. Они там даже песенку такую сложили: «Мисс Айкман, мисс Этлинг и мисс Брандт...», застольную песенку, с довольно пикантными рифмами. Между прочим, они сложили ее в тот же вечер. Когда ехали в свою часть на военной машине. Распевали ее и веселились как чумовые. О господи!

Казалось, он сам готов был запеть ее тут же.

— Айкман — это была девушка Лео. Его первая девушка. Он говорил, что все равно вернется к ней. «Такой, как первая, не бывает,— вот как он говорил.— Все остальные — только суррогат». Подлинные его слова. Ну, вы знаете, гунны — они всегда так. Любят поковыряться в собственной душе.

— А с ней что сталось?

— Понятия не имею, старина. Растаяла в воздухе. Куда они все деваются? Стареют. Сморщиваются, как печеное яблоко. Ух ты! — Кусок почки сорвался у него с вилки, и подливка забрызгала галстук.

— Почему он не женился на ней?

— Она избрала себе другой путь, старина.

— Какой другой путь?

— Она не хотела, чтобы он принимал английское подданство,— так он говорил. Хотела, чтобы он остался немцем и не прятался от действительности. Она была сильна по части разной метафизики.

— Может, он отправился разыскивать ее?

— Он всегда уверял, что сделает это когда-нибудь. «Я знал разных девушек, Микки,— говорил он,— но я никогда не встречу второй такой, как Айкман». Впрочем, разве мы все не говорим того же самого? — И он нырнул носом в бокал с мозельским, ища в нем прибежища.

— Вы так считаете?

— А вы, между прочим, женаты, старина? Держитесь от этого подальше.— Он покачал головой.— Все было бы в порядке, если бы я мог исполнять супружеские обязанности. Но я не могу. Спальня для меня — это ночной горшок, и ничего больше. Я ни на что не годен.— Он подавил смешок.— Женитесь в пятьдесят пять, вот вам мой совет. На хорошенькой шестнадцатилетней куколке. В этом возрасте они еще не понимают, чем их обделили.

— Прашко, значит, был там, в Берлине? С русскими и с Айкман?

— Неразлучная компания.

— А что еще рассказывал он вам относительно Прашко?

— Он был красным в те дни. Больше ничего.

— И Айкман тоже?

— Все может быть, старина. Он никогда об этом не говорил, его не так уж интересовали эти вопросы.

— А он сам?

— Лео — нет, старина. Он же ни уха ни рыла не смыслил в политике. Просто беспокойный характер, вот и все. Форель! — благоговейно прошептал он.— Теперь недурно поесть форели. Почки, скажу вам по секрету, это так, между прочим, а форель — это вещь.

Развеселившись, он пребывал в хорошем расположении духа до конца обеда. Лишь раз возвратился он к вопросу о Лео: когда Тэрнер спросил, часто ли они встречались за последние месяцы.

— На черта мне это,— прошептал Краб.

— А почему нет?

— Он начинал что-то замышлять, старина. Я-то видел. Опять примерялся, как бы ему схватиться с кем-нибудь. Задиристый щенок, сукин сын,— он неожиданно пьяно осклабился.— Опять начал разбрасывать повсюду эти свои пуговицы.

Тэрнер вернулся к себе в отель в четыре часа; он был порядком пьян. Он не стал ждать, пока освободится лифт, и поднялся по лестнице. «Вот и все,— думал он.— Вот как славно все закончилось». Теперь он уже будет пить весь день до вечера и будет продолжать пить в самолете и, надо надеяться, к моменту встречи с Ламли лыка вязать не будет. Как сказал Краб: улитки, почки, форель, шотландское виски — и вовремя

вбирай голову в плечи, когда начнет погромыхивать гром. Поднявшись на свой этаж, он смутно отметил про себя, что открытая дверца лифта приперта каким-то чемоданом, и подумал: верно, портье освобождает чей-то номер, выносит пожитки. «Мы здесь самые счастливые люди,— пронеслось у него в голове.— Мы уезжаем». Он никак не мог отпереть дверь своего номера — заело замок; долго ворочал ключом в замке, но ничего не получалось. Услышав шаги за дверью, он сразу отпрянул назад, но было уже поздно. Дверь распахнулась. Он успел увидеть бледное круглое лицо, гладко зачесанные назад светлые волосы, напряженно сморщенный покатый лоб и, пока медленно опускалась кожаная дубинка, увидел на ней шов и подумал: «Таким швом можно рассечь череп — не только лицо».

От удара дубинки у него подкосились колени, и он почувствовал, как заныло под ложечкой и к горлу подступила тошнота... Его ударили в пах, и боль на мгновение стала невыносимой, но и она мало-помалу утихла, и он увидел женщину — ту, что покинула его, бросила его на произвол судьбы, предоставив ему метаться в поисках выхода из темных закоулков своего одиночества и поражения. Он услышал отчаянный крик Майры Медоуз, когда он сломил ее сопротивление, ложью заплатив ей за ложь; услышал ее вопли, когда они увозили ее от любовника, от этого поляка, когда отнимали у нее ребенка, и ему показалось, что эти вопли исторгнул он сам, и лишь постепенно до его сознания дошло, что они запихнули ему в рот полотенце. Он почувствовал, как что-то холодное и твердое ударило его по затылку, и голова превратилась в тяжелую глыбу льда; он услышал, как захлопнулась дверь, и понял, что остался один; перед его глазами пронеслось бесконечное, проклятое, великое множество нерадивых и обманутых, в ушах прозвучал глупый голос английского епископа, прославляющего бога и войну, и он погрузился в сон. Он лежал в гробу, холодном, гладком гробу, лежал на мраморной плите в длинном коридоре с глянцевитыми кафельными стенами, в глубине которого играли ярко-желтые блики. Он услышал, как де Лилл говорит ему что-то, сдержанно и мягко, и как всхлипывает Дженни Парджитер голосами всех брошенных им женщин; он услышал отеческие увещевания Медоуза, призывающего к милосердию, и веселое посвистывание всех идущих мимо непосвященных. А потом и Медоуз, и Парджитер ускользнули, растаяли, отозванные к другим похоронам, и остался только де Лилл, и только голос де Лилла приносил ему облегчение.

— Дорогой мой,— говорил де Лилл, с изумлением глядя на него откуда-то сверху вниз.— Я зашел к вам, чтобы попрощаться, но если вы решили принять ванну, вам бы следовало по крайней мере предварительно снять с себя этот ужасный костюм.

— Сегодня четверг?

Де Лилл, открыв кран, смачивал горячей водой полотенце.

— Среда. Пока все еще среда. Час коктейля.— Наклонившись над Тэрнером, он начал осторожно стирать кровь с его лица.

— Это футбольное поле... где вы как-то раз видели его. Куда он возил Парджитер. Скажите, как мне попасть туда.

— Лежите тихо. И не разговаривайте, не то перебудите соседей.

С величайшей осторожностью он продолжал вытирать запекшуюся кровь. Высвободив правую руку, Тэрнер украдкой нащупал в кармане пиджака ключ. Он был по-прежнему там.

— Видели вы когда-нибудь этот ключ?

— Нет. Нет, не видел. И в ночь с первого на второе не был в беседке в три часа пополуночи. Однако до чего же это в стиле нашего министер-

ства иностранных дел,— заметил он, отступив на шаг и окидывая критическим взглядом результаты проделанной им работы,— до чего же это в их стиле — натравить быка на матадора. Вы не будете возражать, если я заберу у вас свой смокинг?

— Зачем Брэдфилду понадобилось это?

— Что понадобилось?

— Приглашать меня к обеду. На встречу с Зибкроном. Зачем он во вторник пригласил меня к себе?

— Из братских чувств. Зачем же еще?

— Что было в этой спецсумке, пропажа которой так пугает Брэдфилда?

— Ядовитые змеи.

— Этот ключ не от сумки?

— Нет.

Де Лилл присел на край ванны.

— Вам не следовало бы заниматься этим,— сказал он.— Я знаю наперед, что вы мне ответите: кто-то должен же пачкать руки. Но если этот кто-то — вы, не ждите, что я этому обрадуюсь. Вы не кто-то: в этом ваша беда. Предоставьте это занятие людям, которые родились с шорами на глазах...— Мягкий взгляд де Лилла был исполнен сочувствия.— Все это чудовищно нелепо,— сказал он.— Каждый день какие-то люди гибнут, стремясь уподобиться святым, но не выдержав испытания. Вы же рухнули под бременем своего стремления быть ищейкой.

— Завтра они начнут справляться о вас: «Почему он не уехал? Почему он тут околачивается?»

Тэрнер лежал распростертый на спине, на длинном диване в комнате де Лилла. В руке у него был стакан с виски, лицо облеплено желтым антисептическим пластырем из обширной аптечки де Лилла. В углу валялась его парусиновая сумка. Де Лилл сидел за клавикордами, но не играл, а лишь трогал клавиши. Клавикорды были старинные, восемнадцатого века, с выгоревшей под тропическим солнцем крышкой.

— Вы что, возите с собой эту штуку повсюду?

— У меня была скрипка. Но в Леопольдвилле она распалась на составные части. Клей растаял. Трудно сберегать культурные ценности, когда тает клей,— сухо заметил он.

— Если Лео так чертовски хитер, почему он не уехал?

— Быть может, ему нравится здесь. Тогда он единственный в своем роде, должен признаться.

— И если они так чертовски хитры, почему они не убрали его отсюда?

— Быть может, они не знали, что он сорвался с крючка.

— Как вы сказали?

— Я сказал: быть может, они не знали, что он дал стрекача. Я, правда, не сыщик, но я кое-что понимаю в людях и знаю Лео. Он поразительно своенравный человек. Невозможно хотя бы на секунду представить себе, что он станет выполнять то, что они ему прикажут. Если вообще существуют «они», в чем я сомневаюсь. Не в его натуре быть просто исполнителем.

— Я все время пытаюсь хоть как-то определить его для себя, но он не укладывается ни в один шаблон,— сказал Тэрнер.

Де Лилл ударил пальцем по клавишам.

— Скажите мне, каким хотелось бы вам его видеть? Паинькой или бякой? Или вы просто хотите, чтобы вам не мешали искать его? Вы

хотите достичь чего-нибудь, не так ли,— потому что хоть что-то лучше, чем ничего. Вы как эти чертовы ученые: вам лишь бы не было вакуума.

Тэрнер лежал с закрытыми глазами, погруженный в раздумье.

— Я полагаю, что он мертв. И это было бы печально и жутко.

— Сегодня утром он ведь еще не был мертв! — сказал Тэрнер.

— А вам не нравится, что он в безвестности. Это раздражает вас. Вы хотите, чтобы он либо материализовался, либо перестал существовать. Вы не хотите иметь дело с призраками. Вероятно, именно это и есть самое увлекательное в охоте за экстремистами: вы охотитесь за их убеждениями, не так ли?

— Он продолжает скрываться,— сказал Тэрнер.— От кого он прячется? От нас или от них?

— Быть может, он просто действует сам за себя.

— С пятьюдесятью секретными папками? О да, конечно, конечно!

Де Лилл, облокотившись о клавикорды, внимательно наблюдал за Тэрнером.

— Вы дополняете друг друга. Я смотрю на вас и думаю о Лео. Вы — типичный сакс. Большие ручищи, большие ножищи, большое сердце и этот прославленный здравый смысл, который пытается разобраться в идеалах. У Лео все наоборот. И он актерствует. Он одевается, как мы; говорит на нашем языке, но он приручен лишь наполовину. Я скорее на вашей стороне: ведь мы с вами оба в сущности зрители, а не лицедеи.— Он опустил крышку клавикордов.— Мы из тех, кто что-то прозревает впереди, тянется и отступает. В каждом из нас в юности сидит Лео, но к двадцати годам он обычно уже мертв.

— Кто же в таком случае вы?

— Я? О, к сожалению, я дирижер.— Он встал, не спеша запер клавикорды маленьким бронзовым ключиком на цепочке.— Я даже не умею играть на этой штуке,— сказал он и побарабанил по выгоревшей крышке тонкими изнеженными пальцами.— Я говорю себе, что еще научусь когда-нибудь. Начну брать уроки или куплю самоучитель. Но, по правде говоря, меня это мало волнует: я научился жить с сознанием своей неполноценности. Как большинство из нас.

— Завтра четверг,— сказал Тэрнер.— Если им не известно, что он сбежал, они будут его ждать, верно?

— Да, возможно.— Де Лилл зевнул.— Только они, кто бы они ни были, знают, где им искать, верно? А вы не знаете. Это несколько затрудняет ваше положение.

— А может быть, и нет.

— Вот как?

— Нам известно, по крайней мере, где видели его *вы* в тот самый четверг днем, когда предполагалось, что он находится в министерстве. Туда же он возил и Парджитер. Похоже, он облюбовал себе это местечко.

Де Лилл с минуту стоял неподвижно, все еще держа в руке ключик на цепочке.

— Я думаю, бесполезно отговаривать вас ехать туда?

— Конечно.

— И просить вас тоже? Ведь вы действуете вопреки инструкциям Брэдфилда.

— Пусть так.

— К тому же вы не вполне здоровы. Ну хорошо. Ступайте и ищите свою неприрученную половину. Но если вам действительно удастся найти эту Зеленую папку, мы надеемся, что вы возвратите ее нам, не вскрывая.

И это неожиданно прозвучало приказом.

14. Четвергом рожденное

Четверг

Погода на плато, казалось, была заимствована из разных времен года, из разных географических мест. Откуда-то с северного побережья Англии налетел морской ветер: он гудел в проводах, пригибал к земле колючую сухую траву и с шумом врывался в лесную чащу за футбольным полем, и если какая-то полоумная старушка могла посадить здесь в песчаный грунт чилийскую араукарию, то, казалось, стоило Тэрнеру пробежать по дороге, и он мог бы прыгнуть в троллейбус и очутиться на Борнмут-сквере. Ноябрьский мороз одел стебли папоротника пушистой белой корой инея; холод прятался здесь от ветра и кусал за щиколотки, словно арктическая вода; мороз засел в расщелинах камней на северной стороне холма, и казалось, здесь только страх может заставить пошевелить скованной от холода рукой, а жизнь бесценна уже тем, что завоевана. На пустом футбольном поле отважно умирали последние лучи оксфордского солнца, а небо было цвета осенних йоркширских сумерек — темное, неспокойное, с тяжелой бахромой туч на горизонте. Согнутые ветром стволы деревьев были из далекого детства, как отроческая спина Микки Краба, сгибавшаяся в школе над умывальной раковиной, но когда порыв ветра унесся вдаль, деревья не распрямили спин, замерев в ожидании новой атаки.

Свежие еще ссадины на его лице жгло, как огнем; в светлых глазах от бессонницы и боли появился стеклянный блеск. Он ждал, не сводя глаз с дороги, сбегавшей вниз с холма. Далеко внизу справа текла река; порывы ветра временами заглушали все звуки, и гудки барж замирали без ответа. По дороге навстречу ему медленно ползла машина: черный «мерседес» с кёльнским номером, за рулем — женщина; не прибавляя скорости, машина проехала мимо. По ту сторону огороженной проволочной сеткой площадки стоял новенький спортивный павильон: окна закрыты ставнями, дверь на висячем замке. На крышу опустился грач, ветер шевелил его перья. Появился «рено» с французским дипломатическим номером, за рулем — женщина, рядом мужчина; Тэрнер записал номер в свою черную книжечку. Цифры получились корявыми, детскими, запись показалась ему какой-то неестественной, чужой. Должно быть, он все-таки успел дать им сдачи, потому что на суставах правой руки были довольно глубокие порезы — как от зубов при сильном ударе в открытый рот. Если у Лео почерк был аккуратный, закругленный, без острых углов, то у Тэрнера — крупный, прямой, напористый.

«Вы и Лео — оба беспокойные души,— сказал ему ночью де Лилл, когда они ехали в машине.— Бонн — это нечто стоячее, а вы — беспокойные души... Вы сражаетесь друг с другом, но в сущности вы оба сражаетесь против нас... Противоположность любви вовсе не ненависть, а апатия... Вам надо научиться апатии, войти с ней в соглашение».

«Бросьте вы, Христа ради»,— взмолился Тэрнер.

«Здесь вам выходить,— сказал де Лилл, открывая дверцу машины.— И если завтра к утру вы не возвратитесь, я заявлю в береговую полицию».

В Бад-Годесберге он купил себе оружие — гаечный ключ — и теперь ощущал его тяжесть в заднем кармане брюк. Темно-серый автобус «фольксваген» с табличкой «SU», полный ребятишек, остановился возле спортивного павильона. Шум обрушился на Тэрнера внезапно, испугав неожиданностью: взвилась стайка птиц, налетел порыв ветра, звонкими осколками рассыпался смех, прозвучал чей-то жалобный возглас, кто-то

засвистел в свисток. Низкий луч солнца прорезал тучи — словно ручным фонариком осветили коридор. И павильон поглотил всех. «В жизни не встречал человека, который бы так выставлял напоказ свои недостатки»,— в отчаянии кричал на него де Лилл.

Он поспешно спрятался за дерево. «Оппель-рекорд» с боннским номером. Двое мужчин. Он записывал и чувствовал, как гаечный ключ утыкается ему в бедро. Мужчины были в шляпах, в пальто и профессионально безлики. В боковых окнах машины — матовые стекла. Машина еще продолжала двигаться, но со скоростью пешехода. Он увидел их бледные лица, повернутые в его сторону,— как две луны среди искусственного мрака автомобиля. «Не о твои ли это зубы? — пронеслось у Тэрнера в голове.— Вас не отличишь друг от друга. Надеюсь, мы еще встретимся». Машина все ползла в гору, делая не больше десяти миль в час. Проехал фургон, за ним два грузовика. Где-то на колокольне пробили часы. А может быть, это прозвенел школьный звонок? А может быть, это благовест — звонят к вечерне? Или овцы бродят в долине, позвякивая колокольцами, или паром идет по реке, оповещая о себе ударами колокола? Солнце зашло. Вдали показался маленький «ситроен». Потом малолитражка, вся в грязи, с вмятиной на крыле, с неразличимо тусклыми цифрами номера; за рулем — неясные очертания одинокой фигуры; единственная горящая фара то вспыхивает, то гаснет; сирена по временам сигналит кому-то. «Оппель» исчез. «Поторапливайтесь вы, лунообразные, вы можете пропустить Его появление». Колеса задергались, как развинченные суставы, когда маленький автомобиль свернул с дороги и запрыгал по грязным обледенелым деревянным мосткам, нахально вихляя задом при заносах. Дверца отворилась, он услышал завывания джаза, и во рту у него сразу пересохло от всех проглоченных таблеток, а порезы и ссадины на его лице были как решетчатая тень ветвей. Он бесшумно опустил гаечный ключ обратно в карман.

Она стояла спиной к нему, всего в десяти шагах, не ощущая ветра, не замечая ребятишек, которые с криком ворвались на футбольное поле.

Она смотрела на дорогу, сбегавшую вниз с холма. Она не заглушила мотора, и машина сотрясалась изнутри, как от боли. Стеклоочистители бессмысленно скребли по грязному ветровому стеклу. Она стояла, не шевелясь, уже почти час.

Целый час она ждала, замерев в восточной неподвижности, безразличная ко всему, кроме ожидания того, кто не шел и не придет. Она стояла, словно статуя, и по мере того как садилось солнце, словно бы становилась все выше и выше.

Ветер трепал полы ее плаща. Один раз она подняла руку, чтобы отбросить с лица выбившуюся прядь волос; один раз прошла до конца деревянных мостков и поглядела вниз на пойму реки в сторону Кёнигсвинтера; потом медленно повернулась в задумчивости, и Тэрнер плюхнулся на колени за деревьями в спасительную тень.

Терпение покинуло ее. С шумом распахнув дверцу автомобиля, она опустилась на сиденье, закурила сигарету и ладонью нажала на сигнал. Аккумулятор сел, сирена прозвучала сипло, и ребятишки рассмеялись, на минуту оторвавшись от игры... И снова все стихло.

Стеклоочистители больше не скребли, не метались по стеклу, но мотор продолжал работать, и она время от времени нажимала на акселератор, чтобы поднять температуру обогревателя. Стекла машины начали запотевать. Она достала из сумочки зеркало и губную помаду.

Откинувшись на сиденье, закрыв глаза, она слушала танцевальную музыку, лившуюся из радиоприемника; одна рука ее лежала на баранке автомобиля, и пальцы тихонько отбивали такт. Услышав шум машины, она приоткрыла дверцу и апатично выглянула наружу, но это снова был все тот же черный «оппель», медленно сползавший обратно с холма, и хотя оба лунообразных лица были повернуты к ней, она осталась безучастной к проявленному ими любопытству.

Футбольное поле опустело. В спортивном павильоне окна закрыли ставнями. Она включила свет в кабине и поглядела на часы.

Внизу в долине уже замерцали первые огоньки, и очертания реки утонули в тумане. Тэрнер, тяжело ступая, вышел на дорогу и распахнул дверцу автомобиля.

— Поджидаете кого-нибудь? — спросил он и, сев рядом с ней, проворно захлопнул дверцу, так что свет в кабине сразу погас. Он выключил радиоприемник.

— Я полагала, что вы уехали,— со злобой произнесла она.— Я полагала, что мой муж уже избавился от вас.— Она вся была во власти страха, гнева, унижения.— А вы в это время шпионили за мной! Прятались в кустах, как третьеразрядный шпик! Как вы осмелились! Вы, жалкий подонок, ничтожество! — Она подняла сжатый кулак, но в ту же секунду Тэрнер с такой силой ударил ее по губам, что она стукнулась затылком о край окна. Открыв дверцу, он обошел вокруг машины, стащил ее с сиденья и снова ударил ладонью по лицу.

— Сейчас мы с вами немного прогуляемся,— сказал он,— и побеседуем об этом жалком подонке, этом ничтожестве, вашем любовнике.

Он повел ее по деревянным мосткам на вершину холма. Она шла за ним без малейшего сопротивления и тихонько плакала, низко опустив голову, уцепившись обеими руками за его руку.

Они смотрели сверху на Рейн. Ветер стих. Над головой уже мерцали первые звезды, словно фосфоресцирующие огоньки в заштиленном море. Вдоль реки ряд за рядом зажигались огни, вспыхивали, и тут же умирали, едва успев родиться, и чудом воскресали снова, вырастая в огненные цветы, колеблемые ночным ветерком. И только с реки приплывали какие-то звуки: пыхтенье моторных барж и — каждые четверть часа — убаюкивающий колыбельный перезвон склянок. Запахом тлена и сырости веяло от реки, и они чувствовали ее холодное дыхание на лице и на руках.

— Все началось как на пари.

Она стояла поодаль от него и глядела вниз, в долину, обхватив себя руками так, что ладони легли на лопатки.

— Он больше не придет. Все кончено. Я знаю.

— Почему он не придет?

— Лео не любил говорить о таких вещах. Он слишком пуританин для этого.— Она закурила сигарету.— Не придет, потому что никогда не перестанет искать, вот почему.

— Что искать?

— Что ищет каждый из нас? Родителей, детей, женщину.— Она обернулась к нему.— Давайте дальше,— сказала она с вызовом.— Спрашивайте остальное.

Тэрнер ждал.

— Когда мы с ним сошлись — это вы хотите знать? Я в ту же ночь легла бы с ним в постель, попроси он меня об этом, но он и не заикнулся.

Потому что я — жена Роули, а он понимал, что хорошие люди встречаются не на каждом шагу. И он знал, что ему надо выжить— как вам это объяснить! Ведь Лео — обольститель, неужели не ясно? Он может уговорить павлина выщипать себе хвост... Какая я идиотка, зачем я все это вам говорю! — вырвалось у нее.

— Вы были бы еще большей идиоткой, если бы молчали. Вы ведь основательно влипли,— сказал Тэрнер.— Попали в беду. Говорю вам на случай, если вы сами этого не понимаете.

— А, у меня всю жизнь так. Что я могу с собой поделать? Мы с ним старые шлюхи — и он, и я — и вот встретились и полюбили друг друга.

Присев на скамейку, она вертела в руках перчатки.

— Это произошло на приеме. На омерзительном бонском приеме а-ля фуршет, с глазированной уткой и этими чудовищными немцами. Кто-то кого-то принимал. Кто-то кого-то провожал. Кажется, американцев. Каких-то титулованных мистера и миссис Икс. Очередное чествование каких-то высокопоставленных особ. Все было невыносимо провинциально.— Она говорила быстро, фальшиво-доверительным тоном, но несмотря на ее старания, это был все тот же тон — в нем чувствовалась все та же хорошо отработанная дипломатическая сноровка; в каких только уголках мира не доводилось Тэрнеру слышать эти искусственные модуляции голоса, характерные для жен английских дипломатов, умеющих вовремя нарушить молчание, скрыть замешательство, завуалировать оскорбление... в меру цивилизованный голос, в меру изысканный тон, неотвратимо приверженный раз и навсегда выработанному стандарту, упрямо преследующий свою цель.— Мы приехали сюда прямо из Адена и прожили здесь ровно год. До этого мы жили в Пекине, а теперь вот — Бонн. Был конец октября — Карфельдовского октября. События только начинали назревать. В Адене в нас бросали бомбы, в Пекине нам угрожал самосуд, а теперь вот нас собираются сжечь на костре на рыночной площади. Бедняга Роули: он притягивает к себе унижение, как магнит. Во время войны он был в лагере военнопленных — вы, наверно, знаете. Он из поколения униженных — вот как бы я окрестила таких, как он.

— Он бы влюбился в вас за это,— сказал Тэрнер.

— Он любит меня и без этого.— Она помолчала.— Как ни странно, я совсем не замечала Лео прежде. Он казался мне довольно скучным, незначительным... временным сотрудником. Маленький стиляга, пижон— играет на органе в часовне и курит тошнотворные сигары на дипломатических коктейлях... Ничего интересного... пустое место. А в тот вечер — вдруг, едва он вошел, едва переступил порог, как я почувствовала: он отметил меня и избрал. И у меня мелькнула мысль: «Берегись, детка! Воздушная тревога!» Он подошел прямо ко мне: «Привет, Хейзел!» Никогда не называл он меня раньше по имени, и я подумала: «А ты, оказывается, наглец, мой бэби! Это право еще нужно заслужить».

— А вы умеете рисковать. Это хорошо,— сказал Тэрнер.

— Он заговорил. Не помню о чем; я никогда не придавала особого значения тому, *что* он говорит,— не больше, чем он сам. Вероятно, что-нибудь о Карфельде. О беспорядках, обо всей этой шумихе. И тут я наконец заметила его. Впервые по-настоящему обратила на него внимание.— Она снова умолкла.— И вот тогда я подумала: «Ого, столько лет я уже живу на свете, так где же ты все это время был?» Словно я нашла старую чековую книжку и вместо задолженности неожиданно обнаружила, что у меня есть еще кое-что на счету. *Живой* — вот что я ощутила в нем.— Она рассмеялась.— Полная противоположность вам. Вы — мертвец из мертвецов.

Тэрнер, вероятно, ударил бы ее снова, если бы в ее издевке не прозвучало что-то мучительно знакомое.

— Он был весь как натянутая струна — это первое, что бросилось мне в глаза. Все время начеку, следил за каждым своим шагом. Манера говорить, манера себя держать — все было деланное. Он прислушивался к собственному голосу, как прислушиваются к голосу собеседника; где следует, понижал его или повышал, расставлял все эпитеты в надлежащем порядке. Я попыталась классифицировать его: за кого могла бы я его принять, если бы ничего не знала о нем? Немец из Южной Америки? Сотрудник аргентинской торговой миссии? Что-нибудь в этом роде. Вылощенный латинизированный гунн.— Охваченная воспоминаниями, она снова умолкла.— У него был отлично подвешен язык, он ловко закруглял каждую фразу, немного на немецкий лад. Я заставила его рассказывать о себе — где он живет, кто готовит ему пищу, как проводит он уик-энды. И не успела опомниться, как он уже давал мне советы. Дипломатические советы: где подешевле покупать мясо; как пользоваться заказами по почте; что лучше заказывать у Голландца, а что у «Ааафи». В «Экономате» первосортное сливочное масло, а орехи лучше брать в спецмагазине. Совсем как женщина. Он знал особый рецепт приготовления чая: все немцы помешаны на пищеварении. Потом предложил мне купить электрический фен. Почему вы смеетесь? — спросила она, внезапно вспыхнув от гнева.

— Разве я смеялся?

— Он знал, как можно купить со скидкой на двадцать пять процентов, сказал он. Он знал все модели фенов и сверял их стоимость.

— Значит, он поглядывал на ваши волосы тоже.

Она резко повернулась к нему.

— Не забывайтесь,— осадила она его.— Вы не стоите его мизинца.

Он снова ударил ее — сильно, с размаха ударил по щеке, и даже в сумерках было видно, как страшно она побледнела.

— Мерзавец! — сказала она, дрожа от ярости.

— Продолжайте.

Наконец она заговорила снова.

— В конце концов я сказала: хорошо. Мне так все осточертело. Роули забился куда-то в угол с советником французского посольства; все сражались у стола, добывая себе еду. Словом, я сказала, хорошо, я не прочь купить фен. Со скидкой в двадцать пять процентов. Только у меня-де нет при себе наличных. Можно выписать чек? Я могла бы с таким же успехом сказать просто: хорошо, я не прочь лечь с вами в постель. Тут он улыбнулся, и я впервые увидела его улыбку. Он вообще редко улыбается. Улыбка осветила все его лицо. Я попросила его принести мне чего-нибудь поесть, он ушел, а я смотрела ему вслед и старалась угадать, что из всего этого получится. У него такая легкая, скользящая походка — Eiertanz, как говорят немцы, что значит: может танцевать с завязанными глазами между разложенных на полу яиц, — а мне казалось, что так неслышно ступают лишь в церкви, только он ступал тверже. Немцы атаковали стол, сражаясь за спаржу, а он просто проскользнул между ними и возвратился с двумя тарелками, наполненными разной снедью; из нагрудного кармашка у него торчали ножи и вилки, и он ухмылялся во весь рот. У меня есть брат, Эндрью, так он был вылитый мой братец в ту минуту — тот так же вот ухмыляется, когда в регби вырвется из схватки с мячом. И тут мне вдруг стало легко. Какой-то замызганный канадец пытался прочитать мне лекцию по сельскому хозяйству, я еле от него избавилась. Пожалуй, они единственные, канадцы, кто еще верит во всю эту чепуху. Они—как англичане в Индии.

Ей послышался какой-то шум, и, быстро обернувшись, она стала

напряженно всматриваться в сползавшую вниз, во мрак, дорогу. Ветер стих; стволы деревьев казались совсем черными на фоне неба; одежда становилась влажной от ночной росы.

— Он не придет. Вы же сами сказали. Давайте дальше. Побыстрей.

— Мы пристроились где-то на лестнице, и он снова начал рассказывать о себе. Наводящих вопросов не требовалось. Все выливалось само собой, и в этом было что-то завораживающее. Германия в первые послевоенные дни. «Не изменились одни только реки». Я никогда не могла разгадать — что это: перевод с немецкого, полет фантазии или просто пересказ чужих слов.— Она замолчала, словно в нерешительности, и опять посмотрела на дорогу.— Он рассказывал о том, как женщины работали ночами при свете дуговых ламп — передавали камни из рук в руки, точно спешили потушить пожар. Как он научился спать в полуторатонке с огнетушителем под головой. Он забавно изображал, как сводило потом ему шею — склонял голову набок и перекашивал рот. Словом, развлекал меня, как в спальне.— Внезапно она вскочила.— Я пойду туда. Он убежит, если увидит пустой автомобиль: он пуглив, как котенок.

Он пошел следом за ней к деревянным мосткам, но на плато не было ни души, только на площадке для машин стоял «оппель-рекорд» с выключенными фарами.

— Садитесь в машину,— сказала она.— Не обращайте на них внимания.— Когда в кабине вспыхнул свет, она впервые заметила, что́ у него с лицом, и негромко охнула.— Кто это сделал?

— Они сделают то же и с Лео, если разыщут его раньше, чем мы.

Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Кто-то разрезал брезентовый верх машины, и он свисал клочьями, словно рубище нищего. На полу валялась пластмассовая баранка от детского автомобиля, и Тэрнер ногой вышвырнул ее из машины.

— Иногда я думала: «Ведь ты ненастоящий, пустая оболочка. Ты только имитируешь жизнь». Но кто посмеет думать так о своем любовнике? Он был актер, посредник, быть может, застрявший между двумя мирами: Германией и Англией, Кёнигсвинтером и Бонном, часовней и дипломатическими скидками, бельэтажем и подвалом. Кто может выдержать все эти битвы и уцелеть! Иногда он, в сущности, просто обслуживал нас,— сказала она просто.— Или, вернее, меня. Как метрдотель. Мы были его клиентами. Стоило нам чего-нибудь пожелать, и он был к нашим услугам. Он не жил, он старался выжить. Ему всегда как-то удавалось выжить. До сих пор.— Она снова достала сигарету. В машине было очень холодно. Она попыталась запустить мотор и включить обогреватель, но аккумулятор сел.— После этого первого вечера все барьеры уже рухнули. Роули отыскал меня, и мы уехали оттуда последними. Он схватился из-за чего-то с Лезэром и был очень доволен, что взял над ним верх. Мы с Лео все еще сидели и пили кофе; Роули пришел и поцеловал меня в щеку... Что это там?

— Ничего.

— Какой-то огонек мелькнул внизу.

— Кто-то пересек дорогу на велосипеде. Уже никого нет.

— Я не выношу, когда он целует меня на людях, но он знает, что я не могу ему помешать. Если мы одни, он никогда этого не делает. «Пойдем, дорогая, пора уже». При его появлении Лео встал, но Роули даже не заметил его. Он повел меня к Лезэру. «Вот кому вы, в сущности, должны принести извинения. Весь вечер она просидела одна на лестнице». Мы уже направлялись к выходу, и Роули хотел взять свой

плащ, но в вестибюле стоял Лео с его плащом и подал ему.— Она улыбнулась; в этой улыбке была любовь, нежность: воспоминание согрело ее.— Я словно бы и не существовала для него больше. Роули повернулся к нему спиной, сунул руки в рукава, и я отчетливо увидела, как у Лео напряглись мускулы и побелели костяшки пальцев. Я была рада, понимаете? Я была довольна, что Роули так себя ведет.— Она пожала плечами.— Я уже попалась на крючок,— сказала она.— Мне хотелось поймать пташку, и вот она была в моих руках — клюв, перышки, все. На другой день я разыскала его имя в посольском справочнике. Теперь вы уже и сами знаете, что он собой представляет,— ничего. Я позвонила Мэри Краб и осведомилась о нем. Как бы между прочим, шутя. «Я познакомилась с каким-то удивительным маленьким человечком вчера»,— сказала я. Мэри едва не хватил удар. «Моя дорогая, это опасный человек. Держитесь от него *подальше*. Он как-то раз затащил Микки в ночной кабак, и Микки влип с ним в *чудовищную* историю. По счастью,— добавила она,— в декабре истекает срок его договора, и мы от него освободимся». Тогда я попытала еще Салли Эскью — она до ужаса добропорядочна. Я чуть не умерла со смеха...— Она расхохоталась и, надменно выпятив подбородок, произнесла высокопарным тоном, подражая жене торгового атташе: — «Это очень полезный холостяк, когда ощущается нехватка в мужчинах-немцах». А у них это бывает часто, понимаете: нас ведь больше, чем их. Целая свора дипломатов охотится за жалкой кучкой немцев — вот что такое Бонн. Беда в том, сказала Салли, что немцы опять возвращаются к старому в отношении таких, как Лео, и поэтому им с Обри приходится, хочешь не хочешь, избегать его общества. «Он бессознательный раздражитель, моя дорогая; надеюсь, вам ясно, что я хочу сказать». Я была безумно заинтригована. Побежала бегом в гостиную и написала ему длинное письмо абсолютно ни о чем.

Она снова попробовала запустить мотор, но он даже не чихнул. Она плотнее закуталась в плащ.

— О господи! — прошептала она.— Лео, приди. Можно ли так испытывать дружбу!

В черном «оппеле» на секунду вспыхнул слабый огонек и тут же погас, словно кто-то кому-то давал сигнал. Тэрнер не промолвил ни слова, только кончики его крепких пальцев легонько коснулись гаечного ключа, лежавшего в кармане.

— Письмо девчонки-школьницы. Спасибо, что вы были так внимательны ко мне. Не сердитесь, что я отняла у вас целый вечер, пожалуйста, не забудьте насчет фена. Далее следовала миленькая, от начала до конца выдуманная история о том, как я отправилась за покупками в «Испанский сад» и там какая-то старая дама уронила монетку в две марки в ящик с апельсинами, и никто не мог отыскать эту монетку, а старушка сказала, что это — все равно как если бы она заплатила эти деньги за фрукты. Я сама отвезла письмо в посольство, и он позвонил мне на другой же день. Есть две модели, сказал он: та, что подороже, переключается на разное напряжение, и ею можно пользоваться без адаптера.

— Без трансформатора.

— «А как насчет цвета?» Я молчала и слушала. Он сказал, что ему очень трудно выбрать без меня — брать ли с переключателем и какого цвета. Нельзя ли нам встретиться и обсудить все сообща? Разговор происходил в четверг, и мы встретились здесь. Он сказал, что приходит сюда каждый четверг — подышать свежим воздухом, поглядеть на ребятишек. Я не поверила ему, но почувствовала себя очень счастливой.

— И это все, что он сказал насчет того, зачем приходит сюда?

— Как-то раз он еще сказал, что они перед ним в долгу — за время, которое он затратил.

— Кто в долгу?

— Посольство. Что-то там такое Роули отнял у него и передал кому-то другому. Какую-то работу. И теперь вместо этого он приходит сюда.— Она покачала головой с неподдельным восхищением.— Он упрям как мул,— сказала она.— «Они в долгу передо мной,— твердил он,— я беру то, что мне положено. Только так и можно жить».

— Мне кажется, вы говорили, что он не охотник до отвлеченных рассуждений.

— Он не любил вдаваться в высокие материи.

Тэрнер промолчал.

— Мы немного погуляли, поглядели на реку; на обратном пути мы шли, взявшись за руки. А когда мы уже собрались уезжать, он вдруг сказал: «Я же забыл показать вам фен!» А я ответила: «Какая жалость! Значит, нам придется встретиться здесь еще раз в следующий четверг, не так ли?» Он был *безумно* шокирован.— Она заговорила, передразнивая его: в голосе звучала и насмешка и что-то теплое, интимное — казалось, что она не столько старается изобразить это для Тэрнера, сколько вспоминает все для себя самой.— «Но моя *дорогая*, миссис Брэдфилд...» А я сказала: «Если вы придете в следующий четверг, я позволю вам называть меня Хейзел». Я шлюха,— сказала она.— Вот что вы сейчас подумали.

— А потом что было?

— Каждый четверг. Здесь. Он оставлял свою машину у подножия холма, а я ставила свою на дороге. Мы были любовниками, но никогда не лежали в постели. Старались быть благоразумными. Иногда он говорил, иногда молчал. И часто показывал на свой дом на том берегу реки — так, точно хотел продать его мне. Мы бродили по тропинкам с холма на холм, чтобы получше рассмотреть его со всех сторон. Я стала поддразнивать Лео однажды: «Ты как сатана. Показываешь мне свое царство». Ему это не понравилось. Он никогда ничего не забывает, понимаете? Это оттого, что ему пришлось пережить. Он не любил, когда я говорила о зле, о страданиях... Он познал все это слишком глубоко.

— А что было потом?

Голова ее поникла, улыбка сбежала с губ.

— Потом — постель Роули. Однажды в пятницу. В Лео еще жил мститель, он еще не до конца освободился от этого. Он всегда знал, когда Роули должен был куда-нибудь уехать: узнавал через транспортный отдел, заглядывал в журнал агента по покупке билетов. И говорил мне: на следующей неделе он уезжает в Ганновер... Он уезжает в Бремен.

— А зачем Брэдфилд туда ездил?

— О господи! Посещал наши консульства. Лео задавал мне тот же самый вопрос — а откуда я могу знать? Роули никогда мне ничего не говорит. Порой мне казалось, что он просто ездит за Карфельдом по всей Германии: он всегда оказывался там, где происходили их сборища.

— И с той поры так оно у вас и шло?

Она пожала плечами.

— Да. Потом так и шло. Всякий раз, когда нам это удавалось.

— А Брэдфилд знал?

— О боже! Знал? Не знал? Вы хуже немцев. И да, и нет. Вы хотите, чтобы вам на все наклеили ярлыки? Есть вещи, с которыми этого нельзя делать. Есть вещи, которые как бы не существуют, пока о них не сказано вслух. Никто на свете не понимает этого так, как Роули.

— Черт подери,— пробормотал Тэрнер.— У вас на все есть ответ.—

И тут же вспомнил, что сказал Брэдфилду то же самое три дня назад.

Она пристально смотрела прямо перед собой сквозь мутное ветровое стекло.

— Какова цена людям, всему вообще? Дети, мужья, служебная карьера... Вы потонете — скажут: неизбежная жертва. Вы сумеете выплыть — и вас назовут сукой. Нет, вы отдайте себя на заклание. А во имя чего?

— *Знал он?*

Тэрнер схватил ее за плечо.

— Он знал?!

Слезы заструились по ее лицу. Она смахнула их рукой.

— Роули — дипломат, — проговорила она наконец. — Искусство жить на грани возможного — в этом весь Роули. Уметь ограничивать цель, дисциплинировать ум и чувства. «Не будем горячиться. Не будем называть вещи своими именами. Не будем вдаваться в обсуждения, если не знаем заранее, чего хотим достичь». Он не может... выйти из себя: ему это не дано. У него нет ничего, ради чего стоило бы жить. Кроме меня.

— Но он знает.

— Вероятно, да,— сказала она устало.— Я никогда не спрашивала его. Да, он знает.

— Потому что это вы заставили его возобновить договор, вы? В декабре прошлого года. Вы добились этого от него.

— Да. Это было ужасно. Совершенно ужасно. Но ведь нельзя же было этого не сделать,— сказала она так, словно имела в виду какую-то высшую цель, понятную им обоим.— Иначе бы он распростился с Лео.

— А Лео хотелось остаться здесь. Вот для чего вы ему понадобились.

— Лео сошелся со мной по расчету. Потому что он мог использовать меня. Он остался со мной, потому что полюбил меня. Вы удовлетворены?

Тэрнер ничего не ответил.

— Он никогда об этом не говорил. Я уже объясняла вам. Он никогда не произносил высоких фраз. «Еще один год—это все, что мне нужно, Хейзел. Только один год. Еще один год любить тебя, еще один год, чтобы взять у них то, на что я имею право. Еще один год после декабря, и тогда я уеду. Они даже не понимают, в каком они передо мной долгу». Словом, я пригласила его к нам на коктейль. Для встречи с Роули. Это было давно — прежде, чем пошли сплетни. Мы были втроем, я сделала так, чтобы Роули приехал в тот день домой пораньше. «Роули, это Лео Гартинг; он работает где-то там у тебя и играет на органе в часовне».— «Да, разумеется, мы знакомы»,— сказал Роули. Мы поговорили о том о сем. Об орехах, поступивших в наш спецмагазин. О весенних отпусках. О том, как бывает летом в Кёнигсвинтере. «Мистер Гартинг приглашает нас к себе на обед,— сказала я.— Как это мило с его стороны, не правда ли?» На следующей неделе мы отправились в Кёнигсвинтер. Он угощал нас разными разностями: миндальным печеньем с муссом, кофе с халвой. Вот и все.

— Что все?

— О господи, неужели вы не понимаете? Я показала его! Я показала Роули, чего я хочу, кого он должен мне дать!

Больше уже ничто не нарушало тишины. Грачи, словно часовые, торчали на едва колеблющихся ветках, и даже легкий ветерок не шевелил их перьев.

— Они тоже спят стоя, как лошади? — спросила она.

Повернувшись, она поглядела на него, но он ничего не ответил.

— Он не выносил тишины,— мечтательно проговорила она.— Тишина его пугала. Наверно, потому он так любил музыку и так любил свой дом — этот дом всегда был полон каких-то звуков. В нем даже мертвый не уснул бы. Не то что Лео.

Она улыбнулась, охваченная воспоминаниями.

— Он не жил в нем, он обживал его и оснащал, как корабль. Всю ночь напролет он бегал по нему сверху вниз и снизу вверх — то закрывал окно, то прилаживал ставню или еще что-нибудь. И такой же была вся его жизнь. Тайные страхи, тайные воспоминания — то, о чем он никогда не говорил, но считал, что каждый должен понимать сам.— Она зевнула.— Он уже не придет,— сказала она.— Он не любит темноты.

— Где он сейчас? — настойчиво спросил Тэрнер.— Чем занимается?

Она молчала.

— Послушайте: он ведь нашептывал вам на ухо по ночам, выхвалялся перед вами, говорил, что переделает мир на свой лад. Рассказывал вам, какой он хитрец, какие проделывает штуки, как обводит людей вокруг пальца!

— Вы глубоко заблуждаетесь. Вы совершенно не понимаете его.

— Тогда расскажите мне!

— Да нечего рассказывать. Ведь существует заочная любовь, по переписке. А он как бы сносился со мной из другого мира.

— Из какого мира? Из Москвы, черт подери, из мира борьбы за мир?

— Я так и знала. Вы примитивны. Вам нужно, чтобы все линии сходились в одной точке и все цвета не имели оттенков. У вас не хватает мужества слышать полутона.

— А у него хватало?

Казалось, мысли ее были уже где-то далеко.

— Бога ради, уедем отсюда наконец,— сказала она резко, словно Тэрнер удерживал ее.

Ему пришлось долго толкать машину вниз по склону, пока не затарахтел мотор. Когда они понеслись вниз с холма, Тэрнер заметил, что черный «оппель» развернулся на площадке и поспешно двинулся следом за их машиной, соблюдая обычную дистанцию — ярдов в тридцать.

Она привезла его в Ремаген, в один из больших отелей на набережной. Хозяйка отеля, пожилая дама, усадив ее, ласково похлопала по руке.

— А где же этот маленький господин,— осведомилась она,— который был всегда так любезен и мил, курил сигары и изъяснялся на таком превосходном немецком языке?

— Он говорил с акцентом,— пояснила Хейзел Тэрнеру.— С легким английским акцентом. Он его специально усвоил.

На веранде было совершенно пусто, только в углу сидела какая-то молоденькая парочка. Присев к столику у окна, Тэрнер увидел, что «оппель» притормаживает у тротуара внизу, на набережной. Номер машины был уже другой, но лунообразные лица за стеклами — все те же. У Тэрнера мучительно болела голова. Отхлебнув виски, он сразу почувствовал тошноту. Он попросил воды. Хозяйка принесла бутылку местной минеральной воды и рассказала ему о всех ее полезных свойствах. Они поили этой водой раненых и в первую, и во вторую мировую войну, сказала она; тогда в их отеле располагался пункт первой помощи; всех, кто был ранен при переправе через реку, доставляли к ним.

— Он должен был встретиться со мной здесь в прошлую пятницу,— сказала Хейзел,— и повезти меня к себе домой обедать. Роули уезжал в Ганновер. В последнюю минуту Лео позвонил, что не придет.

В четверг вечером он опоздал на свидание. Я не особенно встревожилась. Случалось, что он не приходил вовсе. Иногда задерживался на работе. Все уже стало немножко по-иному. Примерно с месяц назад. Сначала я думала, что у него другая женщина. Он вдруг начал исчезать из Бонна...

— Куда он исчезал?

— Один раз в Берлин. Потом в Гамбург. В Ганновер. В Штутгарт. Так он говорил, по крайней мере. Совсем как Роули. Я никогда не знала наверняка. Он был не слишком откровенен. Совсем не похож на вас.

— Итак, он появился с опозданием. В прошлый четверг. *Дальше!*

— Он обедал с Прашко.

— В «Матернусе»! — вырвалось у Тэрнера.

— Произошел «обмен мнений». Это один из леоизмов. Этакая неопределенность, уклончивость — можно понять и так, и этак. Как сослагательное наклонение — к нему он тоже прибегал с охотой. Словом, обмен мнений. Он не сказал, по поводу чего. Он казался озабоченным, словно его тяготило что-то. Я уже слишком хорошо его изучила, чтобы пытаться развеселить, вывести из этого состояния; мы просто немножко погуляли. А *они* следили за нами... И я поняла, что это и есть то самое.

— Что — то самое?

— Он получил год, который был ему нужен. И нашел то, что искал — бог весть что это такое,— а теперь не знал, как ему поступить.— Она пожала плечами.— А я тем временем тоже разобралась в себе. Но он об этом так и не узнал. А ему стоило только поманить меня пальцем, и я бы бросила все и ушла с ним.— Она глядела вниз на реку.— Никакие дети, мужья, ничто на свете не остановило бы меня. Ничто, позови он меня только.

— Что же такое он нашел? — понизив голос, прохрипел Тэрнер.

— Не знаю. Он что-то нашел и говорил об этом с Прашко, но ничего от него не добился. Лео это предвидел, но он должен был убедиться, вернуться к старому и проверить. Он хотел знать твердо, что может рассчитывать только на себя.

— Откуда вам все это известно? Что еще он вам рассказывал?

— Меньше, чем ему казалось, вероятно. Я для него была как бы частью его самого.— Она пожала плечами.— Я была его другом, а друзья не задают вопросов. Не так ли?

— Продолжайте.

— «Роули уезжает в Ганновер,— сказал он.— Завтра вечером Роули уезжает в Ганновер». И тут же пригласил меня пообедать с ним в Кёнигсвинтере. «Это будет особый обед». Я спросила: «Ты хочешь отпраздновать что-то?» — «Нет, нет, Хейзел, это не празднование. Просто сейчас особые дни,— сказал он.— Да и времени остается мало. Договора со мной уже не возобновят. После декабря все будет кончено. Так почему бы нам не пообедать вместе как-нибудь?» И он загадочно поглядел на меня. И потом мы снова отправились бродить по нашим любимым местам — он вел меня, я шла за ним. «Мы встретимся в Ремагене,— сказал он,— мы встретимся здесь». И вдруг спросил: «Послушай, Хейзел, какого черта Роули таскается в Ганновер, что у него на уме?» А это было за два дня до их митинга — вот что он имел в виду.

Она очень забавно вдруг взяла и передразнила Лео: нахмурила брови с преувеличенным, явно наигранным, наивным простодушием — так, по-видимому, она нередко поддразнивала его, когда они оставались наедине.

— И что же было у Роули на уме? — спросил Тэрнер.

— Ничего, как выяснилось. Он никуда не поехал. И Лео, по-видимому, как-то узнал об этом, потому что забил отбой.

— Когда?

— Позвонил мне в пятницу утром.

— И что он сказал? Что *именно* он сказал?

— Именно это — что он не может встретиться со мной вечером. Причины он не объяснил. Истинной причины. Ужасно огорчен, неотложные дела. Крайне неотложные. Этаким официальным тоном: «Мне очень жаль, Хейзел».

— И это все?

— Я сказала: «Хорошо».— Она явно не хотела разыгрывать перед Тэрнером трагедию.— «Желаю удачи».— Она опять пожала плечами.— Больше я его не видела и не слышала. Он исчез, и я встревожилась не на шутку. Я звонила к нему домой день и ночь. Вот почему вы были приглашены к нам на обед. Я подумала, что вы можете кое-что знать. Но вы ничего не знали. Любому дураку это было ясно.

Хозяйка выписывала счет. Тэрнер подозвал ее, попросил подать еще воды, и она вышла.

— Видели вы когда-нибудь этот ключ?

Он неуклюже извлек его из служебного конверта и положил перед ней на скатерть. Она взяла ключ, внимательно поглядела на него, держа на ладони.

— Где вы его взяли?

— В Кёнигсвинтере. В кармане синего костюма.

— Этот костюм он надевал по четвергам,— сказала она, продолжая рассматривать ключ.

— Вы дали ему этот ключ? — спросил Тэрнер с неприкрытым осуждением.— Это ключ от вашего дома?

— Вероятно, это единственный ключ, который я бы ему не дала,— помолчав, проговорила она наконец.— Единственная вещь, которую я бы для него не сделала.

— Продолжайте.

— Мне кажется, он этого добивался от Парджитер. Эта сучка Мэри Краб сказала мне, что у него была интрижка с Парджитер.— Она поглядела на набережную, туда, где в затененном месте, куда не падал свет фонарей, застыл в ожидании «оппель», потом ее взгляд перекинулся за реку — туда, где стоял дом Лео.— Он говорил, что посольство завладело чем-то, что по праву принадлежит ему. Чем-то из давно прошедших лет. «Они в долгу передо мной, Хейзел!» Он не хотел сказать, что это за долг. Воспоминания, сказал он. Дела давно минувших дней. И я должна раздобыть ключ, чтобы он мог взять то, что принадлежит ему по праву. Я сказала: «Поговори с ними. Поговори с Роули — он человек гуманный». Но он сказал — нет, Роули последний человек на свете, с которым он станет об этом говорить. И ведь то, что ему нужно, не представляет собой никакой ценности. Это хранится у них где-то под замком, и они даже сами об этом не подозревают. Вы хотите меня прервать? Не надо. Молчите и слушайте. Я сообщаю вам больше, чем вы заслуживаете.

Она отпила немного виски.

— Это была, кажется, наша третья встреча... *у нас в доме*. Он лежал в постели и вдруг принялся говорить об этом: «Пойми, в этом нет ничего дурного, это не имеет отношения к *политике* — просто мне кое-что принадлежит по праву». И все было бы просто, если бы он мог нести дежурство, но по рангу ему этого не положено. А там у них в связке есть один ключ; они даже никогда не заметят его отсутствия; они и не помнят, сколько там всего ключей. Ему нужен один-единственный ключ.— Внезапно она заговорила о другом.— Личность Роули как-то притягивала

его к себе. Туалетная комната Роули завораживала его. Все эти мелочи, без которых не обходится ни один джентльмен. Ему нравилось рассматривать их. И временами все это как бы олицетворялось для него во мне: жена Роули — вот чем я была для него порой, и только. Ему хотелось знать все особенности нашего домашнего обихода: кто чистит Роули ботинки, у кого он шьет костюмы. И вот так, как бы мимоходом, одеваясь, он начал выкладывать на стол свои карты. Сделал вид, будто внезапно припомнил, о чем мы толковали всю ночь: «Да, послушай, Хейзел, ты же можешь раздобыть мне этот ключ? Когда-нибудь, когда Роули засидится допоздна у себя в кабинете. Позвони ему, скажи, что ты забыла что-нибудь в конференц-зале. Это же проще простого. А ключ этот — особенный,— сказал он.— Совсем непохожий на остальные, ты его сразу отличишь, Хейзел». Вот он, этот ключ,— сказала она бесстрастно, возвращая его Тэрнеру.— «Ты найдешь способ сделать это сам,— сказала я.— У тебя хватит на это сообразительности».

— Этот разговор происходил до рождества?

— Да.

— Боже милостивый, какой же я дурак! — прошептал Тэрнер.

— Почему? В чем дело?

— Ни в чем.— Глаза его сияли, он внезапно воспрянул духом.— Я же не подумал о том, что он мог его украсть. Я думал, что он снял с ключа слепок, а он просто стянул. Стянул, и все!

— Он не вор! Он настоящий мужчина. Он стоит десятка таких, как вы!

— О, еще бы, еще бы! Вы же не простые, вы оба избранные! Я не раз слышал всю эту галиматью, можете не сомневаться. Вы живете особой, недоступной для простых смертных, высокой духовной жизнью! Не так ли? Вы — творцы жизни, а Роули — жалкий несчастный поденщик. Вы — избранные личности, вы двое, вы отмечены свыше, а Роули питается крохами с барского стола, потому что любит вас. А я-то все время думал, что они хихикают и перешептываются по адресу Дженни Парджитер. Бог ты мой! Ну и бедняга! — сказал он и поглядел в окно.— Жаль мне его. Брэдфилд всегда был и будет мне крепко не по нутру, что уж тут кривить душой, но, черт подери, я сочувствую ему от всего сердца.

Бросив несколько монет на стол, он спустился вместе с ней по каменным ступенькам отеля. Она казалась испуганной.

— Он вряд ли рассказывал вам про некую Маргарет Айкман? Он собирался жениться на ней, да будет вам известно. Это была единственная женщина, которую он любил.

— Он никогда не любил никого, кроме меня.

— Но он никогда и не упоминал о ней в разговоре с вами? А другим, между прочим, он рассказывал про нее. Всем, кроме вас. Это была его большая, настоящая любовь!

— Я вам не верю... никогда не поверю!

Отворив дверцу машины, он наклонился к Хейзел.

— Вас не выбьешь из седла, верно? Вы достигли своего. Он любил вас. Весь мир может катиться к чертям собачьим, к войне, только бы ваш любовник был с вами!

— Да. Я достигла своего. Он снова обрел себя со мной. Я помогла ему обрести себя. И что бы он сейчас ни делал, теперь он уже такой, каким должен быть, настоящий. Мы взяли от жизни свое, и я не позволю вам разрушить то, что принадлежит нам, не позволю — ни вам, ни кому-либо другому. Он нашел меня.

— А кроме вас, что он нашел еще?

Каким-то чудом ей вдруг удалось завести мотор.

— Он нашел меня, и это вернуло его к жизни, и все остальное — то, что он нашел там, внизу,— тоже помогло ему вернуться к жизни.

— *Внизу?* Где внизу? Куда он скрылся? Отвечайте! Вы знаете! Что он вам сказал?

Даже не поглядев назад, она медленно тронула машину и поехала вдоль набережной навстречу вечернему сумраку и тусклым отблескам огней.

Черный «оппель» отделился от тротуара и двинулся следом за ней. Тэрнер дал ему проехать, перебежал через улицу и вскочил в такси.

На стоянке в посольстве было полно машин, у ворот — двойной караул. «Роллс-ройс» посла снова стоял у подъезда, точно старое испытанное судно, готовое грудью встретить шторм. Тэрнер вихрем взлетел по лестнице, полы его плаща развевались, как паруса, ключ был зажат в кулаке.

15. «Святая святых»

Четверг. Вечер

Два дипкурьера стояли возле контрольного поста; черные кожаные сумки, надетые поверх форменных курток, придавали им вид парашютистов.

— Кто сегодня дежурный? — с ходу спросил Тэрнер.

— Я думал, что вы отбыли,— сказал Гонт.— Еще вчера, в семь часов вечера, так мне...

Дипкурьеры поспешно посторонились, заскрипев кожей.

— Мне нужны ключи.

Гонт заметил, что лицо у Тэрнера рассечено и заклеено пластырем, и глаза у него округлились.

Тэрнер схватил телефонную трубку, протянул ее Гонту и распорядился:

— Вызовите дежурного. Скажите ему, чтобы он спустился вниз с ключами. Немедленно.

Гонт запротестовал. На секунду вестибюль качнулся и все поплыло куда-то, потом стало на свое место. Тэрнер услышал глупое валлийское блеяние Гонта, жалобное и льстивое, и, грубо схватив его за руку, оттащил в сторону в темный коридор.

— Если вы не сделаете, как я вам сказал, вас вышвырнут отсюда к свиньям собачьим, и вы будете помнить меня до конца своей жизни.

— Я же объясняю вам: ключей не брали.

— Так где они?

— Здесь. У меня. В сейфе. Но вы не можете их получить, надо взять разрешение — вы же сами знаете!

— Они мне не нужны. Мне нужно только, чтобы вы их пересчитали, вот и все. Пересчитайте эти ключи, к чертовой матери.

Дипкурьеры смущенно переговаривались, понизив голос, с подчеркнуто незаинтересованным видом, но выкрики Тэрнера кромсали их диалог, рубили его, словно топором.

— Сколько должно быть ключей?

— Сорок семь.

Подозвав младшего охранника, Гонт отпер сейф, встроенный в обшитую панелью стену, и достал знакомую связку блестящих медных ключей. Оба дипкурьера, уже не в силах преодолеть любопытства, смотрели, как квадратные пальцы шахтера перебирают один ключ за другим, словно четки. Тэрнер пересчитал их раз, затем тут же — второй и протянул парню из охраны, который пересчитал их снова.

— Ну?

— Сорок шесть,— недовольно проворчал Гонт.— Действительно.

— Сорок шесть,— как эхо повторил охранник.— Одного не хватает.

— Когда их пересчитывали в последний раз?

— Это едва ли можно установить,— пробормотал Гонт.— Каждую неделю их брали, уносили, приносили.

Тэрнер указал на блестящую новую решетку, преграждавшую доступ к лестнице, ведущей в подвал.

— Как мне туда попасть?

— Я же вам объяснил. Ключ у Брэдфилда. Это запасной аварийный выход, понимаете? Охрана не имеет к нему доступа.

— Как же попадают туда технические служащие? Уборщики, например, истопники?

— В котельную теперь, после Бремена, сделан отдельный ход, ясно? И там внизу тоже поставлены решетки. Истопники пользуются наружной лестницей, но проникнуть они могут только в котельную, не дальше.— У Гонта был уже порядком испуганный вид.

— Должна же существовать пожарная лестница... служебный лифт?

— Есть черный ход, но он тоже на запоре. Понимаете, на запоре.

— А у кого ключи?

— У Брэдфилда. И от лифта тоже.

— А куда доходит лифт?

— До верхнего этажа.

— И там, кажется, находится ваша квартира?

— Ну и что из этого?

— Лифт доходит до самой вашей квартиры, доходит или нет?

— Почти.

— Покажите мне.

Гонт опустил глаза, поглядел себе под ноги, потом на охранника, потом на Тэрнера и снова на охранника. С явной неохотой он протянул охраннику ключи и, ни слова не сказав курьерам, начал быстро подниматься по лестнице; Тэрнер последовал за ним.

Здесь, казалось, день был еще в разгаре. Все комнаты ярко освещены, двери распахнуты. Дипломаты, секретарши, различные служащие торопливо сновали по коридорам; на Тэрнера и Гонта никто не обращал внимания. Все говорили только о Брюсселе. Название этого города передавалось шепотом из уст в уста, словно пароль. Оно было у всех на языке, его отстукивали все пишущие машинки, оно звучало во всех телефонных трубках, кричало со всех телеграфных лент. Они поднялись еще на один пролет лестницы и попали в недлинный коридор, где пахло сыростью, словно в бассейне. Откуда-то слева сильно тянуло сквозняком. Перед ними была дверь с табличкой: *«Помещение охраны аппарата советников, посторонним вход воспрещен»* и ниже еще одна табличка: *«Мистер и миссис Дж. Гонт. Британское посольство, Бонн»*.

— Нам не обязательно входить внутрь, как вы считаете?

— Вот сюда он приходил и встречался с вами? И так повторялось каждый вечер в пятницу после спевки? Он поднимался сюда?

Гонт кивнул.

— А когда он уходил, вы провожали его? Выходили за ним следом?

— Он мне не позволял: «Сидите, сидите, дружище, смотрите ваш телевизор... Я сумею найти дорогу обратно».

— А это та самая дверь — на черный ход?

Тэрнер указал налево, откуда тянуло сквозняком.

— Но она заперта, вы видите? Не отворялась бог знает сколько лет.

— Это единственный доступ туда, вниз?

— Лестница ведет прямо в подвал. Здесь сначала предполагалось сделать еще мусоропровод, но не хватило средств и построили только лестницу.

Дверь казалась крепкой, очень надежной, с двумя основательными

запорами, которые, по-видимому, очень давно не отпирались. Острый луч карманного фонарика обшарил закраину двери, затем пальцы Тэрнера тщательно ощупали деревянную обшивку и крепко обхватили дверную ручку.

— Подите-ка сюда. Вы примерно одного с ним роста. Ну-ка попробуйте сами. Возьмитесь за ручку. Не поворачивайте ее. Толкайте. Толкайте сильней.

Дверь поддалась и распахнулась совершенно бесшумно.

На них повеяло холодом, затхлой сыростью. Они остановились на лестничной площадке. Ступеньки круто вели вниз. В небольшое окошко виднелось спортивное поле, прилегавшее к зданию Красного Креста. Внизу из-под колпака дымовой трубы посольской кухни вылетали мерцающие клубы дыма и таяли во мраке. Штукатурка на стенах вздулась пузырями. Слышно было, как где-то каплет вода. Кусок дверной притолоки был аккуратно выпилен. Они начали спускаться вниз, освещая ступеньки карманным фонариком. Лестница была каменная, устланная посередине узкой циновкой. Остатки старого плаката на стене возвещали: «МИЛОСТИ ПРОСИМ ВСЕХ ВНИЗ — В КЛУБ ПОСОЛЬСТВА». Слышно было, как у кого-то что-то варится на плите, и тут же до них донесся женский голос, повторявший продиктованный текст телеграммы: «...в то время, как официальные круги федерального правительства утверждают, что уход с совещания был вызван чисто техническими причинами, по мнению даже наиболее трезвых комментаторов...», и оба инстинктивно остановились и замерли, прислушиваясь,— каждое слово звучало с поразительной отчетливостью в лестничном пролете.

— Это через вентиляцию,— прошептал Гонт.— Она выходит на лестничную клетку.

— Молчите.

Они услышали неторопливый голос де Лилла, вносившего поправку.

— Объективных. *Объективных* будет звучать значительно лучше,— произнес де Лилл.— Будьте так добры, моя дорогая, замените «трезвых» на «объективных». Нам не следует давать им повод думать, что мы пытаемся утопить наши неудачи в вине.

Девушка хихикнула.

Они, по-видимому, спустились уже до подвального этажа, так как увидели перед собой кирпичные своды длинного коридора; куски штукатурки валялись на покрытом линолеумом полу. Сколоченная на скорую руку доска для объявлений напоминала о былых увеселениях: «Любительский театральный кружок посольства приглашает посетить рождественский спектакль. Будет представлена пьеса Гоголя «Ревизор». Кроме того, состоится большой детский праздник. Списки гостей, а также специальные пожелания по части меню и диетических блюд просим направлять в канцелярию посла до десятого декабря». Под этим стояла подпись: Лео Гартинг. И дата: 1957 год.

На мгновение Тэрнер утратил реальное ощущение времени и места: он пытался совладать с собой и не мог. Он снова слышал звон стекла, шорох сажи в камине, скрип снастей, пыхтенье барж на реке. Опять все та же дрожь, все то же пульсирование жизни где-то за пределами доступных слуху звуков.

— Что вы сказали? — спросил Гонт.

— Ничего.

Двигаясь словно в тумане и все еще испытывая дурноту, он наобум свернул в первый попавшийся коридор; в висках у него стучало.

— Вам, я вижу, нездоровится,— сказал Гонт.— Кто же это все-таки так вас отделал?

Они прошли в следующее помещение; здесь не было ничего, кроме старого токарного станка, на полу ржавели стружки. В противоположной стене они увидели дверь. Тэрнер распахнул ее, и на секунду самообладание покинуло его, и он отпрянул назад с возгласом испуга и отвращения. Однако перед ним были лишь металлические прутья еще одной решетки во всю высоту помещения от пола до потолка да мокрый комбинезон свисал с проволоки и капли воды с глухим стуком падали на цементный пол. Противно пахло стиркой и угаром; на кирпичной стене дрожал красный отблеск пламени, на стальных прутьях решетки танцевали огоньки. Это еще не Страшный суд, сказал себе Тэрнер, осторожно направляясь к двери напротив,— просто ночь, поезд, война, переполненный вагон, и все мы спим вповалку.

Дверь была стальная, она сверкала среди штукатурки; рама двери уже была тронута ржавчиной, и на поперечной перекладине виднелась полустершаяся казенная надпись: «Входа нет». Стена слева была когда-то покрашена белой краской, и Тэрнер заметил на ней царапины, оставленные тележкой. Под потолком горела лампочка в металлической сетке, отбрасывая на лица темный узор решетки. Тэрнер отчаянно старался вернуть себя к действительности. Под потолком, в обшитых изоляцией трубах журчала и булькала вода, и горящий котел за стальной решеткой выплевывал белые искры, превращавшиеся на лету в мелькание крошечных черных точек.

Черт подери, думал Тэрнер, такой котел бы в топку «Куин Элизабет»; тут хватило бы жару, чтоб отправить на тот свет целую армию заключенных, а он обогревает эту фабрику призраков! Ему пришлось основательно повозиться с ключом, прежде чем он повернулся в замке. Внезапно замок щелкнул так громко, что казалось, его звук отозвался эхом где-то в самых отдаленных углах здания. Под дверь, видимо, набилось много шлака, потому что раздался скрежет и ее заело; Тэрнеру пришлось навалиться на дверь всем телом, а Гонт, валлиец, стоял позади, весь напрягшись от желания помочь и не решаясь сдвинуться с места. Сначала, шаря по стене в поисках выключателя, Тэрнер ничего не различал в темноте, затем тускло проглянуло единственное окошко, затянутое паутиной, и Тэрнера охватил страх, потому что это было слишком похоже на ненавистное — на тюрьму: сводчатое окошко было расположено высоко под потолком и заделано для надежности решеткой. Сквозь верхнюю часть окна был виден мокрый гравий стоянки для машин, и пока Тэрнер, чуть покачиваясь от головокружения, вглядывался в темноту, яркий луч фар медленно прополз по потолку, словно луч тюремного прожектора, вылавливающий беглецов, и рев мотора отъезжающей машины заполнил все уголки этого каземата. На подоконнике лежало солдатское одеяло, и Тэрнер подумал: «Ты не забыл, что надо затемнять окно, ты еще помнишь лондонские бомбежки».

Его пальцы нащупали выключатель, он показался ему похожим по форме на женскую грудь, и когда он нажал кнопку, глухой щелчок отозвался громким ударом в его сердце, а поднявшаяся в воздух пыль ласково овеяла его лицо, оседая на черный цементный пол.

— У нас прозвали этот подвал «святая святых»,— прошептал Гонт.

Тележка стояла в нише позади письменного стола. Сверху лежали папки, внизу — канцелярские принадлежности; все было разложено по формату, аккуратно, крест-накрест, часть — в больших, часть — в обычных конвертах, все было приготовлено так, чтобы быть под рукой. На столе, поближе к свету, стояла на своей квадратной фетровой подстилке пропавшая пишущая машинка в сером футляре, а рядом с ней — три-четыре жестяные коробки голландских сигар. Отдельно на небольшом столике — термос несколько чашек, чайник со свистком; на полу —

небольшой электрический вентилятор из двухцветной пластмассы, повернутый к письменному столу под таким углом, чтобы струя воздуха разгоняла сырость; на новом стуле с мягким сиденьем, обитым синтетической кожей,— розовая подушка с вышивкой по краям, сделанной рукой мисс Айкман. Одним взглядом он охватил все эти предметы, сразу узнал их и коротко приветствовал про себя, словно старых знакомцев; он почти и не глядел на них — его глаза были уже прикованы к солидному архиву, заполнявшему стеллажи от пола до потолка; к тонким черным папкам с проржавевшими зажимами и полукруглыми выемками для больших пальцев, серым от плесени, покоробленным, сморщенным временем и сыростью, выстроившимся в шеренги, словно ветераны, ставшие в строй и ждущие команды.

Должно быть, он спросил, что это за документы, потому что Гонт начал что-то лепетать. Нет, он понятия не имеет, что в них. Нет, это не по его части. Нет. Они здесь с незапамятных времен, никто не помнит, как они сюда попали. Хотя, впрочем, кто-то говорил, что слышал, что это архив из управления главного военного прокурора,— словом, он слышал, как что-то болтали на этот счет, болтали, что их привезли из Миндена на грузовиках и свалили здесь, благо, отыскалось для них местечко; это было лет двадцать назад, да, лет двадцать, никак не меньше,— когда уходили оккупационные войска. И больше он ничего не знает, право, ничего; он просто случайно слышал, как об этом болтали, совсем случайно слышал, потому что он не сплетник, вот уж что-что, а это каждый про него скажет. Да куда там! Это было даже не двадцать лет назад, а еще раньше... Как-то раз летним вечером подъехали грузовики... Макмаллен и кто-то там еще чуть не всю ночь помогали их разгружать. Конечно, *в то время* думали, что посольству может все это понадобиться... Доступа к ним никто не имел, ну а теперь — теперь кому они, в сущности, нужны? Раньше, бывало, кто-нибудь из аппарата советников спросит ключ, когда понадобится что-то здесь разыскать, но все это было давно. Гонт даже и не припомнит такого случая, сюда уже годами никто не заглядывает. Хотя, конечно, поручиться наверняка нельзя... Ему приходилось очень следить за своими словами, разговаривая с Тэрнером, это он уже понимал... Сначала ключ от этого помещения хранился где-то отдельно, а потом его присоединили к общей связке... Однажды — точно он не припомнит, когда это было,— ему опять довелось слышать разговоры про этот архив: Маркус, один из шоферов — он здесь уже больше не работает,— говорил, что это вовсе не из Управления главного военного прокурора, а что это — архив английских разведывательных групп специального назначения... Гонт продолжал еще что-то настойчиво бубнить, таинственно понизив голос, словно старая сплетница в церкви, но Тэрнер его больше не слушал. Он увидел карту.

Обыкновенную географическую карту, отпечатанную в Польше.

Она была прибита над письменным столом, там, где чаще всего вешают портреты детей,— прибита совсем недавно: следы в штукатурке были еще свежие. Почти немая карта — на ней не было нанесено ни городов, даже самых крупных, ни границ государств; маленькие стрелки не отмечали магнитных склонений, даже масштаба указано не было; единственное, что на ней имелось,— это местоположение концентрационных лагерей: Нейенгамме и Бельзен — на севере; Дахау и Маутхаузен — на юге; Треблинка, Собибор, Майданек, Бельзек и Освенцим — на востоке; и в центре — Равенсбрюк, Заксенхаузен, Кульмхоф и Гросс Розен.

«Они передо мной в долгу»,— внезапно пронеслось у Тэрнера в голове. *Они передо мной в долгу.* Боже милостивый, какой же я дурак! Пустоголовый, тупой идиот. Вот что ты крал, Лео, — ты приходил мародерствовать среди трупов своего собственного загубленного детства.

— Ступайте. Если вы мне понадобитесь, я вас позову,— сказал Тэрнер, тяжело опершись рукой о полку, и поглядел на Гонта невидящим взглядом.— И никому ни слова: ни Брэдфилду, ни де Лиллу, ни Крабу —никому, понятно?

— Я не скажу,— пообещал Гонт.

— Меня здесь нет. Я не существую. Я не появлялся в посольстве сегодня вечером. Вы меня поняли?

— Вам бы надо сходить к врачу,— сказал Гонт.

— Пошел к чертовой матери.

Он пододвинул стул, сбросил на пол подушку и присел к письменному столу. Подперев голову рукой, он ждал, когда комната перестанет качаться у него перед глазами. Он был один. Он был один, как Гартинг, в комнате, наполненной краденными вещами, и жил он сейчас, как Гартинг,— жил во времени, взятом взаймы, и, как Гартинг, охотился за сокрытой истиной. Возле окна был водопроводный кран и, набрав воды в электрический чайник, он включил его и прислушивался, пока чайник не зашумит. Возвращаясь к столу, он споткнулся о лежавшую на полу зеленую сумку. Она была величиной с небольшой портфель, но более твердая, прямоугольной формы, из очень плотной синтетической кожи, из какой делают коробки для игральных карт и кобуры; углы были окованы тонкой сталью; возле ручки — инициалы королевы; замок был сломан, и сумка пуста. «Разве все мы не делаем то же самое — ищем там, где нечего искать?»

Он был один на один с этими папками и с запахом сырости, прогретой теплом электрического камина, со слабым, безжизненным дуновением пластмассового вентилятора и глухой воркотней закипающего чайника. Он начал медленно переворачивать страницы. Некоторые из папок были очень старые — те, что лежали, снятые с полок; записи — частично на английском языке, частично — на немецком, жестким готическим шрифтом, острым, как колючая проволока. Имена собственные возвышались над строчками, точно атлеты,— сначала фамилия, затем имя, под ними всего несколько строк, а внизу — торопливо проставленная подпись, санкционирующая окончательное решение чьей-то судьбы. Папки, лежавшие на тележке, были, наоборот, совсем новые, бумага гладкая, хорошего качества, в подписях под протоколами мелькали знакомые фамилии. И несколько скоросшивателей с регистрацией входящей и исходящей почты.

Он был один, он стоял в самом начале пройденного Гартингом пути — только его следы могли составить ему компанию да шорох воды в трубах за дверью, столь же унылый, как шарканье деревянных колодок по доскам эшафота. «Они тоже спят стоя, как лошади?» — вспомнился ему голос Хейзел Брэдфилд. Он был один. «И то, что он нашел там, внизу, тоже помогло ему вернуться к жизни».

Медоуз спал. Он бы ни за что на свете не признался в этом, и Корк из чувства сострадания ни за что на свете не позволил бы себе укорить его этим; к тому же, надо отдать Медоузу должное, глаза у него были открыты — он тоже как те лошади, о которых упомянула Хейзел Брэдфилд, вроде и спал и не спал. Он откинулся на спинку мягкого библиотечного кресла в позе человека, пользующегося заслуженным отдыхом, а в открытое окно уже врывался шум просыпающегося города.

— Я сдаю смену Биллу Сатклифу,— как бы между прочим, но намеренно громко сказал Корк.— Вам больше ничего не нужно? Мы вскипятили чайник, может, выпьете с нами чашечку?

— Все в порядке,— слегка заплетающимся языком пробормотал Медоуз, резко выпрямляясь в кресле.— Сейчас все будет сделано.

Корк, стоя у открытого окна и глядя вниз на площадку для автомобилей, промолчал, давая Медоузу собраться с мыслями.

— Мы вскипятили чайник, может быть, выпьете чашечку,— повторил он.— У Валери все готово.— Он держал в руке пачку телеграмм.— Такой ночки я не припомню с самого Бремена. Проговорили до рассвета. Слова, слова. К четырем часам утра они уже забыли всякую осторожность. Его превосходительство и министр беседовали прямо по открытому каналу. С ума можно сойти! Этак они могут выболтать все: код, шифровки — всю чертову механику.

— Да они ее уже выболтали, — пробормотал Медоуз, не столько отвечая Корку, сколько разговаривая сам с собой, и тоже подошел к окну. — С помощью Лео.

Самый зловещий восход солнца не может быть полностью зловещим. Земля живет по своим законам, ее краски, звуки, запахи существуют сами по себе, они не могут подтверждать наши мрачные предчувствия. Даже охрана у ворот, удвоенная на ночь, имела какой-то несуровый, домашний вид. Длинные кожаные пальто полицейских мягко блестели в утренних лучах, и все выглядело как-то удивительно безобидно; полицейские размеренно, солидно вышагивали вдоль здания. Корк почувствовал прилив оптимизма.

— По моим расчетам, это должно совершиться сегодня,— заявил он. — К обеду я стану отцом. Что вы на это скажете, Артур?

— Они никогда не торопятся, — сказал Медоуз. — Особенно по первому разу. — И они принялись подсчитывать автомобили.

— Все как есть на местах, — заявил Корк.

— Вы слышите? — внезапно сказал Медоуз. — Замолчите и послушайте.

— Какого дья...

— Тише.

Из противоположного конца коридора доносился стойкий монотонный шум, похожий на гудение мотора взбирающейся в гору машины.

— Этого не может быть, — резко сказал Корк. — Ключи у Брэдфилда, и он...— Они услышали металлический стук захлопнувшейся раздвижной решетчатой двери и глухое шипение гидравлического тормоза.

— Да нет, это кровати! Вот и все. Привезли еще кровати. Они пустили лифт, чтобы поднять кровати. Брэдфилд разрешил отпереть.— И как бы в подтверждение этой теории послышались звонкие удары металла о металл и скрип пружин.

— Его превосходительство и министр говорили еще по поводу сегодняшней демонстрации. Канцлер сказал, что нам не о чем беспокоиться. Немецкое посольство в Лондоне дает сообщения во Дворец. «Встреча закончилась,— зевнув, добавил Корк,— в двадцать два часа двадцать минут обычным обменом любезностями. Для прессы будет составлено совместное коммюнике». А тем временем что творится у экономического советника! А торговый атташе подсчитывает потери от спекуляции, направленной против курса фунта. Или против английского золотого запаса. Или против чего-то еще. А может, мы на краю кризиса? И кому до этого дело?

— Вам бы следовало пройти аттестацию, — сказал Медоуз. — Вам здесь негде развернуться.

— Я развернусь двойней, — сказал Корк, и в эту минуту Валери подала чай.

Медоуз уже подносил кружку с чаем к губам, когда услышал громыхание тележки и знакомую трель скрипучих колес. Валери от неожиданности грохнула поднос на стол, расплескав чай и забрызгав сахар

в сахарнице. На ней был зеленый свитер, и Корк, всегда не без удовольствия поглядывавший на нее, заметил, когда она обернулась к двери, что высокий ворот свитера слегка натер ей шею. Опередив всех, Корк сунул телеграммы Медоузу, подошел к двери и выглянул в коридор. Да, это была их тележка, доверху нагруженная красными и черными папками, и Алан Тэрнер толкал ее перед собой. Он был в одной рубашке, без пиджака, под глазами у него темнели огромные синяки. Одна губа была рассечена и зашита на скорую руку. Он был небрит. Поверх всей груды папок лежала спецсумка. Корк говорил впоследствии, что у Тэрнера был такой вид, словно он в одиночку пробился с этой тележкой через неприятельскую линию фронта. По мере его продвижения по коридору все двери отворялись одна за другой: Эдна распахнула дверь машинного бюро, за ней — Краб, Парджитер, де Лилл, Гевистон; сначала высовывалась голова, затем появлялось туловище, и когда Тэрнер добрался до двери архива и канцелярии, откинул перекладину стальной перегородки и небрежным жестом вытолкнул тележку прямо на середину комнаты, лишь одна-единственная дверь еще продолжала оставаться закрытой — дверь кабинета старшего советника посольства Роули Брэдфилда.

— Пусть тележка стоит здесь. Никто ни к чему не прикасайтесь.

Тэрнер пересек коридор и, не постучавшись, вошел в кабинет Брэдфилда.

16. «Весь этот обман»

Пятница. Утро

— Я полагал, что вы отбыли. — В голосе звучало не удивление, а скорее усталость.

— Я не попал на самолет. Разве она не сообщила вам об этом?

— Что, черт возьми, сделали вы со своим лицом?

— Зибкрон послал каких-то молодчиков произвести обыск у меня в номере. Искали чего-нибудь новенького о Гартинге. Я им помешал. — Он опустился на стул. — Они «англофилы». Как Карфельд.

— Дело Гартинга нас больше не интересует. — Брэдфилд подчеркнуто неторопливо отложил в сторону прочитанные телеграммы.— Я отправил в Лондон его документы вместе с письмом, оценивающим размеры причиненного нам вреда. Всем остальным будут заниматься уже оттуда. Я не сомневаюсь, что в надлежащий момент будет принято решение, следует ли нам информировать о случившемся остальных участников НАТО.

— Значит, вам придется дезавуировать ваше письмо. И пересмотреть ваши оценки.

— Я всячески шел вам навстречу, — оборвал его Брэдфилд с прежней, внезапно вспыхнувшей враждебностью. — Проявлял всяческое снисхождение. И к вашей малопочтенной профессии, и к вашему невежеству в области дипломатических отношений, и к вашей из ряда вон выходящей невоспитанности. Ваше пребывание здесь не принесло нам ничего, кроме беспокойства и неприятностей; вы, словно нарочно, старались восстановить против себя всех. Какого черта позволили вы себе остаться в Бонне, когда я распорядился, чтобы вы уехали? Почему вы врываетесь ко мне в кабинет в этом неподобающем виде? Или вы не имеете представления о том, что сейчас происходит? Сегодня пятница! Разрешите вам напомнить, раз вы, по-видимому, изволили об этом позабыть, что на сегодня назначена демонстрация.

Тэрнер не двинулся с места, и гнев Брэдфилда одержал верх над его усталостью:

— Ламли предупреждал меня, что вы человек грубый, неотесанный, но энергичный; пока что вы сумели проявить лишь свою неотесанность. Меня нисколько не удивляет, что с вами так обошлись,— вы сами нарываетесь на подобное обхождение. Я предупреждал вас о том, какой вред может принести ваша деятельность; я изложил вам свои соображения, в силу которых дальнейшее расследование должно быть прекращено, и я старался закрыть глаза на ничем не оправданную грубость, которую вы проявили по отношению к моим сотрудникам. Но теперь с меня хватит. Я запрещаю вам переступать порог посольства. Убирайтесь вон.

— Я нашел папки, — сказал Тэрнер. — Все папки, все, что пропало. И тележку. И пишущую машинку, и стул. И электрический камин, и вентилятор де Лилла. — Его голос звучал надломленно, словно ему было безразлично, поверят ему или нет, и взгляд, казалось, бродил где-то за пределами кабинета. — И чайные чашки, и всю прочую утварь, которую он понемногу к себе натаскал. И письма, которые он забирал из экспедиции и не отдавал Медоузу. Они были адресованы ему, Лео, понимаете. Это все были ответы на те письма, что он рассылал. Он завел там у себя внизу целое управление — филиал вашего аппарата советников. Только вы об этом и не подозревали. Он открыл всю истинную правду про Карфельда, и поэтому они теперь гонятся за ним. — Он легонько потрогал свою щеку. — Те, что расправились со мной, теперь гонятся за Лео. А он скрывается, потому что узнал слишком много и задавал слишком много вопросов. Насколько я понимаю, они его, верно, уже схватили. Очень жаль, что я так долго вам здесь докучал, — сказал он сухо. — Но вы видите, как обстоит дело. Мне бы хотелось выпить чашку кофе, если позволите.

Брэдфилд не шелохнулся.

— А Зеленая папка?

— Ее нет. Осталась только пустая сумка.

— Он взял ее?

— Я не знаю. Он или, быть может, Прашко. Не знаю.— Он покачал головой. — Мне очень жаль. — Помолчав, он сказал: — Вы должны разыскать его, прежде чем это сделают они. Иначе они убьют его. Вот зачем я к вам пришел. Карфельд — обманщик и убийца, и у Гартинга есть тому доказательства. До вас доходит то, что я вам говорю? — спросил он, неожиданно повысив голос.

Брэдфилд пристально смотрел на него, не проявляя ни малейшей тревоги.

— Когда Гартинг заинтересовался Карфельдом? — спросил Тэрнер, словно обращаясь к самому себе. — Он не хотел ничего замечать поначалу. Поворачивался ко всему спиной, старался забыть. Старался не видеть. Жил, как все мы, держал себя в узде, не желая вмешиваться, и называл это отказом от себя во имя общего блага. Разводил сад. Посещал званые вечера. Занимался разными пустяками. Старался выжить и не впутываться ни во что. Прятал голову в плечи, чтобы колеса жизни катились мимо, не задевая. Так было до октября, пока Карфельд не показал своей силы. Он знал Карфельда — вот в чем дело, понимаете? И Карфельд *был перед ним в долгу*. Это много значило для Лео.

— В чем это он был перед ним в долгу?

— Погодите. Мало-помалу он начал... возвращаться к жизни. Он позволил пробудиться своим чувствам. Мысль о Карфельде мучила его, не давала ему покоя. Мы с вами оба знаем, как это бывает, когда что-то мучит. Физиономия Карфельда была повсюду — так же, как сейчас. Хмурящая брови, ухмыляющаяся, угрожающая... Его имя

звучало в ушах Лео, не умолкая: Карфельд обманщик. Карфельд убийца. Карфельд шарлатан.

— Что за чушь вы порете! Нельзя же быть столь смехотворно нелепым.

— Лео все это стало наконец невыносимо — *весь этот обман.* Ему захотелось правды. Спячка его плоти и ума закончилась. Он исполнился отвращения к самому себе за то, чего не сумел совершить, за то, чего недоделал, за то, что мало старался, и за то, что слишком старался... Ему было тошно и от своей обыденности, и от своих трюков, уловок. Нам всем знакомо это чувство, не правда ли? Так вот Лео страдал от него. Очень страдал. И тогда он решил добыть то, что жизнь ему задолжала, — чтобы свершился суд над Карфельдом. У него, понимаете, была хорошая память. Я знаю, что это совсем не модно в наши дни. Он начал строить планы. Первое: проникнуть в архив и канцелярию; второе: возобновить свой договор и потом завладеть досье «Сведения об отдельных лицах» — старыми папками, документами, уже предназначенными к уничтожению, давно, можно сказать, преданными забвению и упрятанными в вашу «святая святых». Он решил попробовать свести концы с концами, поднять архив, расследовать все заново...

— О чем вы толкуете, я ни слова не понимаю. Вы просто больны. Вам надо пойти и лечь в постель. — Его рука поднялась к телефону.

— Прежде всего он завладел ключом — это оказалось проще простого. Положите трубку! Оставьте в покое телефон! — Рука Брэдфилда замерла в воздухе, затем легла на стол. — После этого он принялся за работу в вашей «святая святых». Организовал там свою собственную маленькую канцелярию — дела, переписку, регистрацию и перебрался туда... Если ему что-нибудь требовалось из канцелярии, он это крал. Вы же сами сказали, что он вор. Вам ли не знать.— На мгновение голос Тэрнера смягчился, в нем прозвучало сочувствие.— Скажите, когда вы опечатали подвал? После Бремена, верно? В конце недели? Вот тут он запаниковал. Единственный раз. И тогда он стащил тележку. Нет, слушайте! Я сейчас расскажу вам о Карфельде. О его докторской степени, о службе в армии, о ранении под Сталинградом, о его химическом заводе...

— Всевозможные слухи на этот счет циркулируют здесь уже не первый месяц. Как только Карфельд показал, что он может серьезно претендовать на руководящую роль в политике, мы постоянно слышим разные истории о его прошлом, и всякий раз он чрезвычайно успешно опровергает их. Во всей Западной Германии едва ли сыщется хотя бы один более или менее видный политический деятель, которого коммунисты рано или поздно не попытались бы опорочить.

— Лео не коммунист, — сказал Тэрнер, и в голосе его вдруг прозвучала смертельная усталость. — Вы же сами сказали, что он — примитивная натура. В течение многих лет он сторонился политики, боясь того, что может вскрыться. Я ведь не сплетни пересказываю вам. Я сообщаю факты — то, что на нашем родном английском языке принято называть фактами. И факты сугубо секретные. И все они содержатся в нашем собственном английском архиве и заперты в подвальном помещении нашего собственного английского посольства. Вот где он их раскопал, и теперь даже вы не можете похоронить их там снова. — В его словах не звучало никакой враждебности, никакого торжества. — Если вы хотите лично во всем этом удостовериться, то все документы находятся сейчас в вашей канцелярии. Вместе с пустой спецсумкой. Есть там кое-что, в чем мне не удалось разобраться до конца: я недостаточно хорошо знаю немецкий язык. Я распорядился.

чтобы никто не прикасался к этим документам.— Он вдруг усмехнулся, что-то припомнив — быть может, затруднения, с которыми ему пришлось столкнуться.— Вы едва не замуровали его там, сами того не подозревая. Он спустил вниз тележку в конце недели, и как раз в это время были установлены решетки и опечатан лифт. Он был в ужасе, что не сможет продолжать работу, не сможет больше проникнуть в «святая святых». До этой минуты все было для него шуточным делом. Схватить какую-нибудь нужную папку — он ведь имел доступ всюду, вы же знаете, работа над «Сведениями об отдельных лицах» давала ему это право,— шмыгнуть с ней в лифт, отнести в подвал и спрятать там. Но вы, хотя и невольно, положили этому конец: аварийные решетки расстроили все его планы. Тогда он погрузил все, что могло ему понадобиться, на тележку и просидел там, внизу, весь конец недели — ждал, когда уйдут рабочие. Чтобы выйти наружу, ему пришлось взломать замок на черном ходу. А после этого он уповал лишь на то, что Гонт будет приглашать его к себе на верхний этаж. В простоте душевной, конечно, ни о чем не подозревая. Здесь все до единого действуют, так сказать, в простоте душевной. И я должен принести вам свои извинения,— неожиданно прибавил он смущенно,— за то, что я вам сказал. Я был не прав.

— Едва ли это самый подходящий момент для извинений, — сказал Брэдфилд и позвонил мисс Пит, чтобы она принесла кофе.

— Я хочу рассказать вам о том, что там, в этих документах,— сказал Тэрнер.— О деле Карфельда. И вы очень меня обяжете, если будете слушать, не прерывая. Мы оба устали, и времени у нас в обрез.

Брэдфилд положил на свой бювар лист голубоватой бумаги для черновиков и уже держал наготове ручку. Мисс Пит налила кофе в чашки и вышла. Выражение ее лица и единственный, исполненный презрения взгляд, брошенный на Тэрнера, были выразительнее любых слов, которые могли сыскаться в ее словаре.

— Я хочу рассказать о том, что ему удалось собрать. Потом, если вам угодно, можете отыскивать неувязки, опровергать.

— Постараюсь по мере своих сил,— сказал Брэдфилд, и губы его тронула улыбка, словно что-то возродив в нем на миг.

— Возле Данненберга, почти у самой границы Английской зоны есть деревушка. Называется Гапсторф. Она расположена в лесистой долине, обитателей — раз, два и обчелся. Вернее, так было. В тридцать восьмом году немцы построили там фабрику. Это была старая бумажная фабрика на берегу быстрой речушки и рядом — домик, притулившийся к скале. Потом немцы демонтировали фабрику, построили вдоль реки ряд лабораторий и превратили все это в небольшое секретное предприятие для выработки определенного рода газа.

Он отхлебнул кофе, положил в рот кусочек бисквита и, склонив голову набок, медленно, с большой осторожностью принялся жевать — по-видимому, преодолевая боль.

— Отравляющего газа. Выбор был понятен: быстрая речка, удобная для стока, хорошо укрытое от бомбежки место и крошечная деревушка, из которой немцам ничего не стоило выселить тех, кто был им неугоден. Все ясно?

— Все ясно. — Пока Тэрнер говорил, Брэдфилд уже начал записывать кое-какие основные моменты. Тэрнер увидел, что слева от каждого абзаца он ставит цифры, и подумал: «Для чего он все это нумерует? Как будто можно опровергнуть факты, если их перенумеровать».

— Местное население утверждает, что не имело представления обо всех этих делах, и, по-видимому, это так. Они знали только, что фаб-

рика была демонтирована, а вместо прежнего оборудования завезено много нового, очень дорогого с виду. Они знали также, что у складов поставлена круглосуточная охрана и что сотрудникам этого предприятия запрещено общаться с местным населением. На тяжелой физической работе там занимали иностранцев — французов и поляков, которых вообще не выпускали за пределы предприятия, так что и с низшим персоналом никакого общения не было. И все знали насчет животных. Главным образом это были обезьяны, но также и козы, и овцы, и собаки. Все эти животные, раз попав туда, уже не выходили обратно. Имеется докладная записка местного гаулейтера, к которому поступало много жалоб от людей, любящих животных.

Тэрнер поднял глаза на Брэдфилда и сказал с неподдельным изумлением:

— Понимаете, он работал там ночи напролет, все докапывался до сути.

— Он занимался совершенно не своим делом и не имел права там находиться. Доступ в архив подвального этажа был запрещен много лет назад.

— Ничего, он ходил туда не понапрасну.

Брэдфилд продолжал что-то писать.

— За два месяца до конца войны все это предприятие было уничтожено английскими бомбардировщиками. Прямое попадание. Взрыв был чудовищный. Все смело с лица земли вместе с деревушкой. Иностранные рабочие погибли. Говорят, что звук взрыва был слышен за много миль, — там, как видно, было чему взрываться.

Перо Брэдфилда быстро бегало по бумаге.

— Во время этой бомбежки Карфельд уже находился у себя на родине в Эссене. Это абсолютно точно. Он говорит, что хоронил там свою матушку. Она была убита во время воздушного налета.

— Ну и что же?

— Он был в Эссене, это верно. Но он не хоронил своей матушки. Она умерла двумя годами раньше.

— Вздор! — воскликнул Брэдфилд. — Пресса уже давным-давно...

— В наших досье имеется фотокопия первоначального подлинного свидетельства о ее смерти, — спокойно, не повышая голоса, произнес Тэрнер. — Что представляет собой новое свидетельство, я не знаю. И кто его сфабриковал. Хотя, мне кажется, мы оба можем легко об этом догадаться, не слишком насилуя свое воображение.

Брэдфилд метнул на него быстрый, оценивающий взгляд.

— По окончании войны англичане были в Гамбурге и направили группу расследования поглядеть, что осталось от Гапсторфа, собрать трофеи, сделать снимки. Словом, обычную группу расследования без всяких специальных заданий. Думали, может быть, удастся разыскать кого-либо из работавших там ученых, удастся воспользоваться в какой-то мере их опытом — словом, вы понимаете. Поступило сообщение, что ничего обнаружено не было. И одновременно поступило сообщение о кое-каких слухах. Французский рабочий, один из немногих оставшихся в живых, рассказал, что там в качестве подопытных животных использовались люди. Не сами рабочие, сказал он, а другие люди, которых туда привозили. Поначалу они пользовались животными, сказал он, а потом им уже этого оказалось мало, им потребовалось настоящее, и тогда стали специально доставлять туда людей. Он сказал, что как-то раз ночью дежурил у ворот — он к тому времени уже вошел к ним в доверие, и вдруг немцы приказали ему вернуться в барак, лечь спать и не появляться до утра. У него возникли подозрения, он спрятался и стал подсматривать. Он увидел странную вещь: серый

автобус, обыкновенный одноэтажный серый автобус проехал все ворота одни за другими, и никто его не остановил и не проверил документов. Автобус скрылся в глубине территории, там, где были расположены склады, и через несколько минут появился снова и уехал тем же путем, только быстрее. Пустой.— Тэрнер замолчал, вынул из кармана носовой платок и осторожным движением приложил его ко лбу.— Этот француз рассказал еще, что одному его приятелю-бельгийцу предложили за большие деньги работать в новых лабораториях под самой скалой. Он пробыл там двое суток и вернулся бледный, как привидение. Клялся, что не проведет там больше ни одной ночи, хоть ты его озолоти. А на следующий день он исчез. Сказали, что его перевели куда-то. Но до того, как исчезнуть, он успел поговорить со своим приятелем и назвал ему некоего доктора Клауса. Доктор Клаус, сказал он, это здесь главный начальник, главный администратор, он все организует, все подготавливает, облегчает работу ученых. Именно этот доктор Клаус и предложил бельгийцу поработать в лаборатории.

— Разве это можно считать свидетельскими показаниями?

— Обождите. Вы не торопитесь. Посланная туда группа доложила о том, что было ею обнаружено, и копию доклада направила в местный отдел по расследованию военных преступлений. Там взяли это дело на себя. Они допросили француза, получили от него подробное заявление, но не могли найти подтверждения его словам. Одна старушка, державшая цветочный магазин, рассказала, что как-то ночью слышала крики, но в какую именно ночь это было, старушка не помнила и к тому же не могла поручиться, что кричали люди, а не животные. Словом, все было крайне неопределенно.

— Да, действительно, крайне...

— Послушайте,— сказал Тэрнер.— Мы ведь с вами по одну сторону теперь, не так ли? Все двери открыты, больше уже нечего открывать.

— Может случиться, что какие-то еще понадобится закрывать,— сказал Брэдфилд, снова принимаясь писать.— Так бывает.

— В отделе не хватало людей, все были перегружены работой, и дело постепенно заглохло. Документы подшили куда следует, и на этом все прекратилось. В то время были дела поважнее. Доктора Клауса занесли в списки и позабыли о нем. Француз вернулся к себе на родину, старушка позабыла про крики, и на том все и кончилось. Пока не всплыло снова два года назад.

— Минуточку.

Брэдфилд писал старательно, не спеша. Как всегда аккуратно, разборчиво выводил буквы, не желая никому доставлять потом лишних хлопот.

— А затем случилось нечто непредвиденное. То, что тем не менее всегда может случиться. Какой-то фермер, проживающий неподалеку от Гапсторфа, купил у местного муниципалитета клочок пустыря. Участок был незавидный — каменистый, поросший кустарником,— но он надеялся, что сможет его обработать. Начал копать, пахать и выкопал тридцать два трупа. Немецкая полиция осмотрела трупы и поставила в известность об этой находке оккупационные власти. Все преступления против граждан союзных государств подлежали юрисдикции союзного командования. Расследование велось английским судом, и было установлено, что тридцать один человек умер в результате отравления газом. На тридцать втором была куртка, какие носили иностранные рабочие, и он был застрелен в затылок. И еще было обнаружено кое-что... то, что по-настоящему взбудоражило всех. Трупы были изуродованы.

— Изуродованы?

— Вскрыты. И расчленены. Кто-то уже над ними поработал. Тогда все это дело было поднято заново. Кое-кто в поселке припомнил, что доктор Клаус прибыл из Эссена.

Брэдфилд перестал писать, он положил перо, сцепил пальцы и внимательно посмотрел на Тэрнера.

— В Эссене началось расследование: среди всех химиков, имевших ученую степень и способных проводить исследовательскую работу, стали искать человека по имени Клаус. Поиски очень быстро привели к Карфельду. Он не имел докторской степени, но это выяснилось позже. В то время было уже известно, что весь штат лаборатории работал под псевдонимами, следовательно, ничто не мешало им присвоить себе также и ученые степени. Эссен находился в английской зоне, и Карфельд был призван к ответу. Он отрицал все от начала до конца. Вполне естественно. Не забудьте: помимо трупов никаких улик в сущности не было. Если не считать одного случайного совпадения.

Брэдфилд не прерывал его на этот раз.

— Вы слышали о так называемой «легкой смерти» — плане умерщвления неполноценных?

— Гадамар.— Брэдфилд кивнул в сторону окна.— Ниже по течению. Гадамар,— повторил он.

— Гадамар, Вейлмюнстер, Эйхберг, Кальменхоф — клиники для уничтожения неугодных, всех, кто жил за счет государства и не мог внести своей лепты, содействовать его укреплению. Вы можете прочесть немало об этом в вашей «святая святых», а также в вашем архиве, в документах, предназначенных к уничтожению. Прежде всего люди, намеченные к истреблению, были распределены по категориям. Ну, вы знаете: калеки, психически неполноценные, недоразвитые, дефективные дети в возрасте от восьми до тринадцати лет. Дети, которые мочатся в постели. За редким исключением все эти жертвы были немецкими гражданами.

— Они у них там назывались пациентами,— с глубоким отвращением произнес Брэдфилд.

— По-видимому, время от времени среди этих «пациентов» производили отбор — их использовали для неких медицинских целей. Детей наравне со взрослыми.

Брэдфилд кивнул, как бы подтверждая, что и это ему известно.

— К тому времени, когда возникло Гапсторфское дело, американцы и немцы успели уже провести довольно большую работу в области расследования вышеупомянутого плана «легкой смерти» для неполноценных лиц. Наряду с прочим они получили доказательства того, что был отобран целый автобус «гибридных рабочих» для «несения сопряженной с опасностью службы в научно-исследовательских химических лабораториях в Гапсторфе». В этом автобусе находился тридцать один человек. Между прочим, они пользовались автобусами серого цвета — если вам это что-нибудь напоминает.

— Ганновер,— тотчас сказал Брэдфилд.— Автобусы с охраной.

— Карфельд — прирожденный администратор. Все восторгаются этим его талантом. Так было, так есть. Приятно сознавать, что он не утратил своей былой хватки, не правда ли? Он из тех, кто любит идти по проторенной дорожке.

— Перестаньте рассусоливать. Давайте самую суть, быстро.

— Так вот, серые автобусы. На тридцать одного пассажира плюс места для охраны. Стекла в окнах замазаны черной краской изнутри. Везде, где только можно, они передвигались преимущественно ночью.

— Вы сказали, что было обнаружено тридцать два трупа, а не тридцать один...

— А ведь был еще бельгийский рабочий — вы забыли про него? Тот, что работал в лаборатории под скалой и разговаривал с французом из охраны. Они знали, как с ним следует поступить, не беспокойтесь. Ему стало известно слишком многое, понимаете? Как теперь — Лео.

— Ну-ка, держите,— сказал Брэдфилд, приподнимаясь и передавая Тэрнеру чашку кофе.— Выпейте еще.

Тэрнер взял чашку, и рука его почти не дрожала.

— Словом, когда решено было привлечь Карфельда к ответу, его забрали, привезли в Гамбург, предъявили ему обвинение на основе всех имевшихся улик, показали трупы, и он рассмеялся им в лицо. Сплошной вздор, сказал он, все, от начала до конца. Никогда в жизни он не был в Гапсторфе. Он инженер. Занимался демонтажом. Затем весьма подробно описал свое пребывание на русском фронте, где получил в свое время военные медали и прочие награды. Думаю, что эсэсовцы сфабриковали ему все это. Он очень красочно расписывал свое участие в боях под Сталинградом. Кое-где концы не сходились с концами, но таких неувязок было не слишком много, и в общем он твердо выдержал до конца допрос и продолжал утверждать, что его нога не ступала в Гапсторф и он слыхом не слыхал ни о каких лабораториях. На все вопросы: нет, нет, нет. Так продолжалось не один месяц. Он твердил свое: «Ну что ж, если у вас имеются доказательства, открывайте судебный процесс. Передавайте дело в трибунал. Я ничего не боюсь, я герой войны. Я никогда в жизни ничем не управлял, кроме принадлежавших нашей семье заводов в Эссене, которые, как вам известно, разбомбили англичане. Я воевал в России, я никогда не травил газом никаких гибридов, к чему мне это? Я скромный человек и хочу жить в ладу со всем миром. Предъявите хоть одного живого свидетеля моих преступлений, покажите мне хоть кого-нибудь». Этого сделать не смогли. Ученые и химики в Гапсторфе жили в полнейшей изоляции, и, надо полагать, административный аппарат — тоже. В результате бомбежки все записи, документы — все было уничтожено, фамилий работавших там людей никто не знал — только имена, а то и просто клички.— Тэрнер пожал плечами.— Вот, по-видимому, как обстояло дело. А он сплел даже целую историю о том, как помогал антифашистскому Сопротивлению в России, и поскольку все войсковые подразделения, которые он упоминал, были либо истреблены, либо взяты в плен, проверить его показания не представлялось возможным. Больше, впрочем, он к этой теме — к своей причастности к движению Сопротивления — не возвращался.

— Это теперь не модно,— сухо заметил Брэдфилд.— Особенно в его сферах.

— В общем, его дело так и не попало в суд. Причин к этому было немало. Отделы, занимавшиеся расследованием военных преступлений, стали понемногу расформировывать; Лондон и Вашингтон торопили с окончанием работы по денацификации и настаивали на передаче всех дел в немецкий суд. Начался хаос. В то время как отделы по расследованиям готовили обвинительные заключения, главное командование готовило амнистии. Существовали также и другие причины, чисто технического порядка, препятствовавшие ведению этого дела. Преступление было совершено преимущественно против французов, бельгийцев и поляков — если оно вообще было совершено,— и так как установить национальность жертв не представлялось возможным, возникали еще и юридические затруднения. И другие обстоятельства, хотя и не слишком существенные, затрудняли решение вопроса о том, что же делать. Вы знаете, как это бывает, когда начинают выискивать предлоги.

— Я знаю, как это было в те дни,— небрежно проронил Брэдфилд.— Это был бедлам.

— Французы были не слишком заинтересованы, поляки были *слишком* заинтересованы, а Карфельд к тому времени стал довольно крупной фигурой. Уже подписывал солидные контракты с союзными державами. Даже иной раз передоверял контракты своим конкурентам, лишь бы удовлетворить спрос. Вы же знаете, он очень способный администратор. Ловкий, деятельный.

— Вы говорите об этом так, словно видите в этом преступление.

— Его собственный завод демонтировали не менее двух раз, и теперь он работает на полный ход. Жалко же, в самом деле, приостанавливать такое предприятие. Шли даже слухи,— нисколько не меняя тона, продолжал Тэрнер,— что он начал так бурно развертывать свою деятельность потому, что оказался обладателем большого запаса весьма редких газов, которые он в конце войны укрыл под землей где-то в Эссене. Вот чем он занимался, когда английские самолеты бомбили Гапсторф. Когда, по его словам, он хоронил свою престарелую матушку. Он таскал откуда можно перышки, чтобы потом выстлать ими свое гнездо.

— Все свидетельства, на которые вы пока что ссылаетесь,— спокойно проговорил Брэдфилд,— ни в коей мере не доказывают причастности Карфельда к Гапсторфу, точно так же как ничто не доказывает его соучастия в умерщвлении этих людей. Все, что он сам о себе рассказывает, вполне может быть правдой. И то, что он воевал в России, и то, что он был ранен...

— Правильно, такого же взгляда придерживались и в главном командовании.

— Остается недоказанным даже и то, что эти трупы имеют отношение к гапсторфским лабораториям. Газ мог быть и оттуда, но какие имеются доказательства того, что ученые-химики самолично применяли их к жертвам, а тем более того, что все это было известно Карфельду и он в той или иной мере способствовал...

— В гапсторфском домике был погреб. Этот погреб при бомбежке не пострадал. Окна в погребе были заложены кирпичами и зацементированы, а из лабораторий в погреб шли газоотводные трубы. Кирпичные стены погреба были все изодраны.

— То есть как это «изодраны»?

— Руками, пальцами,— сказал Тэрнер.— Ногтями, надо полагать.

— Но так или иначе, главное командование встало именно на вашу точку зрения. Карфельд запер рот на замок, новых улик не нашлось, преследование не было возбуждено на вполне законном основании. Дело легло на полку. Отдел расследования переехал в Бремен, затем в Ганновер, затем в Мёнхенгладбах, и все дела были отправлены туда же. Вместе со всякими другими материалами из Управления главного военного прокурора. Где все это и должно было храниться, пока не будет принято окончательное решение о том, что делать дальше.

— И вот до этих материалов и добрался Гартинг?

— Он давно до всего добрался. Он же вел всю работу своей группы по расследованию. Он и Прашко. Вся переписка, протоколы, запросы, доклады, свидетельские показания, все досье по этому делу от начала до конца — теперь оно уже имеет и конец,— все регистрировано рукой Лео. Лео брал Карфельда под стражу, допрашивал его, присутствовал при вскрытии трупов, разыскивал свидетелей. Женщина, на которой он собирался жениться — Маргарет Айкман,— работала в том же разведывательном отделе, что и он. Вела канцелярскую работу. Их называли охотниками за черепами. В этом была его жизнь. Все они стремились только к одному: чтобы Карфельд был привлечен к суду.

Брэдфилд сидел, глубоко задумавшись.

— А как понимается здесь это слово — «гибрид»?..— спросил он вдруг.

— Нацистский термин. Означает: еврей-полукровка.

— Понимаю. Понимаю. Значит, в какой-то мере все это задевало его лично, не так ли? И не могло не иметь для него значения. Он был очень легко уязвим. Он все пропускал через себя, иначе жить он не умел.— Рука Брэдфилда с зажатым в ней пером лежала совершенно неподвижно.— Тем не менее едва ли это подсудное дело.— Помолчав, он повторил как бы про себя:— Едва ли это подсудное дело. В сущности, в любом случае едва ли тут можно создать дело. Даже при самом пристрастном, самом неквалифицированном подходе. Нет, ни с какой стороны дело Карфельду пришить нельзя. Вместе с тем все это очень интересно, разумеется: это объясняет его отношение к англичанам. Но это еще не делает его преступником.

— Верно, не делает,— согласился Тэрнер к немалому удивлению Брэдфилда.— Дела из этого создать нельзя. Но мысль об этом не переставала глодать Лео. Он ничего не забыл. Он изо всех сил старался подавить это чувство, заглушить его в себе. И не мог от него уйти. Он должен был удостовериться, он должен был еще раз проверить все, и в этом году в январе он спустился в «святая святых» и перечитал все свои доклады, всю свою аргументацию.

Теперь Брэдфилд снова сидел очень тихо.

— Возможно, тут сыграл роль и возраст. Но основное — опасение, не было ли что-то упущено.— Тэрнер произнес это так, словно это была и его личная проблема, оставшаяся и для него нерешенной.— А может быть, если хотите, и чувство ответственности перед историей.— Он помолчал в нерешительности.— Чувство времени. Он ощущал парадоксальность происходящего и необходимость что-то предпринять. И кроме того, он был влюблен,— прибавил Тэрнер и поглядел в окно,— хотя, быть может, он никогда бы себе в этом не признался. Он хотел просто использовать кого-то в своих целях, но получил больше того, на что рассчитывал. И тогда он вышел из своей летаргии. В этом же все и дело: разве противоположность любви это ненависть? Вовсе нет. Летаргия. Апатия. Как у всех здесь.— Он помолчал и добавил мягко:— Однако нашлись люди, которые заставили его почувствовать себя в орбите больших дел... Короче, по тем или иным причинам он снова взялся за поиски. Снова перечитал все бумаги от начала до конца. Снова изучил всю обстановку, пересмотрел все материалы, относящиеся к тому времени и хранившиеся в архиве и в «святая святых». Снова с самого начала проверил все факты и начал заново наводить справки и вести расследование на свой страх и риск.

— Какого рода расследование? — спросил Брэдфилд.

Они не смотрели друг на друга.

— Он создал свою собственную канцелярию. Писал письма и получал ответы. Всю переписку вел на бланках посольства. Просматривал в экспедиции всю корреспонденцию аппарата советников, прежде чем она успевала попасть в чьи-либо руки, и забирал то, что было адресовано ему. Он осуществлял это совершенно так же, как жил: деятельно и тайно. Не доверяясь никому, не рассчитывая ни на кого, отводя каждому свое обособленное место. Иногда он отправлялся в небольшие поездки, знакомился с церковными архивами, записывал рассказы о различных событиях, посещал министерства, беседовал с духовными лицами, с бывшими заключенными — все под видом посольских полномочий. Собирал вырезки из газет, снимал копии с документов, сам переписывал что следовало на машинке, когда требовалось — запечатывал конверты сургучной печатью. Ему удалось стащить даже и печать. Он

вел свою переписку на бланках со штампом «Претензии и консульские функции», так что ответы на его запросы попадали непосредственно к нему. Он проверял все: свидетельства о рождении, о браке, о смерти матери, охотничьи удостоверения — он искал несоответствий, искал доказательств, что Карфельд не был на Восточном фронте. Он собрал чудовищное по величине досье. Ничего нет удивительного, если Зибкрон заинтересовался им... Он не оставил в покое ни одно правительственное учреждение — под тем или иным предлогом наводил справки всюду...

— О боже милостивый! — прошептал Брэдфилд и, как бы признавая себя побежденным, отложил в сторону ручку.

— К концу января он пришел к единственно возможному выводу: Карфельд бесстыдно лжет, а кто-то, какое-то, по-видимому, влиятельное лицо — и было весьма похоже, что это Зибкрон,— кто-то его покрывает. Я слышал, что Зибкрон по-своему не лишен честолюбия, и, как только на политическом горизонте загорается новое светило, он тотчас стремится попасть в его орбиту.

— Это несомненно так,— подтвердил Брэдфилд, думая о чем-то своем.

— Так же, как и Прашко когда-то. Вы видите, куда уже мы с вами углубились. И, конечно, довольно скоро Зибкрон стал замечать (и Лео это понимал), что посольство наводит весьма далеко идущие справки, выходящие за рамки обычной деятельности даже такого отдела, как «Претензии и консульские функции». И было ясно, что кому-то это придется не по душе и кто-то, черт подери, возможно, прибегнет к довольно крутым мерам. Особенно после того, как Лео получил доказательства.

— Какие доказательства? Как может он теперь, через двадцать с лишним лет после совершения преступления, что-либо доказать?

— Все эти доказательства находятся сейчас в вашем архиве,— с какой-то странной неохотой сказал вдруг Тэрнер.— Вам бы лучше ознакомиться с ними самому.

— Я не располагаю временем, и уши мои уже притерпелись к самым пакостным сообщениям.

— И привыкли слушать их и не слышать.

— Я настоятельно прошу вас продолжать.— Он был настойчив, но без всякой нервозности.

— Хорошо. В прошлом году Карфельд решил получить докторскую степень. К этому времени он стал уже большой шишкой, сколотил себе крупное состояние в химической промышленности — его административный талант как нельзя лучше оправдал себя; он быстро шел в гору в местных политических кругах в Эссене и пожелал быть доктором наук. Возможно, он, как и Лео, не любил незавершенных дел и хотел, чтоб все было в ажуре. А может быть, считал, что ученая степень будет небесполезна в его делах: голосуйте за доктора Карфельда! Здесь любят, когда канцлер обладает ученой степенью. Короче говоря, он взялся за учебники и написал диссертацию. Он не слишком утомлял себя исследовательской работой, и все были весьма поражены, особенно его научные руководители. Невероятно! — говорили они. Когда он только это успел!

— Ну и что же?

— Это была диссертация о воздействии некоторых отравляющих газов на человеческий организм. Работа получила, по-видимому, весьма высокую оценку, вызвала в свое время даже некоторый шум.

— Едва ли это может послужить неопровержимой уликой.

— О нет, может. Карфельд построил все свои научные выводы на детальном изучении тридцати одного смертельного исхода.

Брэдфилд закрыл глаза.

— Нет, это еще не доказательство,— промолвил наконец Брэдфилд, он был очень бледен, но рука, державшая вечное перо, по-прежнему была тверда.— Вы сами знаете, что это еще не доказательство. Я согласен, это возбуждает подозрение. Это заставляет предполагать, что он был в Гапсторфе. И тем не менее этого еще и наполовину недостаточно.

— Жаль, что мы не можем сообщить об этом Лео.

— Карфельд будет утверждать, что он получил нужные ему данные в процессе своей работы в химической промышленности. Получил из третьих рук. И будет твердо стоять на этой позиции.

— Из рук отъявленных негодяев.

— Даже если будет доказано, что данные поступали из Гапсторфа, найдутся десятки объяснений того, как они попали к Карфельду. Вы сами сказали, что он не принимал непосредственного участия в экспериментах...

— Нет, он сидел, так сказать, за пультом управления. Случай довольно распространенный.

— Вот именно, и как раз тот факт, что он пользовался полученными кем-то данными, снимает с него обвинение в том, что он сам их добывал.

— Беда, понимаете ли, в том,— сказал Тэрнер,— что Лео и законник, и вор, и нам приходится считаться и со второй половиной.

— Да,— рассеянно произнес Брэдфилд.— Он взял Зеленую папку.

— Но так или иначе, в том, что касается Карфельда и Зибкрона, он подобрался достаточно близко к истине, а это значит идти на очень большой риск, не так ли?

— A prima facie*,— заметил Брэдфилд, еще раз пробежав глазами свои заметки,— имеются данные для возбуждения нового расследования, это несомненно. В лучшем случае можно добиться, чтобы прокурор назначил предварительное следствие.— Он раскрыл телефонный справочник.— Наш правовой атташе должен знать.

— Не трудитесь,— участливо сказал Тэрнер.— Что бы Карфельд ни совершил, он теперь недосягаем для закона. Время упущено, он уже прошел финиш.— Брэдфилд поглядел на него с удивлением.— Теперь уже никакими силами невозможно привлечь его к суду — даже при наличии неопровержимых улик, письменно подтвержденных им самим.

— Да, разумеется,— спокойно сказал Брэдфилд.— Я совсем забыл.— В голосе его прозвучало облегчение.

— Он теперь под защитой закона. Закона об истечении срока давности; для него он пришелся как раз вовремя. В четверг вечером Лео сделал соответствующую пометку на его досье. Дело закрыто навсегда. Теперь уже никто ничего не в силах изменить.

— Существует известная процедура возобновления...

— Существует,— сказал Тэрнер.— Но не применительно к этому случаю, и между прочим,— по вине англичан. Расследование гапсторфского преступления велось английскими органами. Мы не передавали этого дела в руки немецкой юстиции. Однако ни суда, ни общественного процесса не было, и когда немецкие судебные органы приняли на себя разбор военных преступлений нацистов, мы ни разу не поставили их в известность об этом деле. Карфельдовское дело провалилось в зияющую пустоту между немецким правосудием и нашим.— Он умолк.— А теперь то же самое случилось и с Лео.

— А что намеревался сделать Гартинг? Какую цель преследовал он, производя все эти розыски?

— Он хотел знать. Хотел довести дело до конца. Оно истерзало его,

---

* На первый взгляд *(лат.)*.

как воспоминание об изуродованном детстве или как неудавшаяся жизнь. Ему необходимо было разобраться в нем до конца. В остальном, мне кажется, он полагался на свое чутье.

— Когда получил он эти так называемые доказательства?

— Диссертация прибыла к нему в субботу, когда он был еще здесь. Он вел ежедневную регистрацию входящих и исходящих, понимаете? Все подшивалось в папки. В понедельник он появился в архиве и был очень весел, очень возбужден. Несколько дней он провел, раздумывая, что предпринять дальше. В прошлый четверг он обедал с Прашко...

— На черта ему это понадобилось?

— Я не знаю. Я думал над этим. Но не понял. Возможно, он хотел обсудить, что следует предпринять. Может быть, хотел получить юридический совет. Может быть, надеялся, что все же существует какой-либо способ возобновить судебное преследование...

— Такого способа не существует?

— Нет.

— Слава тебе, господи.

Тэрнер пропустил это мимо ушей.

— А возможно, он хотел предупредить Прашко, что уже начинает попахивать жареным. Может быть, хотел попросить защиты?— высказал предположение Тэрнер.

Брэдфилд внимательно на него поглядел.

— А Зеленая папка пропала,— сказал он: обычное самообладание уже вернулось к нему.

— Да, осталась пустая сумка.

— И Гартинг сбежал. А причина *этого* вам тоже известна? — Брэдфилд смотрел на Тэрнера в упор.— Это тоже занесено у него в досье?

— Он несколько раз записал в своем блокноте: *«У меня остается очень мало времени»*. Все, кто разговаривал с ним в эти дни, замечали, что он был точно в цейтноте... Необычно взвинченный, напряженный... Вероятно, он все время думал о новом законе.

— Но мы же знаем, что в соответствии с этим законом Карфельд стал недосягаем, разве что можно было бы добиться приостановления действия закона. Так почему он сбежал? И почему такая спешка?

Тэрнер пожал плечами, не обращая внимания на странно пытливый и почти вызывающий тон, каким Брэдфилд задал свой вопрос.

— Значит, вам неизвестно почему? Почему он выбрал именно этот момент, чтобы сбежать? И унес с собой именно эту папку?

— Мне кажется, Зибкрон загнал его в угол. У Лео имелись доказательства, и Зибкрон знал об этом. С этой минуты за Лео была установлена слежка. У Лео был револьвер,— сказал Тэрнер.— Старого армейского образца. Видимо, он уже почувствовал опасность, потому что стал носить его с собой. Должно быть, он испугался.

— Видимо, да,— снова с оттенком облегчения произнес Брэдфилд.— Да, так оно и есть. Несомненно этим все и объясняется.

Тэрнер растерянно на него поглядел.

Минут десять по меньшей мере Брэдфилд не произносил ни слова и не шевелился. Он стоял в углу и смотрел в окно на реку.

— Неудивительно, что Зибкрон приставил к нам охрану,— проговорил он наконец таким бесцветным голосом, словно речь шла о тумане, поднимавшемся с реки.— Неудивительно, что он стережет нас, словно опасных преступников. В Бонне не осталось, вероятно, ни одного министерства, даже ни одного, вероятно, журналиста, не осведомленного о том, что британское посольство занято охотой на Кар-

фельда и пустило гончих по следам его прошлого. Интересно, каких действий ждут они от нас теперь? Что мы будем публично его шантажировать? Или, нацепив судейские парики, предъявим ему от лица союзных держав обвинение в преступлениях двадцатипятилетней давности? Или они считают, что, одержимые бессмысленной жаждой мщения, мы хотим теперь просто взять реванш у того, кто препятствует осуществлению наших европейских замыслов?

— Вы разыщете Лео, правда? Вы не будете жестоки к нему? Он очень нуждается сейчас в помощи, хоть в какой-нибудь.

— Так же, как и все мы,— сказал Брэдфилд, продолжая глядеть на реку.

— Он не коммунист. Он нас не предавал. Он считает, что Карфельд представляет собой страшную опасность. И для нас. Он простой, бесхитростный человек. Вы сами можете убедиться из этих его досье...

— Знаю я его простоту.

— И мы несем за него ответственность, в конце концов. Кто, как не мы, поселил в его мозгу все эти идеи еще в те далекие времена? Идеи высшей справедливости. Не мы ли надавали ему все эти обещания: Нюрнберг, денацификация? Мы заставили его поверить в это. Мы не можем допустить, чтобы он стал жертвой только потому, что наша позиция изменилась. Вы не видели того, что там, в папках, вы даже не представляете себе, что говорилось про немцев в те дни. А Лео остался прежним. Он из тех, кто стоит на своем. *Это же* не преступление, не так ли?

— Я очень хорошо знаю, что тогда думали. Я сам был здесь в те дни. Я видел то, что видел он, видел достаточно. Он должен был изжить в себе это. Как изжили все мы.

— А я считаю, что мы обязаны взять его под свою защиту, он этого стоит. В нем есть цельность... Я почувствовал это там, внизу. Его не собьешь с толку софизмами. Для таких, как мы с вами, всегда отыщется десяток причин, чтобы сидеть сложа руки. А Лео совсем из другого теста. Он действует, руководствуясь только одним правилом: делай, раз так надо. Раз ты так чувствуешь.

— Надеюсь, вы не собираетесь преподносить его нам в качестве примера, которому все должны следовать?

— И еще одно обстоятельство не давало ему покоя.

— Что именно?

— В случаях, подобных этому, всегда можно обнаружить какие-то побочные документы. В штабах СС, в клиниках, в транспортных частях. Приказы о перемещении, письменные полномочия — различные документы, так или иначе, хотя бы отдаленно, связанные с делом и помогающие пролить свет. Однако тут ничего не всплывало на поверхность. Лео неустанно делал пометки: почему не осталось никаких следов в Кобленце? Почему нет этого, почему нет того? По-видимому, он подозревал, что все эти улики были уничтожены кем-то... Хотя бы Зибкроном, к примеру. Но мы-то можем *отдать ему должное,* можем? — почти с мольбой проговорил Тернер.

— Здесь нет ничего абсолютно достоверного.— Взгляд Брэдфилда все еще был устремлен вдаль.— Здесь все сомнительно. Все туманно. Нет точных разграничений — социалисты позаботились об этом. Все — всё, и все — ничего. Неудивительно, что Карфельд в трауре.

Что так приковывало внимание Брэдфилда к реке? Маленькие суденышки, пробиравшиеся сквозь туман? Красные стрелы грузовых кранов и плоские равнины? Или виноградники, уходившие за горизонт, забравшиеся так далеко сюда, на север, с юга? Или гора Чемберлена — серый призрак с длинным бетонным прямоугольником здания, в котором его поместили когда-то?

— «Святая святых» ничего нам в этом смысле прояснить не может,— проговорил наконец Брэдфилд и снова замолчал.— Прашко. Вы говорите, что он обедал с Прашко в четверг?

— Брэдфилд...

— Да?— Он уже направлялся к двери.

— Мы теперь уже по-другому относимся к нему, верно?

— Вы так полагаете? Не исключена возможность, что он в конце концов окажется коммунистом.— В голосе Брэдфилда прозвучала ироническая нотка.— Вы забываете, что он как-никак выкрал Зеленую папку. А вам, должно быть, вдруг померещилось, что вы уже проникли к нему в самую душу.

— А зачем он ее выкрал? Что было в этой папке?

Но Брэдфилд уже вышел в наполненный гулом коридор и пробирался между стоявшими у стен сложенными кроватями. Навстречу плыли таблички: ПУНКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. КОМНАТА ОТДЫХА НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ДЕТЯМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН. Когда они проходили мимо архива, оттуда донеслись радостные возгласы и нестройные рукоплескания. Корк, совершенно белый от волнения, выбежал им навстречу.

— У нее уже все,— прошептал он.— Звонили из родильного дома. Пока я был на дежурстве, она не разрешала им послать за мной.— В розовых, широко раскрытых глазах его стоял испуг.— Я ей даже не не понадобился. Она даже не захотела, чтобы я был там с ней.

17. Прашко

Пятница. Утро

Позади посольства от восточной границы его владений начинается гудронированная аллея, которая ведет к северу мимо новых вилл, слишком дорогих для представителей Британской империи. У каждой виллы садик — небольшой, но весьма ценный, если учесть стоимость земельных участков; каждая отличается от всех прочих каким-либо осторожным архитектурным отклонением от нормы, характерным для современного стандарта. Если один дом обзавелся кирпичной площадкой для жарения мяса на вертеле и внутренним двориком, выложенным камнем, то другой поспорит с ним оградой из голубого сланца или смело выставленного напоказ неотесанного камня. Летом молоденькие жены нежатся в солнечных лучах возле своих микроскопических бассейнов. Зимой черные пудели купаются в снегу. И каждый день с понедельника по пятницу черные «мерседесы» доставляют хозяев домой к обеду. И воздух неизменно, хотя бы слегка, насыщен запахом кофе.

Было еще совсем раннее, холодное, но прозрачно ясное, как после дождя, утро. Они ехали медленно, опустив стекла. Миновали госпиталь, места пошли более унылые — предместье еще сохраняло свой старый облик. За лохматыми елями и иссиня-черными кустами лавра свинцовые шпили, возносившие когда-то ввысь горделивые упования Веймара, торчали, словно пики, среди дряхлеющего леса. Впереди вставало здание бундестага, голое, безрадостное и бесприютное,— огромный мотель, выкрашенный в желтовато-молочный цвет, весь в траурно-мрачных флагах. За бундестагом, увенчанный аркой моста Кеннеди, огражденный громадой зала Бетховена, бурый Рейн неустанно стремил свой упорядоченный бег в неизвестность.

Всюду, куда ни глянь, была полиция: не часто можно увидеть, чтобы оплот демократии так надежно охраняли от демократов. У глав-

ного входа, вытянувшись беспокойной цепочкой, дожидалась своей очереди делегация школьников, и полицейские, словно заботливые родители, не отходили от детей ни на шаг. Телевизионная съемочная группа устанавливала свои прожекторы. Перед объективом какой-то молодой человек в темно-красном вельветовом костюме, беззаботно подбоченясь, выделывал антраша, в то время как его коллега окидывал оценивающим взглядом его фигуру. Полицейские хмуро наблюдали за ними, обеспокоенные таким фривольным поведением. Вдоль тротуара, подтянутые, словно присяжные заседатели, стояли граждане с высокими, похожими на римские штандарты стягами в руках — серая, послушно ожидающая толпа. Лозунги претерпели изменения: «СНАЧАЛА ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ, ПОТОМ ЕДИНАЯ ЕВРОПА». «МЫ ТОЖЕ ГОРДАЯ НАЦИЯ». «СНАЧАЛА ВОЗВРАТИТЕ НАМ НАШУ СТРАНУ!» И лицом к лицу с ними в одну линию стояли полицейские, опекая их совершенно так же, как школьников.

— Я поставлю машину внизу, на набережной,— сказал Брэдфилд.— Одному богу известно, что мы тут найдем по возвращении.

— А что там происходит сейчас?

— Дебаты. По поводу поправок к чрезвычайным законам.

— Я думал, что это давным-давно решенный вопрос.

— В этом городе ничто никогда не бывает решено до конца.

Вдоль всей набережной в безучастном ожидании замерли серые отряды, похожие на безоружных солдат; изготовленные на скорую руку знамена оповещали о своем происхождении: Кайзерслаутерн, Ганновер, Дортмунд, Кассель... Отряды стояли в немом молчании, ожидая, когда будет дан приказ протестовать. Кто-то принес с собой транзистор и пустил его на полную громкость. При появлении белого «ягуара» головы повернулись в его сторону.

Брэдфилд и Тэрнер, шагая бок о бок, начали медленно взбираться на холм, удаляясь от реки. Они прошли мимо киоска, в котором, казалось, не было ничего, кроме цветных фотографий шахини Сорейи. Перед центральным подъездом двумя колоннами выстроились студенты, оставив неширокий проход. Брэдфилд, вскинув голову, распрямив плечи, шел впереди. В дверях охранники хотели задержать Тэрнера, и Брэдфилд коротко осадил их. В вестибюле было невыносимо жарко и пахло сигарами. Отголоски дебатов наполняли его мерным жужжанием. Журналисты — кое-кто из них с фотоаппаратами — с любопытством поглядели на Брэдфилда, но он отрицательно покачал головой и отвернулся. Депутаты негромко переговаривались, стоя отдельными группами, и в бесплодной надежде посматривали через плечо друг друга, ища глазами кого-нибудь поинтереснее. Знакомая фигура устремилась навстречу.

— Лучший подарок! Истинная правда, Брэдфилд, вы — лучший подарок! Пришли полюбоваться на конец демократии? Пришли на дебаты? Ну еще бы, вы же, черт побери, там у себя времени даром не теряете. И секретная служба все еще при вас? Мистер Тэрнер, вы, я надеюсь, вполне лояльны? Господи помилуй, что у вас с физиономией, черт побери?— Не получив ответа, он сказал, понизив голос и украдкой поглядев по сторонам:— Брэдфилд, я должен поговорить с вами. Дело чрезвычайно важное и безотлагательное, черт побери. Я пытался дозвониться к вам в посольство, но для Зааба вас никогда нет на месте.

— У нас здесь назначена встреча.

— Это надолго? Скажите мне, как долго может это затянуться. Сэм Аллертон тоже жаждет видеть вас, мы вместе хотим обсудить с вами кое-что.

Его черная голова склонилась к уху Брэдфилда. Шея у него была грязная, щеки небриты.

— Это невозможно знать наперед.

— Послушайте, я буду ждать вас здесь. Это крайне *важное* дело. Я скажу Аллертону: будем ждать Брэдфилда. Наши газеты, сроки выпуска — это не делает погоды. Нам нужно потолковать с Брэдфилдом.

— Никаких комментариев, вы же знаете. Мы опубликовали наше заявление вчера вечером. Полагаю, что у вас имеется экземпляр. Мы принимаем объяснение, данное нам канцлером. И с надеждой ожидаем возвращения немецкой делегации в Брюссель в течение ближайших дней.

Они спустились вниз в ресторан.

— Он здесь. Разговаривать буду я. Пожалуйста, предоставьте все мне.

— Постараюсь.

— Нет, вашего старания мне мало. Извольте держать рот на замке. Он очень скользкий субъект.

Первое, что увидел Тэрнер, была сигара. Небольшая сигара — она торчала в углу рта, словно черный термометр, и Тэрнер сразу заметил, что это — голландская сигара: Лео получал их и бесплатно снабжал ими Прашко.

Вид у Прашко был такой, словно он всю ночь провозился в редакции над газетой. Он появился из двери, за которой были расположены торговые киоски, и в куртке нараспашку, засунув руки в карманы, прошествовал через зал, задевая по дороге за все столики и ни перед кем не извиняясь. Это был грузный, неопрятный мужчина; коротко подстриженные волосы с сильной проседью; мощная грудная клетка незаметно переходила в еще более мощный живот; сдвинутые на лоб очки придавали ему вид гонщика. Следом за ним шла девушка с портфелем; апатичное, почти лишенное выражения лицо ее производило впечатление не то скучающего, не то чрезмерно целомудренного; у нее были темные, очень густые волосы.

— Суп!— заорал Прашко на весь ресторан, как только они обменялись рукопожатиями. — Подайте нам суп. И что-нибудь для нее.— Официант, слушавший последние известия по радио, приглушил приемник, как только завидел Прашко, и с готовностью скользнул к нему. Медные зубчики подтяжек крепко впивались в засаленный край брюк, облегавших объемистый живот Прашко.— Вы тоже трудитесь здесь? — спросил он и пояснил: — Она ничего не понимает. Ни на одном языке, черт побери. Nicht wahr, Schatz? * Ты глупа, как овца. Так что у вас за дела? — Он говорил по-английски свободно, с легким американским акцентом, почти полностью заглушавшим всякий другой, если он у него был.— Вас скоро назначат послом?

— Боюсь, что нет.

— А это кто с вами?

— Приезжий.

Прашко очень внимательно поглядел на Тэрнера, потом на Брэдфилда и снова на Тэрнера.

— Какая-то девчонка крепко осерчала на вас?

На лице его двигались только глаза. Но плечи настороженно приподнялись, и голова инстинктивно ушла в плечи: он был весь начеку. Левой рукой он взял Брэдфилда за локоть.

— Это хорошо,— сказал он.— Это отлично. Люблю перемены. Люблю новых людей.— Голос его звучал на одной ноте, короткие фразы ложились тяжело; это был голос конспиратора, человека, выработав-

* Не правда ли, сокровище мое? *(Нем.)*

шего в себе долголетнюю привычку говорить так, чтобы его нельзя было подслушать.— Так зачем вы пожаловали? Узнать личное мнение Прашко? Голос оппозиции? — Он пояснил Тэрнеру: — Когда создается коалиция, оппозиция превращается в привилегированный клуб.— Он громко расхохотался своей шутке, и Брэдфилд рассмеялся тоже.

Официант подал суп-гуляш, и Прашко быстрыми, беспокойно-настороженными движениями своей здоровенной ручищи мясника принялся вылавливать кусочки говядины.

— Так зачем же вы пожаловали? Может, хотите отправить телеграмму своей королеве? — Он ухмыльнулся.— Весточку от ее бывшего подданного? О'кей! Пошлите ей телеграмму. Только на черта ей знать, что думает Прашко? И вообще, кого это интересует? Я — старая шлюха.— Это было адресовано непосредственно Тэрнеру.— Они небось так говорили вам? Я был англичанином, я был немцем, я, черт побери, стал почти американцем. Я был в этом борделе дольше всех прочих шлюх. Вот почему я уже стал никому не нужен. Меня имели все. Сообщали они вам об этом? И левые, и правые, и центр.

— Кто из них обладает вами теперь? — спросил Тэрнер.

Не сводя глаз с изуродованного лица Тэрнера, Прашко поднял руку и сделал выразительный жест — потер кончиком большого пальца средний и указательный:

— Знаете, что такое политика? Купля-продажа. Деньги на бочку. Все остальное — куча дерьма. Дипломатия, договоры, союзы — все дерьмо. Может быть, мне следовало оставаться марксистом. Так, значит, они теперь взяли да и ушли из Брюсселя? Это печально. Да, да, это очень печально. Вам теперь не с кем вести переговоры.

Он разломил булочку и окунул половинку в суп.

— Скажите вашей королеве, что Прашко говорит: англичане — лживые, вонючие лицемеры. Ваша супруга в добром здравии?

— Вполне, благодарю вас.

— Давненько я не обедал там у вас наверху. Вы по-прежнему живете в этом гетто? Ничего себе местечко. Не обращайте внимания. Меня никто не может долго выносить. Вот почему я меняю партии,— пояснил он Тэрнеру.— Когда-то я считал себя романтиком — вечно в погоне за голубым цветком. Теперь, должно быть, мне просто все приелось. Друзья, женщины, господь бог — везде одно и то же. Все они преданные. И все они вас обманывают. И все подонки. Бог мой! Скажу вам еще кое-что: новых друзей я предпочитаю старым. Кстати, у меня новая жена — как она вам нравится? — Взяв молодую женщину за подбородок, он приподнял ее лицо, как бы желая продемонстрировать его в наиболее выгодном ракурсе; она улыбнулась и слегка похлопала его по руке.— Я сам себе поражаюсь,— продолжал он, прежде чем кто-либо из них успел сообразно обстоятельствам ответить на вопрос.— Было время, когда я мог бы ползать на своем жирном брюхе, лишь бы залучить ваших вшивых англичан в Европу. А теперь вы обиваете у нас пороги, а мне наплевать.— Он покачал головой.— Право, я сам себе изумляюсь. Но таков ход истории, надо полагать. А может быть, таков я. Может быть, меня просто влечет к сильным мира сего; может быть, я люблю вас, потому что вы были сильны, а теперь я ненавижу вас, потому что вы — ничто. Вчера ночью они убили какого-то мальчишку, вы слышали об этом? В Хагене. Передавали по радио.

Он взял с подноса рюмку водки. Бумажная подставка прилипла к ножке. Он оторвал ее.

— Одного мальчишку. И одного старика. И одну полоумную библиотекаршу. Пусть даже целую футбольную команду. Это еще не Армагеддон.

В окно видны были длинные серые колонны, замершие в ожидании на набережной. Прашко обвел рукой зал.

— Поглядите на все это дерьмо. Все бумажное. Бумажная демократия, бумажные политики, бумажные орлы, бумажные солдатики, бумажные депутаты. Кукольная демократия. Стоит Карфельду чихнуть, как мы пускаем в штаны. Знаете почему? Потому что он, черт побери, слишком близок к истине.

— Вы, значит, принадлежите к его сторонникам? Так я вас понял?— спросил Тэрнер, делая вид, что не замечает рассерженного взгляда Брэдфилда.

Прашко доел свой суп; он почти все время не сводил глаз с Тэрнера.

— Мир молодеет с каждым днем,— сказал он.— Карфельд — куча дерьма, пусть так. Ладно. Но мы богатеем, вы это видите, приятель? Мы едим, пьем, строим дома, покупаем машины, платим налоги, ходим в церковь, делаем детей. Теперь мы хотим получить что-нибудь *подлинное*. Вы знаете, что это такое, приятель?

Он по-прежнему не сводил глаз с изуродованного лица Тэрнера.

— Иллюзии. Короли и королевы. Семейство Кеннеди, де Голль, Наполеон, баварские герцоги Виттельсбахи и Потсдам. К черту, мы больше не захолустная деревня. Да, кстати, что вы скажете насчет нынешних студенческих беспорядков в Англии? Что думает об этом ее королевское величество? Может, вы мало даете им карманных денег? Молодежь! Хотите знать кое-что про молодежь? Я скажу вам.— Теперь он обращался исключительно к одному Тэрнеру.— «Немецкая молодежь упрекает своих отцов за то, что они затеяли войну». Вот что вы слышите. Не проходит дня, чтобы какой-нибудь свихнувшийся умник не оповестил нас об этом через какую-нибудь очередную газету. Хотите знать настоящую правду? Они упрекают своих отцов за то, что те *проиграли* эту чертову войну, а не за то, что они ее начали: «Эй, вы! Где наша Империя, чтоб вас черт побрал?» Так же как и англичане, как я понимаю. Такое же дерьмо собачье. Все щенки одинаковы. Они хотят вернуть себе бога.— Он перегнулся над столом, почти вплотную придвинул свое лицо к Тэрнеру.— Слушайте, может, мы провернем дельце: мы вам — наличные, вы нам — иллюзии? Беда только в том, что мы это уже пробовали.— Он с разочарованным видом откинулся на спинку стула.— Мы как-то раз заключили такую сделку и получили от вас кучу дерьма. Вы не поставщики иллюзий. Вот почему мы не хотим больше слышать об англичанах. Они не умеют вести дела. Наш немецкий папенька Фатерланд предлагал руку и сердце вашей английской маменьке, но вы не явились на свадьбу.— Он снова расхохотался, смех его звучал фальшиво.

— Быть может, сейчас пришло время заключить этот союз?— намекнул Брэдфилд с усталой улыбкой важного государственного деятеля.

Краем глаза Тэрнер заметил двух людей — бледные лица, темные костюмы, замшевые туфли,— они молча заняли места за соседним столиком. Официант поспешно направился к ним, сразу распознав их профессию. И в эту минуту целая орава молодых журналистов ввалилась из вестибюля в ресторан. У некоторых в руках были газеты, заголовки кричали о Брюсселе и Хагене. Журналистами предводительствовал папаша Карл-Гейнц Зааб, он уставился на Брэдфилда с утрированной тревогой. За окном в унылом внутреннем дворике ряды пустых пластмассовых стульев походили на искусственные цветы, пробившиеся сквозь растрескавшийся асфальт.

— Вот эти подонки — это уже настоящие нацисты,— громко, на весь зал сказал Прашко, взмахнув жирной рукой в сторону журналистов.—

Они высовывают языки, громко выпускают газы и воображают, что изобрели демократию. Куда провалился этот чертов официант — сдох?

— Мы разыскиваем Гартинга,— сказал Брэдфилд.

— Ясно! — Прашко привык к неожиданностям. Рука, вытиравшая салфеткой обветренные губы, все так же, не спеша, продолжала свое занятие. Желтоватые глаза все так же, не мигая, смотрели из воспаленных глазниц на собеседников.— Я его здесь что-то не видел,— равнодушно заметил Прашко.— Может, он где-нибудь на балконе. Ведь у вас, приятели, там своя специальная ложа.—Он положил салфетку.—Может, вам надо поискать его там?

— Он исчез неделю назад. В пятницу утром на прошлой неделе.

— Кто, Лео? Ну, этот малый никуда не денется.— Появился официант.— Такие не пропадают.

— Вы его друг,— сказал Брэдфилд.— Кажется, его единственный друг. Мы подумали, что он мог прийти посоветоваться с вами.

— О чем?

— А вот в этом-то все и дело,— сказал Брэдфилд с едва заметной усмешкой.— Мы подумали, что он мог сказать это *вам*.

— Он до сих пор не завел себе друзей среди англичан? — Прашко переводил взгляд с одного на другого.— Бедняжка Лео! — Теперь уже в голосе его явно слышалось ехидство.

— Вы занимали особое место в его жизни. В конце концов, вы ведь очень долго работали вместе. У вас одинаковый опыт за плечами. Нам кажется, что в трудную минуту Лео, нуждаясь в совете, в деньгах или еще в какой-нибудь помощи, мог инстинктивно обратиться к вам. Нам думается, что он мог бы даже искать у вас защиты.

Прашко снова внимательно поглядел на свежие рубцы на лице Тэрнера.

— Защиты? — повторил он, почти не шевеля губами, словно предпочел бы сделать вид, что не произносил этого слова.— С таким же успехом вы могли бы защищать...— Капельки пота внезапно проступили у него на лбу, словно это осел пар, висящий в воздухе.— Уйди отсюда,— сказал он девушке.

Без единого слова она поднялась, рассеянно улыбнулась всем троим и неторопливо вышла из ресторана, и Тэрнер с совершенно неуместным и неожиданным для себя легкомыслием проводил восхищенным взглядом ее соблазнительно покачивающиеся бедра. А Брэдфилд уже заговорил снова.

— У нас очень мало времени,— торопливо промолвил он, наклонившись над столом.— Вы были с ним в Гамбурге и в Берлине. Существуют кое-какие обстоятельства, известные, возможно, только вам двоим. Вы меня слушаете?

Прашко молча ждал.

— Если только вы в состоянии помочь нам разыскать его, не поднимая шума, если вам известно, где он скрывается, и вы можете воздействовать на него, если вы можете хоть что-нибудь предпринять во имя старой дружбы, я беру на себя сохранение тайны и обещаю мягко обойтись с ним. Ни ваше имя, ни чье-либо другое не будет при этом нигде фигурировать.

Теперь уже Тэрнер ждал, переводя взгляд с одного лица на другое. Прашко выдавал только струившийся по его лицу пот, Брэдфилда — только крепко зажатая в пальцах ручка. Он сжимал ее, низко наклонившись над столом. За окном серые колонны замерли в ожидании; двое в углу тупо наблюдали за происходящим, поедая булочки с маслом.

— Я отправлю его в Англию. Я удалю его из Германии навсегда, если это необходимо. Он себя уже достаточно скомпрометировал; не может быть и речи о том, чтобы мы снова стали прибегать к его услу-

гам. Он позволил себе... Своим поведением он поставил себя в положение, лишающее его нашей поддержки; вы понимаете, что я хочу сказать? Любые сведения, какими он может обладать, являются исключительно собственностью английской короны...— Он откинулся на спинку стула.— Мы должны разыскать его прежде, чем это сделают они,— сказал он, но Прашко по-прежнему не говорил ни слова и не сводил с Брэдфилда жестокого взгляда маленьких, заплывших жиром глаз.— Я учитываю также,— продолжал Брэдфилд,— что у вас может иметься личная заинтересованность в тех или иных вопросах, которая должна быть удовлетворена.

Прашко заерзал на стуле.

— Полегче,— сказал он.

— Я меньше всего собираюсь вмешиваться во внутренние дела Федеративной Республики. Ваши политические устремления, будущее вашей партии в свете нового Движения — все эти вопросы лежат вне сферы наших интересов. Я здесь для того, чтобы охранять наш союз, а не для того, чтобы становиться в позу судьи по отношению к союзнику.

Совершенно неожиданно Прашко улыбнулся.

— Отлично сказано,— заметил он.

— Ваша двадцатилетней давности связь с Гартингом, ваши взаимоотношения с некоторыми органами, близкими английским правительственным кругам...

— Это никому не известно,— быстро перебил его Прашко.— Выражайтесь осторожнее, черт побери!

— Я как раз намеревался предложить то же самое вам,— сказал Брэдфилд. Улыбка Прашко вызвала у него ответную улыбку облегчения.— Я совершенно так же, как и вы, не хочу, чтобы про наше посольство говорили, будто мы питаем к кому-то дурные чувства, поносим видных немецких политических деятелей, выволакиваем на свет божий старые, давно похороненные дела, что мы солидаризируемся со странами, не симпатизирующими внутренней политике Германии, и поставили своей задачей бесчестить Федеративную Республику. Я совершенно убежден, что и вы также не заинтересованы в том, чтобы про вас — в вашей сфере — распространялись подобного рода слухи. Я хочу указать лишь на общность наших интересов.

— Ясно,— сказал Прашко.— Ясно.— Его изборожденное морщинами лицо оставалось непроницаемым.

— И у вас, как у нас, есть свои негодяи. Мы не должны позволять им становиться между нами.

— Боже упаси! — сказал Прашко, покосившись на синяки и ссадины Тэрнера.— У нас, помимо того, есть еще довольно странные друзья. Это Лео так вас отделал?

— Они сидят в углу,— сказал Тэрнер.— Это их работа. Они сделают то же самое и с ним, дайте им только до него добраться.

— Ладно,— сказал наконец Прашко.— Я готов помочь вам. Мы с ним обедали вместе. С тех пор я его больше не видел. Что надо этой обезьяне?

— Брэдфилд! — кричал Зааб через весь зал.— Скоро, наконец?

— Я же вам сказал, Карл-Гейнц: мы не собираемся делать никаких заявлений.

— Мы просто потолковали, вот и все. Я не так-то часто встречался с ним. Он позвонил мне: может, встретимся, пообедаем? Я сказал: давай завтра — Прашко развел руками, словно фокусник, показывающий, что он ничего не прячет в рукаве.

— О чем же вы толковали? — спросил Тэрнер.

Прашко пожал плечами и поглядел на обоих собеседников.

— Вы знаете, как это бывает с давними друзьями. Лео — славный малый, но... Словом, люди меняются. А может быть, мы не хотим, чтобы нам напоминали о том, что ничего не меняется. Вспоминали прошлое. Лео немного выпил. Ну, вы знаете, как это бывает при таких встречах.

— Какое прошлое? — настойчиво спросил Тэрнер, и Прашко зло на него поглядел.

— Известно какое: Англию. Дерьмовое было время. Вы знаете, как мы попали в Англию — я и Лео? Мы были желторотые. Знаете, как мы попали? Его фамилия начиналась с буквы Г, а моя — с П. Так я переделал П на Б. Гартинг Лео, Брашко Гарри. Такие были времена. Нам повезло, что мы не были Цейсс или Цахари,— где бы мы тогда стояли в списке? Англичане не любили второй половины алфавита. Вот про это мы с ним и толковали: про то, как нас отправили в Дувр на палубе, бесплатно. Про те проклятые времена. Про эту чертову сельскохозяйственную школу в Шептон-Маллете. Вам знакома эта вонючая школа? Может, ее теперь подновили наконец? Может, уже и этот старикашка помер, который готов был нас изничтожить за то, что мы — немцы, и говорил, что только благодаря англичанам мы еще живы. Знаете, чему научились мы в Шептон-Маллете? Итальянскому языку. От военнопленных. Только с этими несчастными и можно было поговорить! — Он повернулся к Брэдфилду.— Кто этот нацист, между прочим? — спросил он и вдруг расхохотался.— Вы что, думаете, я псих? Ну да, я обедал с Лео.

— И он поведал вам о каких-то там затруднениях? — спросил Брэдфилд.

— Он хотел узнать насчет нового закона,— ответил Прашко, все еще продолжая ухмыляться.

— Закона об истечении срока давности?

— Вот именно. Хотел узнать про закон.

— Применительно к определенному случаю?

— Почему к определенному?

— Просто я вас спрашиваю.

— Мне показалось, что вы имели в виду какой-то определенный случай.

— Значит, он интересовался этим вообще, с чисто юридической точки зрения?

— Разумеется.

— С какой стороны и кому могло это пойти на пользу, хотелось бы мне знать? Никто из нас не заинтересован в том, чтобы выкапывать из могилы прошлое.

— И это правильно, вы так считаете?

— Это — здравый смысл,— сухо сказал Брэдфилд,— что, как я полагаю, должно иметь в ваших глазах больше веса, чем любые мои заверения. Так что же хотел он знать?

Теперь Прашко говорил, взвешивая каждое слово:

— Он хотел понять *причину*. Хотел понять внутренний смысл. Тогда я сказал ему: это не новый закон, это закон старый. Он должен положить конец некоторым вещам. Каждая страна имеет свой последний суд — место, дальше которого уже идти некуда. Правильно? И в Германии так же точно должен быть конечный день. Я разговаривал с ним, как с ребенком,— он ведь до черта наивен, вы это знаете? Блаженный. Я сказал: «Слушай, ты проехал на велосипеде без фонаря, так? Если по прошествии четырех месяцев это не будет обнаружено, ты чист. Если ты совершишь непредумышленное убийство, тогда это уже не четыре

месяца, а пятнадцать лет; если убийство с заранее обдуманным намерением — двадцать лет. А если это предумышленное убийство, совершенное нацистом,— срок еще больше, добавляется дополнительное время. Они ждали несколько лет, прежде чем начать отсчитывать до двадцати. Если они не поднимают дела, обвинение теряет силу. Я сказал ему: «Слушай, они валяли с этим дурака, пока все едва не отошло в область предания». Они вносили поправки, чтобы угодить королеве, они вносили поправки, чтобы угодить самим себе; сначала они начинали исчислять с сорок пятого, затем с сорок девятого, а теперь уже пересчитали все заново.— Прашко развел руками.— Ну, и тут он принялся на меня кричать: «Какого черта вы делаете неприкосновенную святыню из этих двадцати лет!» — «Никто не делает никакой святыни из двадцати лет. Никто ни из чего не делает святыни, будь все трижды проклято. Но мы состарились. Мы устали. Мы вымираем». Вот что я ему сказал: «Не знаю, что ты забрал в свою дурацкую башку, только все это бред. Все всегда идет к одному концу. Моралисты говорят, что это нравственный закон; другие говорят, что это целесообразность. Послушайся меня, я твой друг и я, Прашко, говорю тебе: это факты, это жизнь, и нечего валять дурака!» Тогда он разозлился. Видали вы когда-нибудь, как он злится?

— Нет.

— После обеда я привез его сюда обратно. Мы все еще продолжали спорить, понимаете? Всю дорогу, пока ехали в машине. Потом сели за этот столик. Вот как раз сюда, где мы сейчас сидим. «Может быть, мне удастся получить новую информацию»,— сказал он. А я ответил: «Если ты получишь новую информацию, забудь о ней, потому что ты все равно ни черта не добьешься, только понапрасну потратишь время. Ты опоздал. Это закон».

— Он, случайно, не намекнул, что *уже получил* эту информацию?

— А он ее получил? — сразу же спросил Прашко.

— Не думаю, чтобы она существовала.

Прашко медленно кивнул, теперь он все время смотрел на Брэдфилда.

— Так что же произошло потом?— спросил Тэрнер.

— Ничего. Я сказал ему: «Ладно, ты докажешь непредумышленное убийство — в этом случае ты уже опоздал на несколько лет. Ты докажешь убийство с заранее обдуманным намерением — в этом случае ты тоже опоздал уже с декабря. Так что катись к такой-то матери». Вот что я ему сказал. Тогда он схватил меня за руку и зашептал, словно какой-то выживший из ума изувер: «Ни один закон не может измерить то, что они сотворили. Ты и я, мы с тобой это знаем. В храмах проповедуют: Христос был рожден непорочной девой Марией и на светящемся облаке вознесся на небо. И миллионы людей верят в это. Ты знаешь, каждое воскресенье я играю в часовне на органе и слышу эти проповеди». Это правда?

— Да, он играл на органе в часовне,— сказал Брэдфилд.

— Бог ты мой!— искренне изумился Прашко.— Лео в часовне?

— Да, на протяжении многих лет.

— Ну, и потом он понесся дальше: «Но мы с тобой, Прашко, ты и я, мы в свое время видели живых свидетелей дьявольского зла». Вот что он сказал. «Не на вершине горы, не во мраке ночи, а там, на равнине, где стояли мы все. Мы — в особом положении. *А теперь все это повторяется снова*».

Тэрнер хотел что-то сказать, но Брэдфилд остановил его.

— Тогда я разозлился, черт побери, и сказал ему: «Ты брось разыгрывать передо мной Христа-спасителя. Перестань вопить о нюрн-

бергской справедливости на века — она длилась четыре года. Закон, по крайней мере, дал нам хотя бы двадцать лет. Да и кто навязал нам этот закон, в конце-то концов? Вы, англичане, могли заставить нас изменить его. Когда вы все передавали в наши руки, вы могли сказать: эй вы, чертовы немцы, занимайтесь правосудием, разбирайте преступления в ваших собственных судах, выносите приговоры в соответствии с вашим уголовным кодексом, но сначала аннулируйте закон. Значит, вы были соучастниками; и теперь вы — соучастники. Только теперь со всем этим покончено навсегда. Да, черт побери, со всем этим покончено». Вот что я ему сказал. А он только все глядел на меня и повторял: «Прашко, Прашко».

Он вынул из кармана носовой платок, вытер лоб, потом рот.

— Не обращайте внимания,— сказал он.— У меня нервы не в порядке. Вы знаете, что такое политики. Я сказал ему, когда он стоял и таращил на меня глаза, я сказал ему: «Это моя страна, ясно? Если что-то еще колотится у меня в груди, так оно принадлежит этой стране, этому борделю. Я сам не раз удивлялся — почему? Почему не Букингемскому дворцу? Почему не цивилизации кока-колы? Но это моя родина. И это то, что ты должен для себя найти,— родину, а не просто, черт побери, посольство». А он все продолжал таращить на меня глаза. Я и сам, думал, спячу, говорю вам. Я сказал ему: «Ладно, предположим, ты найдешь доказательства. Скажи мне, к чему все это: преступление совершил в тридцать лет, наказание получил в шестьдесят? Какой в этом смысл? Мы все уже старики,— сказал я ему,— и ты, и я. Знаешь, чему учил нас Гёте: никто не может наблюдать заход солнца дольше четверти часа». А он сказал мне: «Все начинается сначала. Погляди на эти лица, Прашко, прислушайся к речам. Кто-то должен обуздать этого негодяя, иначе на нас с тобой снова нацепят бирки».

Первым заговорил Брэдфилд:

— Если бы он обнаружил доказательства, чего, как мы знаем, ему сделать не удалось, как бы он тогда поступил? Если бы он не искал их, а уже ими обладал, что тогда?

— О господи, говорю же вам: он бы совсем ополоумел.

— Кто такая Айкман? — спросил Тэрнер, прерывая затянувшееся молчание.

— О чем вы, приятель?

— Айкман. Кто они — мисс Айкман, мисс Этлинг и мисс Брандт? Он был помолвлен с Айкман когда-то.

— Просто женщина, с которой он жил в Берлине. А может, это было в Гамбурге? А может, и там и там. Черт, все стал забывать, все на свете. Слава тебе господи, а?

— Что с ней сталось?

— Понятия не имею,— сказал Прашко. Его сощуренные глазки на темном лице казались трещинами в коре старого дерева.

Два бледных лунообразных лица продолжали вести наблюдение из своего угла, две пары бледных рук покоились на столе, словно на минуту отложенное в сторону оружие. Громкоговоритель выкрикнул имя Прашко: фракция ждала его появления.

— Вы предали его,— сказал Тэрнер.— Вы натравили на него Зибкрона. Вы продали его со всеми потрохами. Он многое раскрыл вам, а вы предупредили Зибкрона, потому что вам хочется забраться повыше.

— Спокойнее,— сказал Брэдфилд.— Спокойнее.

— Вы — вонючий подонок,— прошипел Тэрнер.— Вы убьете его. Он сказал вам, что получил доказательства, открыл вам все и просил

у вас помощи, а вы натравили на него Зибкрона, чтобы тот расправился с ним. Вы были его другом, и вот что вы сделали.

— Он же сумасшедший,— прошептал Прашко.— Вы что, не понимаете — он сумасшедший! Вы же не видели его тогда, в те дни. Вы не видели его и Карфельда там, в подвале. Вы думаете, что эти молодчики так уж крепко поработали над вами? Карфельд слова не мог произнести, а Лео: «Говори! Говори!»— Прищуренные глаза Прашко совсем сузились.— Когда мы увидели эти трупы на поле... они были связаны все вместе. Их связали вместе, прежде чем отравить газом. И тут он совсем рехнулся. Я сказал ему: «Слушай, это не твоя вина, не твоя вина, что ты остался жив!» Он, между прочим, не показывал вам пуговицы? Лагерные деньги? Вы этого ни разу не видели? Ни разу не ходили с ним выпивать, прихватив с собой двух девчонок? Вы не видели, как он расплачивается деревянными пуговицами, чтобы затеять драку? Говорю вам, он — сумасшедший. Слушайте, знаете, откуда у него эти пуговицы? Он срезал их! Срезал их с одежды одного из трупов! Слыхали, чтобы кто-нибудь делал такое?

— С какого трупа? С одного из шести миллионов?

— Я сказал ему, когда мы сидели здесь,— заикаясь, пробормотал Прашко: — «Брось это, пошли отсюда. Еще никому не удавалось построить в Германии Иерусалим. Что тебя гложет? Пойди лучше переспи с какой-нибудь девчонкой!» Я сказал ему: «Послушай! Надо иметь голову на плечах и держать себя в узде, иначе мы все сойдем с ума». Он — блаженный. Блаженный безумец, который не может ничего забыть. Что такое, по-вашему, наш мир? Танцкласс для кучки безумцев — полоумных проповедников нравственности? Ясное дело, я сказал Зибкрону. Голова у вас работает, приятель, но и вам придется научиться забывать. Черт побери, если уж англичане этого не могут, так кто же может?

Когда они прошли в холл, там стоял крик. Два студента в кожаных пальто прорвались сквозь кордон у дверей и уже на лестнице сражались со швейцарами. Какой-то пожилой депутат прижимал ко рту носовой платок, и кровь стекала ему на кашне.

— Нацисты!— выкрикнул кто-то.— Нацисты!— снова закричал кто-то, указывая на студента, стоявшего на балконе.

— Назад, в ресторан,— сказал Брэдфилд,— мы можем выйти другим ходом.

Ресторан внезапно опустел. Депутаты и остальные посетители разбрелись кто куда, одни — привлеченные криками в холле, другие — отпугнутые ими же. Брэдфилд не позволял себе бежать, но шел быстрым четким шагом, как на марше. Они вышли в сводчатую галерею. В витрине галантерейного магазина были выставлены черные портфели из тонкой телячьей кожи. В другой витрине парикмахер взбивал пену на лице невидимого клиента.

— Брэдфилд, да послушайте же меня! Господи боже мой, я же хочу предупредить вас о том, что они говорят!

Зааб совершенно запыхался. Его объемистый живот колыхался под засаленной курткой. Капли пота, словно слезы, поблескивали под желтыми, набрякшими веками. Из-за его плеча высовывалась багровая физиономия Аллертона в ореоле черной гривы. Все направлялись к выходу. В конце галереи было уже тихо, в холле тоже воцарился порядок.

— Кто и что говорит?

Вместо Зааба ответил Аллертон:

— Весь Бонн говорит, старина. Вся чертова бумагомаральня.

— Слушайте. Ходят слухи. Слушайте. Бог знает, чего только не болтают. Вам известно, что произошло в Ганновере? Вы знаете, почему они взбесились? Об этом шепчутся во всех кафе: делегаты, карфельдовские приспешники,— все распускают эти слухи. Они расползлись уже по всему Бонну. А им было дано предписание молчать. Загадочная история, фантастика!

Зааб торопливо оглянулся по сторонам.

— Самая большая сенсация за все годы,— сказал Аллертон.— Даже для этого унылого захолустья.

— Почему во время демонстрации они там, впереди, сломали ряды и ринулись, как бешеные, в библиотеку? Они — эти молодчики, которых везли в серых автобусах? Кто-то стрелял в Карфельда. Когда оркестр заиграл особенно громко, кто-то выстрелил в него из окна библиотеки. Какой-то дружок этой женщины-библиотекарши. Эйк. Она работала в Берлине с англичанами. Эмигрантка. Сменила свою фамилию на Эйк. Она впустила его, чтобы он мог выстрелить из окна. Потом, перед смертью, она во всем призналась Зибкрону. Эйк. Охрана видела, как он стрелял. Карфельдовская охрана. Когда наяривал оркестр. Они увидели человека, стрелявшего из окна, и бросились, чтобы схватить его. Охранники, слышите, Брэдфилд! Охранники, которых привезли в серых автобусах. Брэдфилд, вы только послушайте, что они говорят! Они нашли пулю, револьверную пулю английского образца. Вы понимаете теперь? Англичане совершают покушение на Карфельда — вот какие распускаются слухи. Фантастика! Вы должны положить этому конец. Поговорите с Зибкроном. Карфельд жутко напуган: он страшный трус. Понимаете, почему он стал так осторожен, почему строит повсюду эти чертовы Schafott? Как, черт побери, это называется?

— Эшафот,— сказал Тэрнер.

Толпа, хлынувшая из холла, вынесла их на свежий воздух.

— Эшафот! Все это строжайшая тайна, Брэдфилд! Только для вашего личного сведения!— Уже издали они услышали его крик:—Упаси вас бог ссылаться на меня. Зибкрон рассвирепеет. Фантастика!

— Можете быть совершенно спокойны, Карл-Гейнц,— прозвучал среди всей этой суматохи почти неестественно уравновешенный голос,— никто не злоупотребит вашим доверием.

— Послушайте, старина,— Аллертон наклонился к самому уху Тэрнера. Он был небрит, черные лохмы его взмокли от пота.— Что случилось с Лео? Он словно сквозь землю провалился. Говорят, эта самая Эйк была в свое время весьма лихая девчонка и работала вместе с «охотниками за черепами» в Гамбурге. А кто это вас так разукрасил, старина? Слишком рано полезли ей под юбку, а?

— Это не для печати,— сказал Брэдфилд.

— Нет, пока еще нет, старина,— сказал Аллертон.

— Не пока, а вообще.

— Говорят, он едва не прикончил его в Бонне в ночь накануне ганноверского митинга. Просто не был вполне уверен, что это он. Карфельд шел с секретного совещания, направлялся к условленному месту, и только чистая случайность спасла его от Лео. Просто зибкроновские молодчики подоспели как раз вовремя.

Вдоль набережной неподвижные колонны замерли в терпеливом ожидании. Слабый ветерок чуть колыхал черные флаги. На другом берегу за синеватой стеной деревьев заводские трубы лениво выдыхали дым в унылом свете пасмурного утра. У края воды томились в бездействии маленькие лодочки — яркие мазки на серой траве. Тэрнер

посмотрел влево — на старую лодочную пристань, которую еще не успели снести. Вывеска доводила до общего сведения, что пристань является собственностью факультета физического воспитания Боннского университета.

Они стояли вдоль берега, ряд к ряду. Тонкая пленка тумана, словно след дыхания на стекле, заволакивала бурый горизонт и мост через реку. Ни шороха — только отзвуки чего-то скрытого от глаз: крик затерявшейся чайки, жалобный стон заблудившейся баржи, неустанное стенанье невидимых дрелей. Казалось, не люди, а серые тени выстроились там вдоль берега реки, и даже человеческие шаги звучали как-то отрешенно; дождя не было, но влага тумана порой ощущалась на лице, словно пульсация крови под разгоряченной кожей. Это не суда, а погребальные дроги плыли вниз по течению, неся свои дары богам севера; и все было лишено запаха, только откуда-то, из глубины материка, тянуло углем и металлом.

— Карфельда упрятали до вечера,— сказал Брэдфилд.— Об этом позаботился Зибкрон. Ждут, что тот сделает новую попытку сегодня вечером. И он ее сделает.— И Брэдфилд, помолчав, повторил все слово в слово от начала до конца, точно заучивая формулу: — Пока не начнется демонстрация, Карфельд не выйдет из своего убежища. После демонстрации Карфельда снова спрячут. Возможности самого Гартинга крайне ограничены — он знает, что ему недолго разгуливать на свободе. Значит, он сделает попытку сегодня вечером.

— Айкман умерла,— сказал Тэрнер.— Они убили ее.

— Да. Он будет пытаться сегодня вечером.

— Заставьте Зибкрона отменить митинг.

— Будь это в моей власти, я бы так и поступил. Да и Зибкрон, будь это в его власти,— тоже. Но теперь уже поздно.— Он указал на серые колонны.

Тэрнер поглядел на него в упор.

— Нет, не могу себе представить, чтобы Карфельд, как бы ни был он напуган, отменил митинг,— сказал Брэдфилд, словно сомнение промелькнуло на миг в его уме, но он тут же его отмел.— Этот митинг — кульминация, он должен увенчать собой кампанию, проведенную им в провинциях. Он нарочно приурочил все к этому дню — к самому острому моменту брюссельских переговоров. Он уже на полпути к полной победе.

Брэдфилд повернулся и медленно зашагал по тротуару к стоянке машин. Серые колонны наблюдали за ним в молчании.

— Возвращайтесь в посольство. Возьмите такси. С этой минуты всякое передвижение по городу исключается. Ни один человек не должен покидать посольства, нарушение запрета повлечет за собой увольнение. Сообщите об этом де Лиллу. Расскажите ему также обо всем, что произошло, подготовьте все документы, так или иначе относящиеся к Карфельду, и отложите их до моего возвращения. Все, что освещает его деятельность: доклад группы по расследованию преступлений, его работу на соискание степени,— все, что имеется в «святая святых» и может пролить свет. Я вернусь сразу же после обеда.

Он отворил дверцу машины.

— Какое у вас соглашение с Зибкроном?— спросил Тэрнер.— В чем его тайный смысл?

— Нет никакого соглашения. Либо они уничтожат Гартинга, либо Гартинг уничтожит Карфельда. И в том, и в другом случае я должен дезавуировать его. И только это существенно в настоящий момент. Может быть, вы предложите мне какой-либо другой образ действий? Вам

известен другой выход из создавшегося положения? Я информирую Зибкрона, что порядок будет восстановлен. Я дам ему слово, что мы не имеем никакого отношения к деятельности Гартинга и ничего о ней не знаем. Можете вы предложить мне другое решение проблемы? Я буду вам признателен.

Он включил мотор. Серые колонны зашевелились, любопытствуя: им нравился белый «ягуар».

— Брэдфилд!

— Да?

— Прошу вас. Еще пять минут. Я еще не все карты выложил на стол. Существует еще кое-что, о чем мы ни разу не вспомнили. Брэдфилд!

Ни слова не говоря, Брэдфилд отворил дверцу и вышел из машины.

— Вы говорите, что мы не имеем к нему отношения. Мы имеем. Он — создание наших рук, и вы это знаете, это мы сделали его тем, что он есть, мы перемололи его на этой мельнице, между тем миром и нашим, мы загнали его внутрь самого себя, заставили его увидеть то, чего никто не должен видеть, услышать то... Мы заставили его пуститься в это странствие в одиночку — вы не знаете, каково ему было одному там, внизу. А я знаю! Брэдфилд, послушайте! Мы *в долгу перед ним*. И он знает это.

— Перед каждым из нас кто-то в долгу. Мало кому будет оплачен этот долг.

— Вы намеренно хотите уничтожить его! Вы не хотите ничего для него сделать! Вы хотите отречься от него, потому что он был ее любовником! Потому что...

— О боже мой,— тихо произнес Брэдфилд.— Если бы я поставил перед собой такую задачу, мне пришлось бы убить больше, чем тридцать два человека. И это все, что вы хотели мне сказать?

— Обождите! Брюссель... Общий рынок.... И все это... На будущей неделе главным на повестке дня станет курс фунта, еще через неделю — Варшавский договор. Да мы, черт подери, вступим в Армию Спасения, стоит только американцам этого пожелать. Какое значение имеют все эти ярлыки? Вы же яснее всякого другого видите, что происходит, куда нас несет! Почему же вы позволяете себе плыть по течению? Почему не скажете стоп?

— А что могу я сделать для Гартинга? Скажите, что могу я сделать, если не отречься от него? Вы знаете наше положение здесь. Политический кризис — явление строго определенное. Скандальные происшествия — вещь расплывчатая. Неужели вы до сих пор не поняли, что значение имеет лишь видимость явлений, а не их суть?

Тэрнер в отчаянии поглядел по сторонам, как бы ища поддержки.

— Это неправда! Не можете вы в такой мере быть рабом показной стороны явлений.

— А что еще остается, если внутри все прогнило насквозь? Сломайте тонкую пленку видимости, и мы погибли. Это то, что сделал Гартинг. Я лицемер,— без малейшей рисовки сказал он.— Я глубоко верю в необходимость лицемерия. Только этим путем мы ближе всего соприкасаемся с добродетелью. Лицемерие — декларация того, чем мы должны были бы быть. Как религия, как искусство, как закон, как брак. Я поклоняюсь внешней стороне явлений. Это худшая из религий, но она лучше всех остальных. Такова моя профессия, такова моя философия. И в отличие от вас,— добавил он,— я не поставил себя на службу мощной державе, тем более — державе добродетельной. Всякая власть порочна. Отсутствие власти — порочнее во сто крат. Америка показала

нам в этом смысле пример, мы должны быть ей благодарны. Все абсолютно правильно. Мы — загнивающая страна, и мы принуждены принимать любую помощь, какую нам предложат. Это прискорбно и, признаюсь, порой весьма унизительно. Тем не менее, по-моему, предпочтительнее потерпеть поражение как сила, чем уцелеть за счет бессилия. Предпочтительнее быть поверженным, чем стоять в стороне от схватки. Предпочтительнее быть англичанином, чем швейцарцем. В отличие от вас, я не надеюсь ни на что. Я не возлагаю никаких надежд на общественное устройство, как не возлагаю их на людей. Итак, это все, что вы можете мне предложить? Я разочарован.

— Брэдфилд, я ведь теперь знаю ее. И я знаю вас и понимаю, что вы должны чувствовать! Вы ненавидите его. Вы ненавидите его сильнее, чем хотите себе в этом признаться. Вы ненавидите его за то, что он способен *чувствовать:* за то, что он может любить, даже за то, что он может ненавидеть. Вы ненавидите его за обман и за то, что он честен, за то, что он разбудил ее. За то, что принизил вас в ее глазах. Вы ненавидите его за каждое мгновение, которое она отдала ему,— за каждую ее мысль о нем, мечту о нем!

— И тем не менее, вы ничего не можете предложить. Насколько я понимаю, все ваши минуты уже истекли. Да, он совершил преступление,— добавил он небрежно, словно мимоходом возвращаясь к уже обсуждавшемуся вопросу.— Да. Совершил. И не столько против меня, как вы, вероятно, полагаете, сколько против порядка, созданного из хаоса; против укоренившегося шаблона бесцельного существования. Какое имел он право изливать свою ненависть на Карфельда и какое имел он право... Никто не давал ему права помнить. Если у вас и у меня остается еще какая-то цель в жизни—она в том, чтобы спасти мир от подобных посягательств.

— Да он один-единственный — вы слышите? — он один-единственный среди всех вас живой, настоящий! Единственный, кто сохранил веру и способен действовать! Для вас все это — бездушная, бессмысленная игра, традиционная и глупая семейная игра вроде лото, вот что это такое для вас — просто игра. А для Лео это *неотделимо от него самого!* Он знает, чего он хочет, и все сделает, чтобы этого достичь!

— Да. И уже этого достаточно, чтобы вынести ему приговор.— Брэдфилд забыл про Тэрнера в эту минуту.— Для таких, как он, больше нет места на земле. Хоть бы один этот урок мы все-таки сумели вынести из прошлого, благодарение небу! — Его взгляд был устремлен на реку.— Мы познали, что даже *ничто*—это довольно хрупкий цветок. Послушать вас, так одни вносят свою лепту, а другие — нет. Словно все мы трудимся во имя того дня, когда не будем больше никому нужны, когда мир получит возможность сложить оружие и возделывать свой сад. Но результата нет, его не существует. Завершающий день не настанет никогда. Сегодняшний день — вот ради чего мы живем. Настоящее. То, что происходит сейчас, сию минуту. Каждую ночь, ложась спать, я говорю себе: вот и еще один день отвоеван. Мир отсчитал еще один день противоестественной жизни на смертном одре. И если я больше никогда не открою глаз, быть может, все то же самое будет продолжаться еще сотни лет. Да.— Он говорил, стоя лицом к реке.— Наша политика подобна этому течению — тоже то на три дюйма выше, то ниже. Три дюйма свободного выбора — вот предел нашей деятельности. Вне его — анархия, и все эти романтические западни совести и протеста. Все мы жаждем большей свободы — каждый из нас. Ее не существует. Когда мы примем эту непреложную истину, нам будет спаться легко. Гартинг прежде всего не имел права спускаться туда, вниз. А вы обязаны были вернуться в Лондон, когда получили мое распоряжение. Закон об истечении срока давности преступлений — это приказ забыть. Гартинг нарушил его. Прашко прав: Гартинг нарушил закон равновесия.

— Но мы же не роботы! Мы рождаемся на свет свободными от всех этих пут, я верю в это! Мы не властны над собственным рассудком, не можем диктовать ему свою волю!

— Боже милостивый, кто вам это сказал? — Он обернулся к Тэрнеру, в глазах его стояли слезы.— В течение восемнадцати лет моего брака и двадцати лет дипломатической службы я подчинял рассудок воле. Половину своей жизни я потратил на то, чтобы научиться не видеть, а другую половину — на то, чтобы научиться не чувствовать. И вы думаете, что после этого я не способен научиться забывать? Боже мой, порой меня гнетет именно то, чего я не знаю! Так какого же черта, почему не может забыть и он? Вы думаете, мне доставляет удовольствие то, что я вынужден делать? Разве вы не понимаете, что это он принудил меня к этому? *Он* заварил всю эту кашу, а не я! Его чудовищное бесстыдство...

— Брэдфилд! А что же, по-вашему, Карфельд? Разве Карфельд также не преступил все границы дозволенного?

— Что касается Карфельда, то в этом случае существуют различные способы воздействия.— Его голос снова обрел свою обычную непроницаемость.

— Лео нашел способ.

— Неправильный, как выяснилось.

— Почему неправильный?

— Не все ли вам равно — почему.

Он снова не спеша направился к машине, но Тэрнер опять закричал ему вслед:

— Что заставило Лео скрыться? Он что-то прочел. Он выкрал что-то. Что было в этой Зеленой папке? Что представляли собой эти «Беседы официальные и неофициальные» с немецкими политическими деятелями? Брэдфилд! Кто их вел и с кем?

— Умерьте ваш голос — они услышат.

— Скажите мне! *Вы* вели переговоры с Карфельдом? Вот что заставило Лео отправиться на эту ночную прогулку! Вот откуда все пошло!

Брэдфилд ничего не ответил.

— Господи помилуй! — прошептал Тэрнер.— В конце концов мы, значит, ничем не отличаемся от них. Мы такие же, как Зибкрон и Прашко: мы просто ставим на ту лошадку, у которой есть шансы завтра прийти первой!

— Тише! — предостерег его Брэдфилд.

— Аллертон... То, что сказал Аллертон...

— Аллертон? Ему ничего не известно!

— В ту пятницу вечером Карфельд приехал сюда из Ганновера. На совещание. В Бонне никто об этом не был оповещен. Все держалось в такой тайне, что он от вокзала шел пешком. Вы в тот вечер, в ту пятницу, так и не поехали в Ганновер в конце концов. Ваши намерения изменились, вы возвратили билет. Лео узнал об этом через служащих транспортного отдела...

— Вы несете какой-то вздор.

— Вы встретились с Карфельдом в Бонне. Встречу организовал Зибкрон, а Лео выследил вас, потому что он уже знал, что вы задумали!

— Вы не в своем уме.

— Нет, я в своем уме. А вот Лео действительно мог сойти с ума. Потому что у него возникли подозрения. Он все время в глубине души был уверен, что вы втайне подстраховываете себя на случай провала в Брюсселе. Однако до тех пор, пока он не увидел Зеленой папки, до тех

пор, пока он полностью не убедился во всем, ему еще казалось возможным действовать в рамках закона. Но ознакомившись с содержанием Зеленой папки, он понял: да, в самом деле, все повторяется сначала. Теперь он знал. Вот почему он начал спешить. Он должен был остановить вас... Он должен был остановить Карфельда, пока не поздно!

Брэдфилд не проронил ни звука.

— Что было в Зеленой папке, Брэдфилд? Почему он взял ее с собой, словно залог любви? Почему именно *эту* единственную папку он унес? Потому что в ней были протоколы этих самых переговоров, не так ли? Вот чем он вызвал ваш огонь на себя! Вам нужно было во что бы то ни стало вернуть себе папку. Вы подписывали эти протоколы, Брэдфилд? Вот этим самым вашим, на все готовым пером? — Его светлые глаза горели гневом.— Давайте-ка сообразим, когда именно выкрал он спецсумку,— в пятницу... В пятницу утром его подозрения подтвердились, не так ли? Он увидел все черным по белому на бумаге: это было еще одно доказательство того, что он искал. Он отправился с этим к Айкман. «Они снова берутся за старое... Мы должны положить этому конец, пока не поздно... Мы не как все, мы — избранники». Вот почему он унес Зеленую папку! Чтобы показать им. «Дети, глядите,— хотел он сказать всем,— история и в самом деле повторяется, и это далеко не фарс!»

— В папке были совершенно секретные документы. За одно это он мог на долгие годы сесть за решетку.

— Но он не сядет, потому что вам нужна папка, а не человек. Вот еще одна сторона вашей трехдюймовой свободы.

— А вы бы предпочли, чтобы я оказался фанатиком?

— Все то, что он подозревал уже несколько месяцев, то, что носилось в воздухе Бонна, ползло шепотком, мелькало в отрывочных сведениях, которые он получал от *нее,*— все это нашло свое подтверждение: англичане оставляли себе на всякий случай лазейку. Небольшая политическая перестраховка — одновременное заигрывание и с Бонном, и с Москвой. Такова ваша игра, Брэдфилд? Что же под всем этим кроется? Неудивительно, черт подери, если Зибкрон думал, что вы ведете тройную игру! Сначала вы делали ставку только на Брюссель, и это было вполне мудро. «Ничто не должно помешать осуществлению наших планов». А затем вы переметнулись на сторону Карфельда и заручились поддержкой Зибкрона. «Сведите меня с Карфельдом,— сказали вы ему,— но только с соблюдением полнейшей тайны. Англичане интересуются возможностью такого союза». Интересуются, понятно, совершенно неофициально, учтите. Только нащупывание почвы, встреча с глазу на глаз, учтите. Впрочем, в конечном счете торговое соглашение с Востоком отнюдь не снимается с повестки дня, герр доктор Карфельд, если в один прекрасный день вы окажетесь более надежным союзником, чем эта разваливающаяся коалиция! По правде-то говоря, в последнее время у нас очень сильны антиамериканские настроения: это ведь у нас в крови, вы знаете, герр доктор Карфельд...

— В вас даром пропадает талант...

— И что за этим последовало? Не успел Зибкрон положить Карфельда в вашу постель, как ему сообщили такое, что у него кровь заледенела в жилах: британское посольство составляет на Карфельда досье — выволакивает на свет божий все его неприглядное прошлое! Британское посольство уже раздобыло соответствующие документы — *уникальные* документы, Брэдфилд,— и теперь там прикидывают, нельзя ли прибегнуть к шантажу через третьих лиц. Но и это еще не все!

— Нет.

— Не успели Зибкрон и Карфельд оправиться от этого небольшого потрясения, как вы обрушили на их головы более сокрушительный удар.

Такой, что они едва устояли на ногах. Нет, даже Альбион, подумали они, не может быть настолько вероломен: англичане просто-напросто готовят покушение на Карфельда! Это выглядело полнейшим абсурдом, разумеется. Зачем убивать человека, которого вы намерены шантажировать? Они там небось чуть не спятили, теряясь в догадках. Неудивительно, что Зибкрон казался совсем больным во вторник вечером!

— Теперь вы знаете все. Вы проникли в тайну. Так сохраните ее.

— Брэдфилд!

— Да?

— Кому желаете вы удачи на этот раз? Сегодня вечером там на кого вы будете делать ставку, Брэдфилд? На Лео? Или на вашего купленного по дешевке союзника?

Брэдфилд включил мотор.

— Купленные по дешевке союзники!.. Только такие нам еще по карману? На большее у нас уже не хватает пороху? Мы — гордая нация, Брэдфилд! Вы еще можете заполучить Карфельда за полцены, не так ли? Он ненавидит нас, но это не имеет значения. Он сам переползет к нам! Люди меняются. А ведь он думает о нас непрестанно!.. А какой бы это был красивый старт! Небольшой пинок под зад коленом — и он побежит вперед без оглядки.

— Либо вы здесь, либо там. Либо вы включаетесь в игру, либо нет.— Неуверенная пауза.— Или вы скорее предпочли бы быть швейцарцем?

Не прибавив больше ни слова, даже не взглянув на Тэрнера, Брэдфилд повел машину вниз с холма, свернул направо и скрылся в направлении Бонна. Тэрнер долго стоял, глядя ему вслед, а потом зашагал обратно вдоль реки, к стоянке такси. Внезапно за его спиной возник странный таинственный шум: глухой рокот голосов, шарканье ног — невыразимо унылые, невыразимо печальные звуки, печальнее он еще ничего не слышал в жизни. Серые колонны пришли в движение, они медленно двинулись вперед, безликие, тяжеловесные, страшные,— серое безмозглое чудовище, которое уже ничто не в силах остановить... Позади них лесистые очертания горы Чемберлена неясно проступали сквозь туман.

ЭПИЛОГ

Брэдфилд шел впереди, де Лилл и Тэрнер — следом. Вечерело. На улицах почти не было движения. Бонн замер. Толпы молчаливых незнакомцев в сером текли по улочкам и переулкам, устремляясь к рыночной площади. Черные флаги лениво колыхались над разливавшимся людским потоком.

Бонн еще не видывал таких лиц. Старые и молодые, сытые и голодные, потерянные и обретенные, мудрецы и тупицы, послушные и непокорные — все дети республики, казалось, поднялись в едином порыве и, построившись в легион, двинулись на ее жалкие бастионы. Были тут люди с гор—темноволосые, кривоногие, тщательно вымытые и причесанные, как для праздника; были клерки, пропахшие нафталином, разрумянившиеся сейчас на свежем воздухе; были и фланеры — неторопливая пехота немецкого променада — в сером габардине и серых фетровых шляпах. Одни несли флаги стыдливо, точно сознавая, что им это уже не по возрасту; другие — как боевые знамена; третьи — как добычу на продажу. Словом, Бирнамский лес пошел на Дансинан.

Брэдфилд подождал своих — они немного отстали.

— Зибкрон оставил для нас место, мы должны пройти на площадь несколько выше. Придется пробиваться вправо.

Тэрнер кивнул, еще не дослушав до конца. Он вертел во все стороны головой, стараясь заглянуть в каждое лицо, в каждое окно, в каждую лавчонку, закоулок, проулок. Внезапно он схватил де Лилла за локоть, но человек, привлекший его внимание, уже исчез, затерявшись в текучей толпе.

Не только сама площадь, но и все вокруг — балконы, окна, дверные проемы магазинов, каждая щель, каждый кусок пространства были заполнены белыми пятнами лиц и серыми пальто, зелеными мундирами солдат и полиции. Но люди все прибывали, их становилось все больше и больше, они забили все улицы и переулки, выходившие на площадь, они вытягивали шеи, стараясь увидеть трибуну, с которой будет выступать оратор, искали глазами лидера: безликие люди искали глазами одно лицо, а Тэрнер пытливо всматривался в толпу, тоже отчаянно стараясь найти лицо человека, которого никогда не видел. Над головами в лучах прожекторов угрожающе свисали с проводов громкоговорители, а над ними медленно темнело небо.

«Ничего у него не выйдет,— угрюмо думал Тэрнер,— никогда ему не пробиться сквозь такую толпу». Но тут он снова услышал голос Хейзел Брэдфилд: «У меня был младший брат — отчаянный регбист, и Лео так похож на него, просто не отличить».

— Берите левее,— сказал Брэдфилд.— Держите направление на отель.

— Вы англичанин? — спросил женский голос. Так осведомляются за чашкой чая в кругу друзей.— У меня дочь живет в Ярмуте.— Толпа увлекла ее в сторону. Свернутые знамена, опущенные вниз, словно копья, преградили им путь. Знамена образовывали круг, и внутри него стояли студенты-цыгане у своего маленького костра.

— В огонь Акселя Шпрингера! — без особого воодушевления выкрикнул какой-то юнец; какой-то другой разодрал книгу и швырнул ее в огонь. Книга горела плохо, долго задыхаясь в дыму, прежде чем умереть. «Если так поступать с книгами,— подумал Тэрнер,— то потом недолго взяться и за людей». Несколько девушек полулежали на надувных матрацах, и отблески огня на их лицах придавали им поэтичность.

— Если мы потеряем друг друга, встретимся у подъезда «Штерна»,— распорядился Брэдфилд.

Какой-то мальчишка услышал это и ринулся к ним, подстрекаемый остальными, а две девчонки принялись кричать что-то по-французски.

— Англичане! — заорал юнец; видно было, что он совсем еще подросток и очень волнуется.— Англичане — свиньи! — Услыхав, как радостно взвизгнули девчонки, он отчаянно замахал тощими кулачками над копьями свернутых знамен. Тэрнер ускорил шаг, но удар настиг Брэдфилда, попав ему в плечо; Брэдфилд сделал вид, что не заметил. Толпа раздалась, внезапно, по какому-то таинственному закону утратив свою злую волю, и перед ними в глубине площади, подобная сновидению, возникла городская ратуша — заколдованная волшебная гора розоватых леденцов и сусального золота. Законченное изысканное творение, сотканное из тончайшей филиграни и солнечных лучей. Ослепительное, возрождающее в памяти величие Рима и обитые шелком залы дворцов, где несыгранные менуэты де Лилла тешили сердца твердолобых бюргеров. Слева, все еще погруженный в сумрак, отрезанный от этого волшебства световой завесой прожекторов, нацеленных на здание, ждал помост — ждал, как ждет палач появления владыки.

— Герр Брэдфилд? — спросил бледнолицый сыщик. Он был все в том же кожаном пальто, как тогда, на заре, в Кёнигсвинтере. Но в его черной пасти не хватало двух зубов. Услышав это имя, его коллеги обратили к Брэдфилду свои лунообразные физиономии.

— Да, я Брэдфилд.

— Нам приказано освободить для вас место на ступеньках.— Он тщательно выговаривал английские слова, отрепетировав свою маленькую роль для этого пришельца. Радиоприемник в кармане его кожаного пальто затрещал, требуя внимания. Он поднес микрофон ко рту. Господа дипломаты прибыли, сказал он, и находятся в безопасности. Джентльмен из Управления по исследованиям тоже тут.

Тэрнер в упор посмотрел на его изуродованный рот и улыбнулся.

— Эх ты, педик,— смачно произнес он. Губа у сыщика была рассечена, хотя и не так глубоко, как у Тэрнера.

— Извините?

— Педик,— повторил Тэрнер.— Педераст.

— Заткнитесь, —приказал Брэдфилд.

Со ступенек была видна вся площадь. Сумерки сгущались, и прожекторы, восторжествовав над дневным светом, озаряли бледные пятна лиц, плававшие, как белые диски, над темной массой толпы. Дома, магазины, кинотеатры — все растаяло, остались одни островерхие черепичные крыши — сказочные силуэты на фоне темного неба, и это было еще одно сновидение «Сказки Гофмана», игрушечный резной деревянный мирок, немецкая ворожба, чтобы продлить для немца его детство. Высоко над крышей мигала реклама кока-колы, отбрасывая ненатурально-розовые блики на черепичный скат; какой-то заблудившийся луч прожектора шарил по фасадам, заглядывая в пустые витрины магазинов, словно в глаза любовницы. На нижней ступеньке — спиной к лестнице, руки в карманах — стояли шпики: черные фигуры на сером фоне толпы.

— Карфельд появится сбоку,— внезапно сообщил де Лилл.— Из переулка слева.

Проследив за его вытянутой рукой, Тэрнер впервые заметил почти у самого подножия помоста узкий проулок между аптекой и городской ратушей, совсем узкий — не шире десяти футов, обстроенный с двух сторон высокими зданиями и казавшийся глубоким, как колодец.

— Мы остаемся здесь — ясно? На этих ступеньках. Что бы ни случилось. Мы здесь — наблюдатели, только наблюдатели, ничего больше.— В минуты напряжения сухое лицо Брэдфилда становилось волевым.— Если им удастся его обнаружить, они доставят его нам. Так мы договорились. И мы немедленно увезем его в посольство. Где для безопасности посадим под арест.

Оркестр — вспомнилось Тэрнеру. Он совершил это в Ганновере, когда оркестр играл особенно громко. Расчет был на то, что музыка заглушит звук выстрела. Ему пришли на память и фены, и он подумал: «Этот человек не из тех, кто станет менять приемы: если один раз сработало, значит, сработает и еще раз — в этом он немец. Как Карфельд со своими серыми автобусами».

Течение его мыслей нарушил гул толпы, взволнованной предвкушением зрелища,— гул, переросший в гневную мольбу, когда лучи прожекторов внезапно погасли, оставив освещенной лишь ратушу — сияющий и чистый алтарь — и группу его служителей, появившихся на балконе. Имена посыпались из бесчисленных ртов, вокруг зазвучала медленная литания:

Тильзит, вон Тильзит, Тильзит, старик-генерал, третий слева, смотри-ка, смотри: он надел медаль, ту самую, которую хотели у него отнять, военную медаль за отличие, она висит у него на шее. Храбрый человек Тильзит. А вон Мейер-Лотринген — экономист. Ну да, der Grosse *, тот высокий; глядите, как красиво машет он рукой,— еще бы, он ведь из родовитых. Говорят, наполовину Виттельсбах, кровь-то, она

* Большой *(нем.)*

всегда скажется. А уж какой ученый — все знает. Смотрите-ка: и священники тут! Епископ! Глядите, глядите, сам епископ благословляет нас. Считайте, сколько раз он благословил нас своей святой рукой! А сейчас смотрит вправо! Вот опять поднял руку! А вон и молодой Гальбах — это горячая голова. Смотрите-ка, смотрите, он в свитере! До чего обнаглел: надеть свитер в такой день. И в Бонне! Эй, Гальбах! Du, toller Hund *. Но ведь Гальбах — из Берлина, а берлинцы, они, известно, наглецы! Помяните мое слово: придет день, он всех нас поведет за собой — молодой, а смотрите, до чего преуспел.

Перешептывания слились в рев — утробный, голодный, истошный, страстный,— рев такой мощный, какой не в силах исторгнуть в одиночку человеческая глотка, исполненный такой веры, какой не проникнется в одиночку самая набожная душа, такой любви, какой не может вместить в одиночку человеческое сердце; этот рев взмыл и сник, упал до шепота, когда раздались первые тихие звуки музыки и видение ратуши исчезло и перед толпой возник помост. Кафедра проповедника, капитанский мостик, дирижерский пульт? Колыбель младенца, скромный гроб из простого тесаного дерева, нечто грандиозное и в то же время целомудренное, деревянная чаша Грааля, вместилище немецкой истины. И на этом помосте — совсем один, один, но неустрашимый, единственный борец за эту истину, обыкновенный человек по имени Карфельд.

— Питер!— Тэрнер осторожно указал на узкий проулок. Рука его дрожала, но взгляд неотрывно был устремлен в одну точку. Тень? Караульный, ставший на пост?

— Я бы на вашем месте не тыкал так пальцем,— прошептал де Лилл.— Ваш жест может быть неправильно истолкован.

Но никто в эту минуту не обращал на них внимания, ибо все видели только Карфельда.

— Клаус!— ревела толпа.— Клаус с нами!

Дети, помашите ему рукой, Клаус, волшебник, пришел к нам в Бонн на немецких сосновых ходулях.

— А этот Клаус очень смахивает на англичанина,— донесся до Тэрнера шепот де Лилла,— хоть он и ненавидит нас, смертельно ненавидит.

Он казался таким маленьким, стоя там, наверху. Говорили, что он высокий, и было бы совсем нетрудно с помощью всевозможных ухищрений сделать его выше на фут или на два. Но он, видно, сам хотел казаться меньше, словно для того, чтобы подчеркнуть, что великие истины изрекают скромные уста. А он, Карфельд, скромный человек и, совсем как англичане, не любит выставлять себя напоказ. При этом он был человек нервный, и ему явно мешали его очки — у него, видимо, не было времени протереть их в эти трудные дни, и теперь он снял их и принялся вовсю полировать стекла, точно понятия не имел, что на него смотрит толпа. Еще не сказав ни слова, он как бы говорил: это другие — не я — устроили такую церемонию, мы-то с вами, вы и я, знаем, зачем мы здесь.

Давайте помолимся.

— Больно уж яркий свет и бьет ему прямо в глаза,— произнес кто-то,— надо бы поубавить.

Он явно был одним из них, этот, стоявший там один-одинешенек, ученый человек, доктор наук; он башковитый, мозги что надо, но все равно — он один из них; нужно будет — сразу сойдет с этого своего высокого помоста, сразу уступит другому, более достойному, если такой найдется. И, конечно, он никакой не политик. Да и не гонится за почестями

* Бешеная собака *(нем.)*.

— ведь только вчера заверил всех, что уступит свое место Гальбаху, если такова будет воля народа. Толпа перешептывалась, выражая свою симпатию, свою озабоченность. У Карфельда усталый вид; он очень посвежел; он отлично выглядит; у Карфельда совсем больной вид; он выглядит старше, моложе, выше, ниже... Говорят, он отходит от дел; неверно, он бросает свою фабрику и переключается полностью на политику. Откуда он возьмет средства; да он же миллионер.

Он спокойно начал говорить.

Никто его не представлял, и он не отрекомендовал себя сам. Музыка, возвещавшая его появление, смолкла, оборвавшись на одинокой ноте, ибо Клаус Карфельд был один, он стоял совсем один там, наверху, и никакая музыка не могла послужить ему утешением. Карфельд — это не боннский пустомеля; он ученый, но он один из нас; Клаус Карфельд, гражданин и доктор наук,— добропорядочный человек, и, как добропорядочный человек, он озабочен судьбой Германии, и в силу этого чувство долга повелевает ему обратиться к своим друзьям.

Он говорил так негромко, так ненавязчиво, что Тэрнеру вдруг показалось, будто вся эта масса, стоявшая на площади, подалась вперед и словно бы подставила ухо, чтобы Карфельд мог не обременять себя, не повышать голоса.

Когда все кончилось, Тэрнер не мог бы сказать, как много он понял или каким образом он понял так много. Сначала у него создалось впечатление, что все интересы Карфельда лежат в области истории. Он говорил о причинах, приведших к войне, и Тэрнер уловил все те же обветшалые символы былой веры — Версаль, хаос, депрессия, окружение, ошибки, допущенные государственными деятелями обеих сторон, ибо немцы не могут слагать с себя ответственность. Затем была кратко отдана дань всем, павшим жертвой безрассудства: слишком много людей погибло, сказал Карфельд, и лишь немногие знают — почему. Это никогда не должно повториться, Карфельд твердо в этом убежден. Он привез из Сталинграда не только раны, он привез память, неистребимую память об искалеченных душах, изуродованных телах и предательстве...

А ведь он и в самом деле помнит все это! Бедный Клаус!— шептала толпа. Он перестрадал за всех нас.

И по-прежнему никакой риторики. Мы с вами, продолжал Карфельд, испытали на себе уроки истории, и мы уже можем посмотреть на все как бы со стороны. И сказать: это никогда не повторится. Правда, есть люди, которые рассматривают битвы девятьсот четырнадцатого и тридцать девятого годов как отдельные звенья крестового похода против врагов всего германского, но он, Карфельд — и он особо хотел подчеркнуть это для сведения своих друзей,— он, Клаус Карфельд, отнюдь не принадлежит к этой школе.

— Алан!— голос де Лилла звучал твердо, почти как приказ. Тэрнер проследил за направлением его взгляда.

Какая-то дрожь пробежала по толпе? На балконе возникло движение. Тэрнер увидел, как генерал Тильзит наклонил свою солдафонскую голову, и Гальбах, студенческий вождь, что-то шепнул ему на ухо; он увидел, как Мейер-Лотринген перегнулся через резную ограду балкона, прислушиваясь к кому-то, кто обращался к нему снизу. Полицейский? Детектив в штатском? Он увидел, как блеснули очки, мелькнуло бесстрастное лицо хирурга — Зибкрон встал и исчез, и все снова успокоилось, и только Карфельд, здравый человек, академически мыслящий ученый, рассуждал о сегодняшнем дне.

Сегодня, говорил он, как никогда прежде, Германия — игрушка в руках своих союзников. Они ее купили, и теперь они ее продают. И это

факт, заявил Карфельд,— он не собирается тут теоретизировать. В Бонне было уже слишком много теоретизирования, добавил он, и он не намерен выступать с новой теорией и увеличивать смятение в умах. Итак, это *факт.* И как он ни прискорбен, добрым и здравомыслящим друзьям не мешает обсудить между собой, как же союзникам Германии удалось достичь такого странного положения вещей. В конце концов Германия ведь богатая страна — она богаче Франции и богаче Италии. Она богаче Англии, как бы между прочим добавил он, но с англичанами надо быть терпимее, потому что в конечном-то счете это ведь англичане выиграли войну, они народ на редкость одаренный.

И с тем же поразительным спокойствием, так же рассудительно перечислил он все проявления английской одаренности: от них пошли мини-юбки, эстрадные певцы, у них Рейнская армия, которая сидит в Лондоне; их империя понемногу разваливается на части; их национальный долг растет — словом, не будь англичане так талантливы, Европа давно бы обанкротилась. Он, Карфельд, всегда это говорил.

Тут по толпе прокатился смех — греющий душу, злой смех, и Карфельд был шокирован и, пожалуй, даже чуть-чуть разочарован тем, что эти нежно любимые им грешники, наставить которых на путь истины господь бог повелел ему, ничтожному рабу своему, что они осмелились смеяться в храме. И Карфельд терпеливо выжидал, пока смех замрет.

Так как же могло случиться, что Германию, такую богатую, располагающую самой многочисленной армией в Европе и играющую столь важную роль в так называемом Общем рынке, как могло случиться, что Германию продают на площади как последнюю шлюху?

Выпрямившись на своей кафедре, он снял очки и умиротворяюще простер вперед руку, ибо по толпе прошел гул протеста и возмущения, а он, Карфельд, не такого, разумеется, добивался эффекта. Мы должны рассмотреть этот вопрос здраво, как подобает благочестивым людям, предостерег он, осветить его с чисто духовной стороны, без чрезмерных эмоций и злобы, как подобает добрым друзьям! Рука у него была пухлая, округлая и словно бы оплетенная невидимой паутиной, потому что он никогда не разжимал пальцев, и вечно сжатый кулак походил на набалдашник палки.

Так вот, пытаясь найти рациональное объяснение этому весьма странному, чрезвычайно существенному и — по крайней мере для немцев — историческому факту, необходимо быть объективным. Во-первых,— и первый выстрел кулаком в воздух — мы имели двенадцать лет нацизма и тридцать пять антинацизма. Карфельду непонятно, что уж такого страшного в нацизме, чтобы весь мир навеки предал его анафеме. Нацисты преследовали евреев — и это было, конечно, плохо, и он хочет, чтобы его слова о том, что это плохо, были запротоколированы для истории. Подобно тому как он осуждает Оливера Кромвеля за обращение с ирландцами, США — за отношение к черным и, конечно, за геноцид против американских индейцев и желтой опасности в Юго-Восточной Азии, церковь — за преследование еретиков и англичан — за бомбежки Дрездена, так он осуждает и Гитлера за то, что тот сделал с евреями, и за то, что импортировал изобретение британцев, столь успешно применявшееся в Англо-бурской войне — концентрационные лагеря.

Тэрнер увидел, как молодой сыщик, стоявший прямо перед ним, осторожно сунул руку за борт своего кожаного пальто, и опять раздалось легкое потрескивание радио. Напрягая зрение, Тэрнер снова окинул внимательным взглядом толпу, балкон, переулки; снова вгляделся во все дверные проемы, во все окна — ничего. Ничего, кроме часовых,

расставленных на крышах, и полиции, дожидавшейся в своих фургонах; ничего, кроме несметной толпы молчаливых мужчин и женщин, застывших, словно перед явлением Мессии.

Давайте рассмотрим, предложил Карфельд, поскольку это поможет нам прийти к логическому и объективному ответу на многие вопросы, одолевающие нас сегодня,— давайте рассмотрим, что же произошло после войны.

После войны, продолжал Карфельд, произошло всего лишь то, что к немцам стали относиться как к преступникам, а поскольку немцы практиковали расизм, то их сыновья и внуки тоже должны были рассматриваться как преступники. Но поскольку союзники люди добрые и хорошие, они склонны были пойти на некоторые уступки и несколько реабилитировали немцев: в качестве особого одолжения их приняли в НАТО.

Немцев поначалу одолевала робость, они не хотели перевооружаться — многие были по горло сыты войной. Сам Карфельд принадлежал к этой категории: уроки Сталинграда каленым железом были выжжены в его молодой памяти. Но союзники были люди не только добрые, но и твердые. Немцы должны создать армию, а англичане, американцы и французы будут командовать ею... И голландцы тоже... И норвежцы... И португальцы... И любые иностранные генералы, которые готовы командовать побежденными.

— Да что там! Они могли бы дать нам даже африканских генералов командовать бундесвером!

Несколько человек — из тех, что стояли впереди, у подножия трибуны, в защитном кольце одетых в кожаное людей,— эти несколько человек рассмеялись, но он жестом унял их.

— Слушайте! — сказал он им.— Слушайте, друзья мои! Мы это *заслужили!* Мы проиграли войну! Мы преследовали евреев. Мы не годились, чтобы командовать! Мы годились только на то, чтобы платить! — Гнев их постепенно утихал.— Потому-то,— продолжал он,— мы и платим за пребывание у нас английской армии. Потому-то они и допустили нас в НАТО.

— Алан!

— Я их видел.

Два серых автобуса стояли у аптеки. Луч прожектора прошелся по их тусклой поверхности и скользнул дальше. Окна чернели, зашторенные изнутри.

И мы были благодарны за это, продолжал Карфельд. Благодарны за то, что нас приняли в этот привилегированный клуб. Конечно, мы были благодарны. Хотя клуб оказался, в сущности, не для нас: члены его не любят нас, членские взносы чрезмерно высоки, да к тому же немцам, поскольку они еще дети, не разрешают играть с оружием, которое может причинить вред их врагам. И тем не менее мы были благодарны, потому что мы немцы и потому что мы проиграли войну.

По толпе снова прошел ропот возмущения, и он снова оборвал его резким жестом руки.

— Нам здесь не нужны эмоции,— напомнил он.— Мы рассматриваем факты!

Примостившись на узком балконе, мать приподняла ребенка высоко над толпой.

— Смотри туда! — прошептала она.— Такого, как он, ты больше не увидишь!

Площадь застыла, недвижные головы все были повернуты в одну сторону, все смотрели в одну сторону темными провалами глаз.

Как бы подчеркивая свою полную беспристрастность, Карфельд снова выпрямился на кафедре, не спеша поправил на носу очки и перелистал лежавшие перед ним страницы. Затем помедлил, с сомнением оглядывая ближайшие к нему лица, как бы раздумывая, пойдет ли за ним его паства и насколько она поддержит то, что он намерен сказать.

Какова же была роль немцев в этом привилегированном клубе? Он бы определил ее так. Сначала он ее сформулирует, а потом на примере покажет, с помощью чего можно было этого достичь. Роль немцев в НАТО вкратце сводилась к следующему: вести себя покорно в отношении Запада и враждебно в отношении Востока; понимать, что даже среди победоносных союзников могут быть добрые победители и злые победители.

Снова смех взорвался и стих. Вокруг зашептали: Клаус, Клаус — он понимает толк в шутке... И в самом деле, НАТО — это же типичный клуб. НАТО... Общий рынок... Все — обман, везде обман. И в Общем рынке все то же, что в НАТО. Так сказал Клаус, и потому немцы должны стоять подальше от Брюсселя. Это еще одна западня, новое окружение... Им заходят и с флангов и с тыла.

— Это Лезэр,— прошептал де Лилл.

Седеющий человек невысокого роста, чем-то показавшийся Тэрнеру похожим на кондуктора автобуса, присоединился к ним на ступеньках и удовлетворенно записывал что-то в блокнот.

— Французский советник, большой приятель Карфельда.

Когда Тэрнер снова перевел взгляд на трибуну, ему впервые бросилась в глаза небольшая группа людей, стоявшая в переулке,— необузданная, темная сила, маленькая армия, которая ждала лишь сигнала к выступлению.

Как раз напротив, на другой стороне площади, в плохо освещенном переулке, стояли и молча ждали люди. Они держали знамена, не производившие в сумерках впечатления черных, а впереди — Тэрнер отчетливо это разглядел,— впереди стояли несколько музыкантов из военного оркестра. Свет дуговых фонарей поблескивал на трубе, на оплетенных тесьмой обручах барабана. Во главе их темнела одинокая фигура с поднятой, как у дирижера, требующей тишины рукой.

Снова затрещало радио, но слова потонули во взрывах смеха — Карфельд отпустил еще одну шутку, грубую шутку, которая не могла не вызвать у кого-то гнева: намек на одряхление Англии и на королеву. Тон, каким он это произнес, был нов и необычен — легкий шлепок по спине, преднамеренный, похожий на ласку и на удар бича, от которого горит кожа и который способен затронуть политические чувства и вызвать злость. Итак, Англия вместе со своими союзниками принялась перевоспитывать немцев. Ну еще бы: где же вы найдете лучших воспитательниц? В конце концов, кто, как не Черчилль, впустил дикарей в Берлин, кто, как не Трумэн, сбрасывал бомбы на беззащитные города; совместными усилиями они превратили Европу в развалины — так кто же лучше их сможет объяснить немцам, что такое цивилизация?

В переулке никакого движения. Рука дирижера по-прежнему поднята, маленький оркестр ждет сигнала.

— Это социалисты,— прошептал над ухом Тэрнера де Лилл.— Они решили устроить контрдемонстрацию. Какой дурак пустил их сюда?

Итак, союзники взялись за работу: надо научить немцев себя вести. Не надо было немцам убивать евреев, заявили они,— убивайте лучше коммунистов. Не надо было нападать на Россию, заявили они, но мы защитим вас, если русские на вас нападут. Не надо было сражаться за

новые границы, заявили они, но мы поддержим ваши притязания на восточные земли.

— Но мы-то знаем, что это за поддержка!— Карфельд выбросил руки ладонями вверх.— Пожалуйста, дорогая, пожалуйста! Можешь взять мой зонтик и оставить его у себя... пока не пойдет дождь!

Показалось Тэрнеру или в самом деле в этой реплике прозвучала интонация, к которой в свое время прибегали в немецких мюзик-холлах, когда хотели передать еврейский акцент? Толпа засмеялась, но Карфельд снова жестом утихомирил ее.

В переулке дирижер по-прежнему стоял — застыв, подняв руку. Неужели он никогда не устанет, подумал Тэрнер, отдавать этот поганый салют?

— Их уничтожат,— убежденно сказал де Лилл.— Толпа их уничтожит!

Так вот, друзья мои, что произошло. Победители в чистоте помыслов своих и в великой своей премудрости научили нас понимать, что такое демократия. Ура демократии! Демократия — это как Христос: все оправдано, что совершается во имя демократии.

— Прашко,— с расстановкой произнес Тэрнер.— Прашко написал это для него.

— Он часто для него пишет,— сказал де Лилл.

— Демократия расстреливает негров в Америке и подкупает их золотом в Африке! Демократия управляет колониальной империей, сражается во Вьетнаме и нападает на Кубу. Демократия позволяет переложить все на совесть немцев! Демократия внушает: что бы ты ни сделал, ты никогда, никогда не будешь таким плохим, как немцы!

Он повысил голос, подавая сигнал — сигнал, которого ждал оркестр. Тэрнер снова посмотрел поверх голов толпы туда, в переулок, увидел, как белая-белая, точно салфетка, рука плавно опустилась в свете фонаря, как промелькнуло бледное лицо Зибкрона, поспешно покинувшего свой командный пост и отступившего в тень домов, и заметил, как головы начали поворачиваться одна за другой, когда и он сам услышал далекие звуки музыки — военный оркестр и хор мужских голосов; он увидел, как Карфельд перегнулся через трибуну и обратился к кому-то стоявшему внизу, увидел, как он отступает в глубину возможно дальше, все еще продолжая говорить, и внезапно уловил в его голосе прорывавшиеся сквозь его возмущение, сквозь ярость, сквозь все заклинания, визгливые призывы, брань и подстрекательства — отчетливо уловил нотки страха.

— Соци! — крикнул молодой сыщик далеко в толпе. Он стоял навытяжку, расправив обтянутые кожей плечи, и орал, сложив руки рупором.— Соци — там, в переулке! Социалисты решили на нас напасть!

— Это диверсия,— не повышая голоса, констатировал Тэрнер.— Зибкрон инсценирует диверсию. «Чтобы выманить его, подумал он,— чтобы выманить Лео и заставить его рискнуть. И музыка для того, чтобы заглушить выстрел,— мысленно добавил он, услышав «Марсельезу».— Все подстроено, чтобы он начал действовать».

Сначала все продолжали стоять, не двигаясь. Первые такты музыки были едва слышны — невинные звуки, слабенькая мелодия, извлеченная ребенком из губной гармошки. Да и песня, зазвучавшая вослед, была вроде тех, что поют мужчины, собравшись в йоркширском трактире в субботу вечером, поют без воодушевления, не в лад, как люди, не привыкшие к музыке,— да, впрочем, толпу и не интересовала музыка, все ее внимание было прикован о к Карфельду.

Но Карфельд — тот слышал музыку, она с необыкновенной силой подстегнула его.

— Я уже не молодой человек,— закричал он.— Скоро я буду совсем старик. Какой вопрос, молодые люди, зададите вы себе, когда проснетесь утром? Что вы скажете, глядя на эту американскую шлюху — Бонн? Вот что вы скажете: сколько же можно жить так, без чести? Вы посмотрите на своих правителей и скажете это, вы посмотрите на социалистов и скажете: неужто мы должны покорно следовать за любой собакой, если она носит казенный мундир?

«Он перефразирует Лира»,— мелькнула у Тэрнера нелепая мысль, и в эту минуту все прожекторы вдруг погасли — словно опустили черный занавес. Мрак сразу накрыл площадь, и громче зазвучало пение «Марсельезы». Тэрнер почувствовал едкий запах смолы в ночном воздухе — по всей площади вспыхивало и гасло бессчетное множество искр; он услышал приглушенный оклик и приглушенный отзыв, услышал, как из уст в уста поспешно передавались слова команды. Пение и музыка внезапно слились в рев, подхваченный рупорами,— чудовищный, бессмысленный, одичалый рев, усиленный радио и искаженный до неузнаваемости, оглушающий, сводящий с ума.

«Да,— повторил про себя Тэрнер с чисто саксонской ясностью мышления,— да, именно так я бы и поступил на месте Зибкрона. Я бы инсценировал эту диверсию, накалил толпу и устроил побольше шума, чтобы спровоцировать его, чтобы он выстрелил».

Музыка гремела все громче. Он увидел, как полицейский на ступеньках повернулся к нему лицом, а молодой сыщик предупреждающе поднял руку.

— Оставайтесь, пожалуйста, на месте, мистер Брэдфилд! Мистер Тэрнер, оставайтесь, пожалуйста, на месте!

В толпе возбужденно перешептывались — она алчно предвкушала что-то.

— Прошу вынуть руки из карманов!

Вокруг них вспыхнули факелы — кто-то, видимо, подал сигнал. Они запылали безудержной надеждой, позолотив мрачные лица, исполнив их веры, вдохнув мечту в их прозаические черты, оживив тупой взгляд пророческим жаром апостолов. Маленький оркестр вступил на площадь, в нем было не больше двадцати душ, и армия, которая шла за ним, шагала вразброд, неуверенно; но музыка, усиленная рупорами Зибкрона, звучала теперь уже повсюду, олицетворяя террор социалистов.

— Соци!— раздалось снова в толпе.— Соци идут на нас.

Кафедра проповедника опустела — Карфельд исчез, но социалисты продолжали продвигаться вперед.

— Бей их, бей наших врагов! Бей евреев! Бей красных!

Разделаемся с мраком, шептали голоса, разделаемся со светом, разделаемся со шпионами-саботажниками: во всем виноваты социалисты.

А музыка звучала все громче.

— Ну вот,— ровным голосом сказал де Лилл,— они его и выманили.

Молчаливые люди деловито окружили подножие карфельдовского помоста из нетесаного белого дерева. Сгибались кожаные спины, мелькали луноподобные лица, шептались о чем-то.

— Бей соци! Бей!— Ярость толпы вздымалась, как на дрожжах. И трибуна и Карфельд были позабыты.— Бей их!

Бей здесь, сейчас, бей все, что тебе не по нраву, шептали голоса, бей евреев, негров, кротов-конспираторов, крушителей ниспровергателей, родителей, любовников, они хорошие, они плохие, умные, глупые.

— Бей евреев-социалистов!— Над головами взмыли плакаты; голоса шептали: Иди! Иди!

«Мы должны убить его, Прашко,— в смятении сказал себе Алан Тэрнер,— или нам снова навесят бирки»...

— Бить — кого? — спросил он де Лилла.— Что они делают?

— Гонятся за своей неосуществленной мечтой.

Мелодии больше не было, звучала одна нота — хриплый, грубый рев, призыв к бою, призыв к ярости, призыв к убийству: истребить некрасивое, безобразное, уничтожить больных, недоразвитых, искалеченных, жалких, неумелых. Внезапно в свете факелов взмыли в воздух черные флаги и затрепетали, как растревоженная моль; толпа качнулась и накренилась в сторону; один край ее прорвался, и факелы потекли в переулок, гоня перед собой оркестр, провозглашая музыкантов своими героями, обжигая их поцелуями, с игривой яростью пускаясь между ними в пляс, разбивая инструменты, громя витрины, окна домов... Красные знамена взмыли вверх и упали, как капли крови, и толпа растоптала их и, отяжелевшая, глухо урча, потекла дальше по переулку, ведомая факелами. Затрещало радио. Тэрнер услышал голос Зибкрона, холодный и удивительно ясный, услышал краткую команду — одно-единственное колючее слово: «Schafott»— и бросился бежать к помосту, рассекая людские волны; он почувствовал боль от удара в плечо, почувствовал, как руки уцелевших хватали его, но он сбрасывал их с себя, точно детские ручонки. Снова руки хватали его, и снова он отмахивался от них, как от веток. Перед ним возникло лицо — он ударил по нему и побежал дальше, преодолевая людские волны, стремясь добраться до помоста. И тут он увидел его.

— Лео!— закричал он.

Он лежал на мостовой, как художник, который рисует на асфальте; вокруг неподвижно стояли люди. Они стояли, но ни один не касался его. Они сбились плотным кольцом вокруг, но оставили ему место умереть. Тэрнер видел, как он приподнялся и снова упал, и опять крикнул: «Лео!» Он увидел, как темные глаза обратились к нему, и услышал ответный возглас — мольбу к нему, к Тэрнеру, к миру, к богу или к милосердию, к любому человеку, который мог бы спасти его от свершившегося. Он увидел, как людское кольцо сомкнулось, склонившись над ним, и распалось, отпрянув в сторону, увидел, как покатилась мягкая шляпа по мокрой брусчатке, и ринулся вперед, повторяя: «Лео!» Он выхватил у кого-то факел, и в нос ему ударил запах паленой материи. Он держал факел, отпихивая от себя чьи-то руки, и вдруг почувствовал, что никто больше не препятствует ему,— он стоял один на берегу, у края помоста, и смотрел вниз на свою собственную жизнь, на свое собственное лицо, на руки, пытавшиеся, словно любовницу, обнять брусчатку, и на листовки, кружившие, реявшие над маленьким телом, словно листья, гонимые ветром.

Рядом с ним не было никакого оружия — ничто не указывало на то, как он умер,— только шея лежала под каким-то странным углом там, где что-то сдвинулось с места и перестало совпадать одно с другим. Он лежал, распластанный, придавленный к мостовой теплым боннским воздухом, точно кукла, разбитая на куски и аккуратно сложенная потом. Человек, который жил и чувствовал и теперь не чувствовал ничего,— наивный человек, потянувшийся поверх всех барьеров за наградой, которой ему никогда не суждено было добыть.

Издалека долетал яростный крик толпы, все еще преследовавшей в переулках давно исчезнувших музыкантов, а за своей спиной Тэрнер услышал легкий звук шагов.

— Обыщите его карманы,— сказал чей-то голос с истинно английским хладнокровием.

О романе «В одном немецком городке»

Не всегда читатель, закрыв последнюю страницу романа, спрашивает себя, чем обогатило его прочитанное. Порою чувства, обуревающие его, столь сильны, что он не испытывает желания разобраться в них и понять, чем и как они вызваны. Временами мысли, рожденные произведением, увлекают настолько, что эти вопросы отпадают сами собой, как совершенно излишние. Встречаются, однако, произведения, которые невольно заставляют задумываться: действительно, что дало оно мне? Открыло новые стороны сложной человеческой души? Помогло проникнуть в глубины новых социальных явлений, которые сказываются на поведении человека, на его характере? Облегчило понимание человеческих смятений в этом сложном и трудном мире?

Возникновение таких вопросов почти неизбежно, когда читатель встречается с той многочисленной и достаточно однообразной литературой, которая называется на Западе «детективной». Подменяя социальные конфликты состязанием злодейства и ловкости, а человеческие отношения — сексом, эта литература предназначена главным образом для того, чтобы отвлечь внимание от сложных и трудных общественных проблем, беспокоящих людей. Поэтому во многих случаях ответы на поставленные выше вопросы могут быть только отрицательными.

Но и в западной детективной литературе попадаются произведения, которые представляют значительный интерес не столько надуманной остротой ситуаций и трюков, сколько важностью тем, затронутых или поднятых ими. Их авторы лишь используют детективную форму для освещения важных общественных конфликтов и явлений. Таковы, например, некоторые романы Жоржа Сименона. К ним можно причислить и автора романа «В одном немецком городке» Джона Ле Карре. Несколько лет назад его роман «Шпион, который вернулся с холода» привлек всеобщее внимание смелым разоблачением беспощадных, поистине изуверских методов, с помощью которых английская разведка расправляется со своими неудачливыми сотрудниками и агентами и, заметая свои грязные следы, жертвует их жизнями с чудовищно холодным расчетом.

В отличие от многих авторов, пишущих на эти темы, Джон Ле Карре (его настоящая фамилия Дэвид Корнуэлл) знает кухню и закулисные стороны невидимой, но ощутимой тайной войны, которая ведется беспрерывно. В течение длительного времени Ле Карре работал в Интеллидженс сервис (английской разведке), выполняя «деликатные» тайные поручения прежде всего в Европе. Он провел достаточно долгое время в Западной Германии, чтобы с подлинным знанием дела судить и о нынешней обстановке в этой стране, и об английской политике в центре Европы. Как в романе «Шпион, который вернулся с холода», так и в новом своем произведении, с которым читатель только что познакомился, он подходит к обстановке и развитию событий в этом районе мира с точки зрения интересов Англии, точнее, ее правящих классов. Вздыхая о былом величии, английская верхушка претендует на такую роль в европейских делах, которая никак не соответствует ни экономической мощи, ни военной силе, ни политическому весу Англии. Идейная немощь или одряхление мешают ей понять, что в новых условиях, возникших в центре Европы в результате второй мировой войны, английская политика должна быть иной, что будущее Англии определяется в конце концов не давнишним стремлением расколоть и противопоставить друг другу европейские народы («разделяй и властвуй»), а ее готовностью сотрудничать с ними.

Джон Ле Карре, несомненно понимающий суть необратимых изменений в Европе, в своем новом романе не подвергает критике корни ошибочной политики Англии. Однако в подходе к главным процессам возрождения старой опасности он показал ее явную непоследовательность или даже близорукость: ведь в основе угрожающего Западной Европе западногерманского национализма лежит прежде всего рост — с благословения западных держав — могущества вернувшихся в ФРГ к власти рурских магнатов, военщины, засилия старых нацистов в государственном аппарате. Социальная позиция автора сказалась на его отношении к прогрессивным силам, к Советскому Союзу и коммунизму, на которые он слишком часто смотрит через мутные очки антикоммунистической пропаганды.

Тем не менее роман «В одном немецком городке» интересен нам своим жизненным материалом, злободневностью своей темы.

Автор взял два важнейших явления нынешней европейской действительности — падение роли и веса Англии и подъем западногерманского национализма. И хотя историческая и фактическая связь этих явлений весьма относительна, их противопоставление, а чаще только сопоставление, не может не вызвать значительного интереса. В нашем тесно связанном и взаимозависимом мире развитие отношений между этими силами грозит определенными неприятностями не только тем, кто прямо затронут ими, но и их ближним и даже дальним соседям. Никому не хочется заново пережить то, что человечество пережило по вине близоруких западных деятелей всего лишь 25 лет назад, когда миролюбивым народам пришлось объединить свои силы, чтобы в долголетней, невероятно кровавой и разрушительной войне разгромить германский фашизм с его итальянскими и японскими союзниками. Ле Карре, положивший в осно-

ву сюжета своего романа нынешнюю обстановку в Западной Германии, понял этот тревожный и жгучий интерес к тому, что происходит снова в центре Европы.

Фабула романа, как видит читатель, сравнительно проста: тайный полицейский агент английской службы безопасности ищет исчезнувшего сотрудника английского посольства в Бонне — Бонн и есть «один немецкий городок». Эти поиски позволяют агенту — и читателю тоже — познакомиться с захолустным городишком на Рейне, его окрестностями, Годесбергом, где расположены посольства, даже с «горой Чемберлена» (ее нет на карте, но она часто упоминается в литературе и хорошо известна: в гостинице «Петерсберг», находящейся на вершине холма, останавливался в сентябре 1938 года приглашенный Гитлером Чемберлен, вынашивавший планы выдачи рейху Чехословакии, которые были осуществлены неделю спустя). Агент встречается с английской дипломатической колонией, и эти встречи дают возможность Ле Карре нарисовать не только и даже не столько главного героя романа — Лео Гартинга, как бы отраженного в поведении и характере других действующих лиц, сколько англичан-дипломатов, сотрудников посольства, их жен.

В изображении «боннских» англичан автор почти так же резок и беспощаден, как его герой — агент службы безопасности Алан Тэрнер. Перед читателем проходит вереница «дипломатических деятелей» — де Лилл, равнодушный изящный дипломат-гомосексуалист; Медоуз — запуганный и трусливый чиновник, дрожащий над своей распутной дочерью; Гонт — тупоумный и ограниченный охранник; Парджитер, готовая отдать не только все ключи от посольства, но и все его секреты за утехи в постели; наконец, вылощенный и рафинированный Брэдфилд, фактически — руководитель посольства, расчетливый и беспощадный, как машина: он выдает на верную смерть сотрудника посольства — немца Лео Гартинга, чтобы оградить от неприятностей посольство и заручиться симпатиями будущего «фюрера» Западной Германии — Карфельда, поднимающегося к власти. Гомосексуалисты, импотенты, жалкие трусы, ханжи и лицемеры, обладатели душ с двойным дном — такими рисует дипломатических чиновников «правительства ее величества» за границей автор. Его краски черны и кисть беспощадна.

Ле Карре не скрывает, что ничтожность людей, представляющих Англию в Бонне, отражает резкое падение английского влияния и роли в нынешней Европе, да и вообще в мире. Шумная мышиная возня вокруг «Брюсселя» (в бельгийской столице находится штаб-квартира Европейского экономического сообщества — Общего рынка,— куда Англия вот уже многие годы пытается попасть) с особой яркостью демонстрирует не только жалкую ограниченность ее позиций на европейском континенте, но и почти позорную зависимость Лондона от благоволения «немецкого городка». Правда, старания Англии обосноваться в «Брюсселе», а также роль Бонна автором несколько преувеличены (и Англия не видит в провале своих стараний попасть в Общий рынок катастрофы, и ее вступление в него зависело больше от Парижа, чем от Бонна), но действительное отношение английского, особенно лейбористского правительства к Западной Германии показывает, что Лондон готов на очень многое, чтобы добиться благорасположения богатых и потому сильных западногерманских партнеров по Общему рынку. Во многих вопросах, в частности в отношении к ГДР, к другим социалистическим странам, к европейской безопасности, Лондон все чаще выступает в унизительной роли подголоска Бонна.

Роль Англии уменьшилась не только в Европе, но и во всем мире, и это воплем прорывается в словах далекой от политики жены Брэдфилда: «В Адене в нас бросали бомбы, в Пекине нам угрожал самосуд, а теперь вот нас собираются сжечь на костре на рыночной площади». И дело, конечно, в том жалком — с точки зрения автора — положении, в котором оказалась ныне Англия. Доказательства этого Ле Карре разбрасывает по страницам романа с горькой щедростью ожесточенного человека.

Хотел этого автор или не хотел, но он нарисовал картину как деградирующей на международной арене Англии, так и разложившихся и вырождающихся проводников ее политики достаточно остро и ярко. Сожалея о потере ее прежней роли и издеваясь над теми, кто ныне воплощает былую мудрость, хитрость, ловкость и находчивость «коварного Альбиона», Ле Карре в осторожной форме осуждает отступничество Англии от политики денацификации в Западной Германии, позволившей военным преступникам — нацистам дождаться своего часа. Английские дипломаты, эти проводники политики Лондона, постарались забыть о прошлом, и только немец Лео Гартинг, пострадавший от нацистов, продолжал неутомимо доискиваться до корней страшного преступления, ведущих к лидеру новых нацистов или националистов.

Судя по обилию и точности материалов, автор проделал большую и кропотливую работу, чтобы проследить основные этапы английской политики в отношении Западной Германии, и отметил ее повороты и зигзаги. Историко-документальная часть романа звучит временами как хорошо аргументированное судебное обвинительное заключение.

Однако автор расходится с истиной, изображая некоторые явления нынешней западногерманской действительности.

Главные события романа, как известно читателю, развертываются вокруг Карфельдовского движения и действий самого Карфельда, который появляется лишь в эпилоге

романа, чтобы произнести националистическую и антианглийскую речь. В Западной Германии немало различных «движений», и их социальное и политическое лицо достаточно хорошо известно. Уже давно захватило первые страницы газет шумное, щедро финансируемое «движение» неонацистов, которое оформилось в партию НДП и на недавних выборах в бундестаг попыталось захватить места в федеральном парламенте, как оно захватило места в парламентах земель (провинций). Так же щедро финансируется реваншистское «движение», сердцевину которого составляют различные «восточные землячества», визгливо требующие «возвращения» польских, чехословацких и других территорий. В Западной Германии не было и нет антианглийского «движения», подобного тому, которое описано в романе. Верно, в выступлениях лидеров неонацистской национал-демократической партии нередко звучали завуалированные антиамериканские и — меньше — антианглийские нотки: воинствующий национализм неотделим от разжигания вражды к другим нациям и странам. Однако это всегда сопровождалось громким яростным поношением социалистических стран, Советского Союза. Оголтелый антикоммунизм был и остается главной платформой их выступлений, речей. Иными словами, неонацизм, на который намекает Ле Карре, — это, как и гитлеризм, массовая опора крупного капитала. Во внешней политике неонацисты мало отличаются от правившей двадцать лет католической партии — Христианско-демократического союза с его баварским филиалом — Христианско-социальным союзом. Все они отвергают результаты второй мировой войны, не признают ее последствий. Все они стоят за укрепление связей с западными странами и усиление агрессивного военного блока НАТО, в котором западногерманская военщина играет с каждым годом все возрастающую роль. Западногерманский национализм, не говоря уже о нацизме, вдохновляется прежде всего реваншизмом, а реваншизм опирается на поддержку реакционных империалистических кругов Запада, собравших свои силы в военном кулаке НАТО.

Если бы Ле Карре хотел быть более искренним с собой и с читателями, он должен был рассказать, что наглое, пренебрежительное отношение к Англии и англичанам бывших гитлеровских военных преступников, увильнувших, как его Карфельд, от ответственности и занявших видное положение в Бонне, вызвано военной силой Западной Германии, которую она приобрела в НАТО с благословения Лондона и Вашингтона. Не ослабление позиций Великобритании на международной арене, а лишь ее попустительство возрождению милитаризма в Западной Германии поставило Англию в такое положение, которое позволило Карфельду произнести уничтожающую, издевательскую антианглийскую речь в эпилоге.

Возможно, что в некоторых слоях западногерманского населения распространены антианглийские настроения. Однако пишущий эти строки бывал в последние годы в Западной Германии несколько раз, встречался с представителями самых различных кругов и может совершенно твердо заверить, что ничего подобного тому, что изображено в этом романе, он не видел и не слышал. Более того, дельцы и банкиры подчеркивали, что у них наладились тесные отношения с дельцами и банкирами Англии, которые охотно вливают свой капитал в западногерманскую промышленность. На одном из обедов моим соседом оказался англичанин, который в ходе беседы признался, что он — один из директоров крупного западногерманского химического концерна и одновременно директор не менее крупного английского химического концерна. У кого не очень плоха память, может вспомнить, что такое трогательное сотрудничество английских и германских монополий наблюдалось в период выхода гитлеровской Германии на европейскую арену.

Описания неонацистских сборищ, которые читатель, несомненно, отметил в романе, ярки, убедительны — они достоверны. Не выдумано также сотрудничество между неонацистами и крупными чиновниками боннских министерств — многие из них служили верой и правдой Гитлеру и его государственной машине и помогают нацистам не из-за страха за свое будущее, а потому, что разделяют их взгляды и стремления. Неонацизм в Западной Германии вырос с такой быстротой прежде всего потому, что ему помогают бывшие нацисты и особенно потому, что воротилы Рура и банкиры Гамбурга, вскормившие в свое время и приведшие к власти Гитлера, с той же щедростью раскрыли свои сейфы и для его последышей.

Роман «В одном немецком городке», как видит читатель, содержит немало противоречий. Несколько сложное построение мешает порою пробиться к главному — к тому, кто же виновник появления, быстрого роста и демонической силы Карфельдовского движения. Может быть, сам автор недостаточно ясно представляет себе, что же происходит в «немецком городке», во всей Западной Германии. Возможно, что он понимает происходящее, но намеренно умалчивает об этом. Нежелание видеть истину или сказать ее может привести к новой катастрофе. И страшный конец Лео Гартинга — он не случайно появляется на последних страницах романа лежащим у ног окружившей его разъяренной толпы — кажется глубоко символичным.

Английские «благодетели», которые помогли рурским магнатам вернуть заводы, генералам — армию, нацистам — государственный аппарат, давно третируются набравшими силу и вышедшими на европейскую арену «облагодетельствованными», как бедные родственники или попрошайки. Во имя их благорасположения деятели «Великой

Британии» (это название употребляется теперь все реже и реже) публично благословляли и поддерживали как их реакционные внутренние меры («чрезвычайные законы» против рабочего класса), так и агрессивную внешнюю политику. Хотя западногерманский национализм, как это показано в романе, опасен для Англии, Лондон с усердием слуги поддерживает провокационные притязания «маленького городка» на право представлять на международной арене весь германский народ, содействуя еще большему раздуванию национализма и стремления к созданию новой «Великой Германии» по образу и подобию гитлеровского третьего рейха. И отказ Англии признать существование первого германского государства рабочих и крестьян — ГДР — несомненно вдохновляет западногерманских националистов-реваншистов.

В последние месяцы внутри Западной Германии произошли некоторые перемены. Фюрер неонацистов — Адольф фон Тадден, несмотря на огромные средства, предоставленные банкирами и промышленниками в его распоряжение, не сумел проникнуть со своими «национал-демократами» в бундестаг. Потерпели поражение и духовные собратья неонацистов — христианские демократы и христианские социалисты, шедшие на выборы фактически под теми же лозунгами, что и неонацисты. К власти в Западной Германии пришли социал-демократы в коалиции со свободными демократами. Хотя политика страны не претерпела существенных изменений, новое правительство не может не учитывать того факта, что его власть опирается на поддержку организованных трудящихся — профсоюзы, которые оказывали и будут оказывать влияние или давление в направлении, ведущем хотя бы к некоторой демократизации внутренней жизни в Западной Германии и к ослаблению излишней воинственности и агрессивности ее внешней политики. Пока это давление не принесло осязаемых результатов, но можно надеяться, что оно будет становиться сильнее, активнее по мере того, как наглеют антинародные неонацистские или националистские партии и группы, выросшие и окрепшие в ФРГ с ведома и благословения правящих кругов США и Англии. Демократические силы, подавляемые капиталистической верхушкой, поставленной Вашингтоном и Лондоном у власти в Бонне, значительно выросли, и в борьбе за будущее Западной Германии они должны сказать свое решающее слово.

Д. КРАМИНОВ

ИЗ СЕНЕГАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

■

Перевод с французского
МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ШЕЙХ ШАРЛЬ ТИУБ

Континент на экваторе

На черном большом континенте
На экваторе под огненным солнцем
Растет, точно лес, героический черный народ.
В ярости бурь, кипящих в Атлантике,
Бьется сердце Африки черной,
Пульсирует черная кровь.
С незапамятной древности, за веками века,
Громоздилась гора человеческих жертв.
Миллионы убитых, замученных, проданных в рабство.
Африка, край нескончаемых пыток,
Африка, знавшая только страданье,
Встань, распрямись.!
Наступает пора испытаний других,
Пробил час возмужанья и мужества.
О моя Африка! Принимай свою долю
Великой ответственности
За грядущие судьбы земли.
И рокочут тамтамы свободы,
«Мир народам!» — тамтамы поют.

ШЕРИФ АДРАМЕ СЕК

Черное перо

Негр, скорее перо обмакни!
В терпкий сок тамаринда,
В пресный сок баобаба,
В благодатные соки целебных корней,
Открытых нашими предками.
Негр, скорее перо обмакни!
В собственный пот, кипящий на солнце,

В древние ритмы тамтама,
В новые ритмы машин.
Негр, перо подними
На уровень века
И торжественным росчерком
Напиши на странице божественной книги:
Свобода — моя судьба,
Работа — спасенье мое.

ФРАНСИС-КЛОД ЗОБЕЛЬ

Ливень

Рука на твоем плече,
Чтобы тебя удержать,
Если ты скажешь: «Нет».
Улыбка последняя
И молчанье —
Знак благодарности,
Если ты скажешь: «Да».
И слеза —
Чтобы сказать: «Прощай».

Песня

От гула тамтама небо кружится.
Над улыбкой твоею
Сушится невод,
Окутавший темень
Твоих волос.
От гула тамтама небо кружится.
Лодки в лагуне
Идут хороводом
Вокруг чернокожих
Сирен.
От гула тамтама небо кружится.
Мы землю согреем
Босыми ногами,
Нас вдаль
Неизвестность дорог
Уведет.
От гула тамтама небо кружится.
И серые ящерицы
Застывают,
И молча танцоры
Выходят в круг.
От гула тамтама небо кружится.
Ночная поляна —
Островом в море.
Огромные пальмы
Мерцают вокруг.

Трава

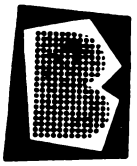
Ты, как в волну,
Окунулась в траву,
И склонилась луна
К твоему молодому телу,
И гений жатвы
Своим серпом
Целует тебя,
Точно колос спелый.

ДЖЕЙМС АЛАН МАКФЕРСОН

Золотой берег

РАССКАЗ

Перевод с английского
К. ЧУГУНОВА



ту весну у меня был огромный запас энергии, но совсем не было денег, и я нанялся дворником. Я был еще очень молод и деньгами не интересовался. Почти каждый вечер, ложась спать, я убаюкивал себя сладостной мечтой о том времени, когда моя энергия даст свои плоды и на суперобложках моих многочисленных книг появится краткая биография со словами: «...Он изучил жизнь на разных ступенях социальной лестницы. Начав свою карьеру чистильщиком обуви, затем став официантом, помощником повара, дворника, он поднялся...»

Прежде я никогда не работал дворником — не испытывал в этом нужды. Но именно это, кажется, и побудило меня пойти в дворники. А потом, спустя много времени, мне стала ясна и еще одна причина: я считал, что можно работать дворником, не превращаясь в него, и забавлялся своей ролью. Когда меня спрашивали на какой-нибудь вечеринке или собрании, чем я зарабатываю себе на жизнь, я, заложив большие пальцы в кармашки жилета, этак небрежно отвечал:

— Работаю помощником дворника.

Хиппи, принимая меня за дегенерата, отпускали по моему адресу шуточки, а студенты философского, юридического и коммерческого факультетов, скрывая смущение, старались показать, что им все равно, чем я занимаюсь, и в то же время удивлялись про себя, как это мне удалось, черт побери, пролезть в их компанию.

— Что такое помощник дворника? — спрашивали они.

— Это когда еще не дорос до дворника,— отвечал я.— Сейчас я на стажировке. В каждой профессии — свои сложности. Пока получишь квалификацию и самостоятельный участок, надо многому научиться.

— Что же тут сложного?

— Как что? Во-первых, характеры людей. Во-вторых, расовый вопрос.

— При чем тут расовый вопрос?

— Видите ли, какое дело,— тихо отвечал я, озираясь по сторонам, словно боялся, что нас подслушают.— Надо иметь особый нюх на евреев и негров.

— Кошмар! — восклицал мой собеседник с некоторым оттенком отвращения.

— Это целое искусство,— глубокомысленно добавлял я.

После этого наступала длительная пауза. Потом меня спрашивали:

— Но вы сами негр. Как же вы можете не пускать негров к себе в дом?

Я принимал ужасно обиженный вид и отвечал:

— Так не я же их не пускаю. Это не моя обязанность. Но если они все-таки проникают, то мое дело — елико возможно, отравлять им жизнь. Методы-то меняются.

Тут собеседник устремлял на меня изумленный взгляд, точно не веря своим ушам, и начинал потихоньку пятиться.

— Что поделаешь, дворник есть дворник,— добавлял я ему вслед, тем самым еще более усугубляя его конфуз.— Не презирайте меня. Надо же кому-то заниматься и этим.

Это был старинный дом. Находился он недалеко от Гарвард-сквера. Когда-то в нем жил Конрад Эйкен *. В эпоху существования Золотого берега **, когда университет еще не настроил великолепных современных зданий, этот дом был роскошным обиталищем богачей; но с тех пор прошла целая вечность, и теперь это — один из немногих сохранившихся памятников старины: просторный вестибюль с высокими потолками в толстых стропилах из красного дерева, мраморный пол, железные двери с орнаментом и старомодный телефонный аппарат (уже не действующий).

В каждой квартире был небольшой камин, и вся атмосфера дома носила печать респектабельности, а огромные ванны и уборные с цепочками для спуска воды, когда я к ним прикасался, неизменно возбуждали у меня интерес к выдающимся личностям, пользовавшимся этой роскошью, и даже ощущение какого-то сродства с ними.

Это был удивительный дом, потому что старым его сделали не столько годы, сколько его обитатели. Он удобно располагался между жилыми и учебными корпусами, и я ожидал увидеть в нем колонию хиппи, аспирантов и девушек-тружениц, мечтающих пробить себе дорогу. Но это оказалось не так: большинство жильцов составляли старые девы, престарелые вдовы, бесполые пожилые мужчины и молодые гомосексуалисты; жило там также несколько супружеских пар и одинокий учитель. Проходя в ранние утренние часы по коридорам, я никого никогда там не встречал — казалось, в доме все вымерли. В эти минуты мне ужасно хотелось постучаться в чью-нибудь дверь и выкинуть какую-нибудь непристойность, чтобы хоть этим заставить их поволноваться.

■

В Кембридж пришла весна. Влюбленные студенческие парочки бродили по берегу Чарльза и целовались под печальными взорами немолодых мужчин, наблюдавших за ними с моста. Всюду было заметно оживление: юристы упражнялись в ораторском искусстве, бизнесмены подсчитывали свои будущие барыши, в учебных корпусах начиналась уборка, на Гарвард-сквере бородатые официанты расставляли столики, готовясь к приезду стойких приверженцев университета — слушателей летних курсов. Все говорило о приближении нового сезона, и престарелый дворник Джеймс Сэлливан, подчиняясь велению времени, передал мне на попечение три мусорных бака, поручив ежедневно обходить все шесть этажей дома и безропотно убирать мусор и всякий хлам, который старые девы и другие жильцы не хотели держать при себе.

К этому времени я уже чувствовал себя богачом: у меня было свое жилье, умная, чуткая подружка, магнитофон, ободранное кресло, одна вилка, источник заработка и желание писать. Имея все это и вдобавок — молодость, я не мог не жалеть Сэлливана, который, проработав в этом доме тридцать лет и запечатлев его историю в мелких ложбинках своей памяти (подобно тому как отразилась в морщинах лица история

* Известный американский писатель, выпускник Гарвардского университета.

** Так называли в США фешенебельные жилые кварталы, тянувшиеся вдоль набережных рек и отделенные от шоссе зелеными скверами.

его собственной жизни), не приобрел за все эти годы ничего, кроме злющей собаки, жены, почти такой же бешеной, как собака, трех котов, ревматизма, глаукомы и болезненного пристрастия к алкоголю.

Ему было далеко за семьдесят, и он еле ходил. Управляющий выдавал ему еженедельно чек на двадцать два доллара, и все. Так и пришлось ему, за неимением другого выхода, из смотрителя здания превратиться в моего надсмотрщика.

В первый день после того, как я заступил на его место, он сидел, старый, дряхлый, окутанный табачным дымом, в синих мешковатых залатанных штанах, на своей обычной скамье в вестибюле и наблюдал, как я ловко выволакиваю на улицу, один за другим, три бака с мусором.

Он был заядлый курильщик. Я сразу обратил внимание, как старательно он стряхивает на пол пепел, а потом, бросив туда же и окурок, растирает ногой до тех пор, пока все это не превратится в сплошной грязно-желтый мазок. После этого он тщательно соскабливал кончиком ботинка образовавшуюся массу и заметал ее под скамью. Проделывая все это, он не спускал с меня по-кошачьи настороженных глаз и молча наблюдал, как я волоку мусорные баки к большому коллектору, рядом с нашим домом.

Когда я подошел к нему, он протянул мне несколько старых тарелок для моей кухни и решил дать мне первый совет.

— Сядь, черт побери, в ногах правды нет,— сказал он.

Я сел рядом с ним на красную скамью и достал из его измятой пачки сломанную сигарету. Сигареты он носил в кармане джемпера.

— Послушай, что я скажу. Ты должен знать, как вести себя на этой работе.

Я приготовился слушать.

— Если кто из этих сукиных детей попросит тебя сделать что-нибудь сверх твоих обязанностей, не забудь потребовать за это особую плату.

Я заверил его, что так именно и поступлю.

— Раз они могут позволить себе жить здесь, пусть потрясут карманом. Ублюдки.

— Конечно,— снова подтвердил я.

— И еще: не позволяй никому из этих девиц совать тебе под нос кошачье дерьмо. Ты не обязан его убирать. Вели им складывать дерьмо в пакеты, и пусть выносят сами.

Я еще раз заверил его, что хорошо знаю свои обязанности и не собираюсь делать лишнего. Он долго смотрел на меня сквозь толстые стекла очков. В его глазах действительно было что-то кошачье.

— Правильно,— сказал он наконец.— Но учти, они могут и потихоньку подсунуть тебе в бак дерьмо, так что гляди в оба и не забудь взыскать с них за это. Не бойся, деньги у них есть.

Он растер ногой седьмой окурок и полез за новой сигаретой.

— За тридцать лет я сам ни разу не убирал кошачьего дерьма и тебе не советую.

— Ну, ладно, я пойду руки помою.

— Так помни, что я сказал насчет дерьма.

Я опять заверил его, что в жизни своей никогда, никогда этого не сделаю. Даже если самая красивая девушка в доме попросит. Поднимаясь в лифте на свой этаж, я с удовольствием думал о том, что без труда сдержу обещание, так как красивых девушек в доме не было.

Я не знал, чем он занимался прежде, чем стать дворником в этом доме, но был уверен: выше этой должности у него никогда в жизни не было. При нем через это здание прошло два поколения богачей, он видел многих губернаторов, въезжавших в университетский городок на белом коне, чтобы напутствовать сыновей и дочерей богатых родителей на

пороге жизни, в которой им предстояло работать, приобретать, производить потомство и отправлять в университеты собственных сыновей и дочерей. Круг, таким образом, замыкался. Сэлливан наблюдал этот цикл, пока был в силах перетаскивать мусорные баки; но теперь силы у него иссякли, и это его раздражало.

Разумеется, он был ирландец и, не имея личных достоинств, очень гордился достоинствами своего народа. Он знал писателя Фрэнка О'Коннора, некогда учившегося в Гарварде, и не раз рассказывал мне, как тот, идя на лекции, неизменно останавливался в вестибюле, чтобы поболтать с ним о том и сем. Помнил старик и Джеймса Майкла Кэрли, причем особенно ему запомнился один эпизод: они сидели с Джеймсом Кэрли в одном бостонском баре, а в это время к ним подошел помощник Кэрли и сказал: «Эй, Джим! Там этот еврей пришел. Сол Бернстайн. Он хочет тебя видеть». А Кэрли будто бы сказал Сэлливану своим характерным звучным баритоном: «Пойдем познакомимся с этим израильским принцем».

Таковы были его воспоминания. Я оставлял свои мусорные баки и, покорно смеясь, слушал забавные пустяковые истории, из которых складывалась жизнь Сэлливана в подвале Гарвардского университета. И хотя в то время эти детали его биографии не представляли для меня ценности, я знал, что они — вся его жизнь, все лучшее, что у него когда-либо было. Он делился со мной своими сокровищами, требуя взамен лишь немного внимания и немного времени; и я охотно платил ему этим, потому что молодые люди время вообще не ценят.

■

Я чувствовал себя старателем, напавшим на золотую жилу, и самозабвенно трудился, ежедневно обходя коридоры в поисках мусора. Мне казалось тогда, что за каждой из пятидесяти дверей в нашем доме скрывается материал, способный, если б я удостоил его прикосновения своего магического пера, превратиться в бессмертный роман. Я с рвением фанатика изучал своих жильцов, выискивая у них порочные наклонности и следя за тем, кто к ним ходит и что они едят. Эта моя любознательность была так велика, что я с трудом удерживался от соблазна перебирать по кусочкам содержимое мусорных баков, заставляя себя ограничиваться копанием сверху, чтобы не слишком пачкать руки. В конце июня, подведя итог своим поискам, я обнаружил, что собранный материал весьма скуден и годится разве что для написания какой-нибудь жалкой пародии на роман Генри Миллера. Вот главные из моих открытий:

1. Дама из номера 24 училась в колледже Падьюка.

2. Супруги из номера 55 страдают от ненасытной любви, причем жена до сих пор не знает о существовании специальных таблеток.

3. Пожилая дама из номера 36 все еще не избавилась от месячных неприятностей.

4. Двое жильцов из номера 56 каждый вечер уничтожают неимоверное количество стручкового перца.

5. У толстяка из номера 54 есть две собаки, которые состоят в браке. Сам хозяин одинок.

6. Одинокий мужчина средних лет из номера 63 выбрасывает огромное количество цветов.

Обеспокоенный тем, что дело у меня продвигается так медленно, я однажды пожаловался Сэлливану. Джеймс по обыкновению курил, сидя на своей скамье в вестибюле, и растирал ногой на только что вымытом мною полу пепел и очередной брошенный окурок.

— Стало быть, ты хочешь получше узнать жильцов,— сказал он, блеснув на меня кошачьими глазами.

Я кивнул.

— Так вот. Ты, наверно, обратил внимание, как много тут у нас евреев?

— Что-то не попадалось мне ни одного еврея... Впрочем, я, может быть, ошибся,— поспешно добавил я, боясь, как бы он не пустился в исследование этой проблемы.— Кое-кого из них я все же видел.

— Кое-кого! Черт побери, да здесь их полным-полно!

— Откуда вы знаете?

Он посмотрел на меня так, словно не понимал, шучу я или говорю серьезно.

— А кто, ты думаешь, выбрасывает все эти объедки? — Он легким кивком головы показал на переполненные баки.

Я перевел взгляд на мусор и заметил остатки лапши, свешивавшейся через край бака.

— Это уж точно,— продолжал он.— Никто так не любит поесть, как евреи. И еда у них всегда — высшего сорта.

По правде говоря, Сэлливан относился к евреям не так уж плохо. Просто он злился на всех, кто преуспел больше его. Он жил с женой на втором этаже. В их квартире всегда была ужасная грязь, потому что оба они были больны и стары и передвигались с трудом. Жена выметала мусор прямо в коридор. Не успевал я вымыть и натереть пол, как появлялась дорожка из мусора и грязи, тянувшаяся от их двери до самой площадки. Из их квартиры всегда воняло собаками, кошками, старостью и смертью. Я никогда не осмеливался заходить к ним, точно ожидал увидеть там нечто необъяснимо ужасное.

Как я выяснил, миссис Сэлливан была родом из Южной Африки, очень любила животных (гораздо больше, чем людей) и, судя по ее лицу, сильно страдала от разных болезней. По углам у нее стояли жестяные банки, в которые она складывала остатки мяса. Рано утром или поздно вечером я часто видел, как она вываливает содержимое банок через окно второго этажа на улицу, где бродят бездомные кошки. Как-то раз Джеймс заметил на полу в квартире мышь и решил было раздавить ее, но в этот миг раздался такой вопль, что нога его замерла в воздухе. Старуха потребовала, чтобы он дал мыши уйти. Если миссис Сэлливан шла куда-нибудь, она неизменно опиралась рукой либо о стену, либо о перила. Она ненавидела свой дом, как будто это он ограничивал ее передвижение, ненавидела мужа и большинство жильцов. Зато ей нравилось смотреть телепередачи Джонни Карсона и нравилось сидеть на парадном крыльце (дальше парадного крыльца уходить без посторонней помощи она не могла) и болтать с прохожими, если те проявляли к ней интерес. Речь ее почти всегда бывала бессвязной, за исключением тех случаев, когда она бранила Джеймса,— тут она пользовалась лексиконом пьяного матроса. У нее был сильный пронзительный голос; ее крики, сопровождаемые остервенелым лаем собаки, доносились до самых отдаленных уголков дома. Особой опрятностью она никогда не отличалась. Первое, что бросалось в глаза, были ее желтые, запущенные зубы. Она представляла собой в высшей степени живописное зрелище, когда, надев новенькую голубую летнюю шляпку, купленную специально для «прогулок», и засаленный домашний халат, усаживалась рано утром на парадном крыльце и наблюдала прохожих. Ходить ей было совершенно некуда. Когда она принималась ругать своего мужа (что бывало весьма часто), Джеймс, как бы извиняясь, объяснял мне, что она повредилась в уме и поэтому не может совладать с собой. Самое восхитительное, что он никогда не терял самообладания, как бы грубы ни были ее ругательства. Его не смущало даже присутствие посторонних.

Не менее трогательно было смотреть, как они медленно прогуливаются по Гарвард-скверу. Поддерживая жену под локоть, Джеймс осторожно пробирался сквозь спешащую толпу девиц в мини-юбках, битни-

ков и увешанных фотокамерами проворных японских туристов, фотографировавших на Гарвард-сквере все, кроме этих двух стариков. Однажды какой-то хиппи, обогнав их, бросил через плечо: «Тоже... мастера спортивной ходьбы. Того и гляди, рекорд побьют. Скоростная патока».

На одном с ними этаже жила мисс О'Хара, старая дева. Она ненавидела Сэлливана так, как может ненавидеть только старая дева старика. Через коридор напротив них жил закоренелый холостяк по фамилии Мэрфи, одно время служивший у Монтгомери в Северной Африке, а теперь посвятивший остаток жизни уборке своей маленькой квартирки и пересудам с мисс О'Хара. Этот этаж принадлежал ирландцам.

■

Не могу сказать точно, отчего мисс О'Хара так ненавидела Сэлливана. Возможно, оттого, что старики были неряшливы, а она — чванливо чистоплотна. Она очень гордилась своим ирландским происхождением, и нечистоплотность стариков, типичных ирландцев, возмущала ее. А может, она ненавидела их потому, что их не за что было любить?

Она была чистоплотна до фанатизма и мусор выносила в коридор, упаковав во вчерашние газеты и перевязав резинкой. Подбирая эти маленькие аккуратные свертки, я спрашивал себя: где она берет столько резинок? И давая волю фантазии, представлял себе, как она поздно ночью вскрывает шпилькой дверной замок какого-нибудь магазина, проникнув внутрь, сует себе под серую кофту, которую она всегда носит, охапку белой резинки, а потом крадется по улице, возвращается в свою квартирку и, хихикая, сматывает резинку при свете свечи в большой белый клубок, который прячет в хлебницу.

Весь день до позднего вечера дверь в квартиру мисс О'Хара оставалась приоткрытой. Я подозревал, что она это делала нарочно, чтобы слышать все, происходящее в доме.

В этом доме она жила дольше Сэлливана. Мне казалось, что величайшей мечтой ее жизни было пережить его и посидеть с вязаньем в руках на его поминках. Она уже на протяжении примерно двадцати пяти лет старалась добиться его увольнения с работы и все еще не теряла надежды. В душные летние вечера, когда я в поте лица мыл пол на втором этаже, она зазывала меня к себе и угощала безалкогольным пивом, яблоками или кексами в надежде выудить какие-нибудь сведения о Сэлливане.

— Он ведь такой грязнуля, этот старик, правда, Роберт? — спрашивала она меня заискивающим голоском.— Не вздумайте убирать за ним эти его окурки. Сообщите управляющему — и все тут.

— Да пусть бросает, я не против,— возражал я, стараясь побыстрее допить пиво.

— Кроме того, они оба пьяницы. За последние двадцать пять лет я ни разу не видела их трезвыми.

— Но ведь они больны.

— Ха! — Она всплескивала руками.— А знаете, отчего она болеет? Оттого, что он не дает ей выпить.

Как-то раз, с трудом подавив икоту, я спросил:

— Сколько лет вы прожили в этом доме?

Она поманила меня поближе и ответила:

— Уже тридцать четыре года. Только ему не говорите,— предупредила она, кивая на дверь Сэлливана. Потом, дав мне возможность оправиться от этой потрясающей новости, добавила:— И должна вам сказать, что раньше, пока здесь не появились эти двое пьяниц, наш дом был лучше.

Мисс О'Хара предложила мне еще одно яблоко и в пятый раз поинтересовалась, не надоел ли мне лай собаки. Потом предложила мне

пирожное с шоколадным кремом и сообщила, что прошлой ночью коты Сэлливанов опять напакостили на полу. Затем она попросила меня стереть пыль с комода, который был слишком высок для нее, подобрать с пола пылинки, упавшие с моей тряпки, дала мне еще стакан безалкогольного пива, после чего показала мне свой семейный альбом. И когда я совсем уже приготовился уходить, ей пришло в голову снять со стены с моей помощью старый портрет ее прадедушки (сама она опять-таки не могла до него дотянуться) и потребовать, чтобы я и его вытер тряпкой. А потом мы оба ползали по полу и собирали воображаемые пылинки, которые, возможно, упали с портрета.

— Он ведь и правда грязнуля, Роберт,— в который раз сказала мне мисс О'Хара.— Так что не бойтесь, а пойдите и расскажите обо всем управляющему. Сделайте это при первой же возможности.

Я заверил ее, что воспользуюсь ее советом сразу же, как только Сэлливан вынудит меня к этому, и взял еще одно предложенное мне яблоко. Она предложила мне даже денег, но я отказался и выбежал в коридор, к своей швабре. Но и после этого мисс О'Хара с улыбкой наблюдала за мной из полуоткрытой двери своей квартиры.

— Почему мисс О'Хара так ненавидит вас? — спросил я однажды Джеймса.

Сэлливан, держа сигарету в руке, легонько стряхнул длинный столбик пепла на пол и ответил:

— Эта старая стерва преследует меня все время, сколько я здесь живу. Будь осторожен с ней, Роберт. Вот такие, как она, спокойно распевали молитвы, глядя, как сжигали в этом штате святых мучеников на кострах.

В те дни я совсем забыл, что я не просто человек, а черный человек и что моя возлюбленная не просто женщина, а белая женщина. Вполне возможно, что именно мои предки перевозили ее предков — первых поселенцев — на корабле «Мэйфлауер», и уже одно это ставило ее в весьма привилегированное положение. Но мы были тогда очень молоды и полны оптимизма; как и я, она верила в мои творческие силы, и этой верой частично объяснялась ее любовь ко мне. И я был счастлив от сознания, что она принадлежит мне, а не своей расе, возвышавшей ее надо мной. Но общение с ней возвышало меня самого, поскольку я мог оставаться самим собой и не должен был отращивать бороду, становиться хиппи или употреблять вместе с ней наркотики. Я должен был только писать, и это доставляло удовольствие нам обоим. Подобно многим богатым людям — поклонникам искусства, она любила присваивать себе то, чем владели другие и чего не имела она сама. Но я не был за это в претензии и прощал ей, потому что она прощала мне мой неровный характер и мою пропахшую отбросами одежду, а также мою скрытую настороженность. Одно ее не устраивало — мое общение с Джеймсом Сэлливаном. Она не понимала, зачем я трачу драгоценное время, слушая бесконечную болтовню этого старика. Она считала, что беседы с ним неинтересны, бесполезны и лишены всякого смысла. Она привыкла к иному окружению. Старики, с которыми она обычно общалась, были богатыми людьми, хорошо устроенными в жизни. И хотя по натуре она не была черствой, но старых бедняков терпела лишь постольку, поскольку это было необходимо, чтобы не показаться невоспитанной.

Сэлливану она не понравилась с самого начала. Конечно, будь она хиппи или битником, он не придал бы значения ее связи с представителем другой расы. Но она была обыкновенной умной и серьезной женщиной, а это уже не укладывалось в его понятие о нравственности. Люди, подобные Сэлливану, легко смирились бы, если бы я и моя возлюбленная были социальным отребьем: дескать, один другого стоит, оба одинаково презираемы своими расами. Но мы в категорию отребья не попа-

дали, поэтому наш союз представлял в их глазах угрозу обществу. С этим нелегко мирятся даже самые смелые либералы.

— Она ирландка? — спросил он у меня, когда я их познакомил.

— Нет,— уверенно ответил я.

— Как ее зовут?

— Джуди Смит,— солгал я. В действительности ее звали не так.

— Ну, конечно. Сразу видно ирландскую кровь.

— У всех есть немного ирландской крови,— сказал я.

Он посмотрел на меня лукаво сквозь толстые стекла очков.

— Наверно, она из хорошей семьи?

— Наверно.

Он помолчал и стряхнул на ковер пепел.

— Говорят, что если копнуть поглубже, то полковничиха и Нелли О'Грейжи тоже были сестрами.— Помолчав, он добавил:— Редьярд Киплинг.

— Верно,— ответил я, поняв его намек.— Поэтому мы и должны помнить, кто мы есть, прежде чем брать себе в жены полковничих.

Мы поняли друг друга и больше к этой теме не возвращались.

■

Почти каждый вечер, когда Мэг Сэлливан смотрела свои любимые телепередачи Джонни Карсона, со второго этажа доносилось до нас, живших на четвертом, пятом и шестом этажах, кошачье мяуканье (коты по-прежнему пакостили) и вой собаки, которая просилась на улицу и царапалась в дверь. В перерывах, во время рекламных передач, мы слышали, как Мэг бранит Джеймса и требует, чтобы он убирался отсюда и перестал сбрасывать пепел на пол, чтобы выпустил собаку или сделал еще что-нибудь. Даже и после окончания телепрограммы она продолжала гнать его из дому и бранилась до тех пор, пока он не уходил наконец в подвал, где у него было припасено несколько бутылок вина. В подвале постоянно воняло кошачьим дерьмом. Когда я заходил туда и смотрел на старика, сидевшего среди грязи, мусора, битой посуды, старых сундуков, стульев, сломанных музыкальных инструментов на пыльном истертом диване, иногда даже служившем ему ложем, мне хотелось плакать. Пил он самый плохой херес, потягивая прямо из горлышка. Ночью, часа в два, он нередко будил меня по телефону и поднимал с постели.

— Роб? Джимми Сэлливан. Чем занимаешься?

Я растерянно молчал.

— Спускайся в подвал. Выпьем.

— Мне же в восемь тридцать на работу,— возражал я.

— Ну, хоть по одной. А? — жалобно просил он.

Я брал с собой стакан, чтобы не пить с ним из горлышка, и шел вниз. Старик сидел на своем диване. Глядя на него, я уже не злился. У меня накопилось много записей, работа продвигалась успешно. Моя возлюбленная верила в меня и принадлежала мне, а не своей расе; были в моем распоряжении еще новенький столовый сервиз, и завтрашнее утро, и встречи с более молодыми людьми.

— Я не отниму у тебя слишком много времени,— обычно говорил он.

Я старался не смотреть на часы и отвечал:

— Это ничего.

— Моя Мэг не очень здорова, ты ведь знаешь,— говорил он, протягивая мне бутылку.

— Возраст уже не тот, ничего не поделаешь.

— Врачи рекомендуют отправить ее в заведение.

— Там плохо. Не надо.

— Но я же сам болен, Роб. Долго ли я еще протяну? Она ведь сумасшедшая.

— Человек, который любит животных, не может быть сумасшедшим.

Как-то раз он отпил большой глоток вина и сказал:

— Я и года не протяну. Умру скоро.

— Никто не знает, когда кто умрет.

Он приблизил ко мне близорукие, без очков глаза. В них было отчаяние.

— Об одном мечтаю: пусть Мэг умрет раньше меня. Не хочу, чтобы после моей смерти ее отправили в заведение.

Эта тема возникала у нас около двух ночи. В носу у меня щекотало от кошачьей вони. Я сидел со стаканом скверного хереса в руке, не в силах притронуться к нему губами. Мысли мои витали где-то высоко над этим подвалом и этим домом, и я не знал, что сказать. Чтобы хоть как-то прервать тягостное молчание, я заговаривал об американской ассоциации медиков, о системе страхования на случай болезни, о битниках... Ни то, ни другое, ни третье не вызывало у него ничего, кроме желчи. Профессию медика он считал «нравственно несостоятельной», систему страхования — величайшим фарсом, отнимающим у таких, как он, стариков деньги, припасенные «на черный день», битников — «отбросами рода человеческого». Рассуждая об этом, он мог изливать свою горечь без конца. Речь его изобиловала такими оборотами и отточенными выражениями, что у меня создавалось впечатление, будто он читает по писаному. Но если он действительно был так превосходно начитан, то в конце концов нет особой беды, когда человек заимствует у кого-то несколько фраз. Важно было то, что он выражал собственные мысли.

Так незаметно летело время. Было уже три часа ночи, потом половина четвертого, а он все говорил. Он ненавидел всех политиков, но сам любил подробно излагать собеседнику свои политические взгляды. К тому времени, как он переходил к теме гражданских прав, часы показывали четыре утра. Чувствуя, что его теперь не остановишь, я начинал потихоньку зевать. Он не обращал на это внимания. Потом, когда я начинал пятиться к выходу, он наконец убеждался, что удержать меня уже не сможет. Не сможет, даже если бы вдруг объявил мне, что обожает негров и готов стать почетным членом негритянской расы.

— Надеюсь, я не слишком тебе надоел,— снова повторял он.

— Нет, что вы,— возражал я, хотя был рад, что беседа наша кончилась и теперь я могу уйти, вырваться из этой кошачьей вони.

Иногда я не сразу шел спать, а гулял еще немного по университетскому городку и радовался, что я не дворник, а только помощник дворника — и притом временный.

Прогуливаясь в рассветный час и глядя, как студенты летних курсов крадутся из женских общежитий в свои корпуса, я чувствовал прилив энергии и вспоминал, что вечером тоже буду целоваться со своей возлюбленной и тогда, если ночью Сэлливан опять мне позвонит, у меня будет причина не идти к нему в подвал.

— Почему ты не скажешь ему, что это не твоя обязанность — сидеть с ним, как няня,— не раз спрашивала Джин, когда приходила ко мне в дневное время и заставала спящим.

Я молча смотрел на нее и думал о тех социальных силах, которые могут обрушиться на нас, и о наших грядущих испытаниях. Был еще только июль, стояла жаркая погода, и работа моя продвигалась успешно.

— Мне просто жаль старика,— отвечал я.— Кто его будет еще слушать?

— Нет, ты слишком ему поддался. Зачем с ним так нянчиться? Дело свое ты делаешь, и достаточно.

— Если его хорошенько послушать, то можно целый рассказ написать.

— Мало у нас рассказов о стариках?

— Не так уж много,— отвечал я.— Далеко не о каждом можно написать хороший рассказ.

Иногда Сэлливан приходил ко мне сам, и я впускал его даже в тех случаях, когда у меня бывала Джин. Смущенный своим неряшливым видом, он останавливался у двери и объяснял свой приход какой-нибудь надуманной причиной. В эти мгновения между ними словно происходил безмолвный разговор, и Сэлливан вдруг представал передо мной, как обыкновенный старик, зачем-то вылезший из подвала и непрошено вторгшийся в чужой мир. Но все время, пока происходил этот неслышный диалог, вслух они вели вполне дружескую беседу. Так продолжалось минут пять. Потом он осознавал, что присутствие его нежелательно, и, роняя на ковер пепел, задом уходил из комнаты. Снизу до нас доносились крики его жены.

■

Август был на исходе. Мы терпели и старились. Коты в нашем доме по-прежнему пакостили на полу, Мэг по-прежнему кричала, собака становилась все злее. Сэлливан пил теперь не только вечерами, но и днем. Было жарко, скверы заросли буйной зеленой травой, девицы еще больше укоротили свои мини-юбки, так что одинокие мужчины на мосту совсем не находили себе места. Все стали какими-то беспокойными, куда-то спешили, всем хотелось до конца лета осуществить свои планы, чтобы потом, когда будет зима, не сожалеть о потерянном времени.

Не лишенные воображения, Джин и я придумывали довольно своеобразные игры. Одна из них, названная нами игрой в «социальные силы», имела целью установить, какая из «сил» быстрее разлучит нас. В эту игру мы играли, например, с неизвестными ночными автомобилистами, которые, проезжая мимо нас, выкрикивали похабные слова. Когда машина удалялась, я вопросительно взглядывал на нее. Она смеялась и говорила: «Нет». Играли мы также с неграми на вечеринках; не зная характера наших отношений и считая Джин «общественным достоянием», черные пытались покорить ее своим танцевальным искусством и лексиконом, заимствованным у хиппи. Но она держалась отчужденно, хотя была неизменно вежлива. Потом наступала ее очередь испытывать меня, и она смотрела на меня вопросительно. Я улыбался через силу и отвечал: «Нет».

Заключительный тур нашей игры состоялся в жаркий августовский вечер, когда я провожал ее в метро домой. Одна сторона вагона была черной, настороженной и враждебной, другая — белой и столь же настороженной и враждебной. Ни на той, ни на другой стороне не оказалось двух свободных мест, чтобы мы могли сесть рядом, а расходиться в разные концы вагона мы не захотели. Тогда мы встали посередине и так ехали всю дорогу, держась за стальную рейку и привлекая к себе внимание обеих сторон вагона и обеих сторон мира. Это было тяжелое испытание. Когда мы наконец вышли из вагона (причем не на своей станции) и вопросительно посмотрели друг на друга, сказать нам было нечего.

Я стал избегать старика, не открывал двери, если знал, что стучится он, и не выходил убирать мусор до тех пор, пока не убеждался, что Сэлливан наконец заснул. Я возненавидел свой дом и впервые почувствовал себя дворником. Много спал и очень мало писал. И мне было наплевать на систему страхования, на американскую ассоциацию медиков, на этот дом, на Мэг и на ее бешеную собаку. Я начал подумывать об уходе.

Как раз в это время мисс О'Хара сумела подговорить закоренелого холостяка Мэрфи и еще некоторых жильцов подписать жалобу на собаку. Мэрфи подписал эту бумагу потому, что был добрым малым и не мог устоять перед такой женщиной, как мисс О'Хара. По правде говоря, он не имел ничего против пса и вообще ни на что не жаловался. Мисс

О'Хара называла его «милый Фрэнк». Мне кажется, когда он уволился из армии Монтгомери и поселился в этом доме, у него еще была сила воли. Но эта женщина постепенно вытянула из него всю волю, и теперь он готов был сделать для нее все, что угодно, лишь бы доставить ей удовольствие.

Вскоре после подачи жалобы к нам пришел маленький толстенький человечек — управляющий — и распорядился, чтобы Сэлливан увел куда-нибудь своего пса. Эту приятную новость мисс О'Хара сообщила мне немного позже, когда наконец поймала меня в коридоре.

— А вы знаете? Собаку-то убрали! Достаточно с нас и этих двух.

— Куда убрали? — спросил я.

— Не знаю. Альберт Остин заставил. Вы бы посмотрели на физиономию этого пьяницы! Грязный никчемный старик.

— Теперь вы должны быть довольны,— сказал я.

— Почти. Неплохо было бы заодно и от этих пьянчуг избавиться.

Я поздравил ее с победой и ушел на улицу. Я знал, что старик сейчас пьет и ему захочется поговорить со мной. Но ночью он все-таки застал меня дома, когда позвонил по телефону.

— Роб? Сэлливан. Будь добр, спустись ко мне в квартиру, а? Дело есть. Важное.

Я не бывал в его квартире и не имел желания туда идти. И все же пошел. У них было три комнаты с черными от копоти стенами. В квартире стоял какой-то особенный, противный запах. Мэг бродила по комнате и что-то бормотала. Увидев меня в дверях, стала жаловаться:

— Я не могу убирать всю эту грязь. Сил моих нет. Взгляните на окно: разве я до него дотянусь? Даже помыть его не могу.— Она всплеснула руками и склонила голову набок.— Кругом грязь, а я убирать не могу.

— Что вы хотели? — спросил я Сэлливана.

— Сядь.— Он указал рукой на табурет.— Ты заменил лампочку на пятом этаже?

— Заменил.

Он помолчал, отпил из бутылки хереса и протянул мне вместе с грязным стаканом.

— Уже сколько лет у нас здесь никто не бывал. Ты вот первый. И все из-за собаки.

Я признался себе, что действительно не хотел заходить сюда, но собака не была тому причиной.

— Ну, вот, ее и нет больше,— сказал я, держа в руке грязный стакан.

Он заплакал.

— Отняли у меня собаку. Все, что у меня было. Ну, как это можно — отнять у человека собаку? И я не мог этому помешать,— продолжал он.— Я знаю, кто это подстроил. Это все старая стерва О'Хара. Не доверяйся ей, Роб, никогда не доверяйся. Она может тебе улыбаться, а думать совсем по-другому. Это вот такие, как она, улыбались, когда жгли на костре Жанну д'Арк.

Я смотрел на плачущего старика, и мне самому захотелось заплакать, погладить его и сказать что-нибудь в утешение. И потом у меня было желание уйти из этого дома.

— У всех свои заботы,— сказал я.— От меня вот подружка ушла.

Он сразу оживился, и мне показалось, что в его кошачьих глазах даже блеснула радость. Он встал, подошел ко мне и протянул руку. Но я его руки не коснулся, и он опустил ее.

— Я знаю, какое у тебя сейчас состояние,— сказал он.— Знаю, брат.

— В том-то и дело,— сказал я.

— Но ты молодой, у тебя все еще впереди. Не то что я. Мне уж и жить-то осталось меньше года.

Мэг тоже подошла ко мне и предложила сигару. Я увидел, что они хотят быть гостеприимными, и заставил себя отхлебнуть немного хереса.

— Сегодня они забрали мою собаку,— пробормотал Мэг.— А кроме нее у меня никого и не было.

Я взглянул на старика. Он тянул из горлышка.

■

В начале сентября один из пожилых мужчин, устав наблюдать с моста, как целуются на берегах Чарльза влюбленные, облюбовал себе девицу и попробовал овладеть ею. Но полиция вовремя схватила его и бросила в тюрьму, девица же, плача, одернула на себе платье и ушла восвояси. Через несколько дней в том же месте поймали еще одного такого же мужчину, а еще позже на берегу Чарльза нашли труп.

Но вот летний сезон кончился, барышни в мини-юбках разъехались кто куда, и в зеленом городке вновь воцарились мир и спокойствие. В квартире № 44 нашего дома поселилась новая еврейская пара, но она не потребляла деликатесов и выбрасывала только банки из-под свинины с фасолью. Впрочем, я уже потерял интерес к этим деталям. У меня накопилось достаточно наблюдений, мне снова писалось, и я уже не чувствовал себя одиноким. Или мне казалось, что не чувствовал.

Старик бывал теперь у меня регулярно, по крайней мере по три раза в день, и я смирился. Если бы я отказывался толковать с ним, он все равно надоедал бы мне своими расспросами о каких-нибудь недостающих лампочках на пятом этаже. Мы взяли за правило вместе ходить за пивом. Когда он выпивал свою половину ящика, то приходил ко мне и выпивал мою долю. Это случалось очень часто. Я уже начинал получать удовольствие от наших бесед о политике, об американской ассоциации медиков, о системе страхования на случай болезни, о битниках и от его рассказов о книгах. Я обнаружил, что он очень хорошо начитан в истории, философии, литературе и праве. Он любил повторять: «Я хоть и дворник, да не такой, как все. А дворником я стал по стечению обстоятельств». И хотя он был вечно пьян, грязен, беспокоил меня по ночам, я верил ему, и он мне нравился, потому что его общество все-таки лучше одиночества. Когда он уходил, я засыпал, а во сне я не чувствовал себя одиноким. И было, в сущности, неважно, рано или поздно я начинал работу на следующее утро, потому что, если хорошенько подумать, то оказывается, что важно в жизни очень немногое: жить и не быть старым, иметь силы мечтать и не чувствовать одиночества.

Вьетнамский плакат

БУЙ ХЮИ ХЬЕУ. Южный Вьетнам — несокрушимая стена. Каждый вьетнамец — храбрый боец в борьбе против американцев.

ЧАН ХЫУ КУАНГ. Ты идешь на защиту Родины, я же буду выращивать по 5 тонн риса с гектара и этим прославлю нашу деревню.

ФАН ТХОНГ. Вот Советский Союз — крепость стальных героев, вот Вьетнам, чей Август — друг Советскому Октябрю. (Поэт То Хыу).

ХОНГ НГОК. Защитим завоевания революции.

КУОК ТХУ и НГУЕН ТХАНЬ. Приветствуем 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции!

НГУЕН БЫК. Победа Октябрьской революции, победа революции Вьетнама!

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

СКРИПКА ВРЕМЕНИ

■

Вступление и перевод с английского
АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Что молвить о Лоуэлле?

Вижу его, высокого, остраненного — посреди гулкой аудитории, или в гостиной, или на опустевшей предутренней улице,— вижу его, слегка склонившего голову к левому плечу, так что подбородок чуть касается шеи.

Мне всегда кажется, что он играет на скрипке.

Скрипка невидима. Его веки полуприкрыты. Он вслушивается в музыку, которая обычно называется Историей, Человеческим бытием, Летой. И иногда морщится, когда оркестр особенно дисгармоничен.

Партитура его сложна. У него свой мир, своя логика.

Когда-то в стихах, посвященных ему, я сближал по звуку слова «Лоуэлл» и «колокол». Бешеный фанатизм проповедника, порой барокко, а порой метафизика XVII века, нарочитая старомодность английского лада, порой мифология, порой трогательность Чехова и Флобера — соседствуют у него с дерзким экспериментом. На экранах его телевизоров всплывают головы, подобные игрушкам из надувной резины, и автомобили обретают плавники. Критик Альварес писал о поэте: «Поэзию его нельзя растолковать и понять досконально, нужно уметь быть благодарным, что существует некто, записавший такое».

Роберта Лоуэлла называют крупнейшим поэтом современной Америки. Он лауреат Пулитцеровской и других премий. Много занимался русской поэзией.

«Калигула» — одна из знаменитейших его вещей. В римском тиране, прозванном «Сапожком», за обувь, которую он носил в детские годы, запечатлена гибель детства.

В других стихах, по мотивам Элизабет Бишоп, провинциальная портниха видится ребенку как Навуходоносор, которого бог лишил разума, поставил на колени и сделал травоядным. А какая острая деталь булавок в портнихином рту! Хищная восхищенность внешностью выдает художника «от бога».

Переводя, я рискнул употребить «черный хлеб»,— не думаю, чтобы автор знавал черняшку, но мне кажется, это дает графику, условность детства.

Блестящая его книга «Вариации». Именно так, а не «Подражания» переводится заголовок «Имитейшнз». Это «темы и вариации», в них эхо Гомера и Вергилия, нашего Пастернака и Расина. Лоуэлл замыкает их с собой, с современностью. Так Пикассо варьирует Веласкеса, Родион Щедрин лукаво импровизирует на темы Бизе.

Культура — не остров, а взаимосвязь с культурой соседних времен и народов. Невозможно представить себе, чтобы Пушкин, например, не читал французов или Байрона в подлиннике А Лермонтов? А Блок? А многие ли из наших коллег могут в подлиннике прочесть творения современников? Мы мало знаем соседей по поэзии. Туманны для нас материки У. Х. Одена, Тэда Хьюза, не говоря уже о молодых. Только сейчас широкий читатель наш получил романы Камю, а для Запада загадочны имена Олеши, скажем, или Заболоцкого.

В «Вариациях» Лоуэлл сближает культуры. Он относится к истории и культуре как к природе, которая сама есть предмет искусства. В переводах он всегда поэт, всегда Лоуэлл. Подлинная поэзия нуждается в свободе, в личности. Любимые стихи переписываются в тетрадь своим почерком. Не в крохоборстве, а в сути сходство. Как у Пастернака: «Поэзия, не поступайся ширью, храни живую точность, точность тайн...» Это относится и к переводам.

Вот несколько моих переводов из Роберта Лоуэлла.

Калигула

Мой тезка, Сапожок, Калигула,
давным-давно, еще в каникулы,
твоя судьба меня окликнула,
и впилась в школьные миндалины

рука с мерцающей медали,
где бедный профиль злобно морщится,
как донышко моих возможностей!

Великолепнейший Калигула!
Уродец, взвитый над квадригою,
чье зло — наивная религия.
Мой дурачок, больное детство
просвечивает сквозь злодейство.
Как нервный узел оголимый —
принц боли, узник, скот, Калигула.

Детсад Истории. Ты — пленник
еще наивных преступлений,
кумир, посадка соколиная,
каленый уголек — Калигула.

Вождь двадцатидевятилетний,
добро и зло презрев, дилеммой
в мозгу, не утихая, тикает
боль тяжелейшей паутинкой.

Живу я ночь твою последнюю,
к тебе в опочивальню следую.
И пальцы узкие убийцы
мне в шею впились, как мокрицы,
следы их, как улитки, липки...

А над тобою, как улики,
у всех богов — твои улыбки.
Ты им откокал черепушки
и прилепил свой лик опухший,
с кудряшками, как мамалыга.
Кликуша. Хулиган. Калигула!
Взывая к одноликой клике,
молись, Калигула, Калигула.

Читаю: «Тело волосато,
затмил пирами Валтасара».
Читаю: «Гримом рот замаран,
и череп лыс, как бюст из мрамора».
Ты, тонкошеий, думал, шельма:
«Всем римлянам одну бы шею».
Мразь гениального калибра,
молись, Калигула!

Малыш, ты помнишь, как, зареванный,
ты в детстве спал, обняв звереныша.
Сегодня ни одна зверюга
с тобой не ляжет. Нету друга.
А ляжет юноша осенний,
тобой задушенный в бассейне.

Забрызган кровью бог Адонис —
Нарцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака
пронзит прозрение зигзагом.
Ты все познаешь. Взвоешь криком —
бедняга, иволга, Калигула!
Лежи, сподобленный нездешнему,
в бассейне ледяном и траурном,
катая ядра августейшие,
пока они не станут мраморными...

Молись за малыша, Калигула,
не за империю великую,
за мальчика молись.
Скулило
зверье в загонах. Им спокойней.
Они не знают беззаконий
и муки, свойственной тиранам.
Мы, все забрав,— себя теряем.
Молись за наше время гиблое,
мой тезка, гибельный Калигула.

Стон

(Отрывок)

А мама платья траурно носила —
все черный креп да белый креп.
И горе было буднично и сиро —
как черный хлеб и белый хлеб.

Однажды, побледневшая, под утро
приехала. В столовой свет зажгла
и в платье злобно-пламенном из пурпура
застыла, поджигая зеркала.

Вокруг портниха, гмыкая гундосо,
булавки поедала на полу —
безумная, как Навуходоносор,
на четвереньках щиплющий траву!

А утром зазывалы барабанили
и продавали книжки в корешках,
на них позолоченными гербами
плясали люди в огненных шелках.

Горело галунами и штанами
до тошноты красивое шитье...

Я только помню — мама застонала.
И больше мы не видели ее.

Уроки

Не уткнуться в «Тэсс из рода д-Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронили,
осыпая сосны, засыпая сон!..

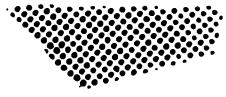
Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый,— сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночница сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чье у загородки лето повторится?
В палец уколовши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?



ФЕЛИКС ДЕ ГУАРАНИА

РИТМЫ ПАРАГВАЯ

■

Перевод с испанского и вступление
РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Феликс де Гуараниа — он известен под этим именем, рожденным в подполье,— представитель коренного населения латиноамериканского континента: индеец. Индеец-гуарани. Вся его сознательная жизнь — тюрьмы, подполье, борьба. Он — гражданин Парагвая, чья боль и скорбь умножены на боль и скорбь его родины: Парагвай, по словам латиноамериканского ученого, «самая несчастная страна Латинской Америки». Гневом и протестом полны напряженные, яркие, сдержанные стихи Феликса де Гуараниа. Он пишет свои стихи на родном языке — гуарани и сам переводит их на испанский.

Когда я искала русский эквивалент взволнованным строкам Феликса де Гуараниа, сквозь сочные и крепкие слова испанского языка для меня постепенно все четче и четче проступали очертания горького и страстного, доброго и древнего мира индейца-гуарани, которого жизнь бросила в пучину горя, чтобы дать ему место в рядах борцов за настоящую жизнь для родного народа и всех людей земли.

ИЗ КНИГИ «ПЫЛЬ»

(Написано в концентрационном лагере в Чако, 1945 г.)

III

Жить, жить, жить!
Даже тогда, когда кровь —
Сестра ваша, слезы,—
Проливается на весну,
Когда осыпаются розы
Мечты, умертвленной в плену.
В мутных зрачках
Воспоминанья скорбят.
Воздух пропитан злобою
И смятеньем объят.
Скрежет зубов,
Ужас,
Убитые зори.
Прямо в лицо —
Горький плевок
Горя.
Скачут галопом
Пепел и прах
По равнинам.

Память,
Былое
Хотя бы на миг
Верни нам!
Чтобы в ином галопе
Яростный ветер
Снова был сломан
Раненым,
Окровавленным,
Но живым еще
Словом!
Слышишь, любимая,
В громком молчанье земли
Музыку
Пустыни немой?
Это наша музыка.
Это тремоло золотое —
Голос надтреснутый мой.
Он золотит тени
На нашей дороге,
Собирает
Молчания и Забвения
Голоса...

Любимая,
Дай мне твои ясные и строгие,
Горящие твои глаза!
Я над миром их подниму,
Я подожгу тьму.
Сровняю с землей
Могилу собственной смерти.
Жизнь подарю пустыне...
Что еще совершить?
Жить...

VIII

И было чудо
Голоса твоего,
Который падал туда,
Где нет ничего,
Где булыжник времени
Оплакивает снова и снова
Свой удел —
Молчание ветра слепого.

И был мой голос:
Кровь
На зеленых всходах весны.
Он, как раненый голубь,
В омертвелой пустыне
Искал свои раненые сны.

Трепет зари,
Зеленая смута
Крови, в которую целятся,
Явь — раненый сон...
...Что же вы медлите
Вобрать в себя мой голос
И горизонт!

ИЗ КНИГИ «ПО КОМПАСУ ГОРЯ»

Кровь, братья, кровь...

Кровь кровоточит кроваво.
В крови поля маниоки.
Кровью налиты строки.
Нет на мечту права.

Бьется поток крови...
Покинувшая берега,
Красного горя река,
Кто тебя остановит!

Кровь, братья, кровь!
Горе от горя чрезмерного
Цвета зари неизменного —
Кровь, братья, кровь!

Кровь кровоточит кроваво...
Нет на мечту права!

Ай, сердце луны!..

Луна, индеец, река —
Ребра земли и соли.
Вода, гора, голод, мечта —
Клубок бесконечной боли.

На горизонте диск луны.
Судьба — дорога горя.
Волны зелени и белизны
Ищут лоно моря.

Песни реки горем полны,
Песни индейца — вдвойне...
Ай, сердце луны!
Кровь бунтует во мне.

Луна, река, индеец
Плачут... На что им надеяться?..

Какое зеленое молчание!..

Плакали их зеленые глаза —
Зеленых слез поток.
Как зелено, зелено, боже мой!
Какой зеленый потоп!

Какое зеленое молчание,
Какая безмолвная зелень!
Испуганный ветер на лету
Зеленое семя сеял.

О, эти зеленые слезы деревьев!
О, зеленый ужас
Испуганных птиц, что в зеленой тоске
Над зеленой горой кружат!

Какое зеленое молчание,
Зеленое отчаяние
В моем сердце...

Как оглушает молчание!..

Моя земля зеленая
Потушенных огней полна.
Ее зари разорванная вена,
Как кровь, темна.

Коровы мычат, коровы
За тюремной стеной...
Мечты оплакивают себя
В тишине ледяной.

Где гитара и вол?
О, как оглушает молчание!
Где небо? Какие тучи!
Ночь. Беспросветность. Мычание...

Моя земля зеленая полна
Одной тобою, тишина...

ИЗ КНИГИ «ПРИДИТЕ, БРАТЬЯ МОИ!»

(Написано в тюрьме, 1947 г.)

III

Придите, братья мои!
Принесите на мышцах
Соль и пот,
Темный бриз,
Чья печальная речь так глуха,
Первозданную плазму
С воздушной пыльцою стиха.
Из всех позабытых углов
Времени и пространства,
Из всех одиночеств и снов,
Из храмов, лугов, лесов
Придите,
Скажите мне:
— Здравствуй! —
От топоров с зазубренными лезвиями,
От костров с тревожными песнями
Придите!
Полднем горячим
Или мятежной полночью...
Из раненых недр кебрачо —
Болью моей и помощью.
Измученные надеждой,
Уставшие от скорбей,
Придите скорей!

V

Я знаю, что вы придете,—
Последнее слово за нами!
Сломать хребет легиону
Обезьян с галунами,
Иностранной ржавчиной вскормленному
И кебрачо индейской скорбью.
И тогда расцепятся атомы
Этих мрачных стен
И обрушатся башни адовые,
Где под грудою мертвых тел
Расстрелянная заря
Истекает кровью...
Надежды шахтеры суровые,
Придите, братья мои!
Настал уже срок
Прохладной росой окропить
Бинты этой раны,
Дыхание строк...

Литературное наследие

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

ТОНКА

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого
А. КАРЕЛЬСКОГО

Томас Манн предсказывал Музилю славу — самую большую и заслуженную среди писателей немецкого языка Франц Блей, известный в свое время австрийский эссеист, предрекал ему почетную безвестность, полагая, что по доброй воле читатель никогда не согласится перенапрягать свой интеллект. А чтение «Человека без свойств» — основного детища Музиля, гигантского философско-сатирического романа, так и оставшегося незавершенным,— дело действительно нелегкое, хотя, может быть, и в высшей степени благодарное.

Житель Вены, с редким для венского литератора равнодушием относившийся к темпераментным баталиям в писательских кафе и газетной шумихе, а позднее — одинокий женевский эмигрант, «большой писатель, которого издают малыми тиражами», как с горечью писал о себе он сам, Роберт Музиль обладал при жизни прочной репутацией мастера — но лишь в узком кругу литературной и философской элиты. И только «штудии» писателя к его большому роману — рассказы и повести — нашли дорогу к читателю.

Правы оказались и Блей, и Томас Манн. Сегодня на Западе слава к Музилю действительно пришла — слава, но отнюдь не подлинное понимание: богатейший интеллектуальный багаж Музиля становится расхожей мудростью, сентенции и пассажи из «Человека без свойств» — шиком литературной критики самого разного толка.

Из трех его повестей — «Гриджия», «Португалка» и «Тонка»,— объединенных в строго продуманный триптих «Три женщины» (1924), на долю «Тонки» выпал, пожалуй, наибольший успех.

Читатель наверняка увидит и оценит высокое психологическое мастерство Музиля в передаче сложнейших движений человеческой души. Трудно сказать, что более впечатляет в этой повести — то, как исключительно из размышлений героя, исключительно из взгляда «со стороны» возникает глубокий и трогательный образ героини повести или как формируется образ самого героя, как логика «только инженерного» мышления все дальше уводит его от первого естественного и человечного порыва в дебри интеллектуальной рефлексии, как запутывается в собственных противоречиях мысль, отделившаяся от живого источника чувства.

Остается сообщить основные биографические сведения о писателе. Роберт Музиль родился в 1880 году в Клагенфурте. По окончании кадетского училища (того самого, в котором пятью годами раньше учился Рильке) он поступает в Высшую техническую школу в Штутгарте, где, в частности, изобретает жироскоп, до сих пор именуемый «жироскопом Музиля»; затем изучает в берлинском университете философию, психологию и математику, защищает в 1908 году диссертацию о Махе и, ободренный успехом своего первого романа «Тяготы воспитанника Тёрлеса» (1906), отказывается от места доцента на одной из философских кафедр, выбирая литературную работу. Он редактирует журнал «Нейе рундшау», возглавляет во время войны австрийский пресс-центр, выступает в начале 20-х годов как драматург и театральный критик,

а с 1924 года, живя попеременно то в Берлине (до 1933 года), то в Вене, почти неотрывно работает над романом «Человек без свойств», отвлекаясь только для докладов, редких эссе и выступлений — в частности, на Парижском конгрессе в защиту культуры в 1935 году. После захвата Австрии Гитлером Музиль по политическим мотивам эмигрировал в Швейцарию, где в крайне стесненных условиях продолжал работу над романом. Умер за рабочим столом в апреле 1942 года.

Ю. АРХИПОВ

I

згородь. Пела птица. Потом солнце было уже где-то за кустами. Птица умолкла. Смеркалось. Через поле шли девушки с песнями. Какие подробности! Разве это мелочи — когда к человеку пристают такие подробности? Как репейники! И все это — Тонка. Иногда бесконечность сочится по капле.

Да, и еще лошадь, его гнедая, он привязал ее к стволу ивы. В тот год он отбывал армейскую повинность. Это не случайно произошло именно в тот год, потому что никогда в жизни человек не бывает так одинок и растерян, как в это время, когда чужая, грубая сила срывает все покровы с души. Человек становится сразу таким беззащитным.

Но так ли это было вообще? Да нет — это все он сочинил потом. Получилась сказка, и он теперь в ней запутался. Ведь на самом-то деле, когда они познакомились, она жила у своей тетки. И кузина Жюли иногда заходила в гости. Да, так оно и было. Он еще удивлялся, что кузину Жюли сажали за стол и угощали кофе,— ведь она была семейным позором. Все знали, что с ней можно было заговорить на улице и тут же увести к себе домой; и к сводням она ходила, и вообще другого заработка у нее не было. Но, с другой стороны, она все-таки была родственница, хоть ее и осуждали за такую распущенность; она, конечно, шла по скользкой дорожке, но не отказывать же ей было от дома, тем более что и заглядывала она не часто. Мужчина еще устроил бы скандал, потому что мужчина читает газеты или посещает ферейны с благонамеренными уставами и всегда напичкан громкими фразами; тетка же ограничивалась лишь двумя-тремя едкими замечаниями после ухода Жюли, а пока с ней сидели за столом, трудно было удержаться от смеха, потому что девушка она была остроумная и знала про все, что делается в городе. В общем, хоть ее и порицали, но такой уж пропасти не было,— мостик все-таки существовал.

Или взять этих арестанток; почти все они тоже были проститутками, и вскоре даже пришлось перевести тюрьму в другое место, потому что многие прямо в заключении вдруг забеременели: всё, конечно, пошло с соседней стройки, где они таскали известку, а арестанты-мужчины работали каменщиками. Так вот этих женщин брали на домашние работы — они, к примеру, очень хорошо стирали и пользовались большим спросом у простого люда, потому что обходились дешево. Тонкина бабушка тоже звала их постирать, угощала кофе с булками, а уж раз вместе с ними работали по дому, то и завтракали вместе и не брезговали. В обед их надо было отправлять в тюрьму с провожатым, такой был порядок, и обычно это поручали Тонке, когда она была еще девочкой; она шла с ними рядом, болтала и не стыдилась их общества, хотя их за версту можно было узнать по белым платкам и серым тюремным халатам. Наверное, тогда это еще была наивность, доверчивая наивность бедного крохотного существа, беззащитного перед огрубляющими влияниями; но когда Тонка позже, в шестнадцать лет, все еще бесстрашно шутила с кузиной Жюли — можно ли сказать, что и тогда она не веда-

ла, что такое позор, или у нее уже утратилось самое ощущение позора? Если и тут не было ее вины,— все равно, как о многом это говорит!

Не забыть еще про сам дом. Он выходил пятью окнами на улицу — застрял там между высокими новыми домами,— и во дворе была пристройка; в ней жила Тонка со своей теткой, которая на самом деле была ее кузиной, только намного старше, и с ее маленьким сыном, который на самом деле был внебрачным сыном, хотя и произошел от связи, воспринимавшейся теткой столь же серьезно, как и законный брак; и еще с ними жила бабушка, которая была на самом деле сестрой бабушки, а еще раньше там жил настоящий брат Тонкиной покойной матери, но он тоже умер молодым; все это в одной комнате с кухонькой, в то время как за фасадом с пятью окнами, деликатно задернутыми занавесками, скрывался известный всему городу притон, где встречались с мужчинами легкомысленные жены местных горожан, да и просто профессиональные дамы. Жильцы дома проходили мимо этих занавесок молча, но, поскольку ссориться со сводней не хотели, с ней даже здоровались, а она была дородной особой с повышенным чувством респектабельности и воспитывала дочку — ровесницу Тонки. Эту дочку она отдала в хорошую школу, заставила учить французский и играть на фортепьяно, покупала ей красивые платья и тщательно оберегала от общения со своими посетителями: у нее было мягкое сердце, и это облегчало ей занятие ремеслом, предосудительность которого она понимала. С дочкой Тонке иногда позволяли играть; тогда ей разрешалось входить в комнаты, которые в эти часы были безлюдны и огромны и на всю жизнь оставили у Тонки впечатление роскоши и изысканности,— он лишь позже свел это впечатление к надлежащим масштабам. Кстати говоря, звали ее не совсем Тонка: при рождении ей дали немецкое имя Антония, а Тонка было сокращением от чешского ласкательного Тонинка,— в этих кварталах говорили на странной смеси двух языков.

Опять эти мысли — куда они заведут?! Она же все-таки стояла тогда у изгороди, в полумраке раскрытой двери дома, крайнего по городской дороге, и на ней были шнурованные сапожки, красные чулки и яркие широкие накрахмаленные юбки, и когда она говорила, то все будто смотрела на бледный полумесяц, висевший над стогами, отвечала с робким лукавством, смеялась, и луна словно охраняла ее, а ветер так осторожно дул над жнивьем, будто остужал горячий суп. Он еще сказал тогда на обратном пути своему соседу по казарме барону Морданскому: «Вот с такой девчонкой я бы не прочь покрутить. Боюсь только впасть в сентиментальность,— разве что взять тебя в друзья дома?» А Мордан-ский, у которого дядя был владельцем сахарного завода, рассказал ему, что во время уборки свеклы на заводских плантациях работают сотни таких крестьяночек и во всем слушаются надзирателей и их помощников — как негры. И ведь он точно однажды обозлился и оборвал разговор с Морданским, но это все-таки было в другой раз, а то, что прикидывалось сейчас воспоминанием, уже позже колючим кустарником разрослось в его мозгу. На самом деле он увидал ее впервые на Ринге — на той центральной улице с каменными павильонами, где на перекрестках стоят офицеры и правительственные чиновники, слоняются без дела студенты и начинающие негоцианты, гуляют под руку девушки после работы, а которые полюбопытнее, и в обеденный перерыв; иногда, степенно раскланиваясь, прошествует какой-нибудь адвокат, член магистрата или видный фабрикант, и даже встречаются элегантные дамы — совершенно случайно, просто по дороге домой из магазинов. Там вдруг его обжег ее взгляд, смешливый, мгновенный — как случайно попавший в лицо прохожему мячик; через секунду она уже отвела глаза в сторону с притворно-равнодушным видом. Он тут же обернулся — сейчас захихикает! — но Тонка шла с поднятой головой и как будто испуганная;

она была еще с двумя подружками ростом поменьше, и лицо у нее было хоть и не красивое, но какое-то ясное, четкое,— ничего притворного, специфически женского, искусно продуманного до мелочей; рот, нос, глаза были просто ртом, носом, глазами и не нуждались ни в каких добавлениях, подкупая одним этим своим прямодушием и разлитой в них свежестью. Странно, что такой спокойный взгляд мог засесть как стрела, и ей как будто и самой вдруг стало больно.

Теперь все было ясно. Она тогда работала в магазине тканей, магазин был большой, продавщиц много. Она копалась в рулонах, когда покупатель требовал материю определенного образца, и руки у нее всегда были немного влажные, потому что тонкий ворс раздражал кожу. Тут не было ничего похожего на сон, на мечту, и лицо ее оставалось ясным. Но были еще сыновья директора. Один, как белка, с усами, распушенными на кончиках, и всегда в лаковых штиблетах,— Тонка с увлечением рассказывала, какой он благородный, сколько у него штиблет и что он каждый вечер закладывает свои брюки между досками и придавливает кирпичами, чтобы сохранить стрелки.

И теперь, когда сквозь туман проступило что-то реальное, всплыла и та улыбка,— горькая, понимающая улыбка его собственной матери, полная презрительного сострадания. Улыбка была совсем реальной. Она говорила: господи, это же ясно, все эти девушки из магазина ...! Но хотя Тонка была еще невинной, когда он ее узнал, эта улыбка, коварно запрятавшись или замаскировавшись, потом не раз всплывала в его мучительных представлениях. Может, именно такой улыбки ни разу и не было; он и сейчас не мог бы за это поручиться. А потом ведь бывают брачные ночи, когда ничего нельзя сказать наверняка,— так сказать, психологические неопределенности, когда даже естество не в состоянии дать ясный ответ,— и в ту же секунду, как только это снова всплыло в его памяти, он понял: само небо было против Тонки.

II

С его стороны было непростительным легкомыслием устроить Тонку сиделкой и компаньонкой к своей бабушке. Он был еще очень молод и прибег к маленькой хитрости; золовка его матери знала Тонкину тетку, которая подрабатывала белошвейкой в «хороших домах», и он подстроил так, что ее спросили, не знает ли она какую-нибудь молодую девушку и так далее. Девушка должна была присматривать за бабушкой и кроме жалованья получить потом кое-что по завещанию, поскольку ожидалось, что года через два-три бабушка отмучается.

Но к тому времени уже случилось несколько незначительных происшествий. Например, как-то раз он пошел вместе с ней купить что-то для бабушки; на улице играли дети, и они оба вдруг увидели лицо ревущей маленькой девочки — оно кривилось и морщилось от слез как червяк, и солнце било прямо в него. Он тогда с беспощадной отчетливостью разглядел вдруг за этим комочком жизни ту же самую смерть, что ждала своего часа в бабушкиных комнатах. Но Тонка, видите ли, «так любила маленьких!» — она наклонилась к девочке, стала с ней шутить, утешать ее; для нее это зрелище было забавным и ничего больше, хотя он и пытался ей внушить, что за этим скрывается и многое другое. Но с какой стороны он ни подступался, он повсюду наталкивался на все ту же непроницаемость мысли: Тонка не была глупой, но ей как будто что-то мешало быть умной, и впервые тогда он почувствовал к ней эту щемящую жалость, для которой так трудно найти объяснение.

В другой раз он спросил ее:

— Как долго вы, собственно говоря, живете у бабушки, фрей-

лейн? — И когда она ответила, он сказал: — Уже? Да-а, со старухой это время, наверное, показалось вам вечностью...

— О! — удивилась Тонка.— А мне нравится.

— Да мне-то вы спокойно можете сказать правду. Не представляю себе, чтобы молоденькой девушке это было так уж приятно.

— Это моя работа,— ответила Тонка и покраснела.

— Ну хорошо, работа. Но ведь хочется и чего-то другого в жизни.

— Да.

— А у вас есть все, чего вам хочется?

— Нет.

— Да — нет, да — нет,— он уже начинал злиться,— что это за разговор? Ну хоть обругайте нас! — Он видел, как ответы дрожали у нее на губах, как она боролась с ними и в самую последнюю минуту их проглатывала, и ему вдруг стало ее жаль: — Вы, наверное, меня не поймете, фрейлейн: я вовсе не думаю плохо о своей бабушке, не в этом дело; она несчастная женщина, но я смотрю на нее сейчас не моими глазами, так уж я устроен. Я смотрю на нее вашими глазами, и тогда она — просто отвратительная старая карга. Вы меня поняли?

— Да,— тихо сказала фрейлейн и теперь уже вся залилась краской.— Я еще раньше поняла. Только я не знаю, как это сказать.

Тут он рассмеялся.

— Такого со мной еще не бывало: чтобы человек чего-то не мог сказать! Но теперь вы меня уж совсем раззадорили. Давайте я вам помогу.— Он глянул ей прямо в глаза и тем смутил ее еще больше.— Ну, скажите: может быть, вам доставляет удовольствие спокойно, добросовестно выполнять свои обязанности, изо дня в день, все как положено? Да?

— О, я... я не понимаю, что вы хотите сказать; моя работа мне нравится.

— Нравится — прекрасно. Но вас к ней тянет или нет? Ведь есть люди, которым, кроме повседневной работы, ничего другого и не надо.

— Я... я не понимаю.

— Ну, есть ведь еще желания, мечты, честолюбие! Неужели вас совсем не волнует вот такой день, как сегодня?

В каменной чаше города день дымился весенним медвяным маревом.

Теперь засмеялась фрейлейн:

— Ну что вы! Только ведь это совсем другое.

— Другое? Так что же, значит, вам нравятся полутемные комнаты, разговоры шепотом, запах склянок с микстурами? Такие люди тоже бывают, фрейлейн, но я уже вижу по вашему лицу, что это опять не то.

Фрейлейн Тонка покачала головой, и уголки ее губ чуть опустились — в знак робкой иронии или просто от смущения. А он не отставал:

— Вот видите, как я все время попадаю впросак со своими догадками — вы даже смеетесь надо мной. Может, это придаст вам смелости? Ну?

И тогда, наконец, она пояснила. Не сразу. Запинаясь. Подыскивая слова, как будто ей приходилось втолковывать что-то необычайно сложное для понимания:

— Надо же мне как-то зарабатывать.

Господи — всего-то!

Ах, какой он был утонченный осел, и какая вековая каменная глыба открылась за этими обыденными словами.

В другой раз они тайком ушли с Тонкой гулять; такие прогулки они устраивали в Тонкины выходные — ей их давали дважды в месяц; стояло лето. Когда наступил вечер, воздух стал таким же теплым, как руки и лицо; закроешь глаза при ходьбе, и кажется, что ты целиком раство-

ряешься и паришь в беспредельном пространстве. Он сказал это Тонке; она засмеялась, и он спросил, поняла ли она его.

О да.

Он не поверил и попросил ее пересказать своими словами; а вот этого она не могла.

Тогда, значит, она не понимает.

Нет, почему же,— и вдруг: петь хочется!

Ну уж нет! Да! Препирались они довольно долго, но в конце концов запели,— как выкладывают на стол вещественную улику или отправляются на разведку местности. Пели они плохо, из оперетты, но, к счастью, Тонка пела тихим голосом, и он был рад этому проблеску такта. Она наверняка один-единственный раз в своей жизни была в театре, сказал он себе, и с тех пор этот пошлый мотив для нее — воплощение красоты бытия. Но она даже эти несколько мелодий слыхала только от своих подружек по магазину.

Неужели они ей действительно нравятся? Его всякий раз раздражало, когда она вспоминала про свой магазин.

Тонка не знала, как это объяснить, и не знала, хороша эта музыка или плоха; просто она пробуждала в ней мечту самой когда-нибудь выйти на сцену и, не жалея сил, заставить людей смеяться от счастья или плакать от горя. Это уж было совсем смешно — если еще видеть при этом Тонкино взволнованное лицо; у него совсем испортилось настроение, и он уже не подпевал, а просто бурчал себе под нос. Тонка оборвала на полуслове; она, видимо, тоже что-то почувствовала, и некоторое время они шли молча, пока Тонка не остановилась и не сказала:

— А мне вовсе и не так хотелось петь.

И, заметив, что его взгляд чуть-чуть потеплел, она тихо запела снова, но на этот раз народные песни своего края. Они шли медленно, и эти печальные напевы щемили душу, как белые бабочки в лучах солнца. И сразу вдруг права оказалась Тонка.

Теперь уже он не мог объяснить, что с ним происходит, а Тонке приходилось мучиться сознанием своей глупости и бесчувственности, потому что она говорила не на обыкновенном языке, а на каком-то изначальном языке самой природы. Тогда он все понял: песни просто приходят ей в голову. Он подумал, что она очень одинока. Если бы не он, кто бы мог ее понять? И они опять запели вместе. Тонка подсказывала ему незнакомый текст, тут же переводила, и они, взявшись за руки, пели, как дети. Когда они останавливались, чтобы перевести дух, там, впереди, где сумерки заволакивали дорогу, тоже наступала мгновенная тишина; и хотя все это, конечно, было смешно и глупо, вечер сливался с их чувствами в одно.

А еще как-то они сидели на опушке леса, он смотрел, сощурив веки, только сквозь узкую щелочку между ними и молчал, занятый своими мыслями. Тонка испугалась, решив, что опять его чем-то рассердила. Она несколько раз набирала воздух, ища слов, но тут же робела и сникала. Так они сидели долго в полном молчании, и кругом был слышен только томительный лепет леса, ежесекундно возникавший и умолкавший то тут, то там. Один раз между ними вспорхнула бабочка и уселась на цветок с тонким высоким стеблем; цветок вздрогнул от прикосновения и закачался, а потом вдруг сразу замер, как оборвавшийся разговор. Тонка крепко вдавила пальцы в мох, на котором они сидели; но крохотные стебельки через секунду вновь выпрямились, ряд за рядом, и еще через секунду изгладился всякий след от лежавшей на них руки. Хотелось плакать, неизвестно почему. Если бы Тонка была научена думать так, как ее спутник, она почувствовала бы в эту минуту, что природа состоит сплошь из невзрачных малостей, существующих в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи; бо-

жественная природа; по его ноге поползла оса, голова ее была похожа на фонарь, и он все время следил за ней. И смотрел на свой широкий черный ботинок, косо перечеркивающий бурую полосу дороги.

Тонку и раньше охватывал страх при мысли, что однажды на ее пути встанет мужчина и ей уже никуда не удастся свернуть. То, о чем с горящими глазами рассказывали ей старшие подружки-продавщицы, было торопливой и грубо-легкомысленной чувственностью, и всякий раз, когда мужчина и с ней пробовал перейти на нежности, она ощетинивалась после первых же его слов. Сейчас, когда она смотрела на своего спутника, ее вдруг что-то кольнуло в сердце; до этой минуты она не задумывалась над тем, что находится в обществе мужчины, потому что тут все было по-другому. Он лежал на спине, широко раскинув ноги, опершись на локти и опустив голову на грудь; Тонка почти с испугом украдкой заглядывала ему в глаза, а в них была какая-то странная улыбка; он закрыл один глаз, глядя другим вдоль своего тела; он явно сознавал, что его торчащий ботинок некрасив, и, наверное, сознавал также, что не бог весть как это много — лежать рядом с Тонкой на опушке леса, но ничего не мог поделать: все по отдельности было некрасиво, а все вместе было счастьем. Тонка тихонько поднялась. Кровь застучала вдруг у нее в висках, сердце заколотилось. Она не понимала того, что́ он думал, но она все читала в его взгляде, и вдруг ей захотелось обхватить его голову и закрыть ему глаза. Она сказала:

— Надо идти, а то совсем стемнеет.

Когда они вышли на дорогу, он сказал:

— Вы, наверное, скучали, но ко мне надо привыкнуть.

Он взял ее под руку, потому что смеркалось, и начал оправдываться за свою молчаливость и — уже непроизвольно — за свои мысли. Она не понимала того, что он говорил, но она по-своему разгадывала его слова, звучавшие так серьезно в вечернем тумане. Когда же он начал извиняться еще и за эту свою серьезность, она совсем запуталась, а пресвятая дева Мария только подсказала ей, что надо крепче прижаться к его руке, и Тонке стало ужасно стыдно.

Он погладил ее руку.

— Мы с вами добрые друзья, Тонка, но — понимаете ли вы меня?

Помедлив, Тонка ответила:

— Не важно, понимаю я или нет, я ведь все равно не сумею ответить. Но мне нравится, что вы такой серьезный.

Конечно, это все были мелочи, но как странно, что ей пришлось пережить их дважды — одни и те же! Собственно говоря, они были с ней все время. И она не могла понять: как же это они позже вдруг стали означать прямую противоположность тому, что означали в первый раз? Такой неизменной оставалась Тонка, так проста и прозрачна была ее душа, что это было похоже на галлюцинацию,— как будто тебе вдруг привиделись наяву совершенно невероятные вещи.

III

Потом случилось уже событие — его бабушка безвременно скончалась; события ведь всегда происходят вне определенного времени и места — положат тебя куда-нибудь или просто забудут, и ты лежишь заброшенный, как никому не нужная вещь. Но то, что произошло намного позже, случается в мире тысячу раз на день, и невозможно только понять, почему это случилось именно с Тонкой.

А пока все шло строго по порядку, как полагается в приличных семьях: появился врач, пришли служащие похоронного бюро, выписали свидетельство о смерти, бабушку похоронили. С наследством, слава богу, все обошлось без тягостных формальностей,— за исключением одного-

единственного пункта завещания, касавшегося фрейлейн Тонки с фантастической фамилией — одной из тех чешских фамилий, которые в переводе оказываются чем-нибудь вроде «Певунчик» или «По лугу шел». Существовал договор, согласно которому фрейлейн Тонке, помимо жалованья, очень незначительного, за каждый полный проработанный год полагалась определенная сумма по завещанию, а поскольку семейство рассчитывало, что бабушка проболеет дольше и, предвидя обременительность ухода за больной, на всякий случай распределило ежегодную сумму по принципу постепенного нарастания, то в результате получился совершенный пустяк, который особенно возмутил молодого человека, исчислявшего потерянные месяцы молодой Тонкиной жизни в минутах. Он присутствовал при том, как Гиацинт производил с ней расчет. Он сделал вид, что читает книжку — это были все еще «Фрагменты» Новалиса,— но на самом деле он внимательно за всем следил, и ему стало стыдно, когда его дядя назвал сумму. Да и тот, видно, тоже ощутил что-то похожее на стыд, потому что начал подробно объяснять фрейлейн условия заключенного в свое время контракта. Фрейлейн Тонка внимательно слушала его, плотно сжав губы, и с трогательной серьезностью следила за всеми выкладками.

— Значит, мы в расчете? — сказал дядя и выложил деньги на стол.

Она, скорее всего, ничего не поняла, вынула из кармана юбки маленький кошелечек, свернула бумажки и засунула их в него; но так как ей пришлось свернуть их в несколько раз, то, хоть их и было очень немного, комочек получился довольно толстый и уместился там еле-еле; раздувшийся кошелек оттопыривался у нее на боку под юбкой, как желвак.

Теперь у фрейлейн был еще только один вопрос:

— Когда мне уходить?

— Н-да,— сказал дядя,— ну, несколько дней у нас еще займут всякие формальности; до тех пор вы, конечно, можете оставаться. Но можете уйти и раньше — когда захотите: ваши услуги нам ведь больше не нужны!

— Спасибо,— сказала фрейлейн и ушла в свою комнатку.

Тем временем другие приступили к распределению мелкой утвари. Они были похожи на волков, пожирающих убитого собрата, и уже успели порядком друг друга взвинтить, когда он спросил, не дать ли фрейлейн по крайней мере какой-нибудь ценный подарок, раз денег ей досталось так мало.

— Мы уже ей выделили бабушкин большой молитвенник.

— Да, но ей наверняка было бы приятнее получить что-нибудь более существенное; что вы собираетесь делать вот с этим, например? — Он взял в руки коричневый меховой воротник, лежавший на столе.

— Это для Эмми.— Эмми была его кузина.— Да и как можно — это же норка!

Он рассмеялся.

— Кто сказал, что бедным девушкам непременно надо дарить только что-нибудь душеспасительное? Вы хотите прослыть скупердяями?

— Ну знаешь, не вмешивайся не в свое дело,— заявила мать, но, сознавая, видимо, что он не так уж неправ, продолжала: — Ты же этого не понимаешь; не обделят ее, не бойся! — И она широким жестом раздраженно отложила для фрейлейн несколько носовых платков, рубашек и панталон умершей, а также черное платье из совсем еще нового сукна.— Ну вот этого, надеюсь, хватит? Не так уж твоя фрейлейн и старалась, и сентиментальной ее тоже не назовешь: ни после смерти бабушки, ни во время похорон она не выдавила из себя ни слезинки! Так что, пожалуйста, успокойся.

— Некоторые люди просто не так легко плачут; это же не аргумент,— ответил сын не потому, что считал важным это сказать, а потому, что ему нравилась собственная находчивость.

— Ну хватит,— сказала мать.— Неужели ты не чувствуешь, что твои замечания неуместны?

Он проглотил этот выговор не из робости, а потому, что вдруг страшно обрадовался, что Тонка не плакала. Родственники были возбуждены, перебивали друг друга, но он заметил, что за интересами своими они следили неукоснительно. Говорили они неприятными голосами, но очень бойко, не стесняясь поднятого гама, и в конце концов каждый получил, что хотел. Умение говорить было не средством выражения мысли, а капиталом, украшением, выставленным напоказ; стоя перед столом с подарками, он вспомнил стихи: «Ему с крылатою мечтою послал дар песней Аполлон» * — и впервые понял, что это действительно дар. Какой бессловесной была Тонка! Не умела ни плакать, ни говорить. Но если что-то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую-нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка — реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха? Здесь, как видно, наши понятия подходят к той грани, где они теряют всякую опору. И он молча вышел из комнаты, чтобы сказать Тонке, что возьмет на себя заботу об ее судьбе.

Он застал фрейлейн Тонку за сбором пожитков. На стуле лежала картонная коробка, еще две стояли на полу. Одна уже была перевязана бечевкой, но обе другие явно отказывались вместить разбросанные кругом богатства, и фрейлейн прикидывала в уме, вытаскивала то одну, то другую вещь — чулки и платочки, шнурованные сапожки и катушки с нитками,— примеряла в длину и ширину и, как ни скудно было ее приданое, никак не могла его втиснуть, потому что саквояжи ее были еще скромней.

Дверь в комнату была распахнута, и он мог некоторое время наблюдать за Тонкой, оставаясь незамеченным. Когда она его увидела, то залилась краской и быстро встала перед раскрытыми коробками.

— Вы уже нас покидаете? — сказал он и обрадовался ее смущению.— А что вы собираетесь делать?

— Поеду домой к тете.

— И там останетесь?

Фрейлейн Тонка пожала плечами.

— Постараюсь куда-нибудь устроиться.

— А тетя не будет вас попрекать?

— На несколько месяцев у меня денег хватит, а за это время я куда-нибудь устроюсь.

— Но вы же истратите все свои сбережения.

— Что поделаешь.

— А если вы не сразу найдете работу?

— Ну что же, тогда меня опять каждый день будут этим попрекать.

— Попрекать? Чем?

— Ну, что я ничего не зарабатываю. Уже было так — когда я работала в магазине. Зарабатывала я мало, но что я могла сделать? Вообще-то она никогда ничего не говорила. Только когда сердилась — но тут уж не смолчит.

— И потому вы пошли работать к нам?

— Да.

— Знаете что,— сказал он вдруг.— Вы не поедете к своей тете. Вы что-нибудь найдете. Я... Я вам помогу.

* Строки из баллады Шиллера «Ивиковы журавли» (перевод В. Жуковского).

Она не сказала ни «да», ни «нет», ни «спасибо»; но когда он ушел, она медленно вынула все вещи одну за другой из картонок и разложила по своим местам. Она страшно покраснела, не могла собраться с мыслями, долго смотрела перед собой, держа в руке очередную тряпку, и потом поняла: это уже любовь.

А он, вернувшись в свою комнату, где на столе лежали все те же «Фрагменты» Новалиса, перепугался ответственности, вдруг взятой на себя. Неожиданно произошло что-то, что отныне должно было определять его жизнь, хотя вовсе не так уж близко его касалось. Может быть, он в эту минуту даже насторожился — оттого, что Тонка так просто приняла его предложение.

Но тут он вдруг подумал: «А с чего я вообще ей это предложил?» — и не смог ответить на этот вопрос, как и на вопрос о том, почему она согласилась. У нее лицо было такое же растерянное, как и у него. Ужасно глупое положение; как во время падения во сне — никак не можешь долететь до земли. Но он еще раз поговорил с Тонкой. Он не хотел быть неискренним. Говорил о полной свободе, о духовных запросах, о неприязни ко всем голубиным идиллиям, о возможных встречах с необыкновенными женщинами — как говорят все очень молодые люди, которые мало пережили, но многого хотят. Когда он заметил, что Тонкины ресницы дрогнули, он, вдруг испугавшись, что сделал ей больно, взмолился:

— Только вы поймите меня правильно!

— Я понимаю! — ответила ему Тонка.

IV

Все говорили: «Она же совсем простая девушка! Из магазина!» Ну и что? Другие женщины тоже ничего не знают и нигде не учились. Но нет, надо обязательно что-то нацепить на человека, какой-то опознавательный знак — навек. Надо чему-то выучиться, приобрести принципы, положение в обществе; человек сам по себе ничего не значит. А каковы были они, те, у которых все есть, кто что-то значит? Да, возможно, мать боялась, что сын повторит ошибку ее собственной жизни — она в своем выборе оказалась недостаточно горда; ее муж был всего-навсего простым лейтенантом — обыкновенный жизнерадостный остряк, его отец. Она хотела в сыне исправить свою неудавшуюся жизнь, она за это боролась. В принципе он одобрял ее гордость. Но почему мать ни капельки его не трогала?

Она была воплощением долга; брак ее приобрел смысл лишь с болезнью отца. Как готовый к бою солдат, как часовой, отбивающийся от превосходящих сил противника, встала она тогда у постели медленно впадавшего в идиотизм супруга. До тех пор она тянула эту нескончаемую волынку с дядей Гиацинтом. Он был им вовсе не родственник, просто друг дома, один из тех дядей, которых дети, едва успев открыть глаза, уже находят в семействе,— старший советник по финансовым вопросам и, по совместительству, популярный немецкий писатель, проза которого выходила солидными тиражами. Он принес в жизнь матери отблеск высоких идей и светского лоска, скрашивавший трагическое одиночество ее души, был начитан в истории, и потому его мысли, свободно обнимая тысячелетия и кардинальные вопросы бытия, казались тем гениальней, чем они были бессодержательней. По причинам, так и оставшимся для мальчика неясными, этот человек в течение многих лет питал к его матери восторженную, беззаветную и терпеливую любовь; может быть, потому, что мать, как истая дочь офицера, обладала четкими представлениями о характере и чести и ежеминутно излучала одним своим присутствием ту самую твердость принципов, которая нужна была ему для идеальных героев его романов, в то время как сам он смутно ощущал, что легкость его речи и слога происходила как раз от недостатка такой твердости. Но поскольку он, естественно, не хотел себе в этом признаваться, он убе-

дил себя, что это вовсе не недостаток, а признак вселенской скорби, и необходимость искать поддержки в чужой стойкости воспринимал как извечный жребий всякой универсальной души. Разумеется, и даме при этом кое-что перепадало от сладостного кубка возвышенного страдания. Они тщательно скрывали свои отношения даже от самих себя, считая их чисто духовными узами, но это удавалось не всегда; время от времени Гиацинт совершал рискованные оплошности, приводившие их в ужас, и они каждый раз терялись перед дилеммой: пасть ли окончательно или, не смущаясь, снова мужественно шагать к прежним высотам. Но когда заболел супруг, их смятенным душам представилась желанная опора, и они, цепляясь за нее, могли каждый раз возвышаться духовно на тот самый сантиметр, которого им в данный момент не хватало. Отныне супруга была прочно ограждена стеной долга; если ей и случалось еще согрешить в душе, она компенсировала этот грех удвоенным рвением в уходе за больным, и простой, непреложный закон избавлял теперь их мысль от того колебания между велением страсти и велением долга, которое доставляло им особенно много хлопот.

Вот так и выглядели эти люди, которые что-то значили,— вот так проявлялся их дух, их характер. И сколько бы ни встречалось в Гиацинтовых романах любви с первого взгляда, человек, который без оглядки пошел бы за другим человеком — как зверь, знающий, где можно пить, а где нельзя,— показался бы им диким, первобытным существом без малейшего представления о морали. В результате сын, испытывавший жалость к животной кротости отца, при всяком удобном случае атаковал Гиацинта и мать как своего рода духовную чуму, и потому его скоро отнесло в противоположном направлении, благо современная эпоха была так богата разнообразными возможностями. Всесторонне одаренный мальчик изучал химию и слышать не хотел о вопросах, не поддающихся однозначному решению,— больше того: он стал ярым врагом всяких разглагольствований и фанатическим приверженцем холодного, сухого, фантастического в своей сухости и воинствующего в своей новизне инженерного мышления. Он ратовал за уничтожение чувств, против стихов, добра, добродетели, простоты; певчим птицам нужен сук, на котором они могут сидеть, а суку нужно дерево, а дереву — бессловесный бурый перегной; сам же он просто парил в воздухе вне рамок времени; за этой эпохой, которая в равной мере строит и разрушает, придет другая, для которой мы с таким самоотречением, с таким аскетизмом закладываем фундамент, и только тогда люди поймут, каково было у нас на душе,— вот так примерно он рассуждал; надо стать суровым и сдержанным, как в полярной экспедиции. Немудрено, что уже в школе на него обратили внимание; студентом он выдвинул несколько изобретательских идей, собирался после получения докторской степени за один-два года их осуществить и потом с математической неотвратимостью подняться на том сияющем горизонте, каким представляет себе молодежь неясное, но всегда блистательное будущее. Тонку он любил потому, что не любил ее, потому что она не затрагивала его души, а просто омывала ее как проточная вода; но по-своему он любил ее даже больше, чем сам думал, и когда мать, почуявшая опасность, но не уверенная в справедливости своих подозрений, начала мало-помалу предпринимать осторожные, но целенаправленные расследования, он заторопился: сдал все экзамены и уехал из родительского дома.

V

Путь его лежал в большой немецкий город. Тонку он взял с собой: у него было такое чувство, что он выдаст ее врагам, если оставит в одном городе с ее теткой и своей матерью. Тонка уложила свои пожитки и по-

кинула родину легко и бездумно, как уносится ветер с закатом солнца или дождь с порывом ветра.

В новом городе она поступила на работу, опять в магазин. С работой она освоилась быстро и ежедневно выслушивала похвалы. Но почему она получала такое низкое жалованье и почему не просила надбавки, хотя ей не прибавляли плату только потому, что она обходилась и так? Все, что ей было нужно, она, не задумываясь, брала у своего друга. Иногда он с ней заговаривал о деньгах, но не из-за этого, конечно, а просто потому, что ему не всегда нравилась ее скромность и хотелось, чтобы она стала наконец умней.

— Почему ты не потребуешь, чтобы тебе больше платили?

— Я не могу.

— Не можешь, а сама говоришь, что всегда помогаешь, когда что-нибудь не в порядке.

— Да.

— Так в чем же дело?

При таких разговорах Тонка выказывала неожиданное упрямство. Она не возражала, но убедить ее было совершенно невозможно. Он мог говорить ей: «Слушай, ты же противоречишь сама себе; пожалуйста, объясни мне все-таки, в чем дело»,— но ничто не помогало.

— Тонка, если так будет и дальше, я рассержусь.

Тогда только, когда он заносил такую вот плетку, этот упрямый маленький мул — ее скромность — нехотя трогался с места и что-нибудь вывозил на свет божий; однажды, к примеру, выяснилось, что у нее корявый почерк и еще она боится наделать ошибок; она стыдилась ему в этом признаться, так что в уголках милых губ сначала дрогнул испуг и лишь постепенно выгнулся в радугу улыбки, когда она почувствовала, что ее не осуждают за этот ужасный порок.

А он, напротив, любил такие ее изъяны, как ноготь, изуродованный во время работы. Он послал ее учиться в вечернюю школу и радовался тому, какой она там приобрела забавный почерк: стала писать с завитушками, как приказчик! Ему милы были даже всякие немыслимые суждения, которые она оттуда приносила. Она как будто приносила их во рту не разжевав; было какое-то врожденное благородство в том, как беспомощна она была перед всякой суетностью и пустотой и в то же время интуитивно не впускала их к себе в душу. С поразительной безошибочностью, не умея выразить почему, она отвергала все грубое, бездуховное и пошлое, но у нее совершенно отсутствовало желание выйти за пределы собственного круга понятий; она была чиста и невозделана, как сама природа. Совсем не просто было любить такую простушку. А иногда она поражала его знанием вещей, которые были бесконечно от нее далеки,— даже в химии; когда он, увлекшись, рассказывал что-нибудь скорее вслух самому себе, вдруг обнаруживалось, что она знает это, знает то. Разумеется, в первый же раз он удивился и спросил ее. Брат ее матери, живший одно время у них в маленькой пристройке за домом свиданий, был студентом. «А где он сейчас»? — «Он умер сразу после экзаменов».— «И ты это все запомнила?» — «Я была совсем еще маленькая,— рассказала Тонка,— но когда он учил, я должна была его спрашивать. Я не понимала ни слова, но он писал мне вопросы на бумажках». Точка. И больше десяти лет все это лежало в ящичке, как красивые камешки с неизвестными названиями! Вот и сейчас, когда он работал, все ее счастье было в том, чтобы молча сидеть рядом. Она была природой, которая только еще начинает одухотворяться,— не то чтобы сознательно хочет стать духом, но любит его и инстинктивно тянется к нему, как одно из многих существ, прибившихся за тысячелетия к человеку.

Его отношение к ней в то время было непростым и в равной мере далеким и от влюбленности, и от легковесности. Собственно говоря, еще у себя на родине они поразительно долго были безгрешны. Они виделись вечерами, ходили вместе гулять, рассказывали друг другу о всяких мелких дневных происшествиях и огорчениях, и это было так же приятно, как есть хлеб, посыпанный солью. Позже он, разумеется, снял комнату, но сделал это просто потому, что так полагается, и еще потому, что нельзя же зимой целыми днями торчать на улице. Там они впервые поцеловались. Получилось несколько скованно — скорее подтверждение, чем удовольствие,— и губы у Тонки от волнения стали совсем жесткими и сухими. Тогда же они заговорили и о том, чтобы «принадлежать друг другу целиком». То есть завел разговор он, а Тонка молча слушала. С убийственной четкостью, навек врезающей в память однажды совершенную глупость, он вспоминал позже свои юношески-назидательные рассуждения о том, что это неизбежно, что лишь после этого люди до конца раскрываются друг другу,— так вот они и разрывались между чувством и теорией. Тонка сначала уговаривала его подождать несколько дней. Наконец, он оскорбился и спросил, такая ли уж это для нее огромная жертва. Тогда они назначили день!

И Тонка пришла. Она была в обычном своем темно-зеленом жакетике, голубом берете с черным помпоном, и щеки ее порозовели от быстрой ходьбы на воздухе. И вот она накрывает на стол, готовит чай. Только чуть сосредоточенней, чем обычно, и смотрит исключительно на то, что в эту секунду держит в руках. И хотя он целый день прождал ее с нетерпением, сейчас он сидит на диване, весь застывший, одеревеневший от юношеской неловкости, и наблюдает за ней. Он сразу понял, что Тонка не хотела думать о неизбежном, и вдруг пожалел, что назначил твердый срок — как судебный исполнитель! Но он только сейчас сообразил, что ему надо было бы застигнуть ее врасплох, взять ее лаской и уговорами.

Радости не было и в помине,— скорее он робел, стыдясь поднять руку на эту свежесть, овевавшую его как прохладный ветер при каждой встрече. Он попытался убедить себя в том, что рано или поздно это должно случиться, и, когда он следил за непроизвольными движениями Тонки, ему показалось, что его мысль петлей захлестнулась вокруг ее ног и с каждым оборотом притягивает ее все ближе и ближе.

Молча поужинав, они сели рядом. Он попытался сострить, Тонка попыталась рассмеяться. Но губы ее натужно скривились, и она сразу стала серьезной.

И тут он спросил:

— Тонка, а ты хочешь? Ты в самом деле согласна?

Тонка опустила голову, и в ее глазах будто что-то промелькнуло, но она не сказала «да» и не сказала «я тебя люблю», а он наклонился к ней и, вконец смутившись, начал тихим голосом ее уговаривать:

— Знаешь, сначала это кажется непривычным, наверное даже грубым. Но ты подумай, не можем же мы... понимаешь, ведь это же не просто так... А ты тогда закрой глаза. Ну?..

Кровать уже была постелена, и Тонка встала и пошла к ней, но вдруг в нерешительности села рядом на стул.

Он окликнул ее:

— Тонка!..

Она опять встала и, отвернувшись, начала раздеваться.

Неблагодарная мысль омрачила этот сладкий миг.

Приносила ли Тонка себя в жертву? Он не обещал любить ее,— почему же она не возмущалась положением, исключавшим для нее всякую надежду? Она все делала молча, как рабыня по приказу господина,—

так, может быть, она и другому подчинится так же, стоит тому пожелать? А она уже стояла во всей обреченности своей первой наготы, и кожа ее, как слишком узкое платье, так трогательно обтягивала тело; его плоть оказалась человечней и умней, чем его юношеский заносчивый ум, и когда он в следующую секунду взметнулся с дивана, Тонка, как бы желая спрятаться от него, странно неловким и непривычным движением скользнула в кровать.

Он запомнил только одно: проходя мимо стула, он вдруг ясно ощутил, что самое привычное и родное осталось тут, вместе с ее сброшенной одеждой, так хорошо ему знакомой; на него пахнуло тем милым ароматом свежести, который он первым делом ощущал, когда они встречались; а в постели его ждало незнакомое и чужое. Он помедлил секунду; Тонка лежала с закрытыми глазами, повернувшись лицом к стене, вытянувшись и замерев в неизбывном тоскливом одиночестве. Когда она почувствовала его около себя, к глазам ее прихлынули теплые слезы. Потом пришла новая волна страха, ужаса от сознания своей неблагодарности; нечленораздельное слово мольбы, вырвавшееся из бездонных темных глубин, превратилось в его имя,— и она уже принадлежала ему; вряд ли он и понял, с какой чарующей, детски-отчаянной храбростью она прокралась в него, какую немудреную хитрость она придумала, чтобы завладеть всем, что она в нем боготворила: надо просто отдать ему себя целиком, и тогда ты с ним станешь одним целым.

А он уже и не помнил потом, как это случилось.

VI

Потому что в одно прекрасное утро все разом переплелось в сплошной колючий кустарник.

Они уже прожили вместе несколько лет, когда однажды Тонка почувствовала, что беременна, и угодно же было небу избрать для этого такой именно день, что по нормальным подсчетам зачатие приходилось на время его частых отсутствий и поездок; впрочем, Тонка заметила свое состояние только тогда, когда точно определить срок было невозможно.

В такой ситуации соответствующие мысли сами собой лезут в голову, хотя на версту кругом не было ни одного мужчины, которого можно было бы заподозрить всерьез.

Несколькими неделями позже судьба заявила о себе еще неотвратимей: Тонка заболела. Это была болезнь, которая заносится в кровь матери ребенком или без его посредства, через отца,— тяжелая, медленная, страшная болезнь; но прокралась ли она окольным или ближайшим путем? Странно здесь было и то, что сроки в обоих случаях не сходились. Сам он, по всем человеческим понятиям, был как будто здоров, и, стало быть, либо их с Тонкой запутала какая-то уж совсем мистическая сила, либо Тонка все-таки взяла на душу самый что ни на есть обыкновенный человеческий грех. Были, конечно, и другие естественные возможности — в теории, так сказать, платонические,— но их вероятность практически равнялась нулю; практически вероятность того, что он не был ни отцом Тонкиного ребенка, ни причиной ее болезни, была почти стопроцентной.

Отвлекитесь теперь на минуту и попробуйте представить себе, как трудно ему было это понять. Практически! Когда вы являетесь к какому-нибудь толстосуму и вместо того, чтобы сразу раззадорить его перспективой барыша, пускаетесь в рассуждения о нынешних временах, о возможностях, которые представляются нынче состоятельным людям,— он сразу решит, что вы пришли его надуть. И он наверняка не ошибется,— хотя в принципе вы могли на самом деле прийти к нему просто для того, чтобы научить его уму-разуму. Точно так же и судья ни на секунду не

усомнится в том, что обвиняемый врет, если тот начнет ему рассказывать, что найденную у него вещественную улику он получил от «совершенно незнакомого человека». А ведь возможность-то такая тоже не исключена! Но так уж к нашему общему благу устроен мир, что все возможности взвешивать не обязательно — крайних случаев практически не бывает. А вот теоретически? Пожилой доктор, к которому он сразу повел Тонку, только пожал плечами, оставшись с ним наедине. Возможно? Ну, конечно, возможность не исключена; глаза у него были добрые и беспомощные, но они явно говорили: стоит ли попусту гадать — все равно вероятность эта для привычного разумения практически бесполезна. Ученый ведь тоже человек, и чем предполагать что-то совсем невероятное с медицинской точки зрения, он скорее предположит в качестве причины какой-нибудь чисто человеческий промах — исключения в природе редки.

С этого дня им овладело уже что-то вроде мании расследования. Он без конца ходил по врачам. Второй врач сказал ему примерно то же, что первый, а третий — что второй. Он торговался. Он пытался играть на противоречиях между воззрениями разных медицинских школ. Ученые господа выслушивали его молча или снисходительно улыбаясь — как чудака и неисправимого глупца. И он сам, конечно, как только раскрывал рот, понимал, что с тем же успехом мог бы спросить: а возможно ли непорочное зачатие? И ему ответили бы только: этого еще не бывало. Ему бы даже не привели закона, который бы это исключал,— просто этого еще не бывало. И он все равно был бы безнадежным рогоносцем, если бы это вообразил!

Возможно, один из его консультантов так прямо ему и сказал, или он однажды сам до этого додумался,— во всяком случае, он вполне мог додуматься до этого и сам. Но как невозможно было бы застегнуть пуговицу воротничка, если бы мы захотели продумать сначала все возможные комбинации пальцев, так все это время наряду с логической уверенностью перед ним стояла другая реальность: лицо Тонки. Ты идешь по полю, вдыхаешь тепло земли, вокруг чертят по небу ласточки, вдали видны городские башни, звучат девичьи голоса... ты далек от всяких истин, ты находишься в мире, не знающем самого этого понятия — истина. Тонка уходила в глубь легенд, в мир помазанника божьего, девы Марии и Понтия Пилата, а врачи говорили, что надо щадить ее и беречь, чтобы она выжила.

VII

Разумеется, время от времени он все-таки пытался заставить Тонку сознаться; на то он был мужчина и не дурак. Но она работала тогда в огромном грязном магазине в рабочем квартале, в семь должна была уже быть на месте и уходила оттуда не раньше половины десятого вечера — часто из-за нескольких жалких пфеннигов, которыми обогащал кассу последний запоздавший покупатель; она не видела солнца, ночью они спали порознь, и на всякие душевные проблемы времени совсем не оставалось. Они боялись даже и за это жалкое существование: вдруг заметят, что она беременна,— а у них уже тогда начались денежные затруднения; все свои средства он давно израсходовал на обучение, а зарабатывать сам не мог; в начале всякой научной карьеры это вообще нелегко, а он в ту пору хоть и не решил еще поставленной задачи, но был совсем близок к ее решению, и ему приходилось напрягать все силы для завершения работы. При такой жизни — беспросветной и полной забот— Тонка быстро начала увядать, и, конечно же, отцветала она не роскошно, как некоторые женщины, источающие при увядании головокружительный аромат, а сникала неслышно, как неказистая кухонная травка, которая желтеет и сморщивается, лишь только утратит свою зеленую

свежесть. Щеки ее потемнели и ввалились, от этого заметней выступил на лице крупный нос, и оказалось, что у нее очень большой рот и даже торчат уши; и с тела она спала — там, где раньше была гибкая упругость плоти, проступил теперь угловатый крестьянский костяк. У него самого, благодаря хорошему воспитанию, горе меньше отражалось на лице, и одевался он все еще прилично, но, выходя с ней на улицу, он стал теперь все чаще ловить на себе удивленные взгляды встречных. А поскольку он не был лишен тщеславия, то его злило, что он не мог накупить Тонке красивых платьев, и оттого еще больше на нее же и злился, злился на ее бедность, в которой сам был виноват, хотя, честное слово, если бы он только мог, он сначала задарил бы ее красивыми свободными платьями, какие шьют для беременных, и только потом притянул бы к ответу за неверность. Сколько он ни старался добиться признания, Тонка все отрицала. Она не знала, почему так вышло. Когда он умолял ее хотя бы ради их прежней дружбы не лгать ему, на лицо ее ложилась страдальческая черта, а если он начинал сердиться, она просто говорила, что не лжет,— ну что тут можно было поделать? Ударить ее, оскорбить, бросить одну в таком ужасном положении? Он больше не спал с ней, но она даже под пыткой ни в чем бы теперь не созналась — уже потому только, что с тех пор, как он перестал ей доверять и она это поняла, она не могла из себя выдавить ни слова, и это каменное упорство, эта замкнутость, не смягчавшаяся теперь, как раньше, даже редким проблеском милой улыбки, еще больше его обезоруживала. Приходилось собирать всю свою выдержку и ждать.

Он решился попросить денег у матери. Та ответила, что отец находится в преддверии смерти и все наличные средства должны быть под рукой на случай этого прискорбного исхода; проверить ее он не мог, хотя и знал, что больше всего на свете мать боится, как бы он не женился на Тонке. Ее, собственно, страшило уже то, что из-за Тонки он теперь вообще ни на ком не женится; и когда все так затянулось — и учение, и блестящее будущее, и болезнь отца, и домашние неурядицы,— во всем оказалась виноватой Тонка; ее воспринимали уже не просто как первопричину бесконечных невзгод, но почти как дурное предзнаменование, как злой рок,— это через нее впервые было нарушено привычное течение жизни в семействе, это она накликала на него беду. В переписке и при его наездах домой — поначалу туманно, потом все яснее — ему высказывалось это убеждение, основанное, в сущности, на элементарной боязни семейного позора — оттого, что сын зашел в своей связи с «этой девушкой» дальше, чем бывает принято у молодых людей. Гиацинт тоже счел нужным его предостеречь, и когда юноша, шокированный этим неосознанным суеверием, неприятно напомнившим ему его собственные страхи, запальчиво начал спорить, Тонку назвали «безответственной особой», вносящей разлад в семью, а потом дело дошло и до неуклюжих намеков на «всякие эротические штучки», с помощью которых она его «удерживает при себе»,— намеков, высказанных со всей наивностью образцово-добродетельных матерей. Они явственно читались и сейчас между строк в полученном им ответе,— как будто каждый пфенниг, раз он поддерживал его связь с Тонкой, мог принести ему только беду. Тогда он написал еще одно письмо, где сообщил, что скоро станет отцом.

В ответ мать приехала сама.

Она приехала, чтобы «поставить все на место».

Она не переступила порога его дома, словно боясь прикосновения скверны, и вызвала его в отель. Первое легкое смущение она подавила в себе сознанием долга и стала говорить ему об огорчениях, которые он всем им причиняет, о тяжелом состоянии отца и об оковах на всю жизнь; с неуклюжей искусностью она использовала все чувствительные регистры души, а он, хоть и скучал откровенно, видя насквозь ее уловки, все же

слушал с настороженным любопытством, потому что его привлек тон всепрощающего понимания, неизменно присутствовавший в ее словах.

— Кто знает,— говорила она,— может, это несчастье обернется на самом деле счастьем для тебя, и мы все отделаемся,— говорила она,— просто кратковременным шоком; главное теперь — извлечь для себя из всей этой истории урок на будущее!

Вот почему она, несмотря на все трудности, уговорила отца пожертвовать известную сумму; этих денег — она преподнесла это как царскую милость с их стороны — вполне хватит, чтобы удовлетворить все претензии и девушки и ребенка.

К ее собственному удивлению, сын хладнокровно спросил о размерах предлагаемой суммы и, выслушав, еще хладнокровней покачал головой, сказав просто:

— Ничего не выйдет.

Воспрянув духом, она возразила:

— Выйдет! Ты сейчас просто ослеплен; тысячи молодых людей совершают подобные глупости, а потом слушаются старших. Это же такой удачный случай, чтобы развязаться; ты не можешь упустить его из-за ложно понятой чести — это просто твой долг перед семьей и перед самим собой!

— То есть как это удачный случай?

— Ну, конечно! Я уверена, что твоя приятельница разумнее тебя: она-то уж наверняка знает, что с появлением ребенка такие связи прекращаются.

Он попросил дать ему сутки на размышление: что-то в нем дрогнуло.

Мать, врачи с понимающей улыбкой, мерный шум подземки по дороге домой, к Тонке, четкие, повелительные движения полицейского на перекрестке, грохочущий водопад городской суеты — все было заодно; лишь он стоял один, в пустоте под этим водопадом — не залитый, но отрезанный от всего.

Он спросил Тонку, согласилась ли бы она.

Тонка сказала — да. Какая-то жуткая двусмысленность была в этом ответе. Он прозвучал вполне рассудительно, как и предсказывала мать, но уголки губ, произнесших это «да», потерянно дрогнули.

И тогда он сам на следующий день сказал матери прямо в лицо, что, возможно, он вовсе и не отец ребенка, что Тонка больна, но что он, несмотря ни на что, скорее сам согласится признать, что он болен и ребенок — от него, а Тонку не бросит.

Мать только беспомощно улыбнулась в ответ, ласково взглянула на него, как на слепца, и ушла. Он понял, что теперь она с удесятеренной энергией примется защищать свою плоть и кровь от позора и что он приобрел себе в союзники очень могущественного врага.

VIII

Наконец Тонку уволили — он уже почти начал тревожиться оттого, что это новое несчастье не приходило так долго. Директор магазина был низеньким уродливым человечком, но в их отчаянном положении он представлялся им прямо какой-то сверхъестественной силой. Они уже задолго до этого прикидывали: наверное, он все понял, но он просто порядочный человек, который не станет подталкивать и без того несчастного к пропасти; потом решили: он ничего не замечает; слава богу, он еще вообще ничего не заметил! Но однажды утром он вызвал Тонку в контору и прямо спросил, в чем дело. Она не смогла ответить, только слезы выступили на глазах. Но этого благоразумного человека ничуть не

растрогало, что она не могла говорить; он выписал ей месячное жалованье и уволил тут же, на месте. И еще страшно разозлился, кричал, что не сможет теперь быстро найти замену, что Тонка не имела права обманывать его и скрывать свое положение, когда нанималась на работу,— даже секретаршу не попросил выйти, когда ей все это говорил. Тонка после этого почувствовала себя совсем уж падшей и дурной женщиной, а он в душе не мог не восхищаться этим ничтожным мелким торгашом, который, не колеблясь ни секунды, принес Тонку в жертву своим деловым интересам, и вместе с ней ее слезы, ее ребенка и один бог знает какие открытия, какие души и какую человеческую судьбу,— ничего этого он не знал и не хотел знать.

Теперь они стали обедать в маленькой столовой, где среди грубости и грязи за несколько пфеннигов получали еду, которая не лезла ему в горло. Он заходил за Тонкой ежедневно в обеденный час, свято выполняя свой долг. Странное впечатление производил он там среди подмастерьев и рассыльных в своем элегантном еще костюме, молчаливый, неотлучный и верный рыцарь беременной спутницы. Он ловил на себе насмешливые взгляды, иногда одобрительные, но они жгли его еще больше. Он ходил как лунатик среди грубого людского щебня большого города, с неотвязной мыслью о своем изобретении и с уверенностью в Тонкиной измене. Никогда прежде он так остро не ощущал железную круговую поруку внешнего мира; где бы он ни шел, всюду за ним как будто гналась по пятам собачья хриплая свора,— жадность у каждого своя, но все вместе — свора, и только ему одному некого было попросить о поддержке или хоть просто пожаловаться на свою судьбу; у него никогда не было времени для друзей, да и особого желания дружить с кем-нибудь — тоже: он весь был поглощен своими идеями, а такой груз может оказаться смертельным, пока люди не сообразят, что они могут извлечь из него выгоду. Он даже не мог представить себе, в каком направлении искать помощь: он был всем чужой. А Тонка? Кем была ему она? Дух от духа его? Нет, по роковому стечению судеб и она была чужим существом со своею тайною тайной, существом, просто прибившимся к нему!

Лишь вдали сквозь узкую щелку пробивался свет, и он всеми помыслами тянулся к нему. Он работал над своим изобретением, а оно в конце концов имело значение для всех, и здесь была все-таки не одна только работа мысли, а и многое другое: предчувствие победы, мужество, вера, которые никогда не обманывают, здоровая жажда жизни, ставшая его путеводной звездой. Тут и он шел по путям наибольших вероятностей, и постоянно какая-нибудь из них оправдывалась; он твердо верил, что так будет и впредь, что в конце концов он подарит людям важное открытие; начни он проверять все возможные сомнения так же, как он это делал с Тонкой, он никогда не пришел бы к концу: думать — значит думать не слишком много, и не жертвуй мы в чем-то безграничностью нашего изобретательского дара, мы не сделали бы ни одного открытия. Вот эта половина его жизни, как иногда ему думалось, находилась под незримой, таинственной, но счастливой звездой. А другая не была озарена. Они купили с Тонкой три лотерейных билета перед очередными скачками. Когда появилась таблица, он специально дождался Тонку, чтобы по дороге купить газету и проверить вместе с ней. Лотерея была мизерная, с главным выигрышем в каких-то несколько тысяч марок,— но ничего, на ближайшее будущее этого бы хватило. Будь это даже несколько сотен марок, все равно он мог бы купить Тонке самое необходимое из платьев и белья или переселить ее куда-нибудь из затхлой мансарды. Будь это даже просто двадцать марок — это бы хоть подбодрило их, и он накупил бы новых билетов. В конце концов, даже пять каких-нибудь марок он воспринял бы как добрый знак, как свидетельство того, что неведомые

сферы благосклонно отнеслись к его попытке снова укорениться в жизни.

Но ни один билет не выиграл. Конечно же, он купил их только шутки ради, и уже когда он ждал Тонку, он ощущал внутри сосущую пустоту, предвещавшую неудачу; колебался ли он все-таки между иллюзией и безысходностью, или это просто происходило оттого, что в его положении даже двадцать пфеннигов, потраченных впустую, означали ощутимый расход, но он вдруг твердо понял, что существует необоримая сила, недоброжелательная к нему, и что все кругом ему враждебно.

После этого он стал по-настоящему суеверен; то есть суеверен стал тот человек в нем, который вечерами встречал Тонку с работы,— другой по-прежнему бился над учеными проблемами. У него было два перстня, которые он надевал попеременно. Оба были дорогие, но один был старинный и с благородным камнем, а другой, новый, ему подарили родители, и он им раньше пренебрегал. Но однажды он заметил, что в те дни, когда он надевал новый перстень — обыкновенное дорогое пошлое кольцо, каких тысячи,— с ним реже приключались всякие напасти, чем когда он надевал старинный, и с этого дня он больше не решался носить тот перстень, а носил этот — как добровольное ярмо. В другой раз ему повезло в день, когда он не успел побриться; когда же он на следующее утро, вопреки этому наблюдению, побрился, он был наказан за провинность очередной мелкой неприятностью — одной из тех, которые только в его положении из пустяков превращаются в несчастья; с тех пор он боялся трогать свою бороду; она росла теперь без помех, он только тщательно подстригал ее клинышком, и все последующие горестные недели носил эту бороду. Она искажала его лицо, но для него она была как Тонка: он ухаживал за ней тем заботливей, чем некрасивей она выглядела. Возможно, и его чувство к Тонке становилось тем нежнее, чем больше она его огорчала, и бороду свою он так любил потому, что она была уродлива внешне. Тонке борода не нравилась, и она не понимала, зачем это. Не будь Тонки, он так бы и не узнал, как уродовала его борода, потому что мы мало знаем о себе, когда рядом нет других людей, в которых бы мы отражались. И поскольку мы вообще ничего о себе не знаем, он иногда, возможно, желал Тонкиной смерти, чтобы этой невыносимой жизни пришел конец, и борода нравилась ему просто потому, что все закрывала и скрывала.

IX

Время от времени он пробовал застигнуть ее врасплох каким-нибудь притворно-безобидным, гладко звучащим вопросом, рассчитывая, что при всей своей осторожности она все-таки когда-нибудь да и поскользнется. Но чаще не выдерживал он. «Ну пойми ты — бессмысленно отрицать очевидные факты! Ты мне только скажи, как это могло случиться. Мы же всегда были так искренни друг с другом!» — внушал он ей. Но у нее всегда был один ответ: «Если ты мне не веришь, прогони меня»; и, конечно же, она играла тут на своей беззащитности, но, несомненно, это был и самый правдивый ответ, потому что защищаться с помощью медицинских и философских аргументов она не могла, и все, что она могла,— это поручиться за правду своих слов только правдой самого своего существования.

Он всегда провожал ее, когда она куда-нибудь выходила, потому что не решался отпускать ее одну,— не то чтобы он боялся чего-то определенного — просто беспокоился, как она пойдет одна по широким чужим улицам. А когда он встречал ее вечером, они шли вместе, и если им попадался в сумерках мужчина, не приветствовавший их, то ему сразу казалось, что он где-то видел это лицо, что Тонка покраснела, и он вдруг вспоминал — где-то, случайно, они с ним уже встречались, и с той же

уверенностью, с какою он мог поклясться в искренности невинного выражения на Тонкином лице, он клялся себе: тот самый! То это был состоятельный практикант экспортной фирмы, которого они и видели-то раньше только один раз мельком; то тенор из кабаре, потерявший голос и снимавший одно время комнату у той же хозяйки, что и Тонка. Каждый раз это были вот такие, до смешного невероятные личности; их будто кто-то швырял в его память, как перевязанные грязные пакеты с запрятанной в них истиной, и всякий раз, при первой же попытке развязать такой пакет, оставалось, как горсть пыли, мучительное ощущение бессилия.

Вот так уличать Тонку в неверности стало для него уже каким-то наваждением. Тонка сносила все с обычной своей трогательной, бессловесно-нежной покорностью,— но мало ли что могла скрывать эта покорность! А стоило ему проверить одно за другим свои воспоминания вообще — каким все оказывалось двусмысленным! Например, та естественность, с какою она пошла за ним, равно могла быть и безразличием, и уверенностью сердца. Та беспрекословность, с какою она угождала малейшему его желанию, могла быть и равнодушием, и самоотвержением. Если она к нему привязалась, как собачонка, то она и за каждым хозяином могла пойти, как собачонка! Он ведь подумал об этом еще в самую первую их ночь — и была ли это вообще ее первая ночь? Он обращал тогда внимание только на нравственные признаки, но вовсе не мог сказать, что физические были столь же очевидны. А теперь уже было поздно. Теперь на все легло ее молчание, и оно могло означать действительную невинность или упорство, хитрость или страдание, раскаяние, страх; но и стыд за него тоже. Теперь ему ничто бы уже не помогло, переживи он даже еще раз все с самого начала. Когда человеку не веришь, ярчайшие доказательства его верности предстанут тебе прямо-таки неопровержимыми свидетельствами обмана, а поверь ему раз навсегда — и очевидные факты покажутся проявлениями непонятой любви, плачущей, как поставленный родителями в угол ребенок. Ничего невозможно было понять и объяснить в отдельности, одно зависело от другого — нужно было верить или не верить всему в целом, все любить или все считать ложью, и знать Тонку значило каким-то особым образом отвечать на нее, объяснять ей самой, кто она есть — ведь то, чем она была, и могла, и должна была быть, зависело почти целиком от него одного. И когда он добирался до этой мысли, образ Тонки затуманивался у него в голове и слепил, убаюкивая, как сказка.

Тогда он писал матери: «Ноги у нее от пола до колен такой же длины, как от колен доверху, и вообще они такие длинные, что могут шагать, как близнецы, не зная усталости. Кожа у нее не холеная, но белая и без малейших изъянов. Груди, пожалуй, несколько тяжеловаты, и под мышками растут темные спутанные волосы,— на белом гибком теле это выглядит так трогательно-бесстыдно. Волосы на висках свисают небрежными прядями, и время от времени она порывается их завить и взгромоздить наверх; тогда она становится похожей на горничную, и это, пожалуй, единственное зло, которое она совершила в своей жизни...»

Или он писал матери: «Между Анконой и Фиуме, а может быть, просто между Миддельkерком и каким-то совсем безвестным городом стоит маяк, свет которого каждую ночь, как раскрытый мерцающий веер, ложится на море; ляжет мерцающий веер, а потом — тьма, а потом — снова мерцанье. А в гористой долине Венны на лугах цветут эдельвейсы.

Что это — география, ботаника, навигация? Смутный образ, виденье, лицо — оно просто есть, здесь и отныне и во веки веков, везде и повсюду, и потому его будто и нет нигде. Или что это такое?»

Разумеется, он никогда не отсылал эти сумасбродные письма.

X

Не хватало какой-то неуловимой малости, чтобы убежденность стала уверенностью.

Однажды ему пришлось ехать вместе с матерью и Гиацинтом в поезде, и часа примерно в два ночи, в том состоянии безразличной усталости, когда тела уже совершенно безвольно качаются в купе из стороны в сторону, ища опоры, ему показалось, что мать очень доверительно прислонилась к Гиацинту и тот взял ее руку. Его глаза тогда расширились от гнева, потому что ему стало жаль отца; но когда он подался вперед, Гиацинт сидел один, а мать дремала, отвернувшись от него. Через минуту, когда он принял прежнее положение, все повторилось снова. Он не понимал, мучится он так из-за того, что не может ничего разглядеть в темноте, или не может ничего разглядеть оттого, что так мучится. В конце концов он сказал себе, что теперь уж уверился точно во всем, и решил утром привлечь мать к ответу; но с наступлением дня мысли эти рассеялись вместе с ночною тьмой. А еще раз — уже в другой поездке — матери вдруг стало плохо, и Гиацинт, которого она попросила вместо нее написать отцу, недовольно спросил: «А что я ему напишу?» — он, который при каждой отлучке строчил матери длиннейшие послания! Дело кончилось скандалом, потому что мальчик опять пришел в неистовство, мать почувствовала себя еще хуже, совсем расхворалась, надо было срочно что-то делать, руки Гиацинта постоянно попадались ему в этой суете, и он каждый раз отталкивал их, пока Гиацинт как-то растерянно и грустно не спросил: «Ну, что ты все время меня отталкиваешь?» И его вдруг напугало настоящее горе, прозвучавшее в этом голосе. Так мало мы знаем о том, что мы знаем, и хотим того, чего хотим.

Все это понятно; и тем не менее он сидел в своей комнате, терзаясь ревностью и внушая себе, что вовсе это не ревность, а какое-то совсем другое, ни к чему не относящееся, неизвестно зачем вымышленное чувство — хотя чувствовал все это он сам. Когда он оглядывался вокруг, все было на своих местах: зеленые с серым обои на стенах, красновато-коричневые двери, все в неверных солнечных бликах; дверные петли из потемневшей меди; стул красного дерева со спинкой из темно-малинового плюша. Но во всех этих вещах, хоть они стояли твердо и прямо, было что-то перекошенное, наклонившееся, почти падающее, и они казались ему далекими и бессмысленными. Он сдавливал пальцами глаза, оглядывался снова, но дело было не в глазах — вещи! В них надо раньше поверить, а потом только их воспринимать; если ты не научился смотреть на мир его собственными глазами, но уже держишь его во взгляде своем, то он распадается на бессмысленные частности, существующие в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи. Стоило ему взглянуть на улицу из окна, и внезапно на мир извозчика, ждавшего внизу, наезжал и врезывался другой мир — мир проходившего мимо чиновника, и возникало что-то перекромсанное, какая-то мерзкая несусветная путаница и мешанина, хаос суетливых единичностей, окруженных каждая ореолом благодушия и самодовольства и с целеустремленно поднятой головой уверенно шагавших по этому опрокинутому, перевернутому миру. Хочу, знаю, чувствую — все это переплетено у нас в неразделимый клубок, и мы замечаем это, только когда теряем нить; но, может быть, можно вообще идти по жизни иначе — не держась за нить истины? В такие минуты, когда пелена холодного отчуждения отделяла его от всего мира, Тонка становилась для него больше чем сказкой — почти уже посланием свыше.

Тогда он говорил себе: «Либо я должен жениться на Тонке, либо расстаться с ней и со всеми этими мыслями».

Решится ли кто-нибудь осудить его за то, что он, побуждаемый та-

кими причинами, не делал ни того, ни другого? Ведь хотя подобные мысли и чувства могут иметь свои основания, но нынче никто уже не сомневается в том, что они на добрую половину химеры. Оттого он хоть и думал об этом, но думал не совсем всерьез. Иногда ему казалось, что ему ниспослано испытание, но когда он утром просыпался и разговаривал с собой как мужчина с мужчиной, ему приходилось сознаваться, что испытание это было всего-навсего вопросом: собирается ли он и впредь, несмотря на почти стопроцентную вероятность того, что его обманули и что он законченный идиот, принуждать себя верить Тонке? Впрочем, эта унизительная для него перспектива уже во многом утратила свою остроту.

XI

Странным образом все это совпало с полосой его крупных успехов в науке. Он уже решил в основных чертах свою задачу и был совсем близок к практическим результатам. Его начали осаждать разные люди. Их интерес возвращал ему уверенность в себе, хотя речь шла только о химии. Все они были убеждены в успехе — вероятность была уже почти стопроцентной! И он оглушал себя работой, чтобы забыться.

Но в то время как упрочивалось его общественное положение и он словно входил в пору гражданской зрелости, его мысли, лишь только он отрывался от работы, мгновенно отправлялись вразброд по диковинным маршрутам; достаточно было имени Тонки зазвенеть в его душе, и перед ним оживали одна за другой какие-то фигуры, непроницаемые, как ежедневно встречающиеся на том же месте незнакомые друг другу люди. Появлялся тот ремесленник-тенор, с которым он одно время связывал факт Тонкиной измены, и все другие, кого он когда-либо в разной степени подозревал. Они ничего не делали — они просто ему являлись; или даже если они вытворяли самые ужасные вещи, это не меняло дела; а так как они иногда сливались по нескольку человек в одно лицо, то и ревновать было не к чему; все эти воспоминания таяли, становились прозрачными, как разреженный горный воздух, даже еще прозрачней,— и тогда возникало ощущение свободы и пустоты, лишенное всякой примеси себялюбия, и под этим высоким неподвижным куполом такими крохотными и ничтожными казались все житейские мелочи. А часто они совсем уже превращались в сон — или, может быть, все и с самого начала было сном, и когда работа его шла легче, он мгновенно воспарял в этот мир зыбких теней, и все это было ему как предостережение, что работа не есть еще подлинная жизнь.

Эти его сны наяву располагались в каком-то более глубоком слое, нежели часы бодрствования, и они были теплыми, как тесные горницы с низкими потолками. В этих снах тетка называла Тонку бессердечной за то, что та не плакала на похоронах бабушки, или какой-то омерзительный человек заявлял себя отцом Тонкиного ребенка, а она, вопросительно подняв глаза, впервые не отрицала,— просто недвижно стояла перед ним с какой-то отрешенной улыбкой; все это происходило в комнате, где стояли на красных коврах кадки с зелеными растениями, на стенах были синие звезды, а когда он поднимал взгляд в бесконечность, ковры становились зелеными, у растений появлялись огромные кроваво-красные листья, стены начинали отсвечивать желтым, как нежная человеческая кожа, а Тонка стояла на прежнем месте, как светлый и чистый лунный луч. Он почти осознанно жаждал этих снов, как простого теплого счастья; может быть, это была обыкновенная трусость, и они значили только: сознайся, Тонка,— и все будет хорошо. Их частые возвращения смущали его, но в них по крайней мере не было невыносимого, постоянно возрастающего напряжения бессонницы.

В этих снах Тонка всегда была безмерной, как сама любовь, а не простенькой продавщицей из магазина, которую он взял с собой,— но каждый раз она принимала другой облик. То она была своей собственной младшей сестрой, которой никогда не существовало; то просто шуршанием юбок, грудным звучанием незнакомого голоса, порывистой, стремительной поступью,— тогда в ней было все пьянящее очарование неведомых авантюр, вызываемое, как это случается только в сновидениях, одним лишь теплым и знакомым звуком ее имени; и все это дарило ему каждый раз радостное предвкушение обладания, хотя и было далеким и недоступным. Эти миражи пробуждали в нем какое-то легкое, беспредметное влечение, всеобъемлющая теплота затопляла его, но нельзя было сказать, отдаляла ли она его в такие моменты от Тонки или только теснее соединяла с ней. Когда он начинал проверять свои ощущения, он понимал, что эта загадочная суверенность любви и ее способность к перевоплощению должна была бы проявляться и в бодрствующем состоянии. Не тот, кого мы любим, является источником чувств, им якобы возбуждаемых, а сами эти чувства, как лампа, ставятся нами позади него и его освещают; но в то время как во сне еще существует тонкая трещина, отделяющая любовь от того, кого любишь, наяву она исчезает, и ты чувствуешь себя жертвой какой-то мистификации, тебя что-то как будто вынуждает боготворить человека, вовсе этого не заслуживающего. Он не решался поставить за Тонкой источник света.

Но то, что он теперь часто думал о лошадях, было как-то со всем этим связано и имело какое-то особое значение. Может быть, это была Тонка и их проигрыш в лотерее, или это было его детство, в котором он смутно помнил гнедых и буланых лошадей в тяжелых, украшенных кожей и медью сбруях. А иногда в нем вдруг вспыхивало пламенное мальчишеское сердце, для которого великодушие, вера и доброта не стали еще назойливыми обязанностями, а связывались с рыцарскими приключениями в заколдованных лесах, с подвигами и избавлениями. Но, может быть, это была последняя вспышка перед угасанием, зуд от заживающего шрама. Потому что лошади неизменно везли дрова, и мост под их копытами отвечал глухим древесным звуком, а на кучерах были короткие фиолетовые и коричневые куртки. Они все снимали шапки перед стоявшим на самой середине моста большим распятием с жестяной фигурой Спасителя, и только мальчишка не снимал своего беретика на морозе, потому что он уже был умный и в бога не верил. А потом он вдруг никак не мог застегнуть курточку — просто ничего не получалось. Его детские пальчики, одеревеневшие от мороза, ухватывали пуговицу и с трудом подтягивали ее к петле, но как только он хотел ее туда всунуть, она выскальзывала и возвращалась на прежнее место, и пальцы повисали в беспомощной растерянности. Сколько бы они ни пытались, все кончалось этой растерянной одеревенелостью.

Это воспоминание возвращалось особенно часто.

XII

Пока он разбирался со всеми этими неопределенностями, беременность Тонки развивалась и настойчиво возвращала его к реальности.

Появилась отяжелевшая походка, потребность опереться на чью-нибудь руку, грузное тело, полное таинственной теплоты, особая манера садиться — расставив ноги, неуклюже и трогательно-некрасиво; появились все признаки удивительных внутренних процессов, бесцеремонно превращавших девичье тело в семенную коробочку и изменявших пропорции — раздались и опустились бедра, колени утратили четкость контуров, окрепла шея, грудь превратилась в вымя, кожа на животе покрылась тонким сине-багровым узором вен, так что было даже страшно

оттого, что так близко от внешнего мира пульсировала кровь — как будто это угрожало смертью. Новая форма равно насильственно и терпеливо сдерживала в рамках эту абсолютную бесформенность, и нарушение обычных пропорций отражалось в самом взгляде: он притупился и отяжелел, подолгу останавливался на предметах и отрывался от них с огромным трудом. Часто он останавливался и на нем. Она продолжала все делать для него и угадывала его малейшие желания, чтобы как будто хоть напоследок доказать ему, что для него одного она и жила; ни облачка стыда не появлялось в ее глазах за то, что она стала такой уродливой и некрасивой,— только желание успеть побольше сделать для него своими нерасторопными, отяжелевшими руками.

Теперь они почти так же часто бывали вместе, как раньше. Разговаривали они не много, но старались не отходить друг от друга, потому что беременность неумолимо подвигалась вперед, как часовая стрелка, и они были совершенно беспомощны перед ней. Им надо было бы объясниться, но подвигалось вперед только время. Иногда ему мучительно хотелось облечь в слова все свои сны наяву, он смутно догадывался, что все надо было оценивать по другим критериям; но, как начало всякого познания, это была именно смутная, неясная догадка. А время шло, убегало, терялось бесследно; часы на стене были ближе к реальности, чем мысли. Комната, в которой они сидели, была обычной меблированной комнатой, и ничего в ней не случалось грандиозного, и настенные часы были кухонными часами и время показывали кухонное, а мать атаковала его письмами, в которых все было доказано как дважды два; она не выслала обещанных денег, а явно истратила их на консультации у врачей, не теряя надежды его образумить: он все прекрасно понимал и даже уже не злился. Однажды она прислала в очередном письме последнее такое заключение, убедительно доказывавшее, что Тонка в то время все-таки ему изменила; но он воспринял это сообщение не как удар, а как почти приятную неожиданность; словно это совсем его не касалось, он начал прикидывать, как это реально могло произойти, и почувствовал только одно: бедная Тонка, сколько ей пришлось потом выстрадать из-за одной-единственной оплошности... Ему приходилось теперь удерживаться, чтобы не сказать, весело глядя Тонке прямо в глаза: Тонка, послушай, я вдруг сообразил, с кем ты мне тогда изменила,— и как это мы забыли? Так все и шло. Ничего нового. Оставались только часы. И прежняя близость.

И хотя они так и не объяснились, эта близость постепенно вернула им чисто телесное тяготение друг к другу. Такие мгновения приходили, как без особых церемоний входят в комнату старые знакомые даже после долгой отлучки. Затененные окна на той стороне двора смотрели слепыми глазницами, комнаты пустовали, потому что все люди ушли на работу, двор темнел глубоким колодцем, солнце светило в комнату как сквозь свинцовые стекла, и предметы, на которые ложился его луч, вспыхивали мертвенным светом. А однажды ему на глаза попался маленький старый календарь — он был раскрыт так, будто Тонка только что его листала, и на бесконечном белом пространстве листка, как пирамида, возведенная в честь памятного дня, стоял нарисованный красным карандашом восклицательный знак. Все другие странички были заполнены записями повседневной жизни — ценами, заметками,— и только на одной не было ничего, кроме восклицательного знака. Он ни секунды не сомневался в том, что это была память о том самом дне, который Тонка так упорно скрывала, и уверенность, как кровь, ударила ему в голову. Но подтверждалась она только силой и внезапностью этой вспышки,— в следующее мгновение она опять улетучилась, превратилась в ничто: уж если верить этому восклицательному знаку, то с таким же успехом можно было поверить и чуду, и самое ужасное было как раз то, что он не

верил ни тому ни другому. Но они испуганно взглянули друг на друга. Тонка, видимо, заметила листок в его руке. Предметы в неверном комнатном освещении вдруг застыли как собственные мумии. У них самих похолодели тела, кончики пальцев заледенели, и внутренности сжались в настороженный горячий комок. Правда, врач предупреждал, что Тонку надо было особенно беречь, чтобы избежать осложнений; но врачам-то как раз и нельзя было доверять в такую минуту. А все попытки устоять тоже оказались тщетными; может быть, у Тонки уже не было больше сил, и она как была, так и осталась еще не рожденным мифом.

— Иди ко мне,— позвала Тонка, и они разделили тепло и горе в печальной покорности судьбе.

XIII

Тонку положили в больницу — болезнь приняла дурной оборот. Ему разрешили ее навещать; он сидел при ней часами. Так проходило время.

В тот день, когда ее увезли, он сбрил бороду. Теперь он больше стал самим собой.

Но потом он узнал, что она в тот самый день — сгоряча, необдуманно, испугавшись, что будет поздно, сделала то, чего из соображений экономии долго не решалась сделать: пошла к зубному врачу и вырвала коренной зуб — последний свободный поступок перед тем, как лечь в больницу. Он представил себе, как у нее теперь горестно впали щеки, потому что она никогда не просила о помощи и со всем хотела справиться сама. И его с новой силой начали преследовать сны.

Один сон возвращался в разных формах особенно часто. Худенькая невзрачная девушка с бледной, просвечивающей кожей рассказывала ему, что какая-то новая воображаемая возлюбленная его обманула, а он, снова насторожившись, как бы вскользь говорил: «А вы думаете, Тонка была лучше?» И он качал головой и нарочно делал скептическое лицо, чтобы заставить девушку столь же решительно отстаивать Тонкину добродетель; он уже предвкушал приятное облегчение, которое ему принесут ее слова; но вместо этого на губах девушки медленно появлялась улыбка, возникала прямо у него на глазах и с жуткой медлительностью распространялась по всему лицу, а потом девушка говорила: «Ах, она же была ужасная лгунья! Вообще-то она была хорошая, но у нее нельзя было верить ни одному слову. Она всегда мечтала стать знаменитой кокоткой». Самым мучительным в этом сне была не колючая и острая, как бритва, улыбка, а то, что он каждый раз не мог ничего возразить на пошлую заключительную фразу, потому что чувствовал, что в безвольной вялости сновидения она как бы исходила от него самого.

Поэтому он часто молчал, когда сидел у Тонкиной кровати. Ему хотелось бы проявить великодушие, как в прежних своих снах. Может быть, он бы и проявил его, если бы хоть ничтожную долю энергии, с какою он работал над своим изобретением, обратил на Тонку. Врачи так и не обнаружили в нем самом признаков заболевания, и, таким образом, его уж точно соединяла с Тонкой таинственная, мистическая связь: стоило ему поверить Тонке, и он сам оказывался больным. Но, говорил он себе, может быть, в другое время это и было бы возможным — он охотно пускался в такие исторические размышления,— в другое время Тонка, может быть, стала бы прославленной красавицей, чьей руки не решились бы искать даже самые знатные князья; но в наши дни?! Надо было бы на досуге подумать об этом основательней. И он сидел у ее кровати, был с ней ласков и добр, но ни разу не сказал ей: «Я тебе верю». Хотя он давно уже верил ей. Но верил он ей просто в том смысле, что не мог больше питать к ней недоверие и обиду, а не то чтобы он готов

был оправдать перед своим рассудком все вытекающие отсюда последствия. Он и держался только тем, что не додумывал до конца.

Атмосфера в больнице действовала на него угнетающе. Врачи, обследования, строгая дисциплина — мир насильно завладел Тонкой, прикрутил ее к столу. Но он уже воспринимал это почти как ее недостаток; в его представлении она была чем-то более глубоким, нежели то, что сейчас с ней делал мир. Но в таком случае надо было в самом мире все вообще изменить, чтобы за нее бороться,— и он уже начал понемногу отступать. Через несколько дней после того, как ее увезли, она стала отдаляться от него, потому что он не мог теперь изо дня в день хоть немного преодолевать отчужденность ее слишком простой жизни — отчужденность, которую он все-таки постоянно ощущал.

И поскольку у Тонкиной больничной кровати он мало говорил, он стал ей писать письма, в которых высказывал многое из того, о чем обычно умалчивал; он писал ей почти так же всерьез, как пишут вечной возлюбленной; и только перед словами: «Верю в тебя!» — перо останавливалось. Тонка на эти письма не отвечала, и он растерялся. Потом только он сообразил, что он их и не отсылал; они, собственно говоря, не столько выражали его мысли, сколько то душевное состояние, в котором лишь писание писем и может помочь. Тут он опять подумал, насколько ему все-таки было легче: он мог выразить себя, а Тонка не могла. И в ту же минуту он вдруг ясно понял ее всю — средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка! Но в следующую минуту это опять уже ничего не объясняло, и, может быть, она просто была хорошей девушкой, а время летело, и однажды его как громом поразило сообщение, что Тонка протянет недолго. Он осыпал себя отчаянными упреками за легкомыслие, за то, что недостаточно ее берег, но когда он об этом сказал Тонке, она рассказала ему про сон, который она видела минувшей ночью; потому что она тоже видела сны.

— Я знала во сне, что скоро умру,— сказала она,— и сама не знаю почему, но я так обрадовалась. А в руке у меня был кулечек с вишнями, и я подумала: ах, ну и пускай, вот еще только доем эти вишни!..

А на другой день его к ней уже не пустили.

XIV

Он говорил себе: может, не такая уж она и хорошая, как я вообразил; но именно в этом и обнаруживалась таинственная сила ее доброты — возможно, присущая равно и человеку и собаке.

Сухая, как поземка, горечь охватила его. Писать тебе я не могу, видеть тебя не могу — завывала она во всех углах его цитадели. Но, как господь милосердный, я буду всегда с тобой, утешал он себя, не подразумевая под этим ничего определенного. А иногда ему просто хотелось кричать: помоги мне, помоги ты мне! Вот я стою перед тобой на коленях! Он горестно твердил себе: вот человек, он совсем одиноко бредет со своей собакой по звездным горам, по звездному морю! — и слезы душили его, огромные, как небосвод, и никак не могли пролиться.

И он наяву начал домысливать Тонкины сны.

Однажды, представлялось ему, когда у Тонки не останется уже никакой надежды, он вдруг опять войдет и очутится рядом с ней. В своем коричневатом английском дорожном пальто в крупную клетку. И когда он его распахнет, там не будет никаких одежд, только его тонкая белая фигура с узенькой, увешанной звенящими подвесками золотой цепочкой на груди. И все прошлое наверняка сольется для нее в один день. Стало быть, он тоже тосковал по Тонке, как и она по нему. О, разве была в ней хоть капелька жадности! Никто, никто другой ей не нравился; когда за

ней ухаживают, ей проще и легче с неловкой печальной усмешкой указать на непрочность таких отношений. А когда она вечером возвращается из своего магазина, она вся полна его шумной, то веселой, то надоедливой суетой; в ушах еще стоит этот гам, язык еще повторяет про себя заученные фразы, и какие уж тут чужие мужчины — для них и самого крохотного местечка не остается. И она чувствует, что там, в ее душе, куда не доходит вся эта суета, она еще и благородна, и добра, и умна; там она не маленькая продавщица, а равная ему и достойная счастливой судьбы. Потому она и чувствовала всегда, несмотря на всю разницу между ними, что имеет на него право; в его делах она ничего не понимала, и это ее не касалось,— просто раз он был такой хороший, он принадлежал ей; потому что она тоже была хорошая, и где-то же должен был стоять дворец для хороших и добрых людей, в котором они имели право жить вместе и никогда не разлучаться.

Но что такое была эта доброта? Не действие. Не бытие. Проблеск света, если распахнуть дорожное пальто. Он все еще крепко цеплялся за землю и не договаривал еще до конца свою мысль, свое убеждение: «Верю в тебя!»—он все еще говорил: ну и пускай, даже если и так, кто может тут что-нибудь знать,— когда ему сообщили, что Тонка умерла.

XV

Он дал сиделке денег, и она ему все рассказала. Тонка просила передать ему привет.

И тут совсем как-то мимоходом, как вспоминаются забытые стихи и ты бессознательно киваешь им в такт головой, у него промелькнула мысль: он вовсе не с Тонкой жил все это время — это что-то окликнуло и позвало его.

Он повторял про себя эту фразу, он вышел с нею на улицу. Вокруг него продолжалась жизнь. Он, конечно, понимал, что он изменился и изменится еще не раз, но это был все-таки он сам, и это, собственно, не Тонкина заслуга. Напряжение последних недель, напряжение от его работы над изобретением спало,— все кончилось. Он стоял в свете дня, она лежала под землей, но он все же воспринимал благость света. Просто когда он невзначай оглянулся, взгляд его упал на плачущее лицо одного из игравших на улице детишек. Солнце било ребенку прямо в глаза, и лицо его кривилось и морщилось от слез, как безобразный червяк; и тогда все в нем закричало: «Тонка! Тонка!» Воспоминание пронизало все его существо, он чувствовал, ощущал ее в себе. Все, чего он никогда не знал, встало в эту минуту перед ним, с его глаз как бы спала пелена ослепленья; только одну минуту — потому что в следующую ему показалось, что он просто что-то случайно вспомнил. И с тех пор он не раз вот так вспоминал что-то, что помогало ему быть чуточку лучше других людей,— потому что на прославленной, блистательной жизни лежала крохотная теплая тень.

Тонке это уже не могло помочь. Зато ему помогало, хоть и слишком быстро течет человеческая жизнь, так что невозможно расслышать каждый из ее голосов и найти на него ответ.

БЕЛА КЁПЕЦИ

В АТМОСФЕРЕ СПОРОВ И ИСКАНИЙ

(Заметки о венгерской литературе последнего десятилетия)

Всегда трудно говорить о литературе какой-либо страны в целом, когда зарубежный читатель знает из нее сравнительно немного. Но целью такой статьи может быть и стремление пробудить у читателей интерес к неизвестному. Прежде чем взяться за эту неблагодарную и вместе с тем благородную задачу, хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний, чтобы дать почувствовать атмосферу, в которой развивалась венгерская литература в последнее десятилетие.

Литературу часто называют «зеркалом действительности». Если согласиться с таким определением — естественно, понимая его в том смысле, что литература не только пассивно воспроизводит преходящие явления, но и стремится показать их сущность, тогда отправным пунктом при определении литературных достоинств нужно признать правдивое изображение действительности. Поскольку рабочий класс заинтересован в объективном познании жизни, у социалистической литературы иной задачи быть не может. Правда, в прошлом не раз случалось, что волюнтаристский подход к действительности накладывал отпечаток на литературные оценки. Например, после 1953 года в Венгрии началась дискуссия о так называемых «пессимистических произведениях». В исключительно напряженной общественной обстановке одни требовали от литературы сглаживать противоречия, другие наоборот — изображать жизнь мрачнее, чем на самом деле.

За прошедшее десятилетие мы, как мне кажется, выработали правильный взгляд на взаимоотношения литературы и действительности. Если речь идет о подлинно художественном произведении, нас не смущает то, что оно несет не всю истину, а только часть ее. Следует особо подчеркнуть, что отнюдь не все произведения, изображающие недостатки, ошибки, конфликт личности и общества, художественно совершенны; иногда писатели, обращаясь к этим темам, просто гонятся за модой. Определить действительную ценность того или иного произведения — вот задача критики и общественного мнения.

Говоря, что то или иное произведение отражает определенные стороны жизни, мы вовсе не утверждаем, что с ним нельзя спорить. Часто бывает, что существенные или, по выражению Брехта, «причинные» общественные взаимосвязи остаются скрытыми от писателя, и тогда изображение жизни страдает искажениями.

Правильно сопоставлено с действительностью произведение может быть, однако, лишь в том случае, если критика, исследуя общественное бытие, не требует от писателя какой-то «сверхидеальной» картины. Такое понимание взаимоотношений искусства и действительности укрепило связь литературы с жизнью.

Известно, что общественное бытие воздействует на писателя не непосредственно, а через сознание, которое, в свою очередь, определяется общественным сознанием той группы, слоя, класса, к которому он принадлежит или хочет принадлежать. Изменения действительности вызывают и изменения в сознании, что легко доказать и

на примерах из истории венгерской литературы. В тридцатые годы в Венгрии большое влияние приобрело движение так называемых «народных писателей» (Дюла Ийеш, Ласло Немет, Петер Вереш и др.). Это движение играло во многом положительную роль, поскольку вело борьбу против крупных землевладельцев, за искоренение феодальных пережитков, за земельную реформу. Однако теоретические воззрения некоторых его представителей грешили отчасти и мистикой и национализмом. После 1945 года большинство «народных писателей» сотрудничало с коммунистами, сохраняя свою особую политическую и идейную платформу. После 1948 года, когда были допущены перегибы в коллективизации, эти писатели сдержанно отнеслись к ней, думая, что тем самым они защищают интересы крестьянства. Выжидательную позицию занимали они и некоторое время после 1956 года, когда при поддержке подавляющего большинства крестьянства в Венгрии завершалась социалистическая перестройка сельского хозяйства. Но сейчас кооперативы для них — естественная форма крестьянского существования. Меняются времена, меняются и писатели!

В условиях социализма функции искусства иные, чем в буржуазном обществе.

Несколько лет тому назад представители французского «нового романа» дискутировали с Ж.-П. Сартром о том, «что может сделать литература». Ив Берже довел спор с некоей «утилитарной» концепцией литературы до абсурда, заявив, что «книги еще никогда не мешали детям умирать с голоду». Он и его единомышленники — по крайней мере до последнего времени — занимали позицию, которую Ален Робб-Грийе определил следующим образом: «План произведения всегда более или менее формален. То, что критики называют содержанием, иными словами, что связано с социологией, моралью или политикой, для романиста — лишь сам по себе еще неопределенный, аморфный материал для отбора, для более или менее удачной реализации задуманной формы. Творческий вклад автора следует искать прежде всего в форме. Она и есть истинное содержание художественного творчества» («Экспресс», 8 октября 1959 г.). Не будем сейчас разбираться в сложных связях содержания и формы. Обратим внимание только на то, что этот теоретик «нового романа» стремится разорвать оба понятия и оспаривает значение содержания. Между тем и в буржуазном обществе, что бы ни думал писатель, каждое произведение всегда что-то утверждает. Последние события в Западной Европе ясно показали, что трюки с «дендеологизацией» искусства не удались.

Венгерская литература в силу исторических обстоятельств подчас брала на себя в прошлом общественные функции, не присущие непосредственно литературе. Дюла Ийеш писал в одной из статей, адресованных французским читателям, что литература, и в частности поэзия венгерского и других придунайских народов, всегда чувствовала себя призванной бороться за те человеческие права, которые Западу принесло Возрождение. Западный читатель, пожалуй, сочтет такую «нагрузку» для лирики непонятной. А наши читатели находили это естественным. Они привыкли, что писатели говорят об их заботах и бедах и до сих пор величают писателей «пророками», ищут в литературе спасение не только от душевных, но и исторических невзгод.

Догматизм, гипертрофируя эту традицию, не принимал во внимание специфических свойств литературы: от нее требовали лишь выполнения актуальных идейно-политических задач, она должна была лишь иллюстрировать общие теоретические положения. Преувеличивали политическую роль литературы и ревизионисты, которые в 1956 году ожидали, что писатели идейно подготовят «перемены». Мы не оспариваем общественной значимости литературы, но и не склонны считать ее «прислугой» нации и общества. Отвергая романтическую теорию «пророческой» миссии литературы, ее догматическую и ревизионистскую «политизацию», мы вместе с тем отвергаем и лозунг «чистого», или экспериментального, искусства. Нам представляется, что подобный подход обеспечивает литературе бо́льшую свободу, но это не «свобода ради свободы». Это свобода в интересах и литературы и общества.

Итак, мы рассматриваем литературу как одно из средств пробуждения человеческого самосознания. Такая трактовка не принижает, а, наоборот, повышает роль литературы в новом обществе, тем более что речь идет о формировании социалистического человека.

Строительство социализма за истекшие 25 лет со времени освобождения страны мы рассматриваем как единый и непрерывный процесс, не отрицая преемственности развития. Вместе с тем после подавления контрреволюционного мятежа 1956 года в Венгрии начались новые экономические, общественные, политические, культурные процессы, которые привели к определенным изменениям и в области литературы. В осознании происшедших изменений большую роль сыграла идеологическая борьба, проходившая под руководством партии. В 1958 году ЦК ВСРП принял директивы по культурной политике, в которых заявлялось о поддержке социалистического реализма в искусстве, но вместе с тем допускались и иные реалистические направления. В то же время отвергались всякие декадентские, а также буржуазные и мелкобуржуазные формалистические тенденции. В документе обращалось внимание писателей и деятелей искусства на необходимость изучения жизни и укрепления связей с ней, определялось понятие свободы художественного творчества в социалистическом обществе: «При необходимой для развития искусства моральной и материальной под-

---

держке мы обеспечиваем максимальную свободу художнику, служащему интересам народа, в выборе темы и эстетического направления, в способе обработки материала, в экспериментировании в области формы. Пусть искусство показывает и всю красоту, величие нашего трудового народа, которые с такой захватывающей силой раскрываются в повседневной жизни, и ее трудности».

Как известно, в результате общественного кризиса 1956 года в нашей литературе возродились буржуазные и мелкобуржуазные взгляды, дискуссия с которыми — как в партии, так и вне ее — продолжается до сих пор. Борьба началась прежде всего против ревизионизма и мелкобуржуазных элементов в идеологии «народных писателей»; но уже в 1957 году произошли острые столкновения с теми литераторами, которые заняли позицию самоизоляции и нетерпимости. Процесс идейного очищения, таким образом, требовал борьбы на два фронта и, конечно, определенного времени. Союз венгерских писателей был воссоздан только в 1959 году и лишь примерно к 1962 году стал вполне представлять литературную жизнь страны. С этого времени все венгерские писатели, какие бы литературные направления они ни представляли, активно работают, поддерживая строительство социализма. Однако идейные различия сохранились, хотя, как правило, в изменившихся формах. Поэтому идеологическая борьба не прекратилась и в настоящее время направлена прежде всего против буржуазных философских и эстетических воззрений. Широко освещая наследие прошлого и ценности современного буржуазного искусства, мы стремимся при этом информацию не отрывать от принципиальной критики.

Направляя идейную работу в области культуры, ВСРП за последнее десятилетие исходила из реального положения, сложившегося в Венгрии; она учитывала имеющиеся противоречия, но вместе с тем поставила целью укрепление социалистических тенденций в литературе.

■

В годы консолидации в литературу вернулись маститые писатели, которые после 1956 года не печатались. Вернулись «народные писатели», а также бывшие члены партии, которые приняли участие в контрреволюционном выступлении 1956 года. В каждом случае возвращение происходило при условии, что писатель пересматривал свою ошибочную политическую позицию в свете сегодняшнего дня. Политическая лояльность писателей еще не означала идейного единства, но опыт показывает, что учет противоречий и в то же время поддержка всех гуманистических достижений венгерской литературы дали положительные результаты.

Плодом этого было, например, то, что подобающее место в нашей культурной жизни занял такой писатель, как Ласло Немет, до 1956 года ограничивавшийся в основном переводческой деятельностью. Пьеса Л. Немета «Путешествие», написанная на основе впечатлений от поездки в Советский Союз, выражала отход от идеологии «третьего пути» и помогла части венгерской интеллигенции лучше понять мировые события. Показателен путь Тибора Дери, писателя, пережившего кризис, но пришедшего к социалистической позиции, что расстроило планы организаторов антикоммунистической кампании.

Консолидация вернула в литературу не только наших известных, маститых писателей, но и многих других — из тех, кто почти не публиковался после 1949 года. Это были в основном литераторы, группировавшиеся вокруг буржуазно-либерального журнала «Нюгат» («Запад»); большинство из них принимали участие в духовном сопротивлении фашизму. Возвратились к литературной жизни и бывшие представители «авангарда»; самый значительный из них, Лайош Кашшак, обогатил нашу литературу в последнее десятилетие интересными произведениями.

Естественно, продолжали работать писатели, стоящие на социалистических позициях; некоторые из них, однако, пережили тяжелый внутренний кризис, вызванный разоблачением культа личности. И, наконец, явилось новое поколение — прежде всего молодые поэты, авторы сборника «Танец огня» (1956), который призывал к утверждению социализма.

Быстрее других жанров встала на ноги после 1956 года венгерская поэзия, старшие представители которой, например Йожеф Фодор, шли по стопам Ади, а младших (Михая Ваци, Габора Гараи, Имре Дёре) вдохновляла прежде всего поэтика Маяковского и Аттилы Йожефа. Это была страстная политическая лирика, проникнутая духом борьбы с остатками контрреволюции. Заметно оживилась и литературная публицистика. Дёрдь Бёлени, Калман Шандор, Лайош Мештерхази, Габор Года и другие вели острую полемику с попытками вернуть прошлое. Публицистическая тенденция коснулась и драмы. Йожеф Дарваш, Лайош Мештерхазн, Имре Добози показывали в своих пьесах конфликты, вызванные контрреволюционным мятежом, и искали пути их решения в духе социализма. Эта литература была наступательной по своему характеру, прямо выражала политические идеи, часто отбрасывая традиционные формы. Например, Лайош Мештерхази в драме «Люди Пешта» попытался показать основные тенденции венгерской истории с начала второй мировой войны, следуя не Шекспиру, а скорее Брехту, к которому у нас одно время относились с предубеждением, считая, что публика будто бы его «не понимает» и не принимает.

Были ли неуместными эти новшества в области формы, воспринимались ли они как нечто чуждое? Никоим образом. Практическое подтверждение получила истина, что новаторство в области формы и содержания определяется прежде всего общест-

венной потребностью. И это дало новую почву для художественных поисков.

Кризис, потрясший страну и вместе с ней писательский мир, заставил многих литераторов, каждого по-своему, обратиться к проблемам общественного развития Венгрии. Писатели — и это совершенно естественно — откликались прежде всего на вопросы, вставшие в связи с событиями 1956 года. Писатель социалистического направления Йожеф Дарваш в драме «Небо в копоти» попытался отразить душевный подъем и кризис коммуниста-интеллигента. Тогда же появилась повелла «Аминь, аминь» Габора Турзо — писателя, в прошлом католического; это сатира на «воскресение из мертвых» деятелей старого режима во время событий 1956 года.

В более поздних произведениях чувствуется стремление шире охватить действительность. Габор Года в свободной эссеистской манере набрасывает портрет мещанина 1956 года («Господин Полдни», 1963). Йожеф Дарваш в романе «Пьяный дождь» (1963) стремится рассказать о судьбах венгерской интеллигенции после освобождения страны, о пережитых ею победах и глубоких кризисах. Правдивую, драматически напряженную картину села (и вместе с тем всю его историю после освобождения) дают «Двадцать часов» Ференца Шаиты (1964). Примеры можно было бы умножить, но и этих, пожалуй, достаточно для доказательства того, что венгерская литература сумела исключительно быстро ответить на решающие события национальной жизни.

Исследуя причины контрреволюции, наши писатели подошли к проблемам и более далекого прошлого. Многие задумывались над тем, правильно ли писать о самих событиях 1956 года, забывая об их предыстории, об их предпосылках, коренящихся в развитии венгерского общества между двумя мировыми войнами. В связи с этим хотелось бы выделить роман Ласло Боки «Честь имею доложить» (1961), где описание будней хортистской армии передает характерные черты фашизирующегося общества. Тибор Череш в романе «Холодные дни» (1964), по которому был снят пользовавшийся большим успехом фильм, ставит вопрос об ответственности венгерского фашизма во второй мировой войне, причем не только фашистских правителей страны, но и рядовых исполнителей. Эта же тема заинтересовала Имре Добози, драма которого «Весна пришла» недавно поставлена в Будапеште. Автор показывает мучительные противоречия в жизни народа в конце второй мировой войны и сопоставляет их с современностью. Главный вопрос, на который он ищет ответа: чему научил людей этот горький исторический урок?

Было предпринято множество других попыток разобраться в прошлом в свете закономерностей развития настоящего. Многие писатели на широком социальном фоне сопоставляли жизнь до и после освобождения страны, прослеживая изменения жизненных условий, идей и самих людей («Безотцовщина» Тамаша Барания, 1960; «Фреска» Магды Сабо, 1958; романы Гезы Мольнара, Лайоша Мештерхази и Ласло Эрдёша).

Йожеф Леидьел в своих рассказах оценивает путь, пройденный социализмом в Венгрии («Чародей», 1961, «Измерить неизмеримое», 1966). Главный вопрос, который он ставит, следующий: были ли необходимы и неизбежны допущенные отклонения? И, показывая прошлое, предостерегая от ошибок, писатель одновременно делает общий вывод: «Какие бы ошибки ни были совершены, строительство нового общества всегда было высшим долгом всех и каждого». Й. Лендьел, чей талант сочетает драматическую напряженность с лирической мягкостью, оказывает глубокое воздействие на современную венгерскую литературу.

Тема современности характерна и для другого направления нашей прозы и драматургии, связанного с именами Имре Шаркади («Потерянный рай», 1962, «Трусиха», 1961), Шандора Тота («Ты был пророком, милый», 1965), Эндре Фейеша («Кладбище железного лома», 1962), изображающих, как правило, мещан или интеллигентов, которые потеряли свой путь в жизни. Это люди, не поспевающие за общественными изменениями, они бесцельно влачат свое существование. Манера изображения у названных авторов обычно сатирическая или по крайней мере ироническая, но это еще не означает, что их произведения пессимистичны. Они говорят о том, что процесс становления общества идет не просто и не быстро, а преобразование человека, изменения в его морали не происходят автоматически. Вообще сатира и юмор стали излюбленными жанрами в венгерской литературе последних лет. К лучшим их мастерам, пишущим на разнообразные темы и в разной манере, относятся Ласло Таби, Иштван Эркень, Дёрдь Молдова.

По-прежнему звучит в венгерской литературе тема красоты труда. Верой, что человек должен жить не только для себя, но и для других, проникнут, например, такой превосходный роман, как «Старый доктор» Дюлы Фекете * (1963).

Пожалуй, наиболее распространенный сейчас жанр нашей литературы — это репортаж. Его основателями в тридцатые годы были «народные писатели», привлекшие своими произведениями внимание к нищете венгерского крестьянства. Сегодня репортаж переживает новый расцвет, и такие писатели старшего поколения, как Арон Тамаши, Геза Фейя, Дюла Ийеш, а из более молодых — Шандор Чоори, Дюла Чак, Эржебет Галгоци, Лайош Галамбош в ряде талантливых очерков рассказывают о меняющейся жизни венгерского села. В последние годы этот жанр стал источником

* См. «Иностранную литературу» № 9. 1965 г.

БЕЛА КЕПЕЦИ
В АТМОСФЕРЕ СПОРОВ И ИСКАНИЙ

интересных дискуссий. Об остроте их свидетельствует то, что в выяснении истины — с привлечением политиков, писателей и журналистов — принял участие центральный орган ВСРП газета «Непсабадшаг». Под впечатлением дискуссий Йожеф Дарваш даже написал «драму-репортаж» «На карте не обозначено». Этот жанр пользуется успехом, он позволяет вскрывать, иногда в острой форме, некоторые противоречия общественного развития (такова, например, пьеса Лайоша Х. Барты «Крик»).

В поэзии подобный подход к действительности особенно чувствуется в стихах Михая Ваци и некоторых молодых поэтов. Конечно, здесь ощутимей субъективное авторское отношение к явлениям жизни. Ссылкой на поэзию мы хотим лишь сказать, что так называемая «литература факта» выдвинулась на передний план даже в таких жанрах, которые непосредственно не соприкасаются с репортажем.

Есть в нашей литературе и произведения, авторы которых обращаются к историческим ситуациям, стремясь извлечь из них общефилософские выводы. В таких произведениях исторические события служат только поводом, основой для аллегорического рассмотрения актуальных вопросов.

В драме Дюлы Ийеша «Чудак» (1963) рассказывается, как один из венгерских дипломатов, участников революции 1848—1849 годов, Ласло Телеки, получает помилование от австрийского императора с условием, что он будет способствовать компромиссу между Венгрией и Габсбургами. Телеки мучает вопрос, как поступить — остаться верным идее независимости или отречься от нее, поскольку он все равно бессилен: господствующие классы Венгрии предали дело свободы. Таким образом, идея и мораль приходят в противоречие с политикой, дипломат оказывается неспособным разрешить этот конфликт и кончает жизнь самоубийством. Опираясь на достоверные исторические факты, автор, однако, стремится придать им всеобщий смысл, распространить на современность — что уже не может не вызвать возражения.

Тибор Дери в романе «Отлучение» (1965) обращается к истории раннего христианства, к фигуре жившего в IV веке епископа Амбруша для доказательства того, что человек, добивающийся политической власти, неизбежно предает идею. Христианство, ставшее государственной религией, отходит от тех целей, которые раньше воодушевляли его сторонников. Аналогия здесь достаточно прозрачна, и с ней нельзя не спорить самым решительным образом.

Возражением подобным взглядам является, например, вышедшая недавно книга Ласло Дюрко о Ленине, где автор изображает человеческие качества великого политика и мыслителя и тем самым показывает, что власть вовсе не обязательно должна деформировать человеческую личность.

В драме Ласло Дюрко «Электра», недавно поставленной нашими театрами, писатель отходит от мифологического сюжета и придает мифу современный политический смысл. Электра, превыше всего ставящая моральную чистоту, требует наказания не только главных преступников, но и всех, хоть сколько-нибудь причастных к преступлениям. Орест же отвергает такой крайний ригоризм из здравых политических и гуманных соображений.

Противопоставление власти и морали, идеи и способов борьбы за нее не во всех случаях следует рассматривать как некое «просачивание» чуждой идеологии. Авторы черпают свой материал из нашего недавнего прошлого, но часто упрощают его уроки и абсолютизируют отдельные стороны. Вместе с тем возникает вопрос: не настало ли время объективно и реально разобраться в уроках истории и наших чувствах? Часть приводимых примеров свидетельствует именно о таких попытках.

Особо стоит сказать о поэзии, которая до сих пор остается ведущим жанром нашей литературы. Дюла Ийеш, Йожеф Фодор, Антал Гидаш или Иштван Ваш — каждый в соответствии со своим мировоззрением и темпераментом — стремятся ответить на большие вопросы, волнующие человечество. Д. Ийеша, с которым недавно вступил в поэтическое состязание Т. Дери, занимают прежде всего проблемы войны и мира, сохранения человечества в атомную эпоху; он воспевает красоту природы и труда. Й. Фодор страстно говорит об общественных неполадках и ищет выхода из них, опираясь на такие идеальные ценности, как доброта, справедливость и прогресс. Темы А. Гидаша, известного представителя социалистической лирики,— встреча с родиной, исполнение мечтаний. Поэзия И. Ваша затрагивает широкие сферы человеческого духа; сугубо личные переживания сплетаются в ней с отвлеченными размышлениями.

Несколько слов о так называемом «среднем» поэтическом поколении. Ласло Беньямин — это поэт глубоких чувств, через все драматические испытания идущий вместе с рабочим классом. Более противоречив в идейно-художественном отношении Ференц Юхас. Он, как и Ласло Надь, возрождает в своем творчестве некоторые традиции сюрреализма; выражая стихийный наплыв мыслей и чувств, их космическое борение хаотически теснящимися, ассоциативно разрастающимися образами живой и неживой природы, ищет он место человека во вселенной. В последние годы заметное место в нашей поэзии заняла также интеллектуальная лирика Дёрдя Помьо. Он отзывается на многие новые явления в зарубежном искусстве и стремится дать свой ответ на стоящие перед человечеством вопросы.

Из более молодых поэтов склонностью к интеллектуальной проблематике выделяется Габор Гараи. Трезвая уравновешенность не приводит его к рационалистической холодности, которая всегда угрожает поэтам подобного склада. Страстное неприятие отрицательных явлений действительности, равно как ее патетическая

защита всего, что заслуживает поддержки, предохраняет его от этого.

Всем сказанным я хотел подчеркнуть, что венгерская поэзия в последнее десятилетие стала более интеллектуальной и в ней отошло на второй план непосредственное, безудержно стихийное излияние субъективных чувств.

Интеллектуализация венгерской поэзии, конечно, вовсе не означает ее отдаления от проблем наших дней. Современность — это не просто каждодневные заботы, но и отнюдь не абстрактные раздумья о человеческом бытии. Вместе с тем есть в нашей поэзии и направление, более непосредственно связанное со злободневными вопросами социалистической действительности. Оно представлено такими поэтами, как Ласло Беньямин, Иштван Шимон, Михай Ваци, Габор Гараи, Андраш Мезеи, Михай Ладани, творчество которых продолжает традиции политически тенденциозной венгерской поэзии межвоенных лет, особенно социалистической, и прежде всего традиции Аттилы Йожефа. Эти поэты не довольствуются воспеванием побед, а вновь и вновь возвращаются к социальным противоречиям, выступают против опасности мещанства. Осуждение мещанских тенденций — то в пафосно-обличительном, то в сатирическом стиле — часто встречается и у молодых поэтов. Наша литература, и особенно поэзия, уже много лет борется с жупелом так называемого «социализма холодильников». Иногда молодые авторы преувеличивают опасность мещанства, но нужно понять, что «сердитой» эту распространившуюся в последние годы поэзию делает страстное желание приблизить победу социалистического образа жизни.

Общая картина нашей литературы будет неполной, если не сказать, что после 1956 года в ней существовало, хотя и временное, увлечение различными идейными течениями буржуазного и мелкобуржуазного толка. Прежде всего это относится к экзистенциализму, который после 1954 года распространился среди части молодой, не определившей еще своего жизненного пути интеллигенции. Вновь оживились симпатии к Сартру, Симоне де Бовуар, Камю. Влияние их сказалось в противопоставлении личности и общества, в проповеди бессмысленности жизни и особенно в чувстве неуверенности и страха. Отзвуки экзистенциализма можно найти как в поэзии Шандора Вёреша и Ференца Юхаса, так и в прозе Тибора Дери, Миклоша Месёя, Дюлы Гернади.

Экзистенциализм никогда не проявлялся у нас в чистом виде. Венгерское общество шестидесятых годов было иным, чем французское сороковых годов. Именно поэтому к реальным проблемам нашей жизни только примешивались в некоторых произведениях венгерских авторов экзистенциалистские реминисценции.

В последние годы буржуазное влияние проявляется прежде всего в форме «деидеологизации». Есть писатели, которые выбирают «вечные», «общечеловеческие» темы и решают их без какой-либо исторической конкретизации. Другие избирают своим предметом далекое прошлое, лишь очень косвенно затрагивая проблемы современности. Наконец, есть и писатели, которые разрабатывают явления, лежащие на периферии общественной жизни. Все это знакомые, можно сказать традиционные, средства «деидеологизации» (с ней же связана «дегероизация» прошлого и современности под предлогом стремления к объективности). Но влияют и философско-художественные новшества «антиидеологических» направлений, таких как космическая поэзия, новый французский роман или театр абсурда. В связи с этим вновь и вновь возникает вопрос о том, как надо понимать современность искусства. Разве тот современен, кто подражает Алену Робб-Грийе, Ионеско или Дилану Томасу? Конечно, эпигонство и экспериментаторство в творчестве молодых писателей часто тесно переплетаются. И тот, кто вчера был эпигоном, завтра, может быть, найдет новый голос, и подражательство у него окажется только экспериментом. Другие же так и останутся безнадежными эпигонами. Все это требует тонкого критического подхода, огульное осуждение или восхваление здесь не помогут.

■

В этом очень схематичном обзоре идей, тем и жанров нашей литературы я стремился показать, что за прошедшее десятилетие мы собрали обильный урожай. Обильный не только в идейно-тематическом и жанровом смысле, но и с точки зрения достигнутого мастерства. Венгерская социалистическая литература приходит к своему двадцатипятилетию обогащенная многими новыми гранями и оттенками.

г. Будапешт.

А. ЗВЕРЕВ

«К ХАОСУ ИЛИ К СООБЩЕСТВУ?»

(«Негритянская революция» и современная литература США)

Еще десять лет назад в Америке мало кто задумывался над тем, что расовый конфликт в этой стране приобретает необыкновенную остроту и впору говорить не о ставших уже привычными негритянских волнениях, а едва ли не о «негритянской революции», сотрясающей некоторые глубинные основы американского миропорядка. Сегодня выражение «негритянская революция», так же как и «восстание в гетто», «мятеж чернокожих», «бунт расового меньшинства», не сходит со страниц американских газет.

Шестидесятые годы — важный этап в той борьбе за свободу, которую уже три столетия ведут чернокожие американцы.

Брехт говорил: «...эпоха великих переворотов открывает великие возможности перед искусством». Книги, о которых пойдет здесь речь, принадлежат к числу наиболее значительных в современной американской литературе. Мы будем говорить о художественных произведениях, публицистике, книгах-документах, в которых отразились уроки негритянского движения последних десяти—пятнадцати лет и судьбы некоторых людей, сыгравших в нем выдающуюся роль. Будем читать эти книги внимательно — они того заслуживают; они помогут нам понять истоки, смысл и противоречия негритянского движения на том его этапе, когда оно стало фактором первостепенной важности в социальной и духовной жизни Америки.

«В ГАРЛЕМЕ — ЗНАЧИТ НИГДЕ»

Триста лет, проведенные потомками доставленных с другого континента рабов в белой Америке, оказались сроком более чем достаточным, чтобы создать труднопреодолимую стену между американскими неграми и белой Америкой. С самого начала своей истории американские негры оказались насильственно отчужденным народом. В Америке негритянский народ был создан искусственно, из рабов, вывезенных из самых разных уголков Африки, был оторван от своих корней и складывался в условиях порабощения и сильнейшего воздействия со стороны многократно превосходящей его — и численностью, и силой, и, в результате узурпации его прав, уровнем общекультурного развития — белой Америки.

«Американская буржуазия,— писал В. И. Ленин,— ...«освободив» негров... постаралась на почве «свободного» и республикански-демократического капитализма восстановить все возможное, сделать все возможное и невозможное для самого бесстыдного и подлого угнетения негров».*

Духовный мир американского негра был неоднородным; в нем совмещались обостренная от каждодневного унижения расовая ненависть, чувство своей отчужденности и как следствие — необходимость держаться своего клана, каким бы убогим и губительным для собственной твоей личности ни было существование в гетто, а в то же время — признание зависимости своей от белой Америки. История была белой историей, в которой неграм отводилась роль поставщиков материальных благ, а им самим перепадали лишь крохи; она напоминала только о виселицах, судах линча, поджогах, убий-

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 141—142.

ствах из-за угла, беззаконии, грабежах и преследованиях. Культура не могла стать национальной; вывезенные с африканской прародины верования, предания, мифы — все это оказалось в причудливом единстве с отголосками других, белых культур, переплавилось в общем американском котле.

«В Гарлеме — значит нигде» — это ощущение свойственно не только Ральфу Эллисону, выдающемуся негритянскому писателю Америки. Тысячам и тысячам американских негров, которых общество использовало только как рабочий скот, вознаграждая за услуги пожизненным заключением в гетто, было знакомо ощущение, что они существуют «нигде»: в изоляции от белых, хотя и бок о бок с ними; в изоляции от утерянной Африки, ибо она жила ожиданием близящегося освобождения, солидарностью, борьбой, а в гарлемах каждый защищался и погибал в одиночку и видел вокруг себя только врагов; в изоляции друг от друга. И в насильственно созданных гарлемах веками рождалось упование на чудо, едва ли не мистическое ожидание какого-то просвета грядущей эпохи, когда Америка — неведомо как и почему — вдруг станет Меккой равенства всех людей. Общность, навязанная гетто, была общностью безысходного существования; его приходилось принимать таким, как оно есть, но не угасала мечта вырваться за эти стены. Уделом большинства так и оставалось вечное прозябание в страхе, кому-то удавалось поймать свой ничтожный шанс и стать «почти белым», кого-то ждала смерть от полицейской пули или отравления наркотиками.

Когда говорят, что в истории Америки нет ничего более трагического, чем судьба ее чернокожих граждан,— это не преувеличение. Но негритянская трагедия — это не только три века нищеты и бесправия; в Америке многие иммигранты — пуэрториканцы, итальянцы, китайцы — стояли на социальной лестнице немногим выше, хотя ниже негра действительно не стоял никто.

Цвет кожи в Америке всегда был не только этнической, но прежде всего социальной, теперь уже и открыто политической характеристикой. Но справедливо и другое: негр в Америке — трагедия не только социальная. Это трагедия целого народа, оказавшегося в условиях отчуждения и вынужденного, вопреки изоляции, вопреки ни на день не прекращающемуся идеологическому, моральному, социальному, культурному давлению искать спасение только в стойкости национального чувства и сохранения своей национальной самобытности.

И оппозиция черных белым никогда не выступала в Америке только как социальная; как пишет Джеймс Болдуин, в философском смысле это была оппозиция «экзистенциальная», оппозиция «подполья» белого мира, оппозиция «другой страны», которую белая Америка веками не хотела, а теперь уже не в состоянии — на какие бы социальные уступки она ни шла — сделать «своей» страной.

Может быть, пробуждение национального чувства не всегда делало американского негра борцом, но это чувство воспитало в нем удивительную моральную стойкость, ибо она одна помогала ему выжить. «Прошлое, негритянское прошлое,— пишет Джеймс Болдуин,— эта история насилий, линчеваний, мук... унижений, страха днем и ночью, страха, вошедшего в плоть и кровь; сомнений, что негр заслуживает жизни, ибо все вокруг отрицали это; скорби о своих женах, родных, детях, которые ждали от него защиты, а он не мог ее дать; ярости, ненависти, убийств, ненависти к белым такой глубокой, что она оборачивалась и против самого негра, делая невозможными какие бы то ни было чувства любви, доверия, радости,— это прошлое, эта нескончаемая борьба за то, чтобы стать человеком, открыть и сохранить в себе личность, при всем ужасе своем содержит нечто прекрасное. Люди, не умеющие страдать, не умеют расти, никогда не сумеют узнать, кто они действительно такие». А Ральф Эллисон говорит об этом еще определеннее: «От общества, всего общества мы всегда слышали только одно: нет, нет и нет — и все-таки мы движемся к нашей цели, и в этом наша сила».

Потребовались потрясения 60-х годов, чтобы массы рядовых американцев начали постигать, как глубоко правы были те, кто говорил, что расовые взаимоотношения — определяющая особенность американской социальной и духовной жизни, как правы были Торо и Мелвилл, Твен и Фолкнер, которые видели, что угнетение негров гибельно для морального здоровья американской нации, для американских духовных ценностей, для американских идеалов. «Не признавая в негре человека,— пишет Болдуин,— мы дегуманизируем самих себя; утрата нашей человечности — вот цена, которой мы оплачиваем наш отказ признать человечность за ним». Мысль Болдуина помогает понять, почему прямо или косвенно, подспудно или открыто, явно для каждого или только для наиболее проницательных негритянский вопрос был одним из главных, самых неотступных, самых животрепещущих вопросов, стоявших перед этой страной. И можно понять, почему сегодня Ральф Эллисон говорит: «Мне кажется, что вся американская жизнь — это драма, разыгрывающаяся на теле негритянского гиганта, который, как Гулливер у лилипутов, множеством веревочек привязан к земле; на теле его и в его душе развертывается все, что с нами происходит».

«ПРОЩАЙ, БЕДНЫЙ РИЧАРД!»

Сегодня в Америке все чаще вспоминают вопрос, заданный Болдуином шесть лет тому назад: разумно ли добиваться равенства, если дом, в котором мы живем, охвачен пожаром; «Было бы абсурдом отдавать все силы и всю страсть для того, чтобы кончилась сегрегация в школах, но при этом забыть, что главное — это сохранить мир, в

котором мы хотим стать равными»,— сказал в одной из последних своих речей Мартин Лютер Кинг. В заглавии вышедшей в 1967 году книги Кинга «Куда мы идем: к хаосу или к сообществу?» была сформулирована проблема, над которой размышляет теперь Америка.

Негритянский вопрос стал вопросом будущего всей Америки — и белой и черной. И писатели-негры: Болдуин и Эллисон, Лерой Джонс и Джон Оливер Килленз, Лорейн Хэнсберри и Уильям Мелвин Келли, Элдридж Кливер и Джон Уильямс, и коснувшиеся сходных проблем писатели-белые: Джон Херси, Шейн Стивенс, Джон Гриффин — согласны в одном: судьба американских негров неотделима от судьбы всего американского народа, их трагедия — это американская трагедия.

Такая ситуация не могла не вызвать радикальных перемен в негритянской литературе США. Спор, развернувшийся в середине 50-х годов между крупнейшим негритянским писателем того времени Ричардом Райтом и только что заявившими о себе представителями негритянской «новой волны», например Болдуином,— это не столкновение несовместимых художественных индивидуальностей, а столкновение несовместимых интерпретаций одной и той же темы, определенное разницей эпох. Спор был резким; оппоненты Райта нередко забывали о том, что без книг этого писателя— для своего времени необыкновенно актуальных и значительных — появление «новой волны» было бы невозможным. И все-таки полемика с Райтом была неизбежной, потому что представители «новой волны» выразили уже совсем иной уровень самосознания масс американских негров.

Здесь нет возможности подробно останавливаться на творчестве Ричарда Райта. Этот большой писатель прошел трудный путь, на котором встречались не только завоевания, но и противоречия, и невосполнимые утраты. Скажем только, что в его книгах нашла наиболее полное выражение и завершилась та традиция американской литературы, которая понимала расовую проблему как существующую едва ли не исключительно для угнетенного негритянского меньшинства. Побуждаемые стремлением посвятить свой талант борьбе за равноправие и справедливость, Райт и его сторонники настаивали на том, что литература, касающаяся негритянской темы, должна быть литературой социального протеста, выраженного открыто и недвусмысленно. Лишь заключенным в произведении протестом против расового неравноправия, несправедливости, нищеты измерялось достоинство всякого романа, повести, драмы, где речь шла о жизни черной Америки.

Обвиняя Америку в том, что она обрекла негров на социальное угнетение и духовную отсталость, Райт в лучших своих вещах той эпохи был абсолютно чужд настроениям пассивного сострадания обездоленным. Райт 30-х годов звал не к терпению, которое в конце концов вознаградится, не к покорности, а к сопротивлению и борьбе.

Шли годы. Райт видел, что день освобождения еще очень далек, ему нередко казалось, что он никогда не наступит. Писатель отошел от идей, которым поклонялся в 30-е годы, испытал воздействие экзистенциализма, многое пересмотрел, но одно оставалось у него до конца жизни неизменным. Негр как живой человек с особой судьбой и особым внутренним миром для него не был интересен (согласно эстетическим установкам Райта — и не должен был его интересовать); он был лишь неким ходячим олицетворением страдания, одушевленным знаком социальной несправедливости, а его жизнь — воплощением ада на земле. Это не значит, что Райт всегда и безоговорочно оправдывал негров и порицал белых. Нет, с адом можно было примириться, но можно было и не принимать его, искать правых и виновных, обличая тех негров, которые либо стали приспособленцами, либо морально сломились. Но даже в «Долгом сне» (1958), книге, появившейся уже после эллисоновской «Невидимки» и болдуиновских «Писем сына Америки», Райт оказался не в состоянии увидеть особые качества, свойственные его герою как человеку, индивиду, а не только как социальному феномену. Его герои остались носителями весьма условного «коллективного» негритянского социального сознания — и не более.

Драма позднего Райта была драмой художника, попытавшегося перенести в новую эпоху систему представлений, определенную иными, соответствовавшими более раннему этапу национальной негритянской жизни социальными, психологическими, духовными условиями. Все другое — увлечение совершенно чуждыми природе его таланта модернистскими приемами, эклектизм идей, позаимствованных у философов, которых трудно совместить друг с другом, нагнетание нот одиночества, потерянности, тоски — было только следствием: Райт не мог не ощущать кризиса своей художественной системы и отчаянно пытался оживить ее, прибегая даже к имитации модных тем и манер письма.

А между тем послевоенная действительность, в которой жили герои Эллисона и Болдуина, учеников Райта, первыми пошедших против своего учителя, уже по сущности своей отличалась от Чикаго конца тридцатых, с такой художественной силой изображенного Райтом в его лучшей книге «Сын Америки» (1940). Негритянский мир перестал быть однородным, он выступил во всех своих — пусть и против воли самих негров — трагических и непреодолимых связях с общеамериканским макрокосмом. Произошла нивелировка быта, только разжигавшая, доводившая до болезненной обостренности сознание духовной изоляции. Радикальные перемены в «третьем мире» резко усилили у американских негров национальное чувство; но одновременно шел и распад негритянского мира, рушилась его обособленность и замкнутость. Возникло новое противоречие: во взаимоотношениях с белой Америкой, в движении за равноправие негр выступал носителем коллективно-

го сознания, в этом измерении доминирующим началом была его «представительность», ибо всякий чернокожий американец, участвовавший в движении, действительно представлял борющийся за свое право народ. Но внутри черной Америки развертывался общеамериканский конфликт между стремлением человека к индивидуальности и навязываемой обществом тотальной духовной нивелировкой.

Упрекая Райта в том, что он за видимым не разглядел сущего, за реальностью физической — реальность более высокого порядка, Болдуин и Эллисон подразумевали не только схематизм в изображении негритянской жизни у Райта. Показательно, что наибольшую неудовлетворенность вызывал у них как раз «Сын Америки» — книга, в которой Райт раскрылся наиболее последовательно. И в этом романе принцип негритянской «репрезентативности», специфической райтовской «соборности» (негр — прежде всего негр, категория, а не индивид), получил законченное выражение в характере главного его героя Биггера Томаса. Перечитывая книгу, нельзя не отметить: Биггер, который по роковой случайности совершает убийство белой и оказывается в роли зайца, преследуемого сворой гончих и мечущегося во все сужающемся кругу,— всюду представлен только жертвой, «воплощенной укоризною» белой Америке. Он и ведет себя подобно животному, одержимому одним желанием: выжить. Он оказывается способным на самый отъявленный садизм, на убийство не только чужого, но и близкого человека, на любую жестокость — лишь бы замести следы. Он изображен Райтом как недочеловек, и сколько бы ни апеллировал Райт к совести читателя, возлагая вину за брутальность Биггера на взрастившее его общество, Биггер оставляет у читателя смешанное чувство сострадания и отвращения. «Сын Америки» и последовавшие за ним произведения утверждали альтернативу: либо статус черной Америки радикально изменится, либо негр обречен на вырождение, ибо условия его существования способны создавать лишь таких от рождения опустошенных людей, как Биггер Томас.

Дело было не в том, что Райт рисовал дно и людей дна; дело было в акцентах и пропорциях. В книгах Эллисона и других писателей «новой волны» изображались вещи ужасающие, не менее откровенно рассказывалось о последствиях насильственного отчуждения и заключения в гетто, были показаны люди, безнадежно сбившиеся с пути и принявшие внушенную им мысль о том, что негр духовно неполноценен и поэтому крайние формы насилия, извращенность, ущербность с его стороны только естественны. Но у того же Эллисона все это никогда не выступало как конечное, как доминирующее в негритянской жизни; главным для Эллисона был самый импульс, побуждающий героя, вопреки сопротивлению и чужого ему белого мира и «родного» гетто, искать путь к другим, а не совокупность комплексов неполноценности и страха, обусловившая трагический финал одиссеи его Невидимки.

Еще недавно известный американский литературовед Ирвинг Хау подвергал резкой критике Эллисона и Болдуина за то, что они, по его словам, предали великую традицию социального протеста, закрепленную в «Сыне Америки», и утверждал, что негритянская литература в силу этических соображений обязана ограничиваться выражением «черного гнева» и быть проникнутой настроением, «когда для боя сжимаются кулаки». При этом Хау словно забывал, что те же Болдуин и Эллисон создали книги, звучавшие обвинением Америке. Но у них это произведения, исследующие духовный мир индивида, не Биггера Томаса (который, говоря словами Болдуина, «добровольно принял теологию, отказывавшую ему в праве жить, согласился с тем, что он недочеловек, и боролся за то, чтобы его признали человеком, животными средствами, завещанными ему от рождения»), а человека—вместилища «неисчерпаемых проблем духа».

«Прощай, бедный Ричард!» — возвестил Болдуин в 1961 году, и это была не только последняя дань умершему писателю, но и расставание с целой эпохой в негритянской литературе Америки. Когда Болдуин писал, что «роман протеста» отвергает «саму жизнь, отвергает человека, его красоту, ужас его жизни, но и вместе с тем и его силу, заменяя все это социальными категориями, которые одни имеют для него высшее значение»,— это было сказано излишне резко. Для своего времени «роман протеста» был актуален и значителен, в нем выразились и правда о сегрегированной Америке, и нараставшая в негритянской среде горькая неудовлетворенность жизнью. Но то была другая эпоха, когда лозунгом, объединявшим американских негров, было «Я — тоже Америка!», когда еще считалось необходимым доказывать свои права на человечность и равенство. Новое поколение, явившееся после войны, считает эти права не требующими доказательств. Этим и объясняется новое звучание негритянской литературы последних лет.

ДРУГАЯ СТРАНА

Значит ли это, что отход от творческих установок Райта и его последователей был в книгах писателей «новой волны» безболезненным? Стала ли литература, созданная писателями-неграми после войны, эстетически богаче оттого, что вырвалась за пределы «литературного гетто», в котором они находились вплоть до последних десятилетий? Насколько обоснованы нередко раздающиеся в их адрес упреки в том, что они утрачивают национальную негритянскую самобытность, что по своей проблематике и художественной структуре негритянский роман все менее воспринимается

как нечто резко специфическое, как явление литературы, выражающей совершенно особый мир?

От американских критиков, в том числе и критиков-негров, можно услышать, что при всей своей тенденциозности Райт все-таки обладал большой внутренней цельностью; тот же «Сын Америки» — вещь совершенно законченная в традициях художественной системы, в ней использованной, а это, пожалуй, не скажешь хотя бы о романах Болдуина, или Уильямса, или Келли. В том, что для негритянской «новой волны» сейчас уже не характерно художественное единство, заключен и немалый положительный смысл: единство негритянской литературы времен Райта, думается, точнее было бы назвать одноликостью. Но есть и негативная сторона. Расширение контактов между негритянской и «остальной» американской, а также и европейской литературой сопровождалось не только освоением действительно ценного эстетического опыта; стремясь доказать, что негритянский писатель — прежде всего писатель, а только затем негр, Болдуин, Уильямс, Келли, да и многие другие действительно нередко поступались негритянской самобытностью, и их книги — это особенно относится к романам Болдуина — поражали причудливым смешением своеобразного и заимствованного, художественной правды и не диктовавшихся внутренними потребностями произведения модных концепций человеческого поведения и романной структуры.

Среди достаточно многообразной и богатой негритянской литературы послевоенных лет с уверенностью можно назвать только одну книгу, в которой превращение героя-негра в живую человеческую личность, чья судьба была показана сквозь призму самых насущных — и собственно негритянских, и значительных для всей Америки — проблем, не разрушило цельность писательского мировидения, замысла и воплощения. Речь идет о романе Ральфа Эллисона «Невидимка».

Восемнадцать лет прошло со дня выхода этой книги, и история споров вокруг нее — это история медленного, но неуклонно растущего и теперь уже перешагнувшего пределы США признания литературы, выразившей настроения послевоенной черной Америки.

Генри Джеймс без малого столетие назад назвал черную Америку «другой страной», государством в государстве. Джеймс Болдуин, наш современник, взял эти слова в качестве заглавия к самому значительному своему роману. Но смысл в это понятие — «другая страна»—вкладывался разный: для Джеймса негр был чужим, ибо между ним и белым пролегали века культуры, для Болдуина белые—это «другие», ибо между ними и неграми пролегли века ненависти.

Для безымянного героя Эллисона Америка — тоже другая, чужая страна, между ним и обществом, в котором он живет, но которое никогда не было для него своим, стоят непробиваемые стены отчуждения. Чужим рождается он на земле, чужим, невидимкой, «имени которого никто не знает», завершает свой путь на дне нью-йоркской клоаки, потерпев полное поражение, отвергнутый, надломленный, изгнанный. Он невидимка не потому, что носит чудодейственную шапку; внешне у него есть контакт с людьми, много раз на протяжении книги у него возникают — правда, совсем ненадолго — иллюзии преодоления пустоты вокруг себя. И все же для всех он только физическая оболочка человека, «специфического человека в специфических обстоятельствах», как формулировал задачу своего романа Эллисон. Негр — это негр, его можно ненавидеть, можно лить слезы над его судьбой, но никто не воспринимает его как личность — это исключено самим порядком вещей. А эллисоновский персонаж хочет быть именно личностью. Его мучает с самого раннего детства преследующая его отчужденность, из плена которой он не в силах освободиться; это американский Мерсо, только с очень существенной поправкой: персонаж Камю отчужден, ибо окружающая жизнь абсурдна; персонаж Эллисона отчужден, ибо он негр. Он не приемлет этой отчужденности, она — исток его трагедии, но все попытки преодолеть ее терпят крах, ловушки захлопываются одна за другой, и в конце пути его ждет сырая камера глубоко под землей, все те же неодолимые одиночество, безмолвие, пустота.

Вот это резко выраженное, чуть ли не гротескное ощущение психологической дистанции, отделившей американского негра от других людей, эта настоятельная потребность в сближении с другими, в преодолении избранной отнюдь не по собственной воле замкнутости в гетто, безысходность попыток вырваться за поставленные негру пределы существования: духовного, социального, культурного — все это наполнило книгу Эллисона трагическим звучанием, и его роман вошел в сознание послевоенного поколения негритянской Америки как кровное, выстраданное, свое от начала до конца. В «Невидимке» выразился тот этап национальной жизни, когда негритянский микрокосм, мало-мальски защищавший от жестокости внешнего, белого мира, начал разваливаться на глазах, когда желание раствориться в безликой толпе чернокожих соотечественников, спрятаться от грозной реальности за стенами негритянского квартала сменилось жаждой освобождения, выхода из гетто. Но этот порыв встретился не только с сопротивлением белого мира, не только с противодействием многочисленных собратьев по расе, крепко помнящих, насколько безопаснее знать свое место в гетто и принимать реальность гетто такой, как она есть, но и с силой отчуждения человека от человека, принявшей в послевоенной Америке — всей Америке — характер неизлечимой болезни.

Герой Эллисона был негром, и отчуждение предстало ему в самой грубой и циничной форме; он переживал его особенно болезненно, потому что отчужденность сливалась для него с напоминанием о расе, этой

метафизической реальности, перечеркнувшей все его усилия отыскать дорогу к другим. Человек послевоенной эпохи, развеявшей в глазах негра привлекательность клана полностью и окончательно, он покинул Юг, ибо не мог уже подавить в себе импульс к поиску индивидуальности. Переселение на Север всегда означало для негра крушение его психологического мира. Американский Юг — «с наибольшими традициями рабовладения, с остатками травли негров, с их экономической придавленностью, культурной приниженностью» * — был вместе с тем и почвой, на которой произрастал миф о расовой общности. На Севере же негра ждала не патриархальная деревня, в которой жили и умерли отцы и деды, а мир равнодушного и жестокого города, царство хаоса, подрывающего веру и питающего предрассудки, из которых самый губительный для негра — признание своей «недочеловечности». Но клан, южное гетто не оставляли надежд выбраться за узкие пределы своего мира, а побуждением, определяющим всякий поступок эллисоновского героя, было утвердить себя, преодолеть свою расовую отстраненность.

И он уехал в этот мир безразличного к чьему бы то ни было счастью или горю Нью-Йорка, в мир Гарлема, где в воздухе витает безнадежность, мир фабрики краснителей, превращающей людей в бесчувственные механизмы, в мир, где ему встречаются самые разные люди: директор колледжа, впитавший идею негритянской неполноценности с молоком матери, и давно утративший представление о моральной чистоплотности хозяйский шпик, и черный националист и погромщик, в котором за анархической истерией угадываются опустошенность и безверие, и полубезумные негритянские святые, и весьма добропорядочные — но только до известного предела — средние американцы, и негрофобы, и доморощенные фашисты, и либералы — множество людей, из которых никто не захотел обращаться с героем Эллисона не как с негром, а как с таким же человеком, как он сам. Его принимали за доносчика, за красного агитатора, нередко его неопытность могла стоить Невидимке жизни; действительность воспитывала эллисоновского персонажа средствами грубыми, ломала его идеализм без жалости и без остатка.

Но он был негр — не по несчастному стечению обстоятельств, а осознанно, ибо он хотел быть негром; он нес в себе любимую мысль Эллисона: национальное оскорбление, сопровождавшее негритянский народ Америки на протяжении всей его истории, не помешало негру развить в себе и сберечь высокие человеческие ценности — жажду справедливой жизни, гуманность, стойкость, самостоятельность духа. И чем грубее с ним обращались, чем больше запутывался он в дебрях Нью-Йорка, всюду наталкиваясь в лучшем случае на равнодушие, а гораздо чаще на недоверие и ненависть, чем дальше опускался Невидимка на самое дно, в бездну подсознательного страха перед жизнью, тем приметнее и трагичнее выступали в нем погубленные возможности подлинно высокой человечности, не получившей в этом мире ни единого шанса проявить себя.

«Быть негром в Америке,— сказал в одном из интервью Эллисон,— значит нести память о рабстве и о надеждах на освобождение, память о том, как предавали нас те, кого мы считали друзьями, память о том, как презирали нас, как мстили нам после гражданской войны наши бывшие хозяева, память обо всех мифах — и южных и северных,— изобретенных и внушавшихся нам, чтобы оправдать предательство... Быть негром — значит обладать особым отношением к жизни и идеалам нашей нации, значит воспринимать мир как трагикомедию... И самое главное: быть негром в Америке — значит осознанно утверждать свою личность вопреки всем внешним воздействиям, значит отождествлять себя со своей группой только через то общее, что открывается в каждом индивидуальном сознании, а это сознание отвергает какой бы то ни было выход, покуда не будут восстановлены исконные американские идеалы социальной и политической справедливости».

Трагикомедия — не самое удачное определение «Невидимки». Но какой бы безысходной ни казалась драма героя этой книги, в романе Эллисона нет безнадежности. Не в пример райтовским персонажам, эллисоновский анонимный герой был человеком во всех многосторонних связях своих с жизнью, его окружающей, и как раз поэтому так убедительна заключенная в романе Эллисона мысль о том, что люди, подобные Невидимке, не могут найти исхода, покуда не восторжествуют идеалы подлинной демократии и настоящего равенства. Это персонаж подчас действительно жалкий, подчас пугающий усиливающейся в нем темной силой ненависти к миру, к которому он тянулся с открытым сердцем, получая в ответ только презрение, плевки в душу и в лицо. И все-таки даже на самом дне жизни у Невидимки еще сохраняются остатки человечности, еще горит огонек веры в то, что комплекс обоюдной расовой ненависти преодолим. «...Как ни огрубляет жизнь негра, как ни стремится она превратить его в зверя, то обостряя его чувствительность ко злу, то отупляя его, разжигая в нем гнев, растравляя его горькую иронию... она заставляет негра самого определять, какой будет его жизнь, каким будет он сам. Потому что это его собственная жизнь, а не абстракция в чьей-то голове. И он должен прожить эту жизнь и попытаться с полным сознанием того, что он делает, овладеть всею ее сложностью, пока ему не удастся изменить жизнь; он должен жить, изменяя ее».

Казалось бы, это противоречит объектив-

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 135.

ному содержанию романа. Изоляция от других была навязана Невидимке; процесс организованной дегуманизации, с такой силой описанный Эллисоном, определил трагизм жизни его персонажа. Общество заставило Невидимку пройти все девять кругов ада; но главный вопрос для Эллисона — каким вышел из этого путешествия его герой: животным ли, мстительным и неукротимым, воодушевляющимся одним желанием — отвечать миру ненавистью на ненависть? Озлобленным ли циником, подобию герою «Записок из подполья», с которыми многократно и безуспешно пытались сопоставить книгу Эллисона? Ни то и ни другое; комплекс инстинктивного ужаса перед обществом, отвращения к нему, «подполье», в которое он был загнан, страшное, безысходное разочарование, которое его ожидало,— все это не смогло сломить в Невидимке органически присущую ему — только в этом смысле представляющему у Эллисона негритянский народ — веру в то, что человек должен поступать с другими достойно своего имени человека. И значение «Невидимки» не в последнюю очередь тем и определялось, что в этой книге был преодолен и райтовский альтернативный максимализм, и старый, как сама Америка, миф о том, что негр — это вместилище иррациональных сил в американской жизни.

Близкое будущее показало, как актуальна была проблема выбора, возникшая на заключительных страницах книги Эллисона. В 1954 году Верховный суд США принял решение о неконституционности сегрегации в школах, встреченное в штыки во многих штатах и ознаменовавшее начало нового этапа борьбы. И чем больший размах приобретало движение за гражданские права, тем неизбежнее возникал перед каждым его участником этот мучительный вопрос: замкнуться ли в «другой стране» или искать из нее выхода в иной, более широкий мир?

На этот вопрос трудно было ожидать однозначного, быстрого ответа. Всего каких-нибудь пятнадцать лет назад он решался в литературе — вспомним хотя бы известный роман А. Мальца «Долгий день в короткой жизни» — недвусмысленно и просто: белый рабочий всегда поймет рабочего-негра, а чернокожий капиталист найдет общий язык с белым магнатом. Но выяснилось, что расизм пустил очень глубокие корни в сознании подавляющего большинства американцев, и те «шероховатости» в расовых взаимоотношениях, которые должны были сгладиться, когда в действие вступит классовый инстинкт,—на самом деле представляют собой целый комплекс взаимного недоверия и враждебности, и комплекс этот сопровождает каждое расовое столкновение, на каком бы «уровне» оно ни происходило. Еще в 50-е годы уже упоминавшийся Ирвинг Хау — и не он один — утверждал, что проблема расизма почти тождественна проблеме социального неравенства между белыми и неграми; выяснилось, что социальная природа расизма неизмеримо сложнее. Вплоть до последнего времени и в Америке и за ее пределами бытовало мнение, что расизм может быть только белым; выяснилось, что существует и черный расизм.

В свете этого опыта проблема «другой страны» приняла особый характер. Трагизм райтовских романов не был безысходным; можно было уповать на грядущую социальную революцию, которая, ликвидировав неравенство, высвободит негритянский народ и из плена психологического отчуждения. В книгах писателей «новой волны» трагизм, как правило, безысходен. Эти книги поражены специфической болезненностью, каким-то особым надрывом—не потому лишь, что еще невиданный в американской истории взлет негритянского самосознания сделал особенно мучительной память о рабстве и унижении, но и потому, что герои, а, как правило, и сами писатели действительно не видят в условиях теперешней Америки никакого выхода, никакого проблеска хотя бы самой далекой надежды на преодоление психологической изоляции.

Единство «новой волны» заключалось лишь в том, что ее представители единодушно отошли от Райта. Дальше началось размежевание. Часть писателей, спасаясь от настроений обреченности, приняла догматы черного расизма и возвестила о своем полном разрыве и с белой Америкой, и с неграми-«приспособленцами», с теми, кто шел за Мартином Лютером Кингом и считал самоубийством отвечать на расизм расизмом. Другие, как Эллисон, опубликовав одну-две книги, надолго замолчали. Третьи продолжали писать, но в книгах их все усиливались настроения, лаконично выраженные одним из персонажей Болдуина: «О, этот мир, эта пустая жизнь, эта бессмысленная жизнь»...

Не странно ли? Ведь в книгах Болдуина отразилась «негритянская революция», а в ходе ее удалось добиться немалого; казалось бы, появились поводы для оптимизма. Но как и другие писатели — Келли, Уильямс,— Болдуин оказался прежде всего чувствителен — наверно, слишком обостренно, лихорадочно чувствителен — к другой, скрытой, но существенной стороне движения: даже не к появлению и усилению в нем зловещих предвестий черного расизма, культа силы, настроений радикальных в той степени, когда радикализм смыкается с нигилистическим отношением к истории, обществу, человеку. Все это выражено Болдуином, и все-таки книги его пронизаны иной тональностью; она подсказана той внутренней трагичностью негритянского движения протеста, которую так остро чувствовал Кинг, призывавший не к силе, а к мужеству, стойкости, сплоченности и гордой терпимости, ибо, по убеждению Кинга, она одна способна в конечном счете освободить негритянский народ: не только сделать его в Америке равным, но ликвидировать почву, на которой веками произрастали расистские предрассудки.

Болдуин очень далек от «черных братьев» и им подобных, которые стремятся только усугубить разделение Америки на

две страны, довести это разделение до крайних пределов. И сам он, и его персонажи тяжело переживают свою отъединенность, ищут путь к ее преодолению, стремятся к тому, чтобы жить; но у Болдуина, как бы высоко ни ставил он моральные качества негров, уже нет той веры в непоколебимость их чувства достоинства и в их способность вынести самое тяжелое жизненное испытание, которая была характерна для начинающего Эллисона. Его герои, разорвавшие связь с кланом, который душил их индивидуальность, не нашедшие в белом мире ничего, кроме незримых стен враждебности вокруг себя, не принимающие насилия, потому что сама идея насильственного навязывания своей воли другому вызывает у них отвращение, не принимающие ожидания, потому что ждать придется века, а жизнь измеряется десятилетиями,— эти герои терпят крах в своих попытках обрести подле себя другого, и они гибнут в одиночестве, как негритянский актер, судьбу которого Болдуин описал в последней своей книге «Скажи мне, давно ль ушел поезд» (1968), или кончают с собой, бросившись в Гудзон с моста Вашингтона, как герой «Другой страны» Руфус, негритянский интеллигент, задохнувшийся в атмосфере безразличия, безнадежности, безысходности стремлений найти выход из этой, по Болдуину, навеки отчужденной «другой страны».

Да и может ли быть по-иному, если с самого раннего детства персонажи Болдуина помнят только одно — как их «держали в этом аду и заставляли чахнуть, и морили голодом, и принуждали смотреть, как мать, отец, любимый, брат, сестра, и дочь, и сын умирали или сходили с ума прямо на глазах... и все это без спешки, не внезапно, а день за днем, день за днем, и так целые годы, и так из поколения в поколение»? Как, вопреки всему, они вырывались из ада, как в них пробуждалась человечность, просыпался интерес к миру, к людям вокруг, как они пытались войти в мир, но встречали все то же — бесправие («Любой подонок на Бауэри может подойти ко мне и вымазать меня дерьмом, потому что, пусть он глух и слеп, пусть у него нет ног, пусть он импотент, неважно, он — белый»), неумение понять груз прошлого, навсегда запечатленного в их сознании, нежелание пойти с ними на сближение, попытаться растопить лед предрассудков; было только вежливое безразличие или открытая неприязнь.

И даже близость с кем-то из другого мира, близость героя последней книги Болдуина с белой, которая последовала за ним, пожертвовав всем, близость Руфуса с Леоной в «Другой стране» — и это становится обоюдной мукой, ибо, по Болдуину, реальность способна лишь озлобить негра, а выместить зло он может только на близком человеке, вызвав в ответ такую же ненависть. Что же остается? «Иногда я лежу здесь и слушаю, просто так, слушаю,— признается Руфус на пороге самоубийства.— Там за стеной они шаркают башмаками, спешат, думают, что все всегда будет так, как сейчас. А я лежу и слушаю, просто так, слушаю, не раздастся ли звук бомбы, которая упадет на город и прикончит этот шум. Слушаю и жду, не услышу ль я их стоны. Я хочу, хочу, чтобы они истекали кровью, задыхались, чтобы они плакали и звали на помощь. Долго же им придется звать, чтобы я пришел».

Но здесь-то и пролегает коренное различие между Болдуином и националистами,— в частности, их литературным вождем Лероем Джонсом. Ибо если для героя Джонса такие настроения закономерны и автор не в состоянии представить, чтобы негр, мало-мальски отдающий себе отчет в том, что сделала с ним белая Америка, мог относиться к ней иначе, то для Руфуса пробуждение жажды тотального насилия означает — и этого он не может не почувствовать, хотя, может быть, и не понимает рассудочно — моральный крах, «смерть в душе». В поезде метро, который привезет Руфуса на роковой мост Вашингтона, он видит сливающуюся в одну ослепительную желтую полосу цепь огней в туннеле, и вдруг ему кажется, что кто-то выключил электричество и поезд, с бешеной скоростью взбираясь по бессмысленно уходящим все вверх, вверх и вверх рельсам, мчится по темному грохочущему туннелю под водой, ведомый сошедшим с ума машинистом и битком набитый орущими, барабанящими в плотно закрытые окна и двери людьми,— а поезд не останавливается, и они набрасываются друг на друга со всей яростью, скопившейся в них, проживших пустую, бессмысленную жизнь, с яростью, вырвавшейся наружу «после столь долгих лет, проведенных в цепях», и в них просыпается тщательно скрывавшаяся радость убийства, радость насилия, перед которым содрогнется мир. Такой видит Америку в последние свои минуты болдуиновский герой, и она вызывает у него содрогание. Это — его катарсис.

Здесь, вероятно, следовало бы поставить точку. К сожалению, Болдуин этого не сделал, испортив в дальнейшем блестяще начатый роман эпизодами, в которых сказалась, по терминологии американского критика М. Гейсмара, болдуиновская «гомосексуалистская остраненность» и в которые Болдуин вкладывал почти ритуалистическое значение. Но и того, что было связано с Руфусом, достаточно, чтобы книга Болдуина врезалась в память всякого, ее прочитавшего. Ибо это была подлинная трагедия «другой страны» — для Болдуина с годами все более и более безысходная. С тем, что белая и черная Америка обитают на разных планетах, можно было спорить— и с Болдуином спорили, критикуя его и «справа» и «слева». Но мысль о том, что в Америке не будет ни мира, ни счастья, пока «другая страна» не станет для всех своей страной, эта мысль, которую Болдуин

А. ЗВЕРЕВ
«К ХАОСУ ИЛИ К СООБЩЕСТВУ?»

не устает защищать по сей день, приобрела необыкновенную актуальность в нынешней разделенной Америке.

ПРИЗНАНИЯ МАЛЬКОЛЬМА ИКС

В книге публицистики «И никто не знает моего имени», вышедшей в 1961 году, Болдуин, предчувствуя близящийся взрыв ярости, который потрясет Америку, пытался отыскать причины, делавшие его неизбежным. «Приходит вдруг день,— писал Болдуин,—когда, ко всеобщему изумлению, кто-то бросает в пороховой ящик зажженную спичку, и все взлетает на воздух. Не успеет улечься пыль и остыть пролившаяся кровь, как поднимается невообразимый шум: в передовицах, по радио, в заседаниях комиссий по гражданским правам требуют безотлагательно дознаться, что случилось. А случилось то, что негры хотят, чтобы с ними обращались как с людьми».

В книге молодого писателя Шейна Стивенса «Упади замертво», появившейся через пять лет, взлетевшее на воздух здание или неведомо по какой причине убитый человек уже не вызывают волнений. В Америке 1966 года, в ее негритянских кварталах, все это почти естественное, во всяком случае, достаточно будничное явление. Нью-Йорк негласно разделен на районы черные и белые; они перемежаются, как клетки на шахматной доске: Гарлем — запретная зона для белых, вылазка в Бронкс может стоить негру жизни. «Поживите в Гарлеме и одно будете знать наверняка: хуже быть уже не может»,— начинает свой рассказ Адам Клейтон, шестнадцатилетний герой Стивенса, один из тысяч гарлемских обитателей, еще в раннем детстве постигших, что в этом мире их ждет непрестанная борьба за жизнь.

Столкнувшись с молчаливым, но непреодолимым сопротивлением белого мира, Невидимка Эллисона бежал от него, обрекая себя на безысходную трагедию, но и в подполье у него осталась вера, что так, как поступали с ним, поступать нельзя. Герой Стивенса выбрал иной путь. В нем проснулся инстинкт, побуждавший его каждую минуту — на улице, в автобусе, кафе — быть готовым вступить в схватку с невидимым, но близким врагом и защитить себя любыми средствами. Он стал Королем Генри, вождем отряда таких же озлобленных, потерявших веру в то, что между белыми и неграми возможны хоть какие-нибудь человеческие взаимоотношения, ребят, поклявшихся мстить белым изо дня в день, не дожидаясь оскорбления, оскорблять их самих, отравлять им жизнь, уничтожать их, если они посягнут на «священную землю»— восемь кварталов в Гарлеме, которые взял под свой контроль отряд Генри и в которых стихийно образовалась негритянская республика, управляющаяся по законам военной диктатуры.

Можно сколько угодно доказывать, апеллируя к нравственности, к логике, наконец к истории, что затея Короля Генри и его ребят безнадежна, опасна, вредна для самих негров: его боятся не только белые, боятся и «подданные» его гарлемской республики. Все так, но не понять побуждений этого подростка, не посочувствовать ему нельзя. Что видел он в жизни? Дома его ждали опостылевшие некрашеные стены и дырявая мебель, крысы, ютящиеся по углам, мать, что ни месяц одаривающая его новым отцом. Школа? Но какое ему дело до географии Канады, тощих школьных завтраков, одноклассниц, подрабатывающих проституцией прямо после уроков. Церковь? Там совсем с ума посходили, проповедуют, что черная раса—избранная, сам Христос был черным, как и двенадцать апостолов, а белым был только Иуда. Но Генри-то хорошо известно: будь Христос черным, так торчал бы всю жизнь в какой-нибудь гарлемской дыре и чистил башмаки не хуже других; а что его раса избранная, то это все вранье, вот он, Генри, черный, а какой он избранный, когда все, что он может делать,— это подметать улицы, или сниматься в порнографических фильмах, изготовляемых для стареющих белых ловеласов, или разносить наркотики со склада, принадлежащего белому дельцу, рискуя при этом угодить в тюрьму лет на пятнадцать.

И в этом темном, непросветленном — кто его просветит? Ведь не учительница, которая сама боится выйти за стены Гарлема?— сознании рождаются понятия, совершенно для Генри естественные и все-таки страшные. В Генри живет и ни на минуту не затухает чувство ущемленной гордости, он никогда не примирится с жизнью, на которую его обрекли, он готов драться, он и умрет, отстреливаясь от полицейских и, как заклинание, твердя, что они не дождутся, чтобы он стал новым дядей Томом. Все это только справедливо, ведь рядом, в белом районе, сформировался такой же отряд из ненавидящих негров белых ребят, и война между ними — не ребячьи игры на задворках, а настоящая, с кровью и смертью, война. И Генри мстит, придумывая тысячу всяких вещей, только бы нанести белым — все равно каким белым — кровную обиду, ибо каждая нанесенная белым обида — новое доказательство, что и он, Генри, свободен, что он и его ребята, Хрящ, Самородок, Двадцать с плюсом, Лось, тоже хозяева в своей стране.

Однако за каждой сценой в книге Стивенса незримо стоит один, тот же неотступный вопрос: хозяева для чего? Для того, чтобы негры стали не рабами, а свободными людьми? Но Генри и его отряд нагнали на Гарлем такой ужас, что им приходится не только воевать с белыми, но и «наводить порядок» среди жителей своей округи — как бы они не начали роптать; быть может, не отдавая себе в том отчета, Генри очень свыкся со своей ролью местного диктатора и не потерпит недовольных. Или для того, чтобы вместо ненависти на американской земле воцарилась человечность? Однажды Генри видел фильм, там бежали из тюрьмы негр и белый, скованные одной цепью, а когда они разбили цепь, то негр быстро сообразил и махнул на поезд, а бе-

лый, конечно, не сразу до этого додумался, так негр его потом тащил на платформу и сам сорвался — ну не кретин ли? — вот Генри, тот так бы этому белому заехал башмаком в рожу, что белый потом бы на километр подойти к нему боялся...

Итак, что же случилось? Случилось то, что терпение исчерпано, и многие негры больше не верят в реформы, которые сулят им не первый десяток лет. Случилось то, что одни неосознанно, а другие вполне сознательно в своей немирной, насильственной борьбе за свободу берут на вооружение те самые методы, какими белая Америка на протяжении веков пользовалась, чтобы держать негритянский народ в рабстве. И тут начинается новая трагедия, ибо подобные действия можно понять, но их нельзя оправдать — ни нравственно, ни исторически.

«Да неужели вы сомневаетесь, что я, «черномазый», ненавижу Америку ненавистью, близкой к пароксизму? — пишет в своей автобиографии двадцатилетний студент Сэм Торп.— Америка не дала мне ничего такого, ради чего стоило бы жить или умереть, исключая одну цель: гибель Америки». И вторя ему, снискавший в последние годы громкую известность поэт и драматург Лерой Джонс в декабре 1967 года на вопрос: «Считаете ли вы, что власть черных может стать реальностью в Америке?» — ответил категорически: «В противном случае Америки не будет вообще».

Лерой Джонс — одаренный литератор, но выдвижение его на авансцену американской культурной жизни никогда не было бы столь стремительным, если бы он не представлял общественное движение, которое приковывает к себе все более пристальное внимание. Это движение, «власть черных» («Black Power»), зародилось сравнительно недавно и выразило массовое разочарование негритянского народа Америки в ненасильственных методах борьбы за равенство — разочарование, сильно усугубившееся убийством Мартина Лютера Кинга, до последней минуты отстаивавшего мирный путь. Требование «власти черных», по иронии судьбы, впервые открыто прозвучало в том самом городе, где был убит Кинг, в Мемфисе на одной из демонстраций протеста в июне 1966 года. Инициаторами движения выступили Национальный студенческий комитет координационных действий и его руководители — Уилли Рикс и Сторкли Кармайкл; с самого начала движение это получило резонанс и за пределами Америки Это неудивительно: в лозунгах «власти черных» нетрудно различить много общего с некоторыми программными установками леворадикальных течений в Европе и особенно в «третьем мире».

По признанию одного из ведущих теоретиков движения, Джеймса Боггса, «власть черных» основывается на приспособленном к американским условиям маоистском тезисе о том, что не рабочий класс, а крестьянство является в азиатских странах главной революционной силой. Формулируя исходные посылки движения, Боггс пишет: во времена Маркса «капиталистической системе противостояла в качестве революционной социальной силы «классовая солидарность» пролетариата. В наши дни революционная социальная сила заложена в движении «власть черных», выражающем настроения негритянского народа США, ибо это сила, противостоящая не только капиталистам, но и средним классам, а также и рабочим, ставшим прислужниками системы, поскольку рабочие получают выгоду от режима, эксплуатирующего их и угнетающего негров. Допустить, чтобы «власть черных» пошла в своей борьбе на союз с белым пролетариатом,— все равно, что распахнуть ворота своего лагеря для врага. Говорить, что все американцы, и белые и черные, должны участвовать в борьбе за освобождение негров,— значит проповедовать соглашательство классов».

«Власть черных» оставила доказавшие свою бесплодность попытки отыскать пути на утерянную родину, реконструировав мифическое «прасознание» американского негра. Это движение исходит не из романтических побуждений, а из достаточно трезвого анализа современной политической ситуации в США; «необходимо осознать,— пишет другой лидер движения, Герман Фергюсон,— что Америка никогда не пойдет на признание равноправия белых и негров, если последние не будут представлять собой организованной силы».

Когда Лероя Джонса спросили, к какому типу общества будет стремиться, придя к власти, «власть черных», он ответил, что, «по всей вероятности, это будет общество социалистическое». Для «власти черных» характерно стремление придать своей программе архилевое звучание. Однако что общего может иметь с социализмом общество, в котором расизм не только не будет искоренен, а, наоборот, будет официально провозглашен государственной политической доктриной,— просто белые и черные американцы, так сказать, поменяются местами? Что общего может иметь с марксистским анализом классовой борьбы в обществе (а именно за марксизм «на современном этапе» выдают свои идеи Боггс и другие) совершенно недвусмысленная подмена классовых взаимоотношений расовыми взаимоотношениями, когда классовая структура и белой и черной Америки устраняется из анализа как нечто несущественное, а существенными оказываются только этнические характеристики? Что общего с революционной практикой может иметь это стремление разобщить людей по цвету кожи, разрубить узел мучительных противоречий, сплетенный веками рабства и отчуждения, одним ударом, пренебрегая диалектикой истории, отбрасывая реальные трудности вместо того, чтобы искать пути к их подлинному, а не мнимому преодолению?

Что конкретно подразумевает это движе-

А. ЗВЕРЕВ
«К ХАОСУ ИЛИ К СООБЩЕСТВУ?»

ние под завоеванием власти? Передачу всех ключевых позиций в обществе черным (каким именно черным, не оговаривается); если белая Америка не отдаст этих позиций добровольно (очевидно, так), завоевание их в пламени расовой войны, которая «в одно прекрасное утро как взрыв потрясет все города и штаты, все города одновременно», а потом, на развалинах, «черным и бедным станет жить легче». Тотальное расовое разделение, своего рода черный апартеид; к нему призывал еще в 1962 году Лерой Джонс в эссе с выразительным названием «Черные — это страна». Создание новых общественных классов по признакам расовой принадлежности и расовой же культуры; по мнению Джонса, современное общество — не американское, а общество вообще — «основывается на расе и культуре... и грядущие изменения будут определены расой и культурой, и все мировые войны породят раса и культура». Та самая «другая страна», из которой искали и не находили выхода герои Эллисона и Болдуина, теперь объявляется высшей целью негритянского движения, призванного не преодолеть разделенность Америки (Кинг, звавший к этому, в высказываниях приверженцев «власти черных» фигурирует не иначе, как «либерал, помешанный на интеграции»), а закрепить ее навеки.* Вопрос Болдуина о том, разумно ли добиваться интеграции, если горит сам американский дом, снимается с повестки дня как несущественный.

Произведений, в которых идеи сторонников «власти черных» получили апологетическое освещение, не так много, но одно из них, несомненно, выделяется среди потока негритянской беллетристики последнего времени. Речь идет о романе хорошо у нас известного Джона Оливера Килленза «Сиппи» (1967); книгу эту даже трудно назвать художественным произведением, настолько все ее компоненты — характеры, сюжет, диалоги, стиль и пейзажные и лирические зарисовки — подчинены одной цели: доказательству любимых идей сторонников «власти черных». Этих идей в книге Килленза две. Первая из них состоит в том, что свобода обретается в борьбе, которая требует самоотверженности на грани аскетизма, беспощадности к врагу и безоговорочного подчинения интересам дела. Вторая идея гласит, что антропологически негр по всем статьям превосходит белого; впервые эта «идея» была публично провозглашена опять-таки Лероем Джонсом и тоже в эссе с выразительным названием «Превосходство черного самца».

В литературе такого рода Килленз новичок, и поэтому «идею» черного превосходства он пытается утвердить на социальном фундаменте. Его герой Чак Чейни проходит знакомый круг: детство на южной плантации, школа, прерываемая весной и осенью работой в поле на белых, борьба с нищетой, очень рано полученные уроки жизни.

Вслед за этим наступает, как и обычно в негритянском романе, момент, когда герой впервые обнаруживает в себе комплекс расовой неполноценности.

Для героев Эллисона и Болдуина эта минута становилась решающей, с нее начинались трудные испытания их человечности и полные трагизма поиски пути к другим; захватывая все новые преломления многоликой действительности, роман наполнялся общечеловеческим звучанием. В герое Килленза пробуждается совсем иное стремление; убедившись, что белый мир, каким бы либеральным и терпимым по отношению к негру он подчас ни представал, добровольно не признает в нем полноправного американца, Чак отдается одному порыву: разжигать в себе ненависть ко всему белому, мстить белым всеми доступными ему средствами, искать националистической и расовой общности.

И пафос «Сиппи» — вовсе не пафос протеста, не пафос борьбы против расизма. Расизма как социального феномена для деятелей «власти черных» не существует, есть только белый расизм, белый фашизм, белый геноцид; а совершенно тождественные лозунги, когда они выдвигаются неграми, — это не расизм, не фашизм, не геноцид, а программа «истинного» революционного переустройства мира. Роман Килленза написан согласно требованиям, предъявляемым «властью черных» к литературе; суть этих требований в том, что художник обязан создавать действенную модель «правильного» негритянского сознания, строго придерживаясь категорий расового мифа. В Чаке Чейни реализовано это «правильное» сознание. Каковы же его компоненты? Тирания абсолютной идеи. Фанатизм. Недвусмысленный расизм черной окраски. Дух холодной целесообразности; когда на одном из митингов был убит выдающийся негритянский деятель Дэвид Вудсон, реакция Чака была простой и ясной: борьба требует жертв, Вудсон погиб, но его смерть приведет в ряды черной гвардии новых бойцов — стало быть, для движения в целом это убийство полезно. Радикальное неприятие всего белого только потому, что это белое. И, разумеется, сознание своего антропологического превосходства. Когда-то еще в штате Миссисипи (в негритянском произношении — просто Сиппи) Чаку покровительствовал всемогущий хозяин его родного городка Уэйкфилд, и у героя Килленза даже были иллюзии, что среди негров он избранный; ныне, в Нью-Йорке он пользуется возможностью выжечь память об этом позорном эпизоде, «отомстив» — самым грубым, циническим образом — сочувствующей негритянскому движению дочери Уэйкфилда Кэрри. Это, очевидно, тоже составляет неотъемлемую черту облика «настоящего» негритянского революционера, каким видит его автор «Сиппи».

* Нельзя не вспомнить, что В. И. Ленин писал в 1913 г., имея в виду и негритянское население США: «Если экономика сплачивает живущие в одном государстве нации, то попытка разделить их раз навсегда для области «культурных» и в особенности школьных вопросов нелепа и реакционна». (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 175).

В книге Килленза выразились радикальные противоречия «власти черных» — этим она и интересна. В ней запечатлелось усиливающееся у негритянского народа Америки стремление к активной, немирной борьбе, нежелание дальше ждать; в ней есть достойные страницы прежнего Килленза, которого наши читатели хорошо знают. В ней есть то привлекательное в лозунгах «власти черных», что обеспечило этому движению широкий резонанс в негритянской Америке и что можно охарактеризовать словами Лероя Джонса: «Я не поддержу никакой негритянский протест, если он не порывает с этическим бесплодием... олицетворенным в либерализме».

Но куда более весомыми оказались в «Сиппи» элементы открытого расизма, псевдореволюционной патетики, разрыва с элементарной нравственностью под флагом борьбы против угнетения. Та темная стихия гарлемского дна, о которой с тревогой писали Болдуин и Стивенс и на которую делают ставку лидеры «власти черных», у Килленза вызывает только преклонение, ибо в ней одной видит он теперь обновляющую, революционную силу в Америке; он не способен разглядеть, что за призывами «власти черных» полностью освободить черных от порабощения белыми скрывается намерение подчинить белых порабощению черными. Слишком наболевших, слишком острых проблем коснулись идеологи «власти черных», слишком заманчиво предлагаемое ими решение конфликта, чтобы даже такой проницательный негритянский писатель, как Килленз, мог бы сразу же различить за их максимализмом опасность поднявшейся из глубин американской действительности волны никем и ничем не регулируемого расизма в ответ на расизм и убийств в отместку за убийства. Возможны разные пути борьбы — невозможно только выстроить стену между двумя Америками, укоренив расизм навсегда. И к такому выводу рано или поздно не может не прийти всякий, кто искренне стремится положить конец расизму. Пример тому — «Автобиография Малькольма Икс», одна из самых сильных книг, созданных в Америке 60-х годов.

Малькольм Икс был человеком исключительной одаренности. Выросший в фермерской негритянской семье, не получивший образования, прошедший через гарлемский ад, через люмпен-пролетарскую среду и тюрьму, он в конце 50-х годов выдвинулся как блестящий оратор и публицист и оставил книгу, свидетельствующую, что и в литературе он занял бы место рядом с Эллисоном и Болдуином. Судьба его необыкновенна и поучительна: весь свой талант, всю страстность и искренность он отдал одной идее, и идея, во многом благодаря его усилиям получившая большое распространение в негритянской Америке, в конечном счете обернулась против самого Малькольма, определив драму последних месяцев его жизни и ее трагический конец. Он был убит во время выступления на митинге своих сторонников в феврале 1965 года, убит в Гарлеме, за чьи права он сражался, убит в зале, где не было ни одного белого, в том самом зале, где он десятки раз провозглашал необходимость полного и бескомпромиссного разрыва с белыми, неприятия всех белых идеалов, недоверия ко всей белой культуре, ненависти ко всему белому миру.

Идея, которой была отдана эта короткая жизнь, впервые заявила о себе еще в 1931 году, когда Илайя Пул, именующий теперь себя Илайей Магометом, возвестил, будто Аллах через своего посланца, некоего мистера Фарда, открыл ему, что американские негры — это исламский народ, заблудившийся в белой пустыне христианства, и что их ждет спасение, если они вернутся в сонм правоверных. Вплоть до последнего десятилетия движение «исламский народ» («Nation of Islam»), более известное под именем «черные мусульмане», было слишком малочисленным, чтобы играть сколько-нибудь заметную роль в негритянской жизни. Его необыкновенное усиление в 60-е годы—результат роста националистических и расистских настроений в негритянской среде и далеко не в последнюю очередь итог страстной пропагандистской кампании, осуществленной Малькольмом Икс *. Случайно познакомившись с учением Илайи Магомета в тюрьме, он стал самым пламенным последователем этого человека, которого, пишет Малькольм в «Автобиографии», «я считал если не богом, то, во всяком случае, стоящим сразу после бога».

Сама история приобщения Малькольма к «черному мусульманству» может сказать немало. Своих приверженцев Илайя Магомет находил прежде всего среди людей «дна»: гарлемских люмпенов, нищих, «хастлеров», сделавших своей профессией темные и небезопасные махинации, безработных, арестантов — словом, в среде, далекой и от негритянского пролетариата, и от либерально настроенных средних классов, меж отчаявшихся и готовых на любые действия, если они сулят хотя бы отдаленную надежду на избавление. В этой среде расовые мифы получали самое широкое хождение, а Илайе Магомету нетрудно было выдать себя за бога; выйдя на свободу, Малькольм свято верил, что «историю изменяют только те, кто умеет изменять понимание людьми самих себя: Христос и Гитлер, Будда и Илайя Магомет».

«Исламский народ» вовсе не намерен был ограничиваться ожиданием пришествия Аллаха. Это была вооруженная организация

* Мы не знаем его настоящей фамилии. «Черные мусульмане» отказываются носить полученную при рождении фамилию, поскольку некогда она принадлежала хозяину предков «мусульманина» — рабов. По учению «мусульман», настоящее имя однажды будет открыто правоверному свыше; Малькольму оно было открыто во время его паломничества в Мекку в 1964 году, и в последние месяцы он называл себя Эль-Хадж Малик Эль-Шабаз.

со своей политической машиной и своими целями: добиться отделения нескольких наиболее населенных неграми штатов от американского союза и организовать в этих штатах свое государство с Илайей Магометом на престоле и леворадикальной, окрашенной в религиозные тона программой общественного устройства.

На протяжении веков церковь была одним из самых безотказных орудий в руках белой Америки; Илайя Магомет понимал, что для овладения массами требуется, сохранив привычную массам религиозную форму, трансформировать сущность; учитывалось и то, что мусульманство может обеспечить движению сочувствие значительной части «третьего мира». Нужен был миф, чтобы взять под свой контроль нараставшие в черной Америке чувства национального самосознания и стремления к национальной, духовной и культурной самостоятельности; миф был найден в Коране. Так родился боевой лозунг «исламского народа»: «То, что для белых рай, для черных — ад»; так было сформулировано основное положение доктрины, гласящее, что «во все времена *коллективный* белый человек, сталкиваясь с *коллективным* небелым человеком, вел себя как дьявол», и, следовательно, расовое сотрудничество в любой форме и на любом классовом уровне есть предательство национальных негритянских интересов; так был сотворен миф о том, что до порабощения, в Африке, негры были мусульманами, миф, который в современных условиях оказался гораздо эффективнее, чем миф о черном Христе*.

Ошибка Малькольма Икс состояла в том, что Илайю Магомета он принял за подлинного выразителя вековой мечты негритянского народа Америки о свободной — не «другой», а своей стране. Разочарование наступило, видимо, гораздо раньше открытого разрыва между этими двумя людьми в 1964 году; по «Автобиографии» трудно судить об истинной истории их взаимоотношений; Малькольм был в движении вторым человеком, а само движение было организовано на основах военной дисциплины. «Я никогда не сделал бы и шага,— признается Малькольм,— не подумав предварительно, как это отразится на всем движении «исламский народ». Но столкновение было неизбежным — не только потому, что Малькольм приобрел в движении слишком большой авторитет, но в первую очередь потому, что его блестящее дарование и беспредельная преданность общему делу способствовали тому, что движение стало наполняться совершенно иным содержанием. Илайя Магомет только спекулировал на национальном чувстве американских негров: для Малькольма весь смысл жизни состоял в том, чтобы способствовать укреплению этого чувства. Илайя Магомет проповедовал: белая Америка обращалась с черной такими средствами и методами, что любое насилие, даже тотальное истребление белых, оправдано, ибо нужен новый газават, чтобы восстановить историческую справедливость. Малькольм утверждал, что негритянский народ должен быть готов к борьбе с оружием в руках, к насильственным действиям, если понадобится — и к гражданской войне; но насилие можно применять только в ответ на насилие белого мира, а не как средство достижения целей, к которым стремится «исламский народ».

Вопрос о насилии в расовом конфликте оказался в самом центре разногласий между Малькольмом и Илайей Магометом. Националист боролся в Малькольме с человеком, на собственном опыте убедившимся, что насилие одного лагеря лишь накапливает озлобление в другом и чревато ответным насилием и бесчеловечностью. В нем было что-то созвучное болдуиновскому Руфусу, и, видимо, в глубине души Малькольм задолго до своего отхода от «черных мусульман» понял, что насилие ничего не разрешит в расовой проблеме. И он метался между двумя непримиримыми крайностями, призывая к отделению негритянского народа от Америки («Ни один здравомыслящий черный не хочет интеграции! Ни один здравомыслящий белый не хочет интеграции! Единственный выход для черного в Америке — требовать полного отделения от белых»),— а в то же время отдавая себе отчет в том, о чем говорил, полемизируя с Малькольмом, Болдуин: «Плохо это или хорошо, но американский негр создан Америкой, и он принадлежит Америке и ничему больше — не Африке и, уж разумеется, не исламу». В своей «Автобиографии» он воспроизвел всю совокупность мифов, которым он поклонялся; тут и миф о негритянских истоках цивилизации и культуры, и пресловутое антропологическое превосходство, и ислам как первородная негритянская религия, и «третий мир» как единственно действенная революционная сила, и многое другое. Но всюду в этой предельно честной книге проскальзывают штрихи и детали, показывающие, что все эти мифы владели Малькольмом не безраздельно, а подчас и открытые признания, что тактика радикального разделения двух Америк бесперспективна.

Эти настроения Малькольма были угаданы в штаб-квартире Илайи Магомета, быть может, даже раньше, чем осознал их он сам. Предсказать дальнейший ход событий не составляло труда. Началось с малого: кто-то среди «черных мусульман» стал поговаривать, что Малькольм зарабатывает слишком много, что он пользуется своим положением, чтобы поставить у руководства объединениями своих людей. Затем выяснилось, что «почти бог» Илайя Магомет, вопреки строгостям магометанских заповедей, пошаливал со своими секретаршами; Малькольм был потрясен; «в интересах дела» ему пришлось пойти на компромисс с совестью и отыскивать в Коране соответствующие места, чтобы выдать грешок чи-

* Политический характер «религии» Илайи Магомета был настолько прозрачным, что ортодоксальное мусульманство не рискнуло признать «исламский народ» своей законной ветвью.

кагского «всевышнего» за осуществление пророчества.

Следующий компромисс с совестью потребовался, когда убили Джона Кеннеди. Из Чикаго последовало распоряжение обойти это событие полным молчанием; в то время Малькольм еще не понимал, что такая позиция продиктована соображениями тактики — не случайно тогдашний лидер американских нацистов Рокуэлл незадолго до того перевел на банковский счет «мусульман» символические 20 долларов, сделав заявление, что он целиком и полностью поддерживает их позицию по расовому вопросу. Но Малькольм посмел ослушаться; в своей речи он охарактеризовал далласскую трагедию как закономерный результат царящей в Америке атмосферы нетерпимости. Это означало разрыв с «исламским народом». Малькольм, которого еще недавно Илайя Магомет называл своим «самым верным и прилежным учеником», получил приказ прекратить публичные выступления.

Он не послушался вновь. В нем уже начался неостановимый и стремительный процесс расставания с расистскими мифами. Он стал говорить о том, что цель революции — братство, а не братоубийственная война. Он пошел дальше; говорил, что ненависть ко всем белым — ошибка, что воевать нужно не против белой расы, а против белого расизма, что нужны общие усилия всех противников расизма, чтобы искоренить те болезненные явления в американской политической, экономической, социальной жизни, которые стимулируют расистскую психологию. Этого простить ему в Чикаго не могли; рушился миф, на котором держалось все движение, и Малькольма надо было убрать. Вскоре его не стало.

«Автобиография» Малькольма Икс интересна не только как редкой силы человеческий документ. С ходом времени негритянское движение делается все менее однородным, в нем возникают все новые и новые группировки, причем острота расового конфликта способствует распространению в негритянской среде анархистских, леворадикалистских течений. Тем более значителен моральный урок, заключенный в этой единственной — и недописанной — книге Малькольма Икс. Тем чаще возвращаются к опыту ее автора американские писатели, стремящиеся осознать во всей сложности глубинные процессы, идущие в негритянской Америке и имеющие первостепенное значение для Америки в целом.

■

В феврале 1965 года от руки убийцы погиб Малькольм Икс, в апреле 1968 — Мартин Лютер Кинг. Жизнь каждого из них — это целая глава в истории борьбы черной Америки за свободу. Но и эти вершины уже в прошлом; развеялся дым, висевший над негритянскими кварталами американских городов после выстрелов в Мемфисе, — что же дальше?

Есть вопросы, от которых не может уйти ни один честный художник. На каких бы позициях ни стояли американские писатели, в той или иной мере коснувшиеся событий «негритянской революции», их внимание неизменно привлекает один и тот же круг проблем, а точнее сказать, даже одна, главная проблема.

Этой проблемы не смогли решить ни Мартин Лютер Кинг, ни Малькольм Икс, не решил ее и такой писатель, как Уильям Стайрон*. Где пути решения расового конфликта, если конфликт осложнен неудержимо нарастающими с обеих сторон ненавистью, враждебностью, тотальным и непримиримым отчуждением? В 70-е годы Америка вступила, не разрешив расовой проблемы; как и массовые выступления бунтующей молодежи, как и движение миллионов американцев против войны во Вьетнаме, «негритянская революция» — неопровержимое свидетельство социального кризиса, которым охвачена эта страна. Будет ли он преодолен в новом десятилетии? Над этим размышляют сейчас многие американские писатели.

На протяжении веков американцам было знакомо то, что Фолкнер в «Осквернителе праха» назвал «ощущением смежного с тобой множества чернокожего человеческого присутствия, выжидающего и невидимого»: «Черные мужчины, женщины, дети жили в ожидании в своих наглухо закрытых домишках, не пресмыкаясь, не съежившись, не притаившись, не в гневе и даже не в страхе, просто пережидая, выдерживая, ибо их оружие, с которым белому не потягаться и — если бы он только понимал это — и не совладать: терпение, просто убраться с глаз, убраться с дороги...»

Литература США 60-х годов отобразила резко усилившуюся решимость черных американцев, народа «самбо», как иногда называют негров на Юге, добиться свободы — сейчас, какой бы ценой эта свобода ни была куплена. Книги Эллисона и Болдуина, Стивенса и Малькольма Икс свидетельствуют: о разрешении расового конфликта в США не может быть и речи, пока не будут окончательно ликвидированы его социальные основы. Все больше американских писателей убеж-

---

* Роман Стайрона «Признания Ната Тернера» (1967) вызвал необычайные по своему накалу и продолжительности споры; книга была подвергнута резкой критике в коммунистической печати США; десять негритянских литераторов, в том числе такие известные, как Килленз и Джон Уильямс, издали сборник статей, обвиняющих автора в фальсификации истории (герой романа — историческое лицо, вождь восстания в Виргинии летом 1831 года); с ними полемизировали другие негритянские писатели. И в самой книге и, быть может, еще более — в полемике, которую она вызвала, отразились многие противоречия негритянского движения на современном этапе; эта тема, однако, заслуживает отдельного разговора и не может быть освещена в рамках данной статьи.

А. ЗВЕРЕВ
«К ХАОСУ ИЛИ К СООБЩЕСТВУ?»

дается, что только совместными действиями всех противников расизма можно в конечном счете так изменить существующие в США социальные институты, что расизм навсегда утратит под собой почву.

Для сегодняшней Америки полностью остается в силе мысль Ленина, высказанная в 1913 году: «...*вообще* положение негров в Америке не достойно цивилизованной страны: капитализм *не может* дать *полного* освобождения ни даже полного равенства». *

В американской литературе, как и в самой действительности, идет спор о том, достижимо ли расовое сообщество в этой стране. Книги американских писателей, которые мы прочитали, говорят о том, что главная, конечная цель негритянского движения — не только преодолеть белый шовинизм, не только уравнять черную Америку с белой и добиться одинаковых прав для всех.

Расизм, доминировавший в Америке со времен появления на южных плантациях первых африканских рабов, не мог не вызвать ответной расовой ненависти. В «Осквернителе праха» Фолкнер во многом предугадал ситуацию, возникшую в США на пороге 70-х годов. Но как и Болдуин, Эллисон, Малькольм Икс, Фолкнер верил, что мечта о человеческих взаимоотношениях с другими расами и народами, которую американские негры оберегали на протяжении трех веков, окажется действеннее и сильнее, чем закономерно пробуждающаяся и усиливающаяся в негритянской среде ненависть ко всем, у кого кожа белого цвета. Не белая раса, а белый расизм, как и экстремизм приверженцев «власти черных»,— хотя эта доктрина, конечно, не тождественна расистской доктрине, полуофициально проводимой в США по сей день,— является реальным противником борющейся за свободу негритянской Америки.

«Не все белые люди способны выносить рабство, и, по-видимому, ни один человек не может вынести свободы,—говорит Фолкнер в «Осквернителе праха» устами адвоката Стивенса,—...немедленно, единодушно, со всеобщего согласия они суют силком свою свободу в руки первому встречному демагогу, если только сами же не растопчут, не уничтожат, не сокрушат ее начисто, не только с глаз долой, но чтоб и помину не было, и все это с таким исступленным единодушием, с каким добрые соседи все вместе затаптывают горящую траву. Но народ, который зовется самбо, вынес одно, и, кто знает, может статься, он выдержит и другое. И кто знает...»

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 346.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Анкета «Иностранной литературы»

В этом номере журнал продолжает (начало см. в № 2) публиковать ответы зарубежных писателей и деятелей культуры на анкету, посвященную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и содержащую два вопроса:

1. При каких обстоятельствах Вы впервые познакомились с именем В. И. Ленина?

2. В чем Вы видите актуальность ленинизма сегодня?

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД (АВСТРАЛИЯ)

1. Я была молодой журналисткой, когда судьба свела меня с доктором Рудольфом Бродой — австрийским социалистом, жившим в Париже и приехавшим в Австралию, где, как он представлял себе, в ту пору существовало передовое социальное законодательство. Это был идеалист-реформист, полагавший, что, освещая на страницах печатных изданий опыт социального законодательства, он вносит ощутимый вклад в борьбу за утверждение в мире идей социализма.

Все свое состояние он вложил в издание журнала на трех языках («Прогресс», «Докюман дю прогрэ», «Документе де форшриттс»). Для этого журнала доктор Брода и заказал мне статьи по вопросам о равноправии женщин, о системе образования в Австралии (уже в те годы оно было бесплатным, светским и обязательным), о фабричном законодательстве вообще и законах об охране труда, в частности.

Во время моей поездки в Париж в 1908 году доктор Брода устроил прием для своих сотрудников из Австралии. Там я познакомилась с несколькими французскими социалистами. Один из них, Люсьен Делиньер, подарил мне свою книгу «Проект социалистического свода законов». Но больше всего мне запомнилась беседа с двумя студентами, девушкой и юношей,— русскими эмигрантами. Они рассказали мне о том, что в России идет подготовка к революции и свержению царя. Я была настолько молода и наивна, что про себя пожалела их. Мысль о том, что царское самодержавие может быть когда-либо свергнуто, казалось бесплодной мечтой. Скорее всего именно тогда я впервые услышала имя Ленина: много лет спустя я узнала, что в 1908 году Ленин был в Париже и что доктор Брода встречался и беседовал с ним. Нет сомнений и в том, что упомянутые мной политэмигранты имели контакты с Лениным.

После войны доктору Броде пришлось покинуть Париж. Я вернулась на родину. Однажды вечером, проходя по мосту в центре Мельбурна, я увидела, как в лучах заходящего солнца на огромных информационных щитах горят слова, извещающие о революции в России. На память сразу же пришли мои встречи с русскими политэми-

---

Ответ на нашу анкету был написан К. С. Причард за несколько недель до смерти.

грантами в Париже. Мечта их сбылась. Зарево на небе, казалось, предвещало рождение новой эры. Вскоре имя Ленина было уже неотделимо от революции. Оно на все лады склонялось в заголовках газет. Все говорили о Ленине. Кто он? Откуда он взялся? Как ему удалось поднять солдат, матросов, крестьян и рабочих заводов и фабрик на революционную борьбу? Говорили, что Октябрьская революция осуществила теоретические положения, выдвинутые Марксом и Энгельсом. Я хотела знать, что это были за теории, и стала читать и изучать все труды Маркса и Энгельса, которые мне удалось тогда купить или найти у друзей. Я давно пыталась отыскать в разных философских сочинениях и теориях объяснение неустройствам и горестям мира, пыталась найти в них идеи, ведущие к его усовершенствованию — я увлекалась то синдикализмом, цеховым социализмом, то анархизмом Кропоткина, но ни разу не находила глубокой и последовательной концепции, обнимавшей коренные проблемы существования человека. Только познакомившись с основами марксизма и наблюдая за их практическим воплощением в создании Союза Советских Социалистических Республик, я пришла к убеждению, что именно эти принципы открывают для человечества путь к светлому будущему.

Недавно в одной из старых газет я нашла статью, написанную в ту пору, о которой я веду речь. Привожу из нее два абзаца:

«Триумфальная победа революции, свидетелями которой мы являемся, была завоевана ценой титанических усилий и борьбы: борьбы, которую пришлось вести почти безоружным, голодным, неграмотным рабочим, крестьянам, солдатам и матросам против царских генералов и их пособников, борьбы против четырнадцати иностранных правительств и их армий, против блокады и голода в стране, разоренной войной...»

«И однако чудо свершилось: следуя принципам марксизма, под водительством Ленина и большевистской партии СССР утвердился на рубежах истории».

Чем больше я читала о жизни Ленина, о его личных качествах, тем большее уважение испытывала к целеустремленности, с которой он отдавался борьбе за лучшее будущее.

Учение Ленина открыло новые горизонты в моей жизни и творчестве, позволило по-новому взглянуть на действительность, привело к участию в борьбе за интересы рабочего класса.

Себя я тоже причисляла к трудящимся, предметом моей особой гордости теперь было сознание, что я всегда собственным трудом зарабатывала на жизнь. Когда была создана Австралийская коммунистическая партия, я организовала кружки политического просвещения, часто выступала перед самой разной аудиторией, стремясь донести до слушателей истинный смысл совершившейся революции, приведшей к утверждению социалистического строя в СССР,— вопреки всем тем, кто сомневался в возможности сокрушить основы старого, капиталистического порядка, кто был уверен в несбыточности надежд на победу нового, социалистического уклада жизни.

Я переехала в Западную Австралию, где жил мой жених и где кроме него у меня не было ни друзей, ни знакомых. Первый раз, когда мне пришлось говорить перед новой аудиторией о победе социализма в России, я очень нервничала, какая-то пожилая дама — из консерваторов,— близкая к парламентским кругам, все время прерывала меня. Но в следующий раз меня уже защищала от нападок группа рабочих-активистов, расположившихся в последних рядах зала. Это было так замечательно — знать, что тебя поддерживают рабочие.

Вскоре я с головой погрузилась в политическую деятельность — просвещалась сама, просвещала других, выступала на митингах и собраниях, так что для собственной творческой, литературной работы почти не оставалось времени. Помню, с какой гордостью я услышала как-то слова одного старого реакционера: «Эту большевичку давно пора выслать из страны!» Потом я вышла замуж, ждала ребенка, и на какое-то время от активной общественной деятельности пришлось отойти. Но я продолжала писать и изучать революционную литературу.

«Материализм и эмпириокритицизм» дался мне не сразу. Первый раз — отложила в отчаянии. Как-то мы с мужем взяли палатку и поехали отдыхать к морю. Он полностью освободил меня от всех хлопот по устройству лагеря, и я углубилась в чтение. Целыми часами, сидя на освещенном яркими солнечными лучами берегу моря, я поглощала страницу за страницей этой книги Ленина, наконец открывшейся передо мной как блистательный критический анализ современных философских теорий, рассмотренных с позиций диалектического материализма.

В 1933 году, когда представилась возможность, я поехала в СССР. На пароходе «Ян Рудзутак», который привез меня в Ленинград, я подружилась с русской женщиной по имени Таня. В юности она — работница текстильной фабрики — была послана делегаткой на съезд в Москву с наказом голосовать против новой экономической политики. Но прослушав речь Ленина, она так глубоко поняла и прочувствовала смысл этой политики, что не могла голосовать против.

Таня подробно рассказала о волнующей атмосфере съезда, об энтузиазме участников, о том, как просто обращался Ленин к трудящимся — каждое его слово дохо-

дило до сознания и сердца,— как проникновенно и страстно звучала его речь... Она запомнила это на всю жизнь. Фабричный комитет не поставил ей в вину нарушение наказа — после съезда большинство рабочих решительно поддержало политику Ленина. Таня рассказывала и о том, каким скромным человеком был товарищ Ленин.

Безвременная кончина Ленина была огромной трагедией. Я смогла приехать в Советский Союз лишь девять лет спустя после его смерти. И вот я иду в Мавзолей, чтобы в низком поклоне выразить чувства своей любви и скорби, свое благоговение перед громадным интеллектом, несокрушимой волей и мощной энергией, отданными на службу человечеству.

Трудящиеся всего мира понесли невосполнимую утрату. Но коммунистические и рабочие партии мужали и набирали силу, следуя принципам марксизма-ленинизма.

Я проехала тысячи километров по земле России. Память до сих пор живо хранит впечатления этого путешествия. Они легли в основу книги «Россия подлинная», увидевшей свет в 1934 году. Разумеется, книга эта не могла вобрать всего, что являла собой действительность тех дней, но тогда у нас ведь так мало знали о жизни в Советском Союзе. После возвращения было организовано мое лекционное турне по стране, так что я получила возможность выступить перед австралийцами во всех наших крупных городах.

Волнующий эпизод произошел в поезде Москва — Ленинград, когда я возвращалась на родину. Дело было 7 ноября, в этот день я была свидетельницей праздничных торжеств на Красной площади. Вместе со мной в купе поезда оказались два молодых командира Красной Армии и пожилой мужчина в поношенном пальто. Один из военных немного говорил по-английски, а моих знаний русского хватало, чтобы объяснить моим спутникам, что я — коммунистка из Австралии, приехавшая посмотреть своими глазами на замечательные преобразования, происшедшие в жизни народов Советского Союза. Я узнала, что наш пожилой спутник в штатском — старый большевик, участник штурма Зимнего дворца и что он был знаком с Лениным. Общая беседа — живая и дружеская — затянулась до рассвета, помню, как все веселились, когда иссякал запас необходимых слов и приходилось обращаться к помощи жестов... В конце концов старый большевик достал из внутреннего кармана, как мне показалось, бумажник, вынул из него маленькую красную книжечку, а бумажник протянул мне — видно было, что эта вещь очень ему дорога. В жесте этом, простом и прекрасном, было нечто, чего я никогда не забуду,— добросердечие, великодушие, столь характерные для многих русских, с которыми я встречалась. Молодые военные заулыбались и одобрительно закивали. Они сказали, что несколько лет в этой кожаной обложке старый большевик носил свой партийный билет.

Эту обложку с оттиснутыми на ней буквами ВКП(б) я до сих пор храню как драгоценное сокровище.

2. Ленин вошел в бессмертие как создатель Союза Советских Социалистических Республик; но когда мы говорим «Ленин», то подразумеваем и большевистскую Коммунистическую партию Советского Союза, выкованную им в огне революции. Оба эти детища Ленина воочию демонстрируют его верность принципам марксизма, творчески развитым им применительно к этапу завоевания власти пролетариатом и построения основ социализма. Его учение — неумирающее наследие для будущих поколений. В его трудах — ответ на вопрос о том, как следует руководствоваться принципами марксизма в новых исторических условиях, как оберегать его дух и сущность от всяческих искажений справа и слева.

Прозорливость Ленина вооружает нас и сегодня критериями для оценки политической действительности, подтверждая непреходящую актуальность идей марксизма-ленинизма. Эти идеи позволяют осмыслить самые сложные процессы современного социального развития, включая явления, связанные с так называемой «технологической революцией»; марксистская диалектика применима к анализу всех этапов развития общества: ленинизм особо подчеркивает необходимость видеть в марксизме не догму, а руководство к действию.

Истинной проверкой роли великого человека в истории считают влияние его личности и деятельности на судьбы человечества. Если это справедливо, я не нашла бы фигуры, равной Ленину: кто сильнее, чем он, воздействовал на жизнь и сознание стольких людей на всем земном шаре? Дарвин, Пастер, Маркс и Ленин — величайшие личности нашей эры.

Это вовсе не означает, что следует считать его неким «небожителем». Он был Человеком, который навсегда останется высочайшим примером для всех тех, кто подчинил свою жизнь безраздельному служению идее научного социализма.

Известно, каким отзывчивым и добрым человеком был Ленин в общежитии, какое понимание и поддержку встречали обращавшиеся к нему за помощью и советом рабочие и крестьяне. Известно, сколь действенной были его доброта и внимание к детям в пору гражданской войны, блокады и голода. Но он рассматривал как тягчайшее преступление измену интересам социалистического государства и оставался непримиримым в спорах с теми, кто призывал к снисходительности по отношению к нарушите-

лям социалистических законов. Когда речь шла о покушении на принципы диктатуры пролетариата — основы советской социалистической власти,— он был беспощаден.

Детище Ленина — СССР,— выпестованное большевистской Коммунистической партией Советского Союза, превратилось сегодня в мощнейшую державу мира, живое воплощение верности теоретических посылок марксизма-ленинизма о завоевании и построении социалистического государства.

Хотя реакционеры видят в СССР «единоличное творение» Ленина, сам он всегда указывал на роль коммунистической партии — тех своих собратьев, кто столько сил отдал делу революции накануне Октября и в последующие годы, когда партия возглавила миллионы трудящихся, взявшихся за строительство прекрасного здания социалистического государства, которое до сих пор представляет собой одно из чудес света.

Владимир Ильич Ленин, несомненно, станет героем народных легенд, героем революционной саги.

Стремление человека видеть перед собой высокий пример — естественно и закономерно. Это стремление становится опасным лишь тогда, когда складывается атмосфера рабского низкопоклонства, возвеличения личности, наподобие той, какую мы наблюдаем сегодня в Китае.

Ленин никогда не терпел какого бы то ни было преклонения перед своей личностью, это было глубоко ему чуждо. Его жизнь и деятельность сами говорят за себя. Его книги сегодня помогают трудящимся в революционной борьбе, в борьбе за свои права, вдохновляют борцов за национальное освобождение, за мир и дружбу между народами.

Они проникли даже в самые глухие уголки Австралии.

Виктор Вильямс, один из наших видных поэтов, рассказывает в своем стихотворении о том, что думает о Ленине работник заброшенной австралийской фермы:

Ночами зимними читал я книги —
Слова сияли звездным серебром;
Ночами бурными я слышал голос —
Твой голос, перекрывший гром;
Зимой к тебе протягивал я руки —
Ты в стужу был моим костром.
Потом за плугом ты шагал со мной:
Земля и я — мы были целиной;
И мысли — острые как бритва,
Глубокие, как вспашка по весне,—
Неизгладимый след оставили во мне.

(Перевод Натэллы Горской)

Я думаю, что лучшим памятником этому великому человеку были бы верность принципам, которыми он руководствовался в своей жизни, сохранение в чистоте и дальнейшее развитие идей научного социализма во имя построения коммунизма — единственного пути человечества к миру, в котором не будет эксплуатации, нищеты и войн.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ (БОЛГАРИЯ)

С каких пор имя Ленина вошло в мое сознание? Вопрос этот даже как-то и не возникал передо мной — целая бурная, насыщенная острой идейной борьбой эпоха связана с ним начиная с первого десятилетия нашего века, с первой русской революции 1905 года. Женева, Лондон, Париж, Петербург... Ленин осмысляет итоги социалистических конгрессов Интернационала, изучает историю борьбы рабочих, проблемы развития русского рабочего класса, проникновения капитализма в Россию... Ленин всецело занят подготовкой социалистической революции, имя его вселяет веру в души людей...

Когда я приехал в Софию в 1905 году с намерением учиться в университете и работать в качестве сотрудника газеты, мне довелось посещать собрания «тесных» и «широких» социалистов (эта терминология приблизительно соответствовала русским «большевикам» и «меньшевикам»). Бывал я и в читальне общества «Славянская беседа», куда приходили русские журналы и газеты, такие как «Мир божий», «Биржевые ведомости», «Новое время» и другие. Здесь можно было встретить наших ведущих

филологов той поры — таких как Иван Вазов, профессор Ив. Д. Шишманов, профессор Бенью Цонев, профессор Балан. Пока я где-нибудь в уголке листал «Мир божий», они читали газеты, беседовали, спорили...

Упоминалось имя Ленина.

Незадолго до того я начал слушать курс профессора Шишманова по истории французской литературы. Этот курс был для меня в известном смысле откровением, и я был счастлив, что попал именно на его лекции. Увлекательные, построенные строго исторично, диалектичные по своей сути, они привлекали еще и богатым образным языком и стилем. Он свободно вводил в них социальный элемент и часто повторял слово «буржуазия», делая ударение на «и», чем забавлял свою аудиторию.* Он говорил:

— Я не разделяю политических взглядов Ленина, но могу сказать, что в его лице я вижу честного и бескорыстного политика, свободного от многих предрассудков, беззаветно убежденного в своих идеях.

Филологи не были с ним согласны. Они были отравлены антиленинской пропагандой буржуазной прессы и «широких». Шишманов продолжал:

— Помяните мое слово. Этот человек сыграет большую роль в революции. Я его слушал в Женеве. Ей-богу, его мысль остра, как бритва.

Великая Октябрьская революция не была для меня неожиданностью — я был уже в известной мере теоретически к ней подготовлен. Ленинская революционная стратегия вызывала полное к себе доверие. Для людей, способных мыслить историческими категориями, Великая Октябрьская революция была неизбежным разрешением назревшей ситуации.

Тогда имя Ленина долетело до самых отдаленных уголков планеты, стало символом революции и мишенью злобных нападок мировой реакции. Однако колесо истории повернулось, и возврата назад не было. Именно Ленину, человеку дерзновенного размаха и глубины интеллекта, достало сил и отваги закрыть двери старого мира, торжественно шагнуть в новый век — век коммунизма.

Октябрьская революция застала меня на фронте в Южной Македонии, где осенью 1915 года по приказу германского штаба стояла болгарская армия. На протяжении четырех лет велась «позиционная» война: окопы, землянки, стычки патрулей, голод, босые солдаты, военные суды, смертные приговоры... Таким был «быт» этой войны.

Я мог, объезжая фронт и разговаривая с солдатами и офицерами, наблюдать, как медленно, но неуклонно влияние октябрьских идей проникало в солдатскую массу. Солдаты начали роптать, отдельные бойцы и целые подразделения отказывались идти в наступление на неприятельские посты, заявляя, что война стала бессмысленной и невыносимой.

Я вспоминаю, как судили солдата, которому было адресовано письмо, попавшее в руки начальства и военного прокурора. Автор письма выражал свое возмущение равнодушием администрации не только к солдатам, которые ходят «раздетые и разутые», но и к их семьям в тылу, к тому, что в селах сущие башибузуки бессовестно грабят население, проводя чудовищные реквизиции. «Пускай запомнят политики и генералы», что этому безобразному положению «назначен срок», а именно — 16 сентября сего года, говорилось в письме. И действительно, число 16 было написано таинственной рукой на всех вагонах, грузовиках, на больших посылках, и никто не спрашивал себя, что бы оно могло означать. Под письмом не было ни подписи, ни адреса, поэтому солдат был препровожден дальше для нового следствия; судьи усмотрели здесь нечто подозрительное и опасное. Солдатское восстание 16 сентября 1918 года было разбито реакцией. Однако оно показало буржуазии глубокое недовольство народных масс в стране прогнившим общественным порядком, политикой правящих партий.

С сильнейшим волнением я прочитал (в секретном архиве штаба дивизии) ленинский «декрет о мире». Этот документ поразил меня своей смелостью, полным отсутствием дипломатических ухищрений, железной логикой анализа, подводящей к выводу о неспособности капиталистических правительств вывести народы из трагического лабиринта войны. Я читал и дрожал от возбуждения: сбылись мечты о справедливом отмщении организаторам чудовищной бойни за страдания миллионов, отдавших жизнь ради их наживы, за потоки пролитой человеческой крови — это был блистательный приговор, вынесенный возмущенной человеческой совестью.

Когда я вышел из канцелярии штаба, мне показалось, что мир переменился...

Бесславно завершилась для болгарской правящей верхушки война за «национальные идеалы» — десятками тысяч жертв, нищетой и голодом, развалом экономики, репарациями и национальным унижением. Но поскольку после всякой проигранной войны ищут виновников, продавшаяся западному империализму болгарская буржуазия, страшась потерять свою власть, обрела выход в идеологии фашизма и совершила реакционный военно-фашистский переворот 9 июня 1923 года, свергнув демократическое правительство Александра Стамболийского и установив фашистскую диктатуру.

---

* В болгарском языке в слове «буржуазия» ударение ставится на «а» (*прим. перев.*).

Эта жестокая диктатура просуществовала до 9 сентября 1944 года. Сентябрьское антифашистское восстание 1923 года, поднятое под руководством Георгия Димитрова и Васила Коларова в ответ на переворот, закончилось поражением. Оно дало повод реакции к таким массовым кровавым бесчинствам и расправам в селах и городах, каких не бывало и во времена турецкого рабства. В книге «Палачи», опубликованной вскоре после этого, Анри Барбюс заклеймил этот позорный и бесчеловечный поход болгарских фашистов против собственного народа.

«Декрет о мире» окончательно расколол для меня мир надвое: «за» и «против» революции и Ленина. Я был среди тех, кого к ответу на этот вопрос подготовила литература, революционные события в Болгарии, коррупция монархического строя, война, национальные катастрофы, картины капиталистической Европы, и с этим опытом я, тридцатилетний писатель, начинал свою деятельность в крайне сложной обстановке.

Знаменательным для меня было отношение к Ленину таких писателей, как Ромен Роллан, Максим Горький, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Мартин Андерсен-Нексе, не говоря уже о более молодых из тех, кто встречался с Лениным. Необычайно привлекательный образ человека раскрывается в заметках и очерках о Ленине, искреннего, прямого, добросердечного, демократичного, последовательного и убежденного теоретика-марксиста, обогатившего своим вкладом революционную теорию.

Вспоминаю сегодня и об его отрицательном отношении к «сектантам» и «пролеткультовцам», для которых «вся старая культура» является «буржуазной», вспоминаю о его уважении к ценностям человеческой культуры как к «законному наследию» и богатству пролетариата, которое он призван освоить и приумножить.

Во время моего первого посещения Советского Союза (октябрь—декабрь 1936 года) мне удалось достать два тома избранных произведений В. И. Ленина (всего 1644 стр.), позволивших мне составить общее представление о развитии ленинской мысли и ставших для меня подлинной энциклопедией живого марксизма, обращенного к будущему; ленинская мысль, ленинское учение сегодня — «хлеб насущный», жизненная программа строителей социализма во всем мире.

Находясь в советской стране, я убедился в том, насколько искаженную картину жизни, строительства, культуры, экономического положения советской страны изо дня в день рисовала буржуазная пресса. На многое раскрыли мне глаза и международные конгрессы писателей в защиту культуры в Париже (1935) и в Мадриде (1937), в которых мне довелось участвовать.

Во время второй мировой войны я был арестован и отправлен по этапу вдоль солнечной Марицы и замерзшего Дуная, был два раза заточен в тюрьму, пережил одно покушение на свою жизнь и наконец встретил с радостью 9 сентября 1944 года социалистическую революцию у нас, дождался Советской Армии и ее наступления по пятам откатывающихся гитлеровских банд.

Мне кажется, что я не вынес бы испытаний, доставшихся на мою долю, без Ленина в своем сознании, без наших «заочных» разговоров через годы, без его социальной философии и гениального предвидения.

В чем я вижу актуальность ленинизма в наше время? Может быть, «актуальность» — слабое слово для того, чтобы выразить значение Ленина в нашу эпоху. Но сама постановка вопроса достаточно точна. Да, сегодня, когда исполняется сто лет со дня рождения Ленина, ленинизм актуален и, как никогда, насущен. В эпоху пролетарских революций, распада системы колониализма и империализма, в эпоху новых перспектив в освободительной борьбе народов Азии, Африки, Южной Америки, в эпоху построения социализма и коммунизма не только в одной стране, а в целом ряде государств в Европе и во всем мире, значение ленинизма будет все возрастать. Учение это, проверенное жизнью,— компас для народов, идущих по пути преобразования планеты и человека.

Не будем забывать, что мысль Маркса: «философы лишь различным образом **объясняли** мир, но дело заключается в том, чтобы **изменить** его»* — актуальна и в наше время. Октябрьская революция — начало этого изменения мира, начало новой эры, новой цивилизации.

Моей задачей, как писателя, всегда было смотреть в будущее, и я считаю, что у каждого настоящего писателя должно быть это стремление. В этом отношении нет более мудрого советчика и учителя, чем Ленин, более дальновидного революционера и строителя нового общества. Маяковский называл его «самый человечный человек», и, может быть, в этом — секрет любви к нему миллионов простых людей, секрет благодарности их человеку, который открыл им путь к освобождению от векового рабства.

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 4.

ГАБОР ГАРАИ (ВЕНГРИЯ)

Я не могу вспомнить, когда в первый раз услыхал имя Ленина. Мне кажется, оно с самого начала вошло в мое сознание как символ человеческого величия. После освобождения моей родины, когда война и отрочество остались позади, слово «Ленин» засияло в полном своем блеске.

Портрет Ленина я увидел на первой большой рабочей демонстрации и таким запомнил: всем доступным, простым и величественным. Ленина — ученого, мыслителя — я узнал в университете на лекциях профессора Ласло Рудаша.

Мы празднуем ныне столетнюю годовщину со дня его рождения. Но он всегда жив, всегда с нами. И сегодня он отвечает на наши самые трудные, самые мучительные вопросы; его труды, его наследие — сокровище всего человечества.

ГАБРИЭЛЬ БРАЧО (ВЕНЕСУЭЛА)

Имя Ленина я услышал впервые примерно в 1936 году — после того, как моя родина наконец-то вздохнула свободно: пала диктатура Гомеса, долгие годы заливавшая кровью патриотов землю Венесуэлы. Мы узнали, что Ленин — великий вождь международного революционного движения, и он стал для нас поэтому родным человеком. Каждый патриот, мечтавший об окончательном освобождении родины, боровшийся за свободу, стремился как можно больше узнать о его жизни, проникнуть в глубину его учения. Имя Ленина чаще, чем чье-либо другое, можно было услышать в ту пору в наших беседах.

Идеи коммунизма настолько связаны с именем Ленина, что даже те, кто пытается спорить с ними, называют их ленинскими... Ленинизм в наше время уже нельзя отделить от революционного движения во всем мире. А полувековое существование созданного Лениным первого на земле социалистического государства само по себе решающим образом воздействует на передовое человечество, как вдохновляющий пример, как залог победы.

РИНЧЕН (МОНГОЛИЯ)

Я помню, как в апреле 1917 года мой старый, мудрый учитель, впоследствии делегат первого съезда МНРП и первый министр пограничного края Временного Народного правительства Монголии, разбирая свежую почту из Урги, раскрыл газету и, всегда невозмутимо спокойный, вдруг взволнованно воскликнул:

— Сартавахи Революции Ленин прибыл в Россию!

Сартавахи (вождь) в литературном монгольском языке — слово высокого стиля, заимствованное из санскрита, одного из двух классических языков старой Монголии, и то, что мой учитель назвал Ленина «сартавахи», свидетельствовало о высоком уважении к вождю Великой Октябрьской социалистической революции.

Старцы — знатоки монгольской классической литературы, частые гости моего учителя, сидевшие в его кибитке и степенно беседовавшие, покуривая ароматный табак дунзу,— услышав слово «сартавахи», поспешно выколотили свои трубки, и газета пошла по рукам.

— У русской революции есть свой сартавахи! Теперь и нам, соседям России, будет легче,— говорили почтенные старцы, к которым я, как все юноши, питал большое уважение.

— Счастлив день, когда мы услышали добрую весть. Сартавахи Ленин поможет и монголам. Да будет мир и счастье,— радовались старики.

Так более полувека тому назад в урочище Гиланнур, недалеко от русско-монгольской границы, из уст моего учителя я впервые услышал высокое слово классического языка древних рукописей. Я никогда не слышал, чтобы оно относилось к живому человеку. Ленин был первым, кого назвали «сартавахи Революции» наши мудрые старцы.

Если когда-то Россия октябрьских дней казалась Западу «страной во мгле», страной неизвестного будущего, а Ленин — одиноким мечтателем в Кремле, то сегодня учение сартавахи Революции озаряет светом научного знания путь народов мира к подлинной свободе. Овладев умами миллионов людей, ленинизм превратился в величайшую материальную силу, и в этом его актуальность в наши дни.

МАРТИН ВИКРАМАСИНГХЕ (ЦЕЙЛОН)

Ленин был не из тех политических деятелей, которые приходят в революцию ради личной власти и славы. И он не был доктринером. Он был подлинным революционером, гуманистом, вдохновенным тружеником.

Его гуманизм питался безграничной любовью к русскому народу, который испытывал невыносимые муки под гнетом царизма. Горький говорил, что не знавал другого русского, который так ненавидел бы всякое страдание, горе и несчастье, как Ленин.

Иностранцы, прочитавшие произведения Гоголя, Толстого, Чехова, Щедрина, Достоевского и Горького, видели, что Ленин не преувеличивал, говоря, что русский народ живет в аду.

Только те, кто имеет хоть какое-нибудь представление об этом аде, о страшном гнете царизма, способны понять гуманистический характер ленинской революции.

Совершенно неправильно смотреть на Ленина и русскую революцию с точки зрения западного демократического индивидуализма. Русская культура имеет свои особенности, отличающие ее от европейской культуры. Из-за этого отличия русская демократия ставила своей главной целью не только создание демократических институтов, но в первую очередь радикальное освобождение личности.

(Продолжение следует)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Б. ГИЛЕНСОН

«Я ВЫБИРАЮ ПУТЬ ЛЕНИНА»

Ленин и Октябрь произвели революцию в умах, они оставили неизгладимый след в творчестве многих мастеров культуры, решающим образом определили то невиданное расширение идейных горизонтов, которыми отмечена новая эпоха всемирной литературы. «Для того, кто не знает трудов Ленина, загадка нашего века останется неразгаданной»,— справедливо писал Иоганнес Бехер.

Мысль Ленина, «чистая и острая, как меч», определила глубокий сдвиг в миросозерцании Ромена Роллана, который после Октября во многом пересмотрел свою концепцию надклассового гуманизма. Ленинские идеи воздействовали и на Бернарда Шоу. Вождь Октября и его работы помогли движению Драйзера к коммунизму. Ленинская правда по-своему отразилась не только в книгах революционных писателей, подобных Риду и Барбюсу, Вайнерту и Кутюрье, но и в творчестве таких мастеров критического реализма, как Генрих Манн, Герберт Уэллс и Эптон Синклер.

На фоне духовных исканий мастеров культуры Запада поучительно проследить эволюцию взглядов замечательного американского журналиста и публициста Линкольна Стеффенса. Разрыв с прошлым, с иллюзиями буржуазного демократизма и либерализма, идейный перелом, наконец, самый выбор «пути Ленина» — все это было выражено у Стеффенса с подкупающей бескомпромиссностью. Анализ некоторых малоизученных или впервые обнародованных в последнее время фактов — в частности, переписки писателя*, публицистики, рассеянной в прессе 20—30-х годов**, мемуарных свидетельств***, введенных в научный обиход архивных материалов **** — позволяет полнее и яснее, чем раньше, представить те принципиальной важности сдвиги, которыми отмечены послеоктябрьские годы в творчестве Стеффенса.

■

2 апреля 1919 года в одном из залов американского конгресса собралась на очередное заседание сенатская комиссия по иностранным делам. Давал показания Линкольн Стеффенс, один из членов миссии Буллита, которая только что возвратилась из России. Там ее члены были приняты Лениным, затем имели встречи с Чичериным и Литвиновым. Буллит преследовал цель изучить позицию большевиков, попробовать предложить им мир за возможно более дорогую цену.

Большинство сенаторов отнюдь не принадлежало к числу тех дальновидных и трезвых людей на Западе, которые в ту пору уже понимали, что с «красными» надо налаживать отношения. Не далее как два месяца назад иные из их числа в качестве членов печально известной комиссии Овермена занимались провокационным «расследованием большевистской пропаганды в США». Тогда на заседании комиссии, опровергая злобные наветы антисоветски настроенных «свидетелей», Джон Рид, Альберт Рис Вильямс и их друзья с большим мужеством отстаивали правду о новой России.

Теперь эту эстафету словно бы принял из

* "The Letters of Lincoln Steffens", vol. I, II, N. Y., 1938.

** Часть этих материалов вошла в антологию "The World of Lincoln Steffens", N. Y., 1962.

*** Весьма интересны в этом смысле воспоминания вдовы писателя Э. Уинтер (Winter E. «And Not to Yield», N. Y., 1963).

**** Полезные данные, полученные в результате знакомства с рукописями писателя, содержатся в книге западногерманского литературоведа Вернера Брандеса (Brandes W. "Lincoln Steffens — Publicist, Patriot, Plutogoge", München, 1967).

их рук Линкольн Стеффенс, «американский репортер номер один», как его называли, признанный либерал, вхожий к самому президенту Вильсону. Своим отчетом он явно разочаровал отцов-законодателей, намеревавшихся услышать от него о «хаосе», «анархии» и других ужасах «красной России».

Прежде всего Стеффенс недвусмысленно констатировал успехи новой власти. «Бесспорно,— объяснял он недовольным сенаторам,— что разрушительная фаза революции в России завершилась. Началась созидательная» *. И уж совсем «кощунственно» с точки зрения бытовавших представлений о большевиках как об «узурпаторах» власти прозвучали слова Стеффенса: «Советское правительство отразило привычки, психологию и условия жизни русского народа. Народ един со своим правительством и с готовностью оказывает ему поддержку» **. «Ленин — человек с воображением,— говорил Стеффенс сенаторам.— Он — человек идей, ученый и суровый реалист... В течение длительного времени он стремился провидеть форму будущего социалистического общества, подсчитывал все ресурсы, всю машинную технику, все организации, существовавшие в условиях старого строя, которые могут быть использованы в деле созидания нового» ***.

Стеффенс принадлежал к той плеяде передовых американских публицистов, журналистов, деятелей рабочего движения, которым в первые послереволюционные годы довелось встречаться с вождем Октября. Ленин помог Риду-бунтарю стать сознательным революционером, а Роберту Майнору — преодолеть анархистские заблуждения. Ленину посвятил, вернувшись из России, свою книгу Альберт Рис Вильямс, оставшийся на всю жизнь верным другом России. Благодаря Ильичу Робинс, «миллионер, который любил Ленина», как его называли в Америке, убедился в великой исторической значимости нашей революции. О Ленине написаны лучшие страницы в книгах Луизы Брайант, Бесси Битти и Джерома Дэвиса — одного из очевидцев Октября. И для Стеффенса, ветерана американской журналистики, встреча с Ильичем имела принципиальный смысл.

В тот вьюжный мартовский день 1919 года, когда он, член миссии Буллита, пятидесятидвухлетний высокий худой человек в пенсне, вышел на обледенелый перрон Северного вокзала, за его плечами было почти три десятилетия напряженной работы журналиста, публициста и общественного деятеля. Были известность и авторитет многоопытного политика, признанного главы движения «разгребателей грязи», взбудораживших всю Америку в начале века. Долгие годы исповедовал Стеффенс, сын состоятельного бизнесмена, либеральное кредо; будучи сторонником постепенных реформ. Он был убежден, что с их помощью можно вычистить авгиевы конюшни американского капитализма. С годами, пережив крах ряда своих экспериментов, Стеффенс убедился, что зло — не в отдельных продажных политиканах и просто мошенниках, а в коренных социальных условиях, стимулирующих всеобщую преступность и злоупотребления, в том, что он называл «системой».

В одной из ранних книг «Борьба за самоуправление» (1906), он суммировал свой горький опыт: «Всякий раз, когда я стремился докопаться до истоков политической коррупции городской верхушки, потоки грязи разливались в самых неожиданных направлениях и проникали в сплетения вен и артерий так глубоко, что не было такой части политического тела, которая не оказалась бы зараженной». *

Интерес Стеффенса к революционным движениям привел его сначала в Мексику, а потом, весной 1917 года,— в Россию. Эта поездка убедила его в несостоятельности политики Керенского, он увидел размах массового движения за мир и истинную демократию, силу такой подлинно народной формы политической власти, как Советы. В письме на родину он сообщал: «Все, что я здесь видел и слышал, проливает новый, ясный свет на ту борьбу, которую мы ведем у себя дома, и в Мексике, и вообще повсеместно». Интересен в этой связи и не переводившийся у нас очерк Стеффенса «Полночь в России» **. В нем рассказывается о том, как в ту самую ночь, когда жители Петрограда вышли на улицу, протестуя против тайных договоров и «войны до победного конца», провозглашенной правительством Милюкова, Стеффенс беседовал с одним из солдат, который страстно и горячо говорил о неистребимом порыве масс к свободе, к миру. И этот простой солдат, как и тысячи ему подобных, становится для Стеффенса символом подлинного народовластия, о котором он так страстно мечтал долгие годы.

Тогда же, в апреле 1917 года, Стеффенс впервые увидел Ленина, произносившего речь с балкона дворца Кшесинской. Стеффенс охарактеризовал Ленина как «человека действия». Позднее в «Автобиографии» Стеффенс писал: «Ленин олицетворял большевиков... Он всегда мог положить конец дебатам и потребовать действия, целенаправленного и единого... Речь Ленина заключала в себе идею» ***. Вернувшись в Америку, Стеффенс воспринял сообщения об Октябрьском восстании как «добрую весть», а позднее, летом 1918 года, осудил развязанную американцами антисоветскую интервенцию.

Присутствуя на Версальской мирной конференции в январе 1919 г., он наблюдал неприглядную кухню циничного империа-

---

* "Bullit Mission to Russia", N. Y., 1919, p. 114. По-русски приводится впервые.
** Там же, стр. 113—114.
*** Там же, стр. 118—119.

* Steffens, L. "The Struggle for Self-Government", N. Y., 1906, p. 3.
** "McClure's magazine", May, 1918.
*** "The Autobiography of Lincoln Steffens", N. Y., 1931 pp. 761—762.

листического торга. Постепенно испарялись его вера в «миролюбие» Вильсона и надежды на справедливое послевоенное устройство.

В известном предисловии к «Десяти дням, которые потрясли мир» Джона Рида В. И. Ленин особо подчеркнул, что книга эта «дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата». «Эти вопросы,— продолжал В. И. Ленин,— подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, но, прежде чем принять или отвергнуть эти идеи, необходимо понять все значение принимаемого решения»*.

Эти вопросы волновали многих мастеров культуры на Западе—и Роллана, и Уэллса, и Шоу. Неумолимо вставали они и перед Линкольном Стеффенсом в тот памятный день, когда он перешагнул порог ленинского кабинета в Кремле. Беседа была острая и откровенная: речь шла о «красном терроре», необходимости защиты революции от внешних и внутренних врагов. Позднее в «Автобиографии» Стеффенс так комментировал эту беседу: «Ленин был раздражен моим либерализмом... Он защищал свободу слова, собраний и русской прессы в течение пяти или семи месяцев после победы Октября, который привел его к власти». Но впоследствии, пишет Стеффенс, заговоры белогвардейщины, союз мировой реакции против большевизма, террористические акции анархистов, попытка убить вождя революции — все это сделало неизбежным ответные меры. «Абсолютная, упорная оппозиция как со стороны старых консерваторов, так и убежденных либералов,—говорил Стеффенсу Ленин,— должна быть подавлена, если мы желаем довести революцию до конца...— Он взял кусок бумаги и карандаш.—Взгляните,—сказал он и провел прямую линию.— Таков наш курс, но...— и он провел резкую кривую линию в сторону, отметив какую-то точку,— вот здесь мы находимся в настоящее время. Мы вынуждены были прийти сюда, но наступит день, и мы вернемся на прежний курс.— И он еще раз подчеркнул прямую линию»**.

Эти слова Ленина, объясняющие общую стратегию большевизма и его конкретную политику на данном историческом этапе, навсегда врезались в память Стеффенсу, он многократно возвращается к ним в своих статьях и письмах, размышляя о текущих политических проблемах.

«Испытание революционной Россией», по словам Стеффенса,— вот что определяло два лагеря в рядах западной интеллигенции. Сколько визитеров в новую Россию из лагеря либералов и правых социалистов сетовали на «разруху», «хаос», испытывали разочарование в революции! Их точку зрения выразил Бертран Рассел в своем известном труде «Теория и практика большевизма» (1920), осуждавшем диктатуру пролетариата. Его прославленный соотечественник Герберт Уэллс в книге «Россия во мгле» (1920), не лишенной справедливых наблюдений, с позиций «эволюционного коллективиста», упрямо не приемлющего революционного пути, полемизировал с вождем Октября, которого называл «кремлевским мечтателем».

В этих условиях выдающуюся роль сыграло знаменитое ленинское «Письмо к американским рабочим» (1918).

Писатель Джозеф Фримен в своей автобиографической книге «Американское завещание» (1936), написанной в ту пору, когда он находился в рядах прогрессивных литераторов, так свидетельствует о воздействии этой работы Ленина: «Она проясняла все те пункты, о которых толковали вильсоновские либералы и социалисты. Мы вырезывали это письмо, читали и перечитывали его, мы почти знали его наизусть. Казалось, никогда в истории политический лидер не говорил с широкими массами так доступно, откровенно и мудро; Ленин не обошел ни одной проблемы, не вуалировал трудностей, не скрыл ни одной из ошибок. Он привлекал внимание к тем чрезвычайным обстоятельствам, при которых рождается новый социальный порядок».*

Находясь в Петрограде и Москве, Стеффенс не мог не отметить невероятные трудности напряженной блокадной зимы. Но он же разглядел то, что старались не видеть или просто не были в состоянии увидеть его вчерашние единомышленники — либералы: размах грозных, невиданных перемен в стране. Эта поездка знаменовала начало его «духовной революции». Он определил ее смысл фразой, ставшей хрестоматийной: «Я совершил путешествие в будущее, и оно прокладывает себе дорогу».

С той поры образы зари, утра, будущего все чаще связываются у Стеффенса с Россией, страной, прокладывающей открытые Лениным пути.

Американские критики консервативного толка с неодобрением отзываются о последних годах Стеффенса: для них он прежде всего герой «макрейкерства» **, для которого отход от либерализма оказался старческим заблуждением.*** А между тем ко-

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 48.

** "The Autobiography", pp. 797—798.

* Freeman, Joseph. "An American Testament", N. Y., 1936, p. 141.

** Макрейкер — «разгребатель грязи». Термин восходит к имени одного из героев романа английского писателя Джона Бенъяна «Путь паломника».

*** А. В. Роллинс, например, в статье «Сердце Линкольна Стеффенса» («South Atlantic Quarterly», LIX, 1960) пишет о нем как о посредственном мыслителе и запутавшемся догматике. Для Грэнвилла Хикса он — «попутчик», превратившийся в «твердокаменного апологета» советского коммунизма. Троцкист Макс Истмен считает, что под воздействием жены, побывавшей в СССР, Стеффенс, сентиментальный буитарь, проповедовавший идеи Христа, стал неумолимым пропагандистом «партийной линии».

нец мировой войны означал начало новой и подлинно плодотворной эпохи в творчестве «американского репортера номер один».

Ветеран «макрейкерства», Стеффенс оставляет Россию, исполненный веры в то, что «близится новая фаза человеческого развития», что «мир идет вперед под воздействием сил, открытых Марксом». Уже по дороге из Москвы в Париж он делится в письме с журналисткой Мэри Хови своими впечатлениями: «Это было подобно путешествию в будущее. Лично мне особую радость доставило сознание того, что большевики действительно искоренили старую систему, при которой мы живем, и, заложив фундамент, приступили к построению коммунистического государства»*. Успех этого эксперимента, утверждал Стеффенс, определялся еще и тем, что «Ленин создал правительство, наиболее соответствующее социальным условиям России»**. В действиях большевиков Стеффенса поразила неукротимая, целенаправленная энергия: «Я могу уже предвидеть, что это будет социалистический порядок, более совершенный, и во многом, чем наш»***.

И вместе с тем Стеффенс, этот убежденный реформатор в прошлом, ясно видит теперь, что новое рождается не безболезненно, а в неизбежном противоборстве со старым. В письме к Даниэлю Киферу от 20 мая 1920 года, отметая домыслы реакционной и правосоциалистической прессы о Ленине, он высказывался следующим образом: «Ленин лишь не устает напоминать нам: опыт России и Венгрии убеждает в том, что, где бы ни подымались радикалы, реакционеры бросают им вызов и что, следовательно, радикалы, работая во имя ненасилия, должны быть готовы, если понадобится, к борьбе»****.

Все эти годы Стеффенс неизменно возвращается к размышлениям о путях и средствах достижения справедливого строя. Звучат они и в письме к Б. Бови от 19 ноября 1932 года: «Что касается насилия в переходный период, то все зависит от характера оппозиции. Старый миропорядок, видимо, будет сопротивляться; он уже оказывает сопротивление, следовательно, коммунисты должны приготовиться к отпору».*****

В это время к Стеффенсу уже прочно пришпилен ярлык «красный». Его, некогда желанного и высокооплачиваемого автора, почти перестает печатать «респектабельная» американская пресса. Прожив несколько лет в Европе, он с близкого расстояния наблюдает классовые бои в Германии и Италии — кровавое подавление выступлений трудящихся, возникновение реакционных и фашистских режимов.

С тем большей надеждой обращает он свои взоры к Стране Советов. Осенью 1923 года он отправляется в шестинедельную поездку по России. Блокада России, тяжелая пора военного коммунизма, которую он наблюдал четыре года назад, отошли в прошлое. В письме Стеффенса от 5 октября 1923 года из Парижа его другу, калифорнийскому журналисту Фремонту Олдеру, мы читаем: «...Большевики победили в гражданской войне, одолели иностранную интервенцию, выиграли на дипломатическом уровне; они привлекли на свою сторону крестьянство, наладили промышленность, увеличили посевы, ликвидировали голод. У них будет зерно на экспорт. У них достаточно средств, чтобы приводить в порядок, украшать, планировать, строить... Москва гудит. Россия начинает жить смело, с улыбкой. Но ее самая светлая надежда — это молодость России, юноши и девушки в возрасте от 16 до 28 лет. Это самые гордые существа, которых мне доводилось встречать»*.

К ней, к молодежи, Стеффенс присматривался с напряженным вниманием, с новым поколением связывал он свои надежды на коммунистическое завтра. В написанном после возвращения из России очерке «Нэпманы» (1923) Стеффенс вкладывает в уста жены одного из новоявленных частников горькие сетования по поводу того, что в новой России у собственника, торговца, предпринимателя нет будущего. «Коммунисты ждут,— жалуется она,—...когда подрастет новое поколение и похоронит нас и вместе с нами наши привычки, обычаи, идеи, идеалы... Коммунисты отняли у нас наших детей»**.

Возвратившись в Европу, Стеффенс еще больше ощутил контраст двух миров. В его письмах в этот период звучат оптимистические прогнозы: «Прогнивший старый порядок рушится, Новый порядок рождается... Новое победит». Подобно передовым людям Запада, Стеффенс не только безжалостно судит капитализм; в числе первых декларирует он свою безоговорочную солидарность с Советской Россией, которую называет «оазисом надежды в мире отчаяния».

Вдова писателя, Элла Уинтер, свидетельствует о том, как вернувшийся из России взволнованный Стеффенс наглядно разъяснил ей сущность новой экономической политики, которая стала для него еще одним свидетельством того, сколь дальновиден ленинский план. Владение стратегией, нацеленной на построение социализма, допускавшей некоторые временные отклонения от курса при неизменном следовании общей генеральной линии,— вот что поражало Стеффенса в Ленине. Так появляется у писателя проходящий, как лейтмотив, через многие его письма и статьи образ «самого твердого мореплавателя всех времен, который шел своим курсом, несмотря на штормы, и скалы, и жалобы своей команды»***, образ капитана корабля, который «вел страну по прямой от мелких стачек — к

---

* "The Letters", vol. I, p. 463.
** Там же, т. II, стр. 536.
*** Там же.
**** Там же, стр. 552.
***** Там же, стр. 934.

* "The Letters", vol. II, pp. 626—627.
** "The World of Lincoln Steffens", N. Y., 1962, p. 169.
*** "The Letters", vol. II, p. 552.

крупным, от крупных — к Советской власти» *.

В середине 20-х годов Стеффенс признается: «Старый либерализм — умер. Его убила война. Ленин указал путь»**.

Уроки Октября, освещенные ленинской мыслью, впервые художественно осмысляются Стеффенсом в малоизвестной у нас книге «Красный Моисей» (1926). Особенно интересно теоретическое введение, в котором он вновь возвращается к разговору в Кремле с вождем Октября, показывая его человеком, постигшим законы революции, умевшим заглянуть на много лет вперед так, как ни один западный лидер. Ленин открывает Стеффенсу ту диалектику революционного развития, которую явно не способны были понять ни социалисты реформистского толка, ни либералы. «Ленин,— читаем мы у Стеффенса,— оказался значительно более глубоким историком, чем европейские либералы, и более дальновидным революционером, чем те, которые, уверовав в конечную цель революции — демократию и свободу, ожидали их скорого и безболезненного осуществления, а потому отшатывались от революции. Ведь она начиналась, как и все революции, проходя через нормальные стадии и формы революционного процесса»***.

■

Книга «Красный Моисей» предварила выход знаменитой «Автобиографии» (1931) Стеффенса, «главной книги» его жизни, этого замечательного общественного документа «исповедального» характера. Вобравшая в себя не только его личный жизненный опыт, но и биографию целого поколения радикальной интеллигенции, пережившей крах либерально-реформистских иллюзий, она явилась впечатляющей панорамой историко-культурной жизни Америки за три десятилетия и вместе с тем своеобразной формой «прощания с прошлым». Работа над «Автобиографией» заставляла Стеффенса вносить коррективы в привычные понятия, он признавался, что после 1917 года все, во что он привык верить, «следует пересматривать в свете русского эксперимента».

К «Автобиографии» Стеффенса приложима знаменитая герценовская формула: «отражение истории в человеке»; повествуя о «времени и о себе», он выдвигал на первый план «время», социально-культурную среду, общественную, «внешнюю» сторону своей деятельности, крайне сдержанно касаясь субъективно-личных, бытовых сторон своей жизни,**** которые значительно откровеннее просвечивают в его двухтомной переписке.

В «Автобиографии», написанной в манере строгой и уверенной, пронизанной то юмором, то иронией, Стеффенс демонстрирует свой талант как беллетрист и историк, публицист и философ, что в конце концов объясняет многослойную структуру книги. В ней живые сцены, сюжетные эпизоды чередуются с портретами государственных и политических деятелей, с историческими экскурсами. Сопоставление текста «Автобиографии» с письмами Стеффенса, с его статьями и книгами «макрейкерского» периода убеждает, что насыщенный материал его мемуарного повествования тщательно просеян, сжат, отобран. Но дело не только в более концентрированном изложении истории «разгребательства», но и в той трезво-критической оценке, которая дана буржуазно-либеральному реформизму.

При этом богатейший материал строго организован, будучи подчинен внутренней теме, истории исканий и идейного роста Стеффенса, который, сталкиваясь с жизнью, «переучивается» и освобождается от иллюзий. Именно эта особая напряженность духовных поисков — важнейшая черта книги Стеффенса. Идейное движение отражается на самой структуре «Автобиографии»: субъективный элемент, всего ярче присутствующий в наиболее «личной» первой части — «Мальчик на лошади», этом классическом описании детства и юности,— постепенно ослабевает. По мере того как раздвигается социальная панорама, а в судьбу героя вторгаются события мирового значения, все больший удельный вес приобретают политическая публицистика и философия, а фигура повествователя отходит в глубь сцены.

Ленинская мысль, подлинно исторический взгляд на вещи освещают четвертую часть «Автобиографии» — «Революция», посвященную Мексике, России, Версалю, в которой Стеффенс, отвлекаясь от всего эмпирического и частного, приходит к решающим наблюдениям и выводам, утверждая справедливость революционного пути. Здесь впервые входит в его книгу тема народа (в описании Петрограда весной 1917 года), обретает законченность искусство портретирования (фигуры Каррансы, Керенского, Вильсона). При этом Стеффенс делает акцент на их политических взглядах, а решающим критерием их оценки становится понимание ими движущих сил истории. Этот угол зрения вырисовывается из внутреннего сопоставления их, буржуазно-либеральных идеологов, с политическим вождем нового типа — В. И. Лениным. Если Вильсон, например, в период Версаля проявляет нерешительность, колебания, сбивается с пути, Ленин действует согласно с дальновидным и верным планом. «Ленин был капитаном корабля, а Вильсон — простым моряком»*,— пишет Стеффенс.

---

* "Lincoln Steffens Speaking", N. Y., 1937, pp. 187—188.

** "The Letters", vol. II, p. 681.

*** "The World of Lincoln Steffens", p. 87. По-русски приводится впервые.

**** Эта особенность книги не была понята американским критиком Б. Т. Кохрэном, который вообще отказывает произведению Стеффенса в подлинной автобиографичности (статья «Линкольн Стеффенс и искусство автобиографии». «College Composition and Communication», vol. 16, N 2, 1965).

* "The Autobiography", p. 798.

«Социалист высшего типа, считавший, что социализм — это не только вера, но и программа действия»,— этот образ проходит через многие статьи и письма Стеффенса в послевоенные годы. Он упорно возвращается к своей встрече с Лениным в Кремле в марте 1919 года, а ленинские мысли о революции, о диктатуре пролетариата накладывают властный отпечаток на последующие стеффенсовские характеристики событий и лиц. Осознание писателем краха либерализма делает особенно рельефным в четвертой части контраст двух миров, двух систем, двух типов политиков — подлинных революционеров-большевиков и либералов. Отношение последних к революции удачно сопоставляется с поведением пассажиров, которые ожидали дачного поезда, в то время как мимо них промчался экспресс дальнего следования... Эта и подобные ей наглядные афористические формулы «прославляют» заключительные главы его труда, написанного рукой «путешественника в будущее».

Переизданная в США в 1969 году «Автобиография» оказалась созвучной проблемам сегодняшней Америки. Об этом свидетельствует критик Джустин Кеплен (кстати, пишущий сейчас биографию Стеффенса) в журнале «Нью-Йорк таймс бук ревью» в рецензии, озаглавленной: «Он искал правду и провидел будущее». «Кризис городов и волнения молодежи, укрепление революционного духа, отвергающего прошлое и былую либеральную успокоенность, не приемлющего традиционные нормы общественной и личной морали и вопрошающего, в чем же наша национальная цель, все эти нынешние наши беды и заботы являются,— пишет рецензент,— также темой «Автобиографии» Линкольна Стеффенса, опубликованной в 1931 году, в то самое время, когда страна скатывалась на дно самой глубокой депрессии» *. Кеплен откровенно признает, что «большой бизнес», с которым, как источником общенационального зла, так неутомимо воевал Стеффенс, был прямым предшественником того, что ныне именуют в Америке «военно-промышленным комплексом»...

Однако наиболее существенный аспект «Автобиографии» оказался, по причинам достаточно очевидным, обойден рецензентом молчанием: это — самый путь Стеффенса от буржуазно-демократической идеологии к социалистической.

«Автобиография» Стеффенса стоит в длинном ряду мемуарных книг, в которых повествуется о судьбах разных людей — рабочих лидеров, ученых, журналистов, пришедших к коммунизму. Этот перечень открывается знаменитой, темпераментно написанной «Книгой Билла Хейвуда» (1929); в ней Уильям Хейвуд открыл читателям другую Америку — сражающихся пролетариев, бросающих вызов миру власть имущих и их приспешников. Созвучным по духу книге Хейвуда было и автобиографическое повествование «Страницы из жизни рабочего» (1939) Уильяма З. Фостера, в котором, в частности, показано огромное воздействие на него ленинских идей, способствовавших превращению рабочего лидера-бунтаря в революционера-марксиста. Обращаясь мысленно ко времени своего участия в работе III Конгресса Коминтерна в 1921 году, на котором он впервые услышал Ленина, Фостер признает: «В течение долгого времени я много и тщательно штудировал писателей — социалистов, анархистов, синдикалистов, накопив также опыт участия в массовом рабочем движении, но блестящий теоретический анализ Ленина был поразительно нов и неотразимо убедителен... После почти двадцатилетних идейных исканий я наконец благодаря Ленину встал на твердую революционную почву» **. С волнением вспоминает о выступлении В. И. Ленина на этом конгрессе другой его участник — Элла Рив Блур, «матушка Блур», как ее любовно называли американские трудящиеся, неутомимый агитатор, бунтарь, организатор забастовок и стачек, автор неперевеленной у нас яркой автобиографической книги «Нас много» (1940). «Ленин излучал какую-то неодолимую силу,— пишет она,— он воплощал самую полную искренность и самоотдачу, с которыми мне приходилось когда-либо встречаться» ***.

Эта традиция не прервалась в автобиографическом жанре и в послевоенные годы. Об этом напоминают книги «Своими словами» (1955) и «В Олдерсоновской тюрьме» (1962) Элизабет Гарли Флинн, девушки-оратора, юной бунтарки, воспетой Джо Хиллом, ставшей одним из лидеров американских коммунистов. Об этом напоминает и взволнованное жизнеописание Джозефа Норта «Нет чужих среди людей» (1958), переносящее читателя в самое атмосферу «красных тридцатых». Для Норта, как и для многих других радикально настроенных интеллигентов, годы кризиса были тем временем, когда «путь повернул налево». И Линкольн Стеффенс, напутствовавший новое поколение прогрессивных молодых литераторов, был для них человеком, связавшим две эпохи. (Даже такой антикоммунист, как Даниэль Аарон, в тенденциозном труде «Писатели слева» признает, что книга Стеффенса «стала своеобразным учебником революции и несомненно помогала переходу многих писателей и интеллектуалов на прокоммунистические и просоветские позиции.***) В своей книге Норт ссылается на знаменательные слова Стеффенса, сказанные в редакции «Нью мэссис»: «Нет, разгребать грязь — этого теперь недостаточно... Вы счастливее меня. У вас есть компас. У меня его не было. Репортер должен уметь направить, указать цель».

Поучительная и драматическая судьба

---

* "N. Y. Times Book Review", 31.VIII.1969.

* Foster, W. Z. "Pages from Worker's Life", N. Y., 1939, p. 296.

** Bloor, E. R. "We are Many", N. Y., 1940, p. 174. По-русски приводится впервые.

*** Aaron, D. "Writers on the Left", N. Y., 1961, p. 127.

общественного деятеля, увидевшего в конце жизни цель, нашедшего компас в ленинском учении, предстает в посмертно изданной «Автобиографии» (1968) Уильяма Дюбуа. Они были почти сверстниками, эти два очень разных человека, Стеффенс и Дюбуа, прошедшие во многом сходный путь честных многолетних исканий. И Дюбуа, как когда-то Стеффенс, смог в своей книге подвести итог: «Я верю в коммунизм».

■

Стеффенс, однако, не считал свое жизнеописание завершенным; он хотел, но так и не успел написать эпилог к «Автобиографии», в котором, опираясь на свой опыт в послевоенное десятилетие, намеревался рассказать о том, как он обрел новое мировоззрение.

Этим эпилогом стала его публицистика 30-х годов.

Экономический кризис, потрясший капитализм, и успехи первых пятилеток*, явившиеся для Стеффенса новым доказательством эффективности ленинской стратегии,— все это довершило крушение его реформизма. Честный человек, презиравший «интеллектуальный склероз», обладавший редкой способностью к бескомпромиссной самокритике, Стеффенс в 1932 году в журнале «Нью рипаблик» напечатал статью, энергично озаглавленную: «Обанкротившийся либерализм». В ней шла речь о том «эмоциональном шоке», который вызвали экономические успехи большевиков: «Возможно, что их путь и есть настоящий путь,— говорилось в статье.— Возможно, что то самое либеральное кредо, которое мы исповедуем, на самом деле противоестественно, ненаучно и непрактично»**. Наблюдения за ходом «коммунистического эксперимента» укрепляли его в том, что его соотечественники, стоящие у кормила правления, «не знают, как решать коренные проблемы».

Вдумываясь в сущность тех процессов, которые происходили в далекой России, Стеффенс обнаруживал завидную трезвость и проницательность. И если критики из либерального и правосоциалистического лагеря предавали большевиков анафеме за отсутствие некой «абсолютной свободы», то у Стеффенса не было никаких сомнений в антиисторичности подобного подхода. «Ленин однажды сказал мне,— вспоминал Стеффенс,— что потребуется поколение или два, а может, и больше, чтобы получить все то, что нам нужно сейчас, а затем у нас появятся новые требования».***

О том, как изменилось мировоззрение Стеффенса, свидетельствовала его рецензия в журнале «Нейшн» на книгу его бывшего сподвижника по «разгребательству», правого социалиста Чарльза Эдварда Рассела «Голые руки и каменные стены», проникнутую антипатией к большевизму. Ее автора Стеффенс характеризовал как одного из тех либералов, «сбежавшихся» революционной Россией, для которых венцом политического процесса в 1917 году в России была буржуазно-демократическая республика. «Для Ленина же,— писал Стеффенс,— Россия была на историческом рубеже и не должна была останавливаться и сворачивать, а продолжать путь и сразу же дойти до конца любой ценой, любой ценой». «Деликатным социалистам» и соглашателям Стеффенс противопоставлял Ленина, «настоящего большевика», который «был за то, чтобы довести дело до самого конца»*. В этой же рецензии Стеффенс затрагивал и книгу американского русиста Александра Кауна «Максим Горький». Касаясь отношений Ленина и Горького, Стеффенс напоминал своим американским читателям о том, как Ильич помогал автору романа «Мать» преодолевать ошибки. Отношение В. И. Ленина к Горькому стало для Стеффенса примером того, как «следует обращаться со всеми нами, разгребателями грязи и либералами, и всеми, всеми, кто верит в социализм» **.

Этот ленинский реализм и непреклонная принципиальность вождя были для Стеффенса проявлением все той же его человечности и теплоты. В одной из своих последних статей «Ленин — величайший из либералов» Стеффенс писал об огромной популярности вождя в народных массах, о его неиссякаемом чувстве юмора, об искрящемся ленинском смехе, ибо для Ильича «революция была радостью.. » ***

Образ вождя Октября, созданный Стеффенсом, прочно вошел в американскую ленинниану. Джозеф Фримен, вспоминая об антикоммунистических, антиленинских выступлениях прессы монополий, писал: «Ленин вселял в нас надежду, он давал нам цель в жизни, указывая путь к достижению подлинной свободы... Джон Рид, и Альберт Рис Вильямс, и Роберт Майнор, и добропорядочный буржуа полковник Реймонд Робинс рисовали нам такой образ Ленина, который был полной противоположностью тому, что говорили наши враги. Ленин был для них не одержимым фанатиком, а величайшим политическим гением, какого знал мир за свою многовековую историю. Несокрушимая воля в соединении с гибким умом сделали его глубоким мыслителем, организатором и борцом. И в то же время он был самоотверженным, с широ-

* Стеффенс судил о России не по одним печатным источникам: в 1931 и 1933 гг. СССР посетила его жена Элла Уинтер, выпустившая книгу «Красная добродетель...», которая содержала глубоко положительную оценку достижений нашей страны в духовной сфере. Весьма существенными были для него беседы с Альбертом Рисом Вильямсом, работавшим над своей известной книгой «Советы» (1937).

** "New Republic", 17.IV.1932, p. 15. По-русски приводится впервые

*** Lincoln Steffens Speaking", p. 254.

* "Lincoln Steffens Speaking", p. 159.

** Там же, стр. 161.

*** Там же, стр. 258.

кими интересами, человечным, исполненным подлинной любви к людям»*.

Заметим, однако, что американцы узнали о В. И. Ленине задолго до Октября, в частности, из широко популярной в радикальных кругах США книги социалиста, публициста Уильяма Инглиша Уоллинга (1877—1936) «Благовест России»; к сожалению, она мало у нас известна. Ее автор пробыл в России около двух лет в период первой русской революции, на его книгу сочувственно ссылается в предисловии к «Десяти дням, которые потрясли мир» Джон Рид, который пишет, что Уоллинг «прекрасно описывает умонастроения русских рабочих, впоследствии почти единодушно выступивших на стороне большевизма». Уоллинг был, видимо, первым американцем, лично встретившимся с Лениным. Описав в своей книге беседы с рядом руководителей социал-демократии, он вспоминает: «Еще более важной для понимания позиции рабочей партии была для меня беседа с человеком, который, очевидно, является самым популярным вождем в России — с Лениным. Он чувствует, что революция в России сознательно замедляется усилиями иностранных капиталистов и их правительств, которые с великой радостью и любой ценой отбросили бы ее назад, поскольку, представляя себе ее социальный смысл, они опасаются, как бы она не оказала влияния на их собственные режимы. Все воззрения Ленина базируются на чрезвычайно обширных знаниях экономической и политической ситуации в других странах. Они представляют особый интерес, так как он резко отмежевывает свою концепцию социализма от той, которая превалирует в Германии, откуда черпают все свои идеи лидеры меньшевистской фракции. Он считает, что немецкое социалистическое движение было слишком активным для того, чтобы идти по легальному пути. Он хотел бы, чтобы в условиях деспотического прусского правления оно приняло бы более нелегальные и активные формы, в то время как, по его мнению, его ослабила вера в бумажную прусскую конституцию»**.

Но вернемся к Линкольну Стеффенсу.

В последние годы жизни он словно бы переживает вторую молодость. Старый больной человек, он не только продолжает писать, но и ведет практическую работу. Участвует в развертывающемся антифашистском движении американской интеллигенции. Протестует против суда Линча. Поддерживает коммунистических кандидатов на выборах 1932 года. Устанавливает контакты с лидерами бастующих в Калифорнии***.

Он обретает нового героя. Это уже не либерал, реформатор «макрейкерской» эпохи. Это революционер, соединивший «мысль и действие», подобный Джону Риду. Это неподкупный рабочий лидер, подобный Гарри Бриджесу.

Теперь в глазах буржуазных газетчиков он уже не просто «красный», он — «коммунист». Для него закрыт доступ в ведущие журналы и газеты. Впрочем, Стеффенс и не скрывает своих симпатий. О большевиках он отзывается так: «Я за них до последнего дыхания, я — патриот России». Он называет Москву «столицей будущего». В письме, адресованном митингу компартии в Калифорнии, он открыто называет коммунизм «единственно научным средством искоренения всех наших зол»*. Даже недруги Стеффенса вынуждены признать: «...К началу 30-х годов он перестает размышлять о коммунизме, он его принимает».

В 1935 году Стеффенс вступил в Коммунистическую партию США.

Летом 1936 года его посетили в Кармеле (Калифорния) Ильф и Петров, путешествовавшие в ту пору по Соединенным Штатам. Стеффенс был тогда уже безнадежно болен, не поднимался с постели, но продолжал писать, не расставаясь с портативной пишущей машинкой.

Чем-то он напомнил им умирающего Дон Кихота — высокий худой старик с тонкой шеей, истощенный и все-таки, несмотря на обреченность, полный надежд на будущее. Он высказывал желание побывать в Москве, чтобы, прежде чем умереть, увидеть Россию: «Я хотел бы провести вечер своей жизни, наблюдая, как занимается заря нового мира».

О умер через несколько недель, в августе 1936 года, как солдат на боевом посту, не отрываясь от пишущей машинки. Сердце остановилось в тот момент, когда Стеффенс начал печатать статью, призывающую дать отпор фашизму в Испании.

■

Вспоминая о том высоком примере, который явил собой Стеффенс, газета «Дейли уоркер» писала: «Величайший американский либерал, он убедился в том, что столь близкие его сердцу идеалы Джефферсона, Пейна и Линкольна, достижение которых он мыслил в условиях существующего социального порядка, на самом деле могли быть достигнуты лишь в новом, социалистическом обществе... Он пришел к выводу, что его собственные гуманистические принципы станут реальностью, если следовать по ленинскому пути»**.

...Честный мыслитель, человек фаустовского склада, он не считал для себя зазорным всю жизнь учиться. Он рос в поисках истины. «Мир, который я пробовал изменить искренне, но безуспешно,— признавался он в конце жизни,— изменил меня самого». Одна из последних его записей подводит итог его исканиям: «Я выбираю путь низших классов, то есть путь Ленина, большевиков, России»***.

---

* Freeman, Joseph. "An American Testament", pp. 501—502.

** Walling, W. E. "Russia's Message, The People Against the Tzar", N. Y., 1908. p. 187. По-русски приводится впервые.

*** Ряд интересных фактов читатель найдет в уже упомиавшейся книге Вериера Брандеса.

* "The Letters", vol. II, p. 1051.

** "Daily Worker", N. Y., II.VIII.1939, p. 7.

*** "Lincoln Steffens Speaking", p. 7.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

А. МАМОНОВ

ЯПОНСКИЕ ПОЭТЫ О ЛЕНИНЕ

Листая однажды книгу стихов и очерков, присланную моим другом — поэтом из Токио, я прочитал строчки, поразившие меня своей необычностью. Это были стихи о России, созданные в 1918 г. «О Россия, ты птица-тройка!» — так называлось стихотворение Содзи Момота, в комментарии к нему говорилось: «Это произведение было помещено в сборнике стихов «Нукаруми-но мити» («Путь через трясину»), изданном через год после революции в России. Оно воспевает революционную Россию, шагающую вперед по избранному ею пути. Оно прославляет рабочих и крестьян, бывших до этого на положении рабов и ставших хозяевами своей страны. Это гимн революционной России, которая стремительно движется к великой цели и которой никто и ничто уже не в состоянии помешать».

О Россия,
Ты мчишься, как тройка,
Ты пути открываешь заново,
Ты летишь, куда хочешь, как хочешь,
Ты свободна в своем движении.
Над бессчетными странами,
Над бессчетными смутами,
Над рознью и распрями
Ты проносишься вихрем,
О крылатая тройка!
Над Европой,
Над Азией, Африкой,
Над Америкой и Австралией,
Над правительствами и народами,
Над церквами и верами,
Над кабальными и грабительскими
Соглашениями и договорами,
О крылатая тройка,
Твой кучер — крестьянин,
Твой кучер — рабочий.
В грязной одежде, в потной рубашке,
Грудь нараспашку,
Кожа, сожженная солнцем, как бронза,
В широченной ладони
Не хищник двуглавый,
Веками
Паривший надменно,—
Влещет сейчас перетянутый туго
Сноп золотистых колосьев.
Замахнется кнутом
Да свистнет —
И летит, не косясь на обочины.
Кони храпят, гривы трепещут.
Вудто вот-вот оторвутся.
С боков лошадиных пена свисает...
Но мчится тройка,
Летит, могучая,
Почти земли не касаясь! *

Содзи Момота (1893—1955) — известный поэт, представлявший поэтическое течение «Минсюси-ха» («Группа народной поэзии»), возникшее в Японии в годы первой мировой войны. «Группа народной поэзии» объединяла поэтов демократического образа мыслей. Позднее многие из них связали свою судьбу с литературным движением «Танэмаку хито» («Сеятель»), зародившимся как отклик на Октябрьскую революцию в России.

Весть о победе Октября была радостно встречена рабочим классом Японии. Вместе со словом «Октябрь» в Японию пришло слово «Ленин». Октябрем 1917 года датирован номер журнала «Синсякай» («Новое общество»), где была напечатана работа В. И. Ленина «О задачах РСДРП в русской революции». А всего за прошедшие годы было издано в Японии (причем огромными тиражами) более 400 трудов В. И. Ленина!

К ленинской теме в Японии обращаются и поэты-профессионалы, и любители. Хотя эти стихи иногда далеки от совершенства, они подкупают искренним чувством, верой в торжество ленинизма, преданностью идеалам Октября; создавались они нередко в тяжелых условиях.

Разумеется, ленинская тема в японской поэзии требует дальнейших исследований,

* Здесь и далее стихи даны в переводе автора статьи.

поиска новых материалов. Эта статья — лишь скромная попытка познакомить советского читателя с осмыслением образа Ленина в японской поэзии.

Идеи Ленина всколыхнули не только пролетарских поэтов. В нашей печати еще не приводились стихи о Ленине знаменитого японского писателя Рюноскэ Акутагава (1892—1927) — утонченного эстета, создателя лирических новелл, более всего ценившего поэзию, заявившего однажды, что «жизнь не стоит и строки Бодлера».

В числе посмертных публикаций Акутагава есть три небольших стихотворения, посвященных Ленину. В них — восхищение «русским невысокого роста», который «больше других соблюдал заповеди» и «больше других нарушал заповеди», «больше других любил народ», «больше других пламенел идеалом», «больше других знал действительность». Обращаясь к «этому русскому», Акутагава восклицает:

Ты один из нас, восточных людей.
Ты один из нас, японцев...

Высоким уважением к Ленину проникнуты строки Акутагава, посвященные Мавзолею. И в древности увековечивали людей: этого удостаивались египетские фараоны. Но разве среди тех, кто поконтся в саркофагах, найдется такой, который был бы честен, как Ленин? Акутагава выделяет лишь одного — «гения наших друзей», «великого человека» Ленина.

Сложный и противоречивый писатель Акутагава с вниманием следил за развитием социалистического движения и пролетарской литературы. Он писал: «Социализм — не предполагает дискуссий о его праве на жизнь. Он неизбежен».

Одно из первых стихотворений о Ленине, созданных пролетарскими поэтами, которое автору данной статьи удалось обнаружить,— это пятистишие, принадлежащее Рёитиро Ота. В журнале «Сэнки» («Боевое знамя») в 1929 году опубликованы его письма из тюрьмы — своеобразный дневник, написанный в форме пятистиший. Каждое стихотворение Рёитиро Ота датируется числом и месяцем, а все они относятся к 1928 году.

Стихи Рёитиро Ота, исповедь борца, ценны как свидетельство времени, потому что они родились в те дни, когда автор ожидал сурового приговора, ибо однажды уже привлекался по «делу студентов».

О чем же писал двадцатилетний узник, брошенный в тюрьму за принадлежность к Коммунистической партии Японии?

О том, что уже скоро настанет день, когда судьи решат его судьбу, и, кто знает, возможно, его ждет каторга или смерть, но узник в своей холодной камере — «клетке осеннего ветра» — изучает философию.

О том, что люди есть люди, и, когда они встречаются в короткий миг свиданий в тюрьме, они не скрывают слез: родные и близкие коммунистов, матери и отцы.

Но Рёитиро Ота, как и его боевые друзья, встречаясь с родными, «разговаривает, улыбаясь». И сколько в этом силы и мужества, сколько презрения к бедам, еще ожидающим их! Поэт не грустит, не тоскует... Он может сдерживать слезы, он стал намного сильнее.

Именно слабости больше всего боится томящийся в камере. Слабость, незаметно подкрадываясь, оборачивается малодушием, постыдной трусостью. Вот почему так понятны нам строки — искренний крик души человека, для которого эталоном стойкости, образцом поведения стал Владимир Ильич Ленин, его принципы борьбы и жизни:

Не забыть
Гневный взгляд
Ильича,
Клеймящего
Трусов!

В тот же день сочинил арестованный другую танку, хорошо передающую атмосферу, в которой жили и боролись герои революции.

Пусть только отблеск
Холодного солнца
На прутьях решетки —
Все-таки, гордые,
Мы живем!

Чтобы лучше понять стихи тех лет, нужно вспомнить, в какое время они создавались. Милитаристский кабинет генерала Танака, пришедший к власти в начале 1927 года, напуганный размахом революционного движения в стране (1928—1929 гг.), жестоко расправлялся с рабочим движением, в первую очередь с коммунистами. 15 марта 1928 года по всей Японии прокатились облавы на коммунистов и левых профсоюзных деятелей. Массовые аресты повторялись дважды в том же году и еще раз — в апреле 1929 года.

С 1928 по 1933 год было арестовано свыше тридцати четырех тысяч человек: все — по подозрению в причастности к коммунистической борьбе. А сколько лучших сынов рабочего класса Японии было убито и замучено в полицейских застенках! Именно в тот период был издан закон, по которому всем, кто выступал против существующего строя и частной собственности, грозила смертная казнь.

Таковы были условия, когда вышел в марте 1929 года номер «Сэнки» со стихами Миядзи Такада, в которых воздавалась дань любви и уважения Ленину. В этих стихах в числе прочих наказуемых смертью деяний воспевалось тягчайшее — «тайное сборище коммунистов», воспевалось их участником, молодым поэтом.

Вот почему страницы журнала испещрены крестами — следами вырубленных иероглифов: цензура выкорчевывала из сознания масс даже такие слова, как «революционная» (песня), как «красное» (знамя),— обезличивая песню, обесцвечивая знамя и даже «кровь» стирая с журнальных страниц, если это была кровь вождей революции.

Тонкие деревья и тонкие стволы молодых —
обнажившийся лес,
усеянный листьями дуба...

О счастье мгновенья,
когда здесь
поднялось наше красное знамя!
Сегодня — 21 января,
день памяти Ленина.
Товарищ дал мне листовку позавчера.
В ней сказано:
«21-го, после занятий, состоится митинг в честь Ленина. Место сбора не установлено. Положись на нас. Если согласен — порви».
Кратко и просто,
но дошло до самого сердца.
Я разорвал листок и радостно улыбнулся.
Товарищ, давший листовку,
открывал митинг.
Краткое слово кончилось.
Небо было пепельно-серым.
Откуда-то с вышины
падал холодный, пронизывающий ветер.
Подобный щебету птиц,
слышался многоголосый говор толпы.
Потом — все смолкло...
—...Товарищи! Месяц январь — это месяц,
когда скончался Ленин,
месяц, залитый кровью
Карла Либкнехта и Розы Люксембург!
Но для нас он должен стать праздником —
праздником наших горячих сердец!
Ленин — наш отец, наш брат,
наш дорогой Ильич!
Роза — наша мать!
Окровавленная Роза
наших далеких братьев!
И Карл — наш старший брат,
наш товарищ!
Окровавленный Карл!..
Один за другим мы читали стихи
из пролетарской поэзии «Сэнки».
И строки звучали все громче и громче.
Гремели аплодисменты.
Потом запели
революционную песню
и, крепко сжимая древко,
склоили красное знамя...*
— Есть предложение стать в круг
и прокричать «Ура!»
в честь Ленина!
— Дава-ай!
Тесно прижавшись плечом к плечу,
образовали круг.
— Да здравствует день памяти Ленина!
— Да здравствует Русская Революция!
— Ура-а!
Глаза наполнились влагой...
Может, от ветра, резкого ветра,
бившего в лица...

Все свирепее становились репрессии, слабее звучали голоса прогрессивных поэтов: кто замолкал, попав за решетку, кто изменял убеждениям, не находя мужества бороться в одиночку.

Одним из тех, кто до конца пронес приверженность идеям Ленина, Октября, был Хидэо Огума (1901—1939). Несмотря на общий заметный спад пролетарского литературного движения во времена жестоких гонений на коммунистов, к середине тридцатых годов поэт создает множество произведений, прямо или косвенно посвященных родиие Октября — Стране Советов («О Волга-река», «Языком Маяковского», «Поцелуй», «Мать крепко пожала руку сыну» и др.).

Не раз упоминает Хидэо Огума имя Ленина. Поэту, называвшему себя «барабанщиком революции», все помыслы которого отданы борьбе, глубоко импонировал революционный пафос выступлений любимого вождя. Сам поэт призывал всюду говорить о борьбе, о революции.

Обращаясь к молодому коллеге по перу, который, судя по всему, стоит на стороне рабочих, но у которого от робости «язык заплетается», Огума напоминает:

Ленин прекрасно сказал:
Тот, кто молчит на собрании,—
Человек, лишенный мнения.

Поэта особенно восхищала в Ленине огненная сила слова, зажигавшая сердца миллионов. Огума не слышал, *как* говорит Ленин, но слышали другие: «Я наблюдал многочисленную толпу,— вспоминал основатель японской компартии Сэн Катаяма о первой встрече с Лениным,— и не видел ни одного человека, который бы двигался или кашлял в продолжение этих долгих трех часов. Он увлек всю аудиторию. Слушателям время казалось кратким. Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни».

В поэме «Беглец с неба» Огума с чувством радости и гордости пишет: ленинские мечты сбылись!

Будущее принадлежит молодежи! —
Так говорил Ленин.
Но сейчас его слова перестали быть
лозунгом:
У Советов
уже
Будущее для юных стало ясным.
Как бодры эти дети
в пионерских шеренгах,
Как задорно звучат
пионерские песни!
У этих юнцов
нет старых болезней.
Они родились в новом мире,
Они вступают в новые битвы...

К образу Ленина Огума обращается и в большом стихотворении «Мать крепко пожала руку сыну», но Владимир Ильич Ленин для него уже не только пламенный трибун, великий вождь: поэт открывает новые черты его многогранного облика. Он выдвигает на передний план чуткость, заботливость, сердечность Ленина — те свойства его души, которые побудили Маяковского назвать Ленина «самым человечным» человеком.

И в этом году наступил
Памятный «День трех Л»*.
И опять, в иной обстановке,
Ленин, будто живой,
Появляется в нашей жизни.
Друзья, товарищи!
Пусть же любовь
Пылает, как пламя!
Будем любить —
Как Ленин!

Образ Ленина в японской поэзии многогранен, каждая строка, повествующая о том, что поразило воображение того или другого автора, раскрывает перед нами и новые повороты темы.

* В стихотворении дважды встречается «красное знамя»: в обоих случаях иероглиф «красное» заменен крестиком.

* После смерти В. И. Ленина японский пролетариат стал отмечать в январе траурный «День трех Л», то есть день Ленина, Либкнехта, Люксембург (Либкнехт и Люксембург были убиты в январе 1919 г.).

А. МАМОНОВ
ЯПОНСКИЕ ПОЭТЫ О ЛЕНИНЕ

В 1930 году журнал «Кайдзо» («Реконструкция»), основанный в 1919 г., проводил конкурс на лучшее стихотворение. Победителем оказался поэт Адзума Кондо, стихотворение которого «Лунная ночь Ленина» завоевало первое место. Одним из достоинств стихотворения, по мнению японской критики тех лет, была «связь экзотики с романтикой». В тридцатые-сороковые годы писать о Ленине, отмечать годовщину Октября было опасно. Об этом в послевоенные годы сложил стихи известный поэт Токудзо Сакаи. «Пейзаж репрессий» — так озаглавил он свое произведение:

Крепко сдавлено горло...
И в пейзаже — из спазм удушья —
возникают одна за другой
годовщины разных эпох.
Они исцеляют больного,
они приносят надежду,
они украшают улыбкой
его лицо
с ввалившимися щеками...
7 НОЯБРЯ 1931 ГОДА!
7 НОЯБРЯ 1937 ГОДА!
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА!..
Мало глаз, чтобы всех оглядеть,
мало рук, чтобы всех
поприветствовать,—
тех, чьи рты были крепко зажаты
тогда,
тех, чьи лица светились улыбкой
тогда.
Но в каком бы году ни случилось,
но в каком бы краю ни случилось,
не было,
чтоб у кого-нибудь где-нибудь
отняли этот праздник,
не было,
чтоб в этот праздник
кто-нибудь где-нибудь
не стал бы
умней и зорче!

Многое изменилось в послевоенной Японии, и люди действительно стали «умней и зорче»; неодолимой преградой на пути к военным авантюрам становились сплоченные в борьбе, накопившие опыт классовых схваток трудящиеся Японии.

В разгар американской интервенции в Корее перед угрозой третьей мировой войны коммунисты, демократы, все патриотические силы страны мужественно и стойко встретили лавину ожесточенных репрессий иосидовского режима. Обстановка начала пятидесятых годов ярко воссоздается в стихотворении Наоки Усами «Девушка с баррикады». Спустя пятнадцать лет молодой поэт издаст в своем переводе поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», но уже в стихах, написанных 13 марта 1951 года, он обращается к имени Ленина.

Ночь.
Подняв воротник пальто,
я пошел к Дэко-тян *.
Дэко-тяи — кареглазая девушка
с высоким лбом,
коммунистка, продавщица газет.
Ее хозяйка сказала:
— Вторые сутки нет дома... Да еще
вчера...
Ясно, тетушка, легавые были...
Комнатка на втором этаже — метров пять,
виден Никольский собор *.
Корзина для белья приоткрыта,
разбросаны книги на полках...
Да, обыск был,
но ведь Дэко-тян всегда начеку.
У керогаза столик.
На нем — кастрюля и будильник.
И еще —
любимая гармошка.
«Наверно, ты ждешь меня, но нельзя...
Ничего не поделаешь — разлучили».
А это что?
На привычном месте
нет... Ленина.
Нет фотографии Ленина
на стене у окна.
Содрали, мерзавцы!
Чего же они хотят,
взяв с собой фотографию Ленина?
«Не выйдет! — сказал я про себя.—
Бесполезно!
Схватить одного
или тридцать семь,
или всех посадить,
или всех убить —
все равно бесполезно!
Ведь «Голос мира» ** — голос народа,
и еще
посмотри —
разве там, на стене,
где была фотография Ленина,
не начертаны строки
«ПАРТИЯ НАРОДА НЕСОКРУШИМА!»?

Верой в несокрушимость партии и народа, в неодолимость идей ленинизма пронизаны многие поэтические произведения, появившиеся в Японии и в послевоенные годы.

20 апреля 1960 года в канун 90-летия Владимира Ильича Ленина орган Коммунистической партии Японии газета «Акахата» поместила подборку трехстиший, присланных читателями в редакцию.

Читатель из Токио Кэйскэ Хатори пишет:

Не отрываясь, читаю Ленина...
В замерзшем окне краснеет
Утренняя заря.

Другой читатель — Сёдзан Танака — прислал трехстишие из Осакской тюрьмы, куда он попал по делу, сфабрикованному против активистов рабочего движения. В поэтическую миниатюру из трех строк автор вводит самый популярный в японском народе лозунг «Ампо хантай!» — «Долой договор безопасности!», то есть агрессивный японо-американский договор. В дни, когда появилось трехстишие, борьба против договора приняла невиданный доселе размах: трудящиеся массы вышли на улицы. «Ампо хантай!» — скандировали миллионы уст. Для заключенного осакской тюрьмы нынешний лозунг связан с днем памяти Ленина, он словно сливает в одно две мощные волны — протест против поддержки агрессии и почитание памяти Ленина. «Слово «Ура!» в честь Ленина — доносится в камеру «Ампо хантай!»:

И в камере слышно
«Ампо хантай!» —
В день памяти Ленина.

Кацудзиро Тоба, служащий телефонной станции в Тиёда (один из районов Токио),

* Тян — уменьшительно-ласкательная приставка к мужским и женским именам.

* Православный собор в районе Канда (Токио).

** Название японской прогрессивной газеты («Хэйва-но коэ»).

посвящает советской победе в космосе стихотворение «Первые космические ракеты авангарда».

Нелегко досталось советским трудящимся это великое достижение: позади — годы гражданской войны, разрухи, фашистского нашествия, но главный залог успеха — в самой системе социализма, в жизнеспособности и эффективности общественного строя, возведенного Лениным.

Долгий ленинский взгляд
проходит сквозь наши тела,
сквозь наши сердца —
через нас,—
созидающих завтрашний день.
И через пространство,
таящее странное чувство,
будто космические ракеты
инкрустируют звездный мир,
словно цветочной пыльцой,
собою...

Штурм космоса, начатый коммунистами, воспринимается автором стихотворения «На родину!» Наоки Усами как приближение заветного часа освобождения всех трудящихся. Бродя по улицам ликующей Москвы в марте 1965 года, в дни запуска «Восхода-2», японский поэт слышит голос мощного репродуктора:

«Космонавты возвратились на Землю,
на Родину!»

И он, грустящий по родным местам, поддается всеобщей радости — ведь она вызвана подвигом друзей, подвигом родины Ленина.

Я чувствую,
как нарастает грохот,
как приближается бой —
последний и решительный бой
за Мировую Коммуну...
Я чувствую,
как изо дня в день
возрастает огромная сила,
неодолимая сила
всемирного тяготения
ленинской правды!

К образу Ленина поэт Усами обращается неизменно: будь то в Москве или в родной Иокогаме. Когда в 1963 году в его городе с большим успехом выступал московский хор, Усами под впечатлением от концерта написал стихотворение «Бис!».

Песня мира и дружбы
взлетает на «бис!»,
задувая пламя войны,
сокрушая неправду,
проникая во все уголки
огромной планеты...
Как Ленина
живое слово,
как Ленина
простое слово,
как Ленина
всепобеждающее слово!

«С Лениным вместе!» — так озаглавил Наоки Усами свое стихотворение, которым хотелось бы закончить статью:

Я в руках держу
раскрытую книгу
С красными буквами:
«Ленин».
Читаю,
и хочется вдруг
вслух —
Громче сигнала
встречного поезда! —
Ленинские слова прокричать
Всем пассажирам третьего класса:
«Мир, хлеб, свободу —
народам!»
Я в Токио еду,
домой еду,
И радость моя
беспредельна!
Я бросаюсь
в дремлющий город,
В сонную тишь вокзала —
С Лениным вместе,
с Лениным вместе!
И повторяю
слова поэта —
Солнцу встающему,
людям идущим,
Улицам и домам:
«Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить!»

ОЧЕРКИ

ЙОЖЕФ ДАРВАШ

РОЖДЕНИЕ КНИГИ

Публикуемый ниже очерк известного венгерского писателя Йожефа Дарваша мы перепечатываем из недавно вышедшего сборника его избранных публицистических статей. В канун знаменательного двадцатипятилетия Венгерской Народной Республики мы выбрали из этой книги несколько страниц, воскрешающих атмосферу исторических дней освобождения Будапешта.

Хочу рассказать о том, как в первые дни, первые недели после освобождения была написана книга «Город на трясине». Для меня это стало не только рождением книги, но еще и моим собственным освобождением, «рождением заново». Я не люблю пышных фраз, но должен сказать, что, создав книгу, я освободился от гнета прошлого. Я написал ее, я смог ее написать. Работа над ней позволила мне освободиться от невероятного напряжения, от мучительных раздумий, владевших мной все время, пока длилась осада Будапешта. Да и только ли во время осады? Не правильнее ли говорить о целом ряде лет, когда можно было высказать не больше половины мыслей и чувств, а то и гораздо меньше, писать урывками, делать незначительную часть того, что сделать было надо.

Дом на улице Барошш, где я несколько месяцев скрывался вместе с семьей, был освобожден 16 января. (Слишком долго рассказывать, как мы попали в этот чужой дом, оказались среди неизвестных нам людей и заняли квартиру семьи, бежавшей на ту сторону Дуная). За несколько недель до освобождения мы переселились в подвал, где раньше у каждой семьи имелось отгороженное место для хранения дров. Электричества не было, воду приходилось приносить из колонки на другой улице, каждый раз рискуя попасть под пулю или осколок бомбы. Еды почти не было. И главное — на руках у нас двое детей, которые ничего, кроме страха, не успели познать в жизни; ответственность за них была счастьем и мукой. А вокруг—двойное кольцо одиночества, потому что тогда каждый заботился лишь о себе и о своих близких; среди людей, набившихся в подвал, у нас не было ни друзей, ни знакомых. Последние дни даже во двор нельзя было выйти. Мы не могли отличить дня от ночи, разве что по крысам, которые показывались только ночью. За день до освобождения соседний дом был разрушен прямым попаданием бомбы.

...И вот 16 января вечером у входа в подвал мы увидели первого советского солдата с автоматом в руках.

На другой или на третий день я отправился на площадь Калмана Тисы, в дом, где должны были находиться учреждения коммунистической партии. К нам зашел Енё Селль, которого я знал с 1933 года — когда была разгромлена студенческая организация,— и сообщил, куда надо идти. В первый раз я добрался лишь до площади Ракоци. Бои в Пеште закончились, мосты через Дунай были взорваны накануне ночью, но со стороны Буды немцы обстреливали Пешт из минометов и с низко круживших над городом самолетов. Ходить по улицам было опасно, но повернуть вспять меня

заставило другое: я не смог вынести зрелища разрушений и смерти. Огромное количество трупов — гражданских и солдат,— полуободранные остовы лошадей, слепые глазницы зданий, обвалившаяся штукатурка, пробоины, почерневшие от пожара стены домов, горький запах дыма, летающая в воздухе сажа, а на площади Ракоци голый трупик ребенка... Это меня больше всего ужаснуло. Я повернул назад, домой, в темный, вонючий, пропитанный запахом крыс уголок «нашего» подвала, к самым дорогим моему сердцу людям.

Мне казалось, что у меня, кроме этого, не осталось ничего, что человек может назвать своим... Освобождение? Новая жизнь?

В тот же день, ближе к вечеру, я снова пустился на поиски Дома партии.

Огромное здание на площади Калмана Тисы кипело и бурлило, казалось, даже стены его колыхались. Дом партии? Нет, это был дом всего города, всего живого, что в этом городе осталось, дом всей страны. Первый путь каждого вел в этот дом. Сюда приходили все, кто сумел вырваться из тисков подвального психоза, кто еще верил во что-то, хотя бы только в жизнь, и еще чего-то хотел. Сюда шли не одни коммунисты, шли социал-демократы, члены партии мелких хозяев, крестьянской партии, буржуазные демократы, демократические христиане.

Здесь я нашел своих товарищей, своих друзей! Какие это были встречи! Какие объятия и поцелуи! «Мы, кажется, с тобой виделись последний раз 19 марта?» — «Ты где был в день освобождения?» С одним я не виделся с тех самых пор, как пришлось бежать и прятаться, с другим — около месяца. Но нам всем казалось, что мы сошлись сюда на свидание, назначенное десятки лет тому назад, и добирался каждый чуть ли не с края света.

Больше всего поразило и потрясло, что в обставленных кое-как комнатах уже кипела работа. Собственно говоря, только у коммунистов были реальные планы, представления о будущем, они даже были готовы давать советы другим демократическим партиям. Реальные планы? В те дни все на свете казалось нереальным. Дюла Каллаи и Ференц Донат увлекли меня за угол. Завтра или послезавтра начнет выходить газета, ежедневная, «Сабадшаг» («Свобода»). Мне предлагают выпускать ее вместе с Каллаи и Лайошем Зилахи, быть членом редколлегии... В пылающем, лежащем в развалинах городе миллион человек ютится под землей, в подвалах, а люди уже строят планы будущей жизни. Было в этом что-то неправдоподобно прекрасное, невероятное.

Только поздно вечером я возвратился домой.

Противоречивые переживания этого трудного дня так меня измучили, что, вернувшись к жене и детям, я прислонился к стене и зарыдал. Жена с трудом успокоила меня.

Позже, когда домашние улеглись, в подвале все затихло, я вынул бумагу, карандаш, присел на корточки у табуретки и стал писать при свете свечи (у нас еще оставалось несколько свечей). Написал заглавие «Город на трясине». Я еще не знал, что напишу: статью в новую газету? А может быть, книгу? Или заметки, которые пригодятся потом? Но меня не волновал этот вопрос: я чувствовал, что должен писать, вот и все.

С того дня я каждый вечер склонялся над листом бумаги. Я мог писать только по вечерам, днем у меня было множество других дел: работа в редакции газеты, организация крестьянской партии, заседания, совещания в будапештском Национальном комитете, собрания... Я писал уже не при свете свечи, а при свете керосиновой лампы. В Доме партии мне выделили два литра керосина.

Казалось, в таких условиях писать немыслимо. Обстановка ужасная. Крысиный писк по ночам. Заботы о семье. Борьба за существование. Из хаоса и обломков старого в муках и тяжелейшем труде, в преодолении миллионов препятствий и противоречий рождалась новая жизнь. Дел у меня было неимоверно много. Со дня германской оккупации, когда мне пришлось уйти из своей квартиры, стать бродягой, исходить и изъездить всю страну, я не написал ни одной строчки. Я носил с собой рукопись наполовину написанного романа, друзья, прочитавшие первые главы, говорили, что это будет лучшее мое произведение. Выпадали и спокойные недели в далеких провинциальных городах, бытовые условия были там в тысячу раз легче, но работать над книгой я не мог. А теперь строчки так и бежали у меня из-под карандаша.

Недавно мне пришлось выступать по радио в качестве «очевидца великих времен», рассказывать о первых неделях и месяцах после освобождения, о том, чем я сам занимался в те дни. Удивительная вещь: кроме одного-двух самых важных событий, я ничего не мог вспомнить. А ведь я тогда действительно занимался очень многим, и не было у меня в жизни более волнующих, полных веры в лучшее будущее, прекрасных дней, чем ранней весной 1945 года. Так почему же мне так трудно теперь ответить на вопрос: как была организована работа в редакции «Сабадшаг»? Как и с кем мы начали создавать крестьянскую партию?.. Когда съездил я первый раз в Дебрецен? А подробности спора о проекте земельной реформы, когда я сам бок о бок с Петером Верешем отвоевывал максимальные 50 хольдов, выступая против предложения Ференца Эрдеи? И тысячи других вопросов. Как сквозь туман, вижу я тогдашние лица и события, да и самого себя, пожалуй. Но тем ярче встает в моей памяти каждый час моей работы над книгой, четко вычерченная последовательность мыслей, внезапная мучительная радость от неожиданно понятой взаимозависимости событий.

Я не думаю, что все это вытекает из самой природы литературного творчества. Никогда память о пережитом в процессе работы над книгой не действовала столь безотказно. И это вовсе не потому, что тогдашнюю свою литературную работу я считал важнее политической деятельности. Как раз наоборот, эта деятельность для меня была важнее всего, ведь пришло, наконец, время, когда можно было осуществлять идеи, сформировавшие меня как человека и как писателя, и я сам мог участвовать в их осуществлении. Скорей всего было так, что я своим творчеством как бы соревновался с собственной общественной деятельностью, создавал для нее мерило. Я почти ничего не писал о себе в этой книге, в ней много вопросов, касающихся судьбы народа и нации, и все-таки я считаю ее самым интимным своим произведением. Нелегкая диалектика личной, классовой и национальной судьбы сделала меня коммунистом, и я никогда так глубоко не ощущал и не воспринимал слитности этих трех судеб, как в то время. И никогда так сильно не чувствовал свою ответственность венгра, коммуниста, писателя. Эта книга местами — суровое обвинение уже даже не прошлому, а будущему. Я тогда не сознавал этого, но чувствовал, что без глубокой национальной самокритики мы можем опять и опять ошибиться, как это уже не раз случалось в нашей истории. Человек способен ошибиться. Но может ошибиться и коллектив. (Хочется попутно отметить, что у венгерской литературы есть серьезный долг, и заключается он в том, что наша литература после 1945 г. не занялась такой самокритикой, не имела возможности ею заняться. И очень хорошо, что теперь появились произведения, которые этот долг отчасти уже погасили.)

Итак, книга «Город на трясине» была написана за несколько недель и вышла к празднику книги 1945 года. И было это тогда — если память мне не изменяет — первое, а может быть, и единственное произведение, написанное сразу после освобождения. Трудно определить место, занимаемое этой книгой среди других моих произведений. В предисловии к «Городу на трясине» издания 1955 г. я написал: «Это не роман, не дневник, не очерк и не исторический документ. В этой книге есть элементы и того, и другого, и третьего. Но теперь, перечитывая ее, я замечаю, что больше всего она похожа на пристрастное выступление в огромном историческом трибунале. Я сам участвовал в этом трибунале, но в качестве кого? Обвиняемого или обвинителя? Свидетеля или судьи? Я был всеми ими понемножку, я был сыном своего народа и был писателем».

Я люблю эту свою книгу, хоть и не считаю ее самой лучшей из написанных мною. Я так люблю ее, что часто испытываю желание ее переделать. Но боюсь при этом ее испортить. Вдруг она потеряет главную свою ценность: обаяние единовременности с событиями. И еще я люблю в ней свои тогдашние размышления, свою молодость, весну своей Венгрии, которая — я надеюсь — хоть немного в ней отразилась.

Моя исповедь была бы, однако, не полной, если б я не сказал еще кое-чего.

Очень многое осуществилось из того, во что мы верили, чего ждали, что мелькает на страницах давно написанной книги. В прошедших с тех пор годах было и много противоречивого, чего мы не могли предвидеть и предсказать. Временами противоречия становились трагическими, кое-кто начал задавать себе вопрос: не была ли беспочвенной наша тогдашняя уверенность в будущем?

Нет, не была.

За минувшие годы развеялись многие наивные иллюзии, накопились исторические достижения и опыт. Один из главных выводов состоит, пожалуй, в том, что мир социализма не приходит сам собой, что строить его нелегко. Народ может вступить в новый период своей истории, как вступили мы в 1945 году, но тем самым он не освобождается, как по мановению волшебной палочки, от тяжелого бремени своего прошлого. Для этого нужны труд, борьба, и это требует многих жертв. А потом надо еще быть всегда и во всем беспощадными реалистами. Мы идем по правильному пути, но чтобы еще раз нам не ошибиться, мы всегда обязаны — и это самое главное — строго реалистически смотреть на наше прошлое, настоящее и будущее.

Я не могу согласиться с модным теперь «дезиллюзионизмом», с позой разочарованности. В нашей стране за последние годы многое свершилось, я лично этим горжусь, и меня оскорбляет, когда отрицают самые важные из наших достижений. Я считаю, что разочарование не имеет почвы, хотя неправы и те, кто настроен на волну телячьего оптимизма. Нам нужен здоровый пафос, основанный на научном предвидении. Основа для такого пафоса у нас имеется. Мы живем в век, когда в одной части земного шара обесчеловечение считают неотвратимым даже некоторые высокообразованные люди, а мы открываем перед нашим народом новое содержание гуманизма, смысл борьбы, возможность морального обновления.

Новое чудо Будапешта, города, который когда-то был возведен на трясине,— восстановленный мост Эржебет. Я до сих пор помню, как взрывали старый мост, казалось, звенел и грохотал холодный зимний воздух. Новый мост прекрасен, он проще, линии у него чище, чем у старого, он совершеннее, гармоничнее его. Специалисты говорят, что техническое решение его конструкций отличное. Точное и целесообразное. Так мы теперь планируем, и так мы теперь строим.

1965 г.

Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ПАНАЦЕЯ ИЛИ БЕДСТВИЕ?

«Технология: * опиум интеллигентов» — так весьма красноречиво озаглавлен памфлет профессора Массачусетского технологического института Джона Макдермота, опубликованный в качестве специального приложения к еженедельнику «Нью-Йорк ревью оф букс» («Нью-йоркское книжное обозрение»), выражающему настроения радикально-демократической интеллигенции и университетской молодежи. В наш век, когда авторитет науки и техники вознесен на недосягаемую высоту, когда тезис об их благодетельности для человека стал своего рода аксиомой, подобное утверждение ошеломляет своей неожиданностью и заставляет обратить на себя внимание.

«Если в прошлом религия была опиумом масс,— заявляет Макдермот,— то теперь, несомненно, технология является опиумом образованной части населения. ...Ни на что другое не возлагают повсюду таких больших надежд — надежд на улучшение человеческого рода вообще и американского общества в особенности».

В современную эпоху проблемы технологии и судьбы культуры тесно переплелись. Для «башен из слоновой кости» на земле не осталось места. Перспективы и последствия научно-технической революции волнуют ныне не только ученых и инженеров, но и всю интеллигенцию в целом.

Памфлет Макдермота можно было бы рассматривать как очередной эпизод в борьбе против стремления государственно-монополистического капитала присвоить себе плоды научно-технической революции XX столетия, однако некоторые обстоятельства придают этому выступлению более принципиальный характер. Для того чтобы уяснить себе его значение, приходится прибегнуть к известному кинематографическому приему — «прокрутить пленку в обратном направлении», вернуться к событиям, вызвавшим появление памфлета.

Прежде всего на экране памяти всплывает прошлогодняя мартовская общенациональная забастовка профессоров и поддерживавших их студентов более тридцати ведущих университетских центров страны, начавшаяся по инициативе того самого Массачусетского технологического института, где преподает Макдермот. Направленная против злоупотребления наукой со стороны военно-промышленного комплекса США, она отразила глубокое недовольство американских ученых внутренней и внешней политикой правительства.

Еще более ранний кадр — публикация в январе 1968 г. четвертого ежегодного отчета «Программы исследований: технология и общество» Гарвардского университета, знаменитой кузницы политических и деловых кадров современной Америки. Этот отчет вызвал широкие отклики в периодической печати непосредственно перед забастовкой. Макдермот не случайно избрал в качестве объекта критики директора этой программы профессора Высшей школы деловой администрации в Гарварде Эммануэля Местина. Дело в том, что возглавляемая Местином программа была учреждена на деньги корпорации «Интернэшнл бизнес машинз» («ИБМ») с очевидной целью успокоить возрастающую тревогу американской общественности, вызванную ходом научно-технической революции в США.

Ни одна корпорация в мире, пожалуй, не воспользовалась в такой мере достижениями науки и техники за истекшие двадцать лет, как эта, прежде ничем не примеча-

* Этот термин в английском языке употребляется в более широком смысле, чем в русском,— для обозначения практического применения техники и научных знаний в различных сферах общественной деятельности. *(Прим. автора.)*

тельная фирма. Ее неоновые инициалы назойливо бросаются в глаза на главных магистралях промышленных и финансовых центров капиталистического мира. Стремительно взошедшая на дрожжах научно-технической революции, она ныне превратилась в ведущую международную монополию по производству современного электронного оборудования и вычислительных машин. На монополистическом Олимпе она вошла в первую десятку крупнейших промышленных корпораций капиталистического мира, списки которых традиционно публикует журнал «Форчун».

Но став в глазах общественности олицетворением научно-технической революции на Западе, «Интернэшнл бизнес машинз» одновременно разделила и ответственность за многие ее отрицательные экономические и социальные последствия: «технологическую» безработицу, неуверенность в будущем, манипуляцию сознанием и поведением людей, растущую концентрацию экономического могущества в руках немногих и т. д. В результате по мере того, как эти последствия болезненно давали о себе знать, страдала и репутация фирмы в общественном мнении. И тогда руководители «ИБМ» сделали широкий жест: в начале 60-х годов они выделили 5 млн. долларов на исследования социальных последствий автоматизации и обязались в течение десятилетия финансировать различные университетские программы по данной проблеме. Трудно сказать, рассчитывали ли они при этом, что практические результаты исследований успокоят общественное мнение и тем самым окупят затраты на них, или просто исходили из того, что капиталовложения в науку всегда оправдывают себя, но сам факт щедрости корпорации, ее «озабоченности социальными последствиями своей деятельности» заведомо должен был бы обелить ее в обыденном сознании широких слоев населения. Вот почему памфлет Макдермота «Технология: опиум интеллигентов» — не просто полемический комментарий к размышлениям Местина о перспективах и последствиях научно-технической революции в США, но и призыв к социальной ответственности американских ученых, интеллигенции вообще перед лицом этой революции.

Считая позицию Местина «антикапиталистической по духу, но недостаточно боевой», Макдермот упрекает авторов программы в том, что они не только заблуждаются насчет характера современной технологической революции, но и сеют беспочвенные иллюзии среди американской общественности. Даже сознавая отдельные отрицательные стороны научно-технического прогресса в США, они тем не менее уповают на то, что в конечном счете «благо во много раз превосходит зло». Больше того, единственное эффективное средство смягчения этого зла, если не его устранения, они видят в дальнейшем внедрении новой технологии во все поры современного общества, иначе говоря, придерживаются взгляда: «Спасение от технологии — в еще большей технологии». Эта установка, предостерегает Макдермот, грозит завлечь общество на опасный путь, ибо она пренебрегает необходимостью глубоких социальных, экономических и политических преобразований в США.

Официальные пророки «технотронной цивилизации» в лице З. Бжезинского, пустившего в оборот этот термин (сплав «технологии» и «электроники»), и прочих идеологов государственно-монополистического капитала спекулируют на всеобщем увлечении достижениями науки и техники. Они стремятся внушить массам, что технологическая революция автоматически приведет к изобилию, осуществлению их надежд и чаяний, к установлению прочного мира, к радикальному решению проблемы бедности и «проклятого» расового вопроса, к прекращению всяких политических разногласий и, по выражению известного американского экономиста Джона Голбрейта, к «конечному торжеству разума над властью». Одним словом, научно-техический прогресс преподносится ими как панацея от всех социальных несправедливостей и конфликтов современной Америки. Именно это убеждение, ставшее своего рода символом веры значительной части американской общественности, Макдермот и называет «опиумом интеллигентов».

В действительности же, считает он, повсеместное внедрение новейшей технологии не столько избавляет общество от хронических социальных болезней, сколько усугубляет их.

> «Люди часто говорят, что Америка — больное общество, имея при этом в виду, что в Америке просто много отдельных больных людей,— пишет он,— но правилен именно буквальный смысл этого выражения: общество настолько больное, что индивидуальные попытки исцелить его и индивидуальный разум выражаются прежде всего в болезненных формах».

В таких условиях технология оказывается бессильной противостоять злу; ее повсеместное внедрение, вопреки надеждам, сопровождается эффектом, прямо противоположным ожидаемому:

> «Растет социальная иррациональность общества. Техника властвует над человеком. Люди превращаются в придаток к системе... Паранойя становится общим явлением».

Одним из самых отрицательных и опасных последствий научно-технической революции в современной Америке Макдермот считает усиление антидемократических тенденций в обществе, в том числе и в культуре. Новая технология, по его мнению, еще более противопоставляет управляющих управляемым, «посвященных» — «непосвященным», углубляет и расширяет пропасть между привилегированными и обездоленными,

сопровождается не духовным ростом широких масс населения, а распространением среди них своеобразного невежества, имя которому — некомпетентность как в вопросах управления, так и в сфере культуры, которая все более распадается на массовую и элитарную. Социальная иерархия усложняется.

«Технология,— отмечает он,— в ее конкретной эмпирической форме в самой своей основе требует, чтобы маленькие группы технически оснащенных людей, действующих в системе иерархии, осуществили рационализированный контроль над большими группами людей, машин и событий.. Технология порождает свою собственную политику».

Благодаря повсеместному внедрению технологии, продолжает он,

«по-настоящему творческая роль в социальных процессах, связанных с технологическими изменениями, присваивается научной и технической элитой, которая открывает и организует новое знание» и полагает, что «масса простых людей — это в основном тормоз для общественного благосостояния».

Даже употребляемый этой элитой язык насыщен таким количеством новой терминологии, что, подобно средневековой латыни, непонятен для простого человека, который поэтому, считает Макдермот, оказывается все менее способным постигнуть происходящие события, сопоставить политические цели и средства их достижения.

В качестве иллюстрации Макдермот приводит ряд примеров, почерпнутых им, в частности, из собственных наблюдений за действиями американских солдат во Вьетнаме, где, как он пишет, технологическая целесообразность, поставленная на службу интервенции, немало содействовала тому, что все нравственные нормы и чувства людей безжалостно растоптаны, а сами люди превращены в послушные винтики гигантской машины разрушения. Аналогичный процесс, хотя и не в столь страшной форме, по его мнению, происходит и в самих Соединенных Штатах: элементарные социальные ценности — свобода личности, равенство, справедливость, народовластие и т. п.— при этом прямо не отрицаются, но исподволь разрушаются и подменяются принципом «технологической эффективности».

Новая «технологическая аристократия», претендующая на власть в обществе под предлогом своих технических знаний и компетенции, подобно тому как в прошлом существовала аристократия по происхождению и аристократия денежного мешка, по словам Макдермота, все больше выступает в роли самозванного благодетеля человеческого рода. Так, в весьма смутной форме он констатирует растущее классовое размежевание, происходящее в американской интеллигенции, часть которой вовлекается в господствующий класс, тогда как подавляющая масса пролетаризируется.

Миф о так называемых «бюрократах-альтруистах», пишет Макдермот, якобы готовых бескорыстно взвалить на свои плечи все заботы общества и предоставить всем остальным возможность целиком посвятить свое время «гуманистическим и гедонистским аспектам жизни» (З. Бжезинский),— это опасный миф, поверив в который, американский народ может горько поплатиться. Ибо, продолжает Макдермот,

«если освободить эти мысли от эвфемизмов, то перед нами окажутся просто доводы, которые усилят общественное значение интересов новой научно-технической элиты и отделят эти интересы от нас, остальных; да и то лишь в том случае, если мы еще сможем сами формулировать свои интересы, если не будем совсем ослеплены безумной погоней за удовольствиями (и нововведениями?!), используя те возможности, которые для нас создала новейшая технология».

Ярким примером социальной демагогии технократов может, по мнению Макдермота, служить их стремление использовать лозунг «равенства возможностей» в качестве обоснования и увековечения социального неравенства в обществе под вывеской «меритократии», иначе говоря, распределения власти и привилегий якобы «по заслугам». Однако, пишет он,

«равенство возможностей, как они его понимают, не имеет ничего общего с созданием более эгалитарного общества. Напротив, оно служит необходимой деталью в высшей степени стратифицированного общества, которое они предусматривают в будущем. Ибо в их обществе меритократической иерархии равенство возможностей призвано обеспечить одаренным юным меритократам (само слово столь же отвратительно, как и социальная система, на которую оно ссылается) возможность продвигаться к «ключевым», «решающим» постам, закрепляемым за тренированными талантами, и тем самым обеспечивать успех новому обществу...»

Научно-техническая революция, справедливо утверждает Макдермот, отнюдь не привела к «победе разума над властью» в рассматриваемом им обществе. Скорее наоборот: она в еще большей мере поставила технический разум в услужение власть имущих. Даже когда выдающиеся ученые вовлекаются в правящую иерархию и приобретают право принимать решения, они, в сущности, превращаются в высокопоставленных управляющих господствующего класса; они уже не просто интеллигенты, но современные «мандарины» американской социальной системы. Их мечта сводится в конечном счете к тому, чтобы войти в правящую элиту и в качестве представителей Большой

науки разделить власть с представителями Большого бизнеса и Большого государства. Поэтому, пишет Макдермот, в будущем следует ожидать, что «взаимные интересы и связи государства, монополий и мультиверситетов* будут скорее расти, чем сокращаться». Это отнюдь не приведет к умалению таких факторов власти, как богатство и социальное положение, но лишь добавит к ним своего рода престиж «особой одаренности» и высокого образования.

В современной Америке, предостерегает он ниже,

> «...существуют социальные антагонизмы, противоречия не менее острые и глубинные, чем те, которые описал Маркс применительно к развитию промышленного общества XIX века... Общество высокоразвитой технологии предполагает еще более послушное население, однако возможность внедрять дисциплину все уменьшается». В результате новая технология ведет не к гармоническому развитию общества, а «создает основу для нового и острого классового конфликта в нашем обществе».

Быть может, наиболее обличительной и поучительной частью памфлета являются не лишенные парадоксальности рассуждения Макдермота об эволюции реакционной идеологии в современной Америке. Они вызывают в памяти известную детскую игру, предписывающую не говорить «да» и «нет» и не брать ни «черное», ни «белое». Похоже, что она приобретает в несколько своеобразной форме все большую популярность не только среди искушенных политиков, но и у журналистов, деловых людей и даже ученых. Давно ли многие реакционные деятели откровенно кичились своей консервативностью, восторгались традиционностью, цинично уверяли, что в политике нельзя быть «правым» или «левым» (right or left), а можно быть либо правым, либо неправым (right or wrong). Теперь, пишет Макдермот, политический спектр явно преобразился: мало кто отваживается назвать себя «правым», даже наиболее реакционные деятели самое большее готовы признать, что они находятся разве чуть правее от центра. Теперь чуть ли не все претендуют быть «левыми» и «революционерами», «реформаторами» и «преобразователями», обвиняя своих противников в реакционности, старомодности, луддизме и прочих смертных грехах XX века. «Опасность справа!» — провозглашают они хором, но, странное дело, справа, на первый взгляд, как будто никого и нет.

Это псевдолевое и псевдореволюционное поветрие, заключает Макдермот,— характерное политическое явление современной Америки: подобно яркой полиэтиленовой упаковке оно призвано придать привлекательный и свежий вид реакционной идеологии правящих кругов США, выступающих ныне под лозунгом «лессе иннове» (laissez innover), иначе говоря — «дайте дорогу нововведениям!». Сформулированный по аналогии с либеральным принципом прошлого века «лессе фэр» (laissez faire), предусматривающим невмешательство государства в экономическую деятельность, этот воинствующий лозунг, как пишет Макдермот, содержит в себе требование беспрепятственного развития технологии и ее повсеместного внедрения и заранее объявляет ретроградами всех сомневающихся в ее абсолютной благодетельности. Тем самым восхваление научно-технического прогресса превращается в настоящую апологию государственно-монополистического капитала и одновременно в самооправдание служащей ему не за страх, а за совесть технократической элиты. По словам Макдермота, «речь идет об основах новейшей идеологии агрессивных правых сил», так как

> «в настоящее время принцип «лессе иннове» представляет собою ведущую идеологию технологического импульса в американском обществе, иначе говоря, идеологию тех учреждений, которые монополизируют передовую технологию и извлекают из нее выгоды, и тех социальных классов, которые усматривают в свободной эксплуатации с в о е й технологии наиболее надежную гарантию с в о е й власти, общественного положения и богатства... В результате технологическая рациональность сегодня столь же нейтральна, как рыночная рациональность столетие назад».

Макдермот высмеивает претензии Уолта Ростоу (бывшего советника президентов Кеннеди и Джонсона) и ему подобных «мандаринов» правящего класса Америки на титул «истинных революционеров нашего времени», видящих единственное вознаграждение за свою работу и дисциплинированность в увеличении суммы общественного блага и сетующих на неблагодарность современников. Об этих «революционерах», пожалуй, можно сказать только, что они вполне заслужили свое место в описании еще Стивеном Ликоком компании благодетелей-бизнесменов, где показывали

> «человека, который революционизировал заготовку сушеных яблок, и другого, который произвел революцию в сбыте высокоустойчивых красителей, и третьего, который собирался произвести революцию в продаже яиц».

Хотя поборники лозунга «лессе иннове» обильно уснащают свою речь левой фразой и призывают к социальным преобразованиям и даже к революции, тем не менее, как подчеркивается в памфлете,

* Этот термин (созданный по аналогии с университетом) служит для обозначения многоотраслевых центров по производству коммерческих знаний и обученных специалистов для «технологического общества». *(Прим. автора.)*

«идеологию «лессе иннове» определенно следует признать консервативной, или правой, идеологией»...

Эта идеология, согласно Макдермоту, представляет собой наиболее адекватное выражение интересов военно-промышленного комплекса США.

«Именно эта доктрина связана с интересами элиты, правящей нашей страной,— пишет он,— и с ее экспансионистской политикой во всем мире. Отнюдь не случайно, что глашатаи этой доктрины — всякие ростоу, бжезинские, хантингтоны и каны (называю лишь несколько одиозных имен) — находятся среди наиболее ярых, неразоружившихся сторонников «холодной войны» у нас... Многие силы американского общества, враждебные демократии, сплотились под знаменем «лессе иннове». И осознание социального смысла этого факта поможет, по мнению Макдермота, «сделать первый шаг к политике радикального переустройства, выступить против болезней, иррациональности, беспомощности и правительственного насилия, которые присущи сегодняшней жизни в Америке».

Памфлет Макдермота, бесспорно, впечатляет содержащейся в нем социальной критикой пороков антагонистического строя. Однако подобно многим другим аналогичным выступлениям радикальной интеллигенции, так называемых «новых левых», он отражает не только их законную тревогу в связи с ходом научно-технического прогресса в США, но, к сожалению, и их поразительное бессилие противопоставить политике государственно-монополистического капитала сколько-нибудь конструктивную демократическую альтернативу: их выступления всего лишь моральный протест. И это не случайно.

Под пером Макдермота технология приобретает характер вселенского бедствия, нового и еще более чудовищного франкенштейна, лишь умножающего зло и несправедливость на земле. Можно понять чувства автора памфлета, которые разделяют миллионы американцев, и вместе с ними негодовать по поводу злоупотребления плодами научно-технической революции. Однако это негодование нельзя обращать против нее самой.

В споре о причинах отрицательных социальных последствий научно-технической революции прав, увы, не Макдермот, а, скорее, Э. Местин, который полагает, что технология

«создает новые возможности для человеческого выбора и действий, но оставляет неопределенным направление этих действий. Каковы будут результаты технологии и каким целям она будет служить — это заложено не в ней самой, а в том, что сделает с технологией человек... Новая технология создает новые возможности для людей и общества и порождает новые проблемы для них».

Отмечая, что положительные и отрицательные последствия научно-технической революции взаимно связаны, Э. Местин, хотя и осторожно, формулирует правильный вывод, что возобладание тех либо других вызывается социальными и политическими факторами, внешними по отношению к самой технологии, иначе говоря, определяется общественным строем. Если бы дело обстояло иначе, если бы зло заключалось в самой технологии, как считает Макдермот, то тогда борьба прогрессивных сил была бы заведомым донкихотством, ибо научно-техинческий прогресс остановить нельзя. Передовые силы общества не вправе отдавать знамя научно-технического прогресса в руки реакции.

Научно-техническая революция нашего столетия — неотъемлемая составная часть великой освободительной социальной революции. В одинаковой мере несостоятельными являются как попытки «правых» подменить социальную революцию технологической, так и наивная вера «левых», будто социальная справедливость и изобилие могут быть достигнуты помимо и вопреки научно-техническому прогрессу. Ибо тогда нам следовало бы признать, что все социальное зло на земле — лишь следствие насилия и обмана, а благосостояние и справедливость могли бы быть осуществлены уже в древности, независимо от уровня развития техники и производительности труда в обществе.

Отвергая марксистскую концепцию научно-технического прогресса и его роли в общественном развитии, Макдермот оказывается в теоретическом отношении обезоруженным в борьбе против идеологов государственно-монополистического капитала.

Э. АРАБ-ОГЛЫ

ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА В АМЕРИКАНСКОМ ЗЕРКАЛЕ

Обложка одного из последних номеров еженедельника «Фигаро литтерер» за 1969 год представляет собой впечатляющее зрелище. Многократно повторенное слово «médiocrité» (посредственность) плотным кольцом окружает островок чистой бумаги, контуры которого соответствуют границам Франции. «Так ли уж посредственны французы?» — этот, казалось бы, риторический вопрос, выделенный на обложке крупным

шрифтом, вызывает, пожалуй, прежде всего недоумение, которое, правда, быстро рассеивается. Помещенная тут же фотокопия небольшого отрывка из статьи на английском языке, озаглавленной «Французы перед лицом посредственности», указывает на источник: американский журнал «Тайм». А на «не оккупированной посредственностью территории Франции» стоят имена отважных мушкетеров, которые взялись защищать ее славу и честь: Жак Лемаршан, Робер Кантерс, Клод Мориак, Пьер Мазар, Гаэтан Пикон, Клод Роже-Маркс и Клод Ростан. Все они, за исключением Пикона, постоянные обозреватели «Фигаро литтерер» по разделу литературы и искусства.

Трудно сказать, что побудило «Тайм» взяться за анализ причин «бедственного положения» французской культуры. Видимо, не последнюю роль в этом сыграло постоянное стремление американцев к приоритету во всех областях и давно уже не скрываемое неудовольствие тем, что Париж традиционно считается столицей искусства Запада. Может быть, «Тайм» раззадорила появившаяся осенью 1969 года книга французского литератора Пьера Буржада «New York Party» («Нью-йоркская вечеринка») — смесь фантазии и не очень лестных реальных наблюдений над американскими нравами. Возможно, толчком послужила и серия отнюдь не восторженных статей в сентябрьских номерах «Леттр франсез», рассказывавших о культурной жизни в Соединенных Штатах. Их автор, Жан Бурэ, в спокойном и скорее описательном тоне изложил свои впечатления об Америке. А может быть, заключительные строки последней статьи этой серии, в которых Бурэ с грустью констатировал, что «для молодого поколения нью-йоркцев Париж такая же провинция, как Бостон или Филадельфия», натолкнули сотрудников «Тайма» на мысль посмотреть на все, что делается во Франции, глазами возгордившихся столичных жителей. Так или иначе, французы прочли о себе:

«Непохоже, чтобы сегодня во Франции нашлись преемники Альбера Камю или Жан-Поля Сартра, который фактически оказался неизвестен студентам, взбунтовавшимся в мае 1968 года. Мировая столица искусства давно переместилась из Парижа в Нью-Йорк (совсем как полагают встреченные Бурэ молодые нью-йоркцы — *Т. П.*). Парижская сцена чахнет... Если что и может спасти французов в их борьбе с посредственностью, так это их исторически сложившаяся склонность к самокритике».

И далее «Тайм» делает выводы один неожиданнее другого:

«Совершенно очевидно, что комплекс неполноценности, от которого сейчас страдает Франция, частично связан с уходом де Голля».

Одна из сторон «магической силы» де Голля заключалась, по их мнению, в том, что он

«умел оторвать своих соотечественников от мелочных интересов, от глубоко укоренившегося комплекса неполноценности».

«Тайм» не замечает непоследовательности в таких рассуждениях: ведь получается так, словно, с одной стороны, комплекс неполноценности появился у французов лишь «сейчас», то есть после ухода де Голля, а с другой — оказывается, что уже де Голль вынужден был спасать своих сограждан от «глубоко укоренившегося комплекса неполноценности». Но американский журнал еще более явно противоречит сам себе, когда, не боясь очевидного парадокса, заключает статью о «посредственности французов» обнадеживающим абзацем, смысл которого прямо противоположен тому, что в ней так упорно доказывалось:

«Никто не верит, что Франция, колыбель революции и современной демократии, потеряла свою гордость и будет прозябать в самолюбовании и самоуспокоенности, потому что де Голль ушел. Ведь французы поняли, что их ценность как нации в меньшей степени зависит от слов и поступков одного человека, чем от их общих свершений».

Таким образом, современная французская культура, отображенная в американском зеркале, являет собой довольно мрачную картину. «Тайм» нашел лишь одно светлое пятно:

«Необходимо сделать исключение для французского кинематографа, в первую очередь, для таких режиссеров, как Франсуа Трюффо, Ален Рене и Жан-Люк Годар (швейцарец по происхождению)».

Последнее замечание, видимо, призвано навести нас на мысль, что даже французское кино своими успехами обязано на одну треть Швейцарии.

Можно понять постоянного кинообозревателя «Фигаро литтерер», известного французского писателя Клода Мориака, когда он заявил, что чувствует себя перед своими товарищами как школьник, которого учитель выделил из всего класса, подвергнув остальных учеников наказанию.

Ответы французов и по тону и по содержанию разительно отличаются от статьи в «Тайме». В них чувствуется глубоко заинтересованное отношение к современным проблемам литературы и искусства, озабоченность сегодняшним положением культуры

на Западе. Именно этому, а не зависимости состояния французского духа от присутствия или отсутствия де Голля посвящены их выступления, в которых ни в коей мере не дает себя знать «комплекс неполноценности». Клод Роже-Маркс рассказывает о французской скульптуре, Пьер Мазар — о живописи, Клод Ростан — о музыке. Их заметки носят скорее информационный, чем полемический, характер. Бой принимают Робер Кантерс, Жак Лемаршан и Гаэтан Пикон.

Надо отдать должное французам: они действительно самокритичны и не опускаются до уровня мелких ответных уколов. Их замечания о том, что сейчас не найти в Америке нового Хемингуэя или Фолкнера, или о том, что с претензией американцев на первенство в области культуры можно было бы согласиться, если «встать на чисто коммерческую точку зрения, ибо искусство лучше продается в Нью-Йорке, чем в Париже»; или же сравнение журналистов «Тайма» со Сганарелем, героем мольеровского «Лекаря поневоле», полагавшим, что сердце у человека с правой стороны, а печень с левой,— сделаны, так сказать, по ходу размышлений и отнюдь не определяют общего тона заметок французских обозревателей. Они не только стремятся показать интересные явления в сегодняшней литературе и искусстве Франции, но и пытаются серьезно проанализировать проблемы, не ограниченные национальными рамками.

Одним из кардинальных вопросов современной литературы, вопросов, определяющих во многом и ее будущее, Робер Кантерс считает «восстановление контактов литературы с широкими слоями читателей». Его не беспокоят упреки американских коллег в том, что во французской литературе сейчас нет мировых знаменитостей. Но, как и многих литературоведов на Западе, его настораживает замкнутость, кастовость этой литературы, сводящей все к формальным поискам и представляющей интерес лишь для очень узкого круга специалистов.

1969 литературный год во Франции дает целый ряд примеров произведений такого рода. Огорчительна в этом плане эволюция Жоржа Перека. После «Вещей», удостоенных в 1965 году премии Ренодо, произведения, свидетельствовавшего об интересе молодого писателя к социальным проблемам современного буржуазного общества, Перек вторую свою книгу «Исчезновение» построил по принципу липпограммы, то есть создания литературного произведения, в котором совершенно отсутствует та или иная буква. Этот принцип существует уже не первое десятилетие и оказался пока совершенно бесплодным, но некоторые критики объявили «Исчезновение» открытием новой эры липпограммы. Корреспондент «Кензэн литтерер» Бенабу, например, писал:

> «Благодаря «Исчезновению» Перек сможет сбросить с себя ветхие одежды социолога, в которые его облекли после выхода в свет «Вещей», и его творчество обретет аутентичные черты литературы»...

Неожиданной оказалась метаморфоза и другого лауреата литературной премии 1965 года — Рене-Виктора Пиля. Его первый роман «Ревень», удостоенный премии Меднчи, познакомил читателей с одаренным писателем, живо и психологически тонко повествовавшим в форме плутовского романа о судьбе мальчика-подростка. Новое произведение Р.-В. Пиля «Лум» (так называется вершина в Пиренеях, на которую совершают восхождение герои романа) являет собой, по единодушному мнению французской критики, один из самых мрачных образцов психо-аналитического романа о сексуальной неудовлетворенности и сексуальной извращенности.

Отсутствие стабильности в современной литературе Кантерс рассматривает как отражение нестабильности буржуазного общества, где, как подчеркивает он, «в положении буржуазии и других классов произошли значительные перемены». Он полагает, что в связи с этими переменами сегодня нет возврата к французскому традиционному роману, утверждая при этом, что «от Бальзака до Франсуа Мориака французский роман был буржуазным до мозга костей». Здесь, видимо, уместно «напомнить» Кантерсу об антибуржуазных романах Ромена Роллана, Роже Мартена дю Гара, Филиппа Эриа, продолживших традицию создания остросоциальных критических произведений, широко известных во всем мире.

Говоря о невозможности существования сегодня традиционного французского романа, Кантерс не высказывает своего отношения к традиции вообще. Однако незадолго до этого он писал в «Фигаро литтерер» о необходимости животворной литературной преемственности, не сводящей на нет лучшие произведения предыдущих эпох, и возражал Клоду Морнаку, известному теоретику и практику «нового романа», утверждавшему, что писатели предшествующих поколений ценны лишь постольку, поскольку они подготовили своим творчеством появление современных авторов. И когда в ответе «Тайму» Кантерс говорит о в о с с т а н о в л е н и и популярности литературы у широкой читающей публики как о самой важной проблеме, он, вероятно, хочет напомнить о той французской литературе, которая всегда находила путь к читателю.

Больше горечи ощущается в заметке Жака Лемаршана.

> «Французскому драматургу требуется немало времени,— пишет он,— чтобы попасть в число признанных мастеров театра. Когда же он становится таковым, то есть когда его замечают сотрудники «Тайма», то, посчитав, сколько лет он уже занимается литературной деятельностью, они зачисляют его в разряд устаревших».

Лемаршан не пытается отстаивать честь парижских театров, репертуар которых состоит в основном из развлекательных комедий и навязан им, по его мнению, «театральными промышленниками». Его задело полное невнимание «Тайма» к тому, что составляет в последние годы гордость французской общественности — к децентрализации театрального искусства.

«Элементарная честность требовала бы рассказать об интересе к театру и к другим формам искусства во французской провинции...» — пишет он.

Высоко ценя просветительскую и художественную миссию театров Страсбурга, Ренна, Тулузы, Амьена и других, Лемаршан не упоминает о материальных трудностях, которые постоянно встают перед подобными театральными коллективами и препятствуют осуществлению обширной и разносторонней программы ознакомления самых широких слоев французов с лучшими произведениями классического и современного репертуара. Ответ на нападки американских коллег, конечно, не лучший момент для постановки вопроса о внутренних бедах, но опубликованная газетой «Монд» цифра сокращения государственных субсидий драматическим центрам и постоянным театральным труппам (на 13%) наводит на грустные размышления о дальнейшей судьбе театров, представляющих сегодня наиболее интересную сторону театральной жизни Франции. Уже в сезон 1969/70 гг. ведущие театры парижских предместий — «Театр де ля Коммюн д'Обервилье» и Театр Жерара Филипа в Сен-Дени — были вынуждены отказаться от некоторых постановок в связи с финансовыми затруднениями.

«...Ответственность государства должно разделять все общество: здесь повинны и леность публики, и безразличие финансовых кругов, и концентрация искусства в столице, и т. д. Если книги и картины продаются плохо, если выставочные и театральные залы не всегда заполнены... то это наше общее упущение. Ценность того, что делается, неотделима от условий, в которых это делается»,— пишет в своем ответе «Тайму» Гаэтан Пикон.

Он считает, что

«не столько снизились качество и уровень интеллектуального творчества во Франции, сколько оно само изменило направление, принимая все более и более научные формы».

Отсутствие в литературе и искусстве последних лет величин с мировым именем Пикон объясняет тем, что художественные произведения теряют черты индивидуальности художника, нивелируются слишком рациональным, научным подходом к ним, передвижением духовных ценностей на второй план. Кантерс тоже связывает возникновение многочисленных проблем современной литературы с «кризисом духа», о котором говорил еще Поль Верлен, с кризисом современного мира,

«увлеченного триумфальными успехами техники и склонного к общественным потрясениям».

Трезвый анализ французскими литераторами своих собственных недостатков, нашедший место даже в столь трудном для этого жанре, как полемические заметки, обнадеживает значительно больше, чем «спасительные рецепты» журнала «Тайм».

Т. ПРОСКУРНИКОВА

НАШИ ГОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА — СУДЬБА РОДИНЫ

Трагически сложилась судьба современной греческой литературы. Имея в своих рядах таких выдающихся, мирового значения писателей, как Н. Казандзакис, С. Миривилис, М. Лудемис, лауреат Международной Ленинской премии мира К. Варналис, нобелевский лауреат Г. Сеферис, пламенный революционный поэт Я. Рицос, Н. Вреттакос, О. Элитис, и многих других, она вот уже более двух лет вынуждена молчать. Лучшие ее представители томятся в тюрьмах, в ссылке, на каторжных островах. Многим пришлось покинуть родину. Те, кого «черные полковники» не посмели тронуть, безмолвствуют, не желая, чтобы их выступления в печати помогали хунте создавать видимость свободной культурной и литературной жизни в стране.

Но к тем немногим голосам, которые еще продолжают звучать, особенно внимательно прислушивается и народ Греции, и передовое общественное мнение Европы и Америки. К ним принадлежит и голос молодого писателя Василиса Василикоса, который не так давно побывал в гостях у редакции «Иностранной литературы». Только случайно удалось ему избежать ареста и ссылки куда-нибудь на безводные острова Эгейского моря, где томится столько его коллег. Ведь имя Василикоса было среди первых в списке тех, кого полковники собирались арестовать прежде всего. Хунта не могла простить Василикосу ни его активной политической деятельности в защиту демократических свобод в Греции, ни его литературного творчества. И прежде всего его последнего романа «Зет» («Он живет»), который в 1966 г. появился на прилавках книжных магазинов Греции. В этом романе молодой писатель, рассказав об убийстве доктора Ламбракиса, левого депутата и выдающегося деятеля международного движения в защиту мира, с беспощадной прямотой и документальной обоснованностью раскрыл гнусный механизм демагогии, провокаций и политических убийств, принятый на вооружение греческим фашизмом. Роман «Зет» еще до переворота получил широкую известность в Европе, а после 21 апреля 1967 г. он стал восприниматься читателями как прямое разоблачение ныне действующего режима. Режиссер К. Гаврос, поставивший фильм по этому роману, еще больше усилил разоблачительную линию. Не случайно картина начинается с прямого заявления диктора: «Сходство отдельных персонажей с некоторыми ныне действующими политическими фигурами не является случайным». Как и роман, фильм Гавроса выдвинулся на первую линию борьбы за свержение военной диктатуры в Греции. Он был премирован на фестивале в Канне и недавно с успехом демонстрировался на VI Московском международном кинофестивале.

С разговора о фильме и начинается наша беседа. Большинство присутствующих уже посмотрели эту картину, и всем хочется послушать, что скажет о ней автор сценария.

Василикос улыбается.

— Меня очень тронуло,— говорит он,— внимание советских зрителей. Я очень волновался перед просмотром, который должен был состояться в Доме литераторов. Наш фильм показывали третьим, время было позднее, и мне казалось, что все разойдутся. Перед началом я рассказал о возникновении романа, о фильме, о положении в Греции, потом выступали со-

ветские писатели. Никто не ушел до самого конца сеанса, и фильм был очень тепло принят.

Греческие писатели не такие уж частые гости в редакции журнала, и потому вполне понятно, что Василикосу приходится отвечать на вопросы, касающиеся чуть ли не всех проблем современной Греции, ее литературы и культуры. Василикоса просят рассказать о себе. Гость охотно соглашается.

Ему тридцать шесть лет, он окончил юридический факультет Салоникского университета, служил в армии, изучал в Америке телевидение, писал сценарии, работал репортером в еженедельном журнале. Очень рано начал писать. Первая его книга, «История Ясона», появилась в 1953 г. За ней в 1956 г. последовала еще одна — повесть «Жертвы мира».

В 1961 г. к писателю приходит настоящий успех. В том году вышла из печати его «Трилогия», состоящая из небольших романов «Растение», «Колодец», «Ангел» и сразу же ставшая событием в литературной жизни страны. Эти три небольшие фантастические истории рассказывают о любви, гибели и загробной жизни трех молодых людей, сверстников автора. Впрочем, это скорее не три разных человека, а три ипостаси одного и того же лица. Для героев Василикоса современное общество — это или железобетонные стены многоэтажного дома, враждебного всему зеленому, растущему, излучающему счастье и тишину («Растение»); или глубокий безводный колодец, в котором герой находит свою гибель («Колодец»); или далекая планета, где души молодых людей, оторванные от всего земного, настоящего, жизненного, подвергаются муштровке в своеобразной «школе ангелов», чтобы пополнить потом ряды небесного воинства (не случайно дословный перевод заглавия этого романа — «Ангелизация»). Самое интересное, что все эти фантастические по ситуации истории чрезвычайно конкретны и реалистичны в каждой своей детали и потому оставляют у читателя острое ощущение жизненной достоверности.

«Я верю в литературу, которая заставляет думать»,— заявил Василикос в одном интервью вскоре после выхода книги. И действительно, думать «Трилогия» заставляет по-настоящему. О ней много спорили. Ее автора причисляли к последователям чуть ли не всех новейших литературных течений Запада, называли его греческим вариантом «сердитого молодого человека». Некоторые просто не могли принять этого слишком рафинированного по форме произведения. Но, пожалуй, не было никого, кто не отдал бы должного его блестящему языку и стилистическим совершенствам. И если до апрельского переворота книга Василикоса воспринималась прежде всего как роман о судьбе молодого поколения Греции, подавленного косным укладом, тяжкой атмосферой буржуазного общества, то теперь, например, рассказ о трагической истории могучего растения, способного разрушить железобетонное чудовище многоэтажного дома, звучит еще и как предчувствие, предсказание мрачных времен, наступивших сейчас для страны. И оставляет ощущение подспудной, невидимой, но упорной борьбы.

— Мне очень близка эта книга,— говорит Василикос.— Особенно «Растение». Трилогию довольно много переводили за границей. Критика тоже встретила ее положительно, хотя нельзя сказать, что она имела коммерческий успех. Но вот успех, который имел на Западе «Зет», был для меня несколько неожиданным. Этот роман уже переведен на двенадцать языков и сейчас переводится еще на пять-шесть. Читатели увидели в этой книге картину нынешней политической ситуации в Греции. Собственно, написать ее меня заставил тот необычайный подъем народного движения, который был ответом на убийство Ламбракиса,— свыше двух тысяч политических выступлений прокатилось тогда по Греции. Больше семидесяти тысяч человек объединилось в рядах нового молодежного движения «ламбракидов». Во главе организации встал Микис Теодоракис, занявший в парламенте место Ламбракиса. Личность и песни нашего замечательного композитора имели огромную притягательную силу для молодежи, «ламбракиды» выработали какую-то свою, новую концепцию массового молодежного движения. Один за другим следовали походы в защиту мира, демонстрации, в которых участвовало иногда до двухсот тысяч человек. В этой обстановке особенно отчетливо чувствовалась потребность в произведениях, с документальной достоверностью рассказывающих о событиях, волнующих всех и каждого.

Кроме этих, получивших широкую известность произведений, Василикос написал еще несколько книг: путевые заметки «Мифология Америки» (1964), роман «Фотографии» (1965), сборник репортажей «Вне стен» (1966). Все, созданное писателем после 1967 года, свидетельствует о том, что теперь главной его темой является судьба родины, а главной задачей — борьба против хунты. Об этом говорят уже сами названия произведений: книга стихов «Во мраке асфалии», сатирическая «антология» «Пападопулос — Паттакос. Цитаты», скетч для народного театра «Пасха в Гаргальяносе» (Гаргальянос — это местечко на Пелопоннесе, где родился нынешний вице-президент США).

Следует неизбежный вопрос:

— Какую свою книгу вы любите больше всего, над чем сейчас работаете?

— Ту и люблю, над которой сейчас работаю,— смеется Василикос.— Здесь, в Москве, я закончил новый сборник стихов. Я писал их в отеле, у себя в комнате, из окон которой открывается такой великолепный вид. Кроме того, у меня написано около трехсот страниц прозы. Что это будет — роман или документальная повесть, пока не определилось.

Последнее время я в основном занимался тем, что ездил по греческим общинам в Европе и читал лекции. Перед греками, отторгнутыми от родины, стоит множество серьезных проблем. Миссия писателя сейчас — попытаться объединить греков и поддержать в них боевой дух.

Гость замечает разложенные на столе книжки журнала «Иностранная литература», внимательно рассматривает их.

— А знаете, до переворота у нас тоже выходил прогрессивный литературный журнал, который был построен по образцу «Иностранной литературы». Мы даже, следуя вашему примеру, старались давать в нем поменьше рекламы и оставляли ее только на последней странице, чтобы хотя бы отчасти покрыть расходы по изданию.

Разговор, естественно, переходит к тому, что собой представляла литературная и культурная жизнь Греции накануне переворота.

— Я так и знал, что мне не избежать этого вопроса, и позволил себе немного к нему подготовиться. Если хотите, ответом на него можете считать вот эти заметки.

Несколько страничек, которые передает нам Василикос, отнюдь не претендуют на исчерпывающую характеристику всех сторон литературной и культурной жизни Греции тех лет, но в достаточной степени ярко показывают основное направление, по которому она развивалась.

«Наше общество долгое время находилось в состоянии застоя. Гражданская война, тяжелые последствия, оставшиеся после нее, этому способствовали. В то время целью всех прогрессивных сил, задачей писателей была либерализация общественной жизни. Писатели, деятели культуры должны влиять на общество, стремиться изменить его к лучшему, добиваться того, чтобы правящие классы были уступчивее, чтобы рабочим стало легче и лучше жить. В Греции никогда не было настоящей свободы. Мы, деятели культуры, как бы воспитывали массы, подводя их к демократии и свободе, и нам уже казалось, что это удается. Мы верили, что демократические силы крепки, что еще немного — и они смогут взять власть в свои руки. И трудно было сомневаться в этом. Тот общий подъем, который охватил всю страну в 1963 году и привел к падению правительства Караманлиса, вызвал к жизни невиданный дотоле расцвет литературы и искусства. Унаследованная от буржуазии форма связи «творец — общество» изменяет свой характер, потому что теперь на творца опирается и его поддерживает по существу совершенно новое общество, а это, в свою очередь, обязывает и творцов опираться на это новое общество и поддерживать его. Ярче всего эта мысль может быть проиллюстрирована на следующем примере. Микис Теодоракис начал писать свои песни на стихи Рицоса, Сефериса, Элитиса, и эта труднейшая для понимания, иной раз очень отвлеченная поэзия вдруг стала близка народу, полюбилась ему. Сами эти поэты были поражены, услышав, что их стихи распевают каменщики и крестьяне, что они звучат в тавернах и дружеских компаниях.

В литературе этот расцвет связан прежде всего с основанием новой книготоргово-издательской фирмы и галереи «Темелио». Все, что выходит в этом издательстве — книги Д. Хадзиса, Я. Кампанеллиса, А. Ненедакиса, М. Александропулоса, мои книги,— разрушает традицию буржуазной прозы. В книжной торговле все рекорды бьют такие произведения, в художественную ткань которых смело вторгается документ. «Темелио» становится центром, где встречаются прогрессивные писатели, студенты, самая широкая публика. Ведь его здание находилось недалеко от университета, в самом центре торгового квартала, там, где раньше процветали экзистенциалистские кофейни Лумидиса и Бразилиана — плохие подражания западным заведениям подобного рода. «Темелио» открывает свои филиалы в провинции — факт чрезвычайно значительный, ибо до сих пор культурная жизнь была в большей или меньшей степени монополией столицы.

Начинается большой разговор о прозе, этом «великом хромом» греческой культуры,— почему нет романов о Сопротивлении, почему писатель чувствует себя одиноким и т. п. Те, кто в течение многих лет направлял нашу литературную жизнь, постепенно оттесняются со своих позиций, вынуждены замолчать критики — апологеты буржуазии. Новая кровь заполняет жилы.

Все больше переводится произведений советской литературы. Греческие читатели получили книги А. Толстого, А. Фадеева. Большим успехом пользуется роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

По всей Греции возникают кинематографические клубы. Руководство ими и контроль за их деятельностью находятся почти исключительно в руках людей с передовыми взглядами. Выходят десятки документальных и короткометражных фильмов молодых режиссеров, которые охвачены желанием правдиво воссоздать окружающую действительность. Тысячи людей смотрят такие фильмы, как «Чапаев» и «Броненосец «Потемкин», которые впервые начинают демонстрироваться в коммерческих кинотеатрах, выйдя из тесных стен Клуба кинематографистов, где их могли видеть только единицы.

Так же бурно развиваются живопись и скульптура.

Рицос публикует теперь по четыре-пять книг в год. Теодоракис выпускает по столько же новых пластинок. По пути, проложенному Микисом, идут молодые композиторы, «ламбракиды» задают тон каждому их выступлению. Короче говоря, искусство перестает быть привилегией буржуазии.

Все это, конечно, нужно рассматривать в общих рамках либеральной политики Па-

пандреу, который попытался обновить систему народного образования в Греции и сделать ее более современной.

Семинар народного языка димотики, который открылся в афинском институте Доксиадиса, привел в ярость мракобесов — сторонников кафаревусы (книжного, непонятного народу языка). Димотика пробивает путь в гимназию, и уже идет речь о ее допущении в университеты.

Реакция ярится. Она гневно рычит, видя, что все больше передовых интеллигентов увлекается могучим течением. Но теперь ее никто больше не слушает. Пресловутая «коммунистическая опасность», по крайней мере в области культуры, уже никого не пугает.

Активно работают многочисленные журналы с ясным прогрессивным идейным содержанием — «Эллиники аристера», «Эпитеориси техникс», «Эпохес», в которых напряженно дискутируются проблемы ангажированности писателя».

— Таково, вкратце, было положение в стране, когда произошел этот внезапный переворот,— продолжает Василикос, и слова его звучат гневно, с болью и сарказмом.— Никто и подумать не мог, что танки, скопившиеся вокруг Афин, готовы уничтожить свободу и демократию в Греции. Полковники рассчитывали, что Грецию можно превратить в послушное орудие Пентагона, а греков — в покорное стадо, но они жестоко просчитались. Наш народ, наши крестьяне имеют высокое политическое сознание, воспитанное у них с детства, у них богатое политическое прошлое, и они не допустят, чтобы этот режим остался надолго.

Теперь нашу общественную, нашу культурную жизнь возглавляют люди, над бескультурьем и элементарной неграмотностью которых смеется вся Греция.

То, что полковники делают с греческой культурой, вызывает возмущение и гнев. Они арестовывают интеллигентов, закрывают все прогрессивные издательства, запрещают музыку Микиса, трагедии Эсхила, книги Толстого и Чехова. Издательство «Темелио» разгромлено, все, что оно выпустило, тоже находится под запретом, все — от «Основ марксизма-ленинизма», переведенных с последнего советского издания, до учебного словаря русского языка, до переведенной с болгарского поваренной книги.

Мне даже кажется, что переворот и был совершен для того, чтобы остановить культурный подъем, охвативший весь греческий народ. Иначе как объяснить, почему вся тяжесть полковничьих «преобразований» обрушивается на молодежь, почему они с такой яростью преследуют деятелей культуры?

Василикос рассказывает о трагической судьбе греческой молодежи, которая растет без настоящего образования и полностью лишена какого-либо культурного влияния. Рассказывает, что в Греции почти нет писателей, сотрудничающих с нынешним режимом; за исключением старых приспешников фашистского диктатора Метаксаса и бывших коллаборационистов, вся интеллигенция выступает против хунты; писатели, которым удалось избежать ареста и ссылки, запрещают публиковать даже свои старые произведения. С болью говорит о том, как трудно работать писателю в эмиграции, вне родной атмосферы, родного языка, без издательств, без читателя.

— Я еще счастливчик, у меня уже до переворота были налажены связи со многими западными издательствами. Но и мне очень трудно работать. Ведь переворот застал меня за границей в Мюнхене, я только случайно не был в это время в Афинах. Все мои архивы, рукописи, книги и другие материалы, так необходимые писателю, остались в Греции. Мне снова пришлось начинать как бы с пустого места.

— Какие задачи, по вашему мнению, стоят сейчас перед греческими писателями и интеллигенцией? — спрашиваем мы.

— Главная задача писателя сейчас — борьба против диктатуры. Подпольные газеты существуют. Подпольные книги — нет. Есть подпольная музыка, но нет подпольных пластинок. Приходят из Греции подпольные узкопленочные ленты, но настоящего подпольного фильма пока не создано. И еще — мы должны стремиться к единству, потому что только левые силы могут возглавить эту борьбу и привести ее к победе. Нам трудно, мы разрозненны, но мы не теряем надежды. Греческая интеллигенция сумеет консолидироваться и перейти в наступление.

Л. ЛИХАЧЕВА

ДОБРОЕ ЗНАКОМСТВО

Дюла Ийеш. Рукопожатия. Стихи. Перевод с венгерского. Предисловие Д. Самойлова. Москва, «Прогресс», 1969.

«Рукопожатия» — это первый сборник, который представляет русскому читателю одного из крупнейших поэтов современной Венгрии. Представляет, конечно, не полно, но все-таки достаточно весомо, чтобы мы могли судить о его поэтическом мире.

Это большой, сложный, разнообразный мир. Такое ощущение возникает сразу же и укрепляется от перечитывания сборника. Диапазон творческих интересов, жизненных проблем, волнующих поэта, и не в последнюю по важности очередь — художественных форм, которыми он владеет поистине со свободой мастера своего дела, огромен. Трудно и вряд ли вообще возможно свести этот многообразный мир к какой-либо одной «формуле». Не очень-то помогает здесь и популярный в венгерском литературоведении (часто применяемый к творчеству Д. Ийеша) термин «лирический реализм».

Лирический талант Д. Ийеша бесспорен, его стихи, как правило, предельно откровенны, эмоционально «обнаженны». Но вместе с тем какие точные портреты умеет писать Д. Ийеш-поэт (он ведь и прозаик, незаурядный очеркист, «социограф»), какие живописные, пластические картины возникают под пером этого лирика (и одновременно эпика); оригинальнейшее создание его — поэма «Слово о героях», где публицистические монологи сплавлены с покоряющей пластикой «этнографии», с лукавой иронией, отнюдь не мешающей автору восторгаться нравственной силой своих героев-крестьян... Дюла Ийеш — реалист? Ну, конечно: немного найдется поэтов XX века, которые так заворожены были бы материалом реальной жизни, так внимательны к нему. А вместе с тем, решая определенные творческие задачи, он способен столь многосложно-ассоциативно преломлять действительность в своей душевной глубине, что реальная основа его переживаний лишь предполагается, но не обнаруживает себя в самой плоти стиха, и тогда напрашиваются иные термины — романтизм, символика, экспрессионизм, если угодно.

Прочитайте, например, стихи-размышление «Барток» — здесь реальность больших конфликтов общеевропейской и национальной жизни преломляется в чувствуемом, но как бы бестелесном *образе музыки*, по-своему рассказывающей

> про то, что, люди, мы перенесли,
> про то, чего иному не понять,
> на что и слов покуда не нашли,
> а может, не найдут.
>
> *(Перевод Д. Самойлова)*

Музыка, выражающая ритмы жизни; пейзажный «импрессионизм» (цикл стихов «Осенний Тихань», например); откровенная публицистичность, не чурающаяся прямых интонаций оды и инвективы; притчевые стихотворные композиции («Слива и ветер», «Плуг идет...»); ясная, удалая песенность, заставляющая вспомнить о Шандоре Петефи, о том, как он, великий предшественник, обращался к фольклорным истокам искусства своей родины; стихи, где изощренность образного видения и воплощения свидетельствует, что Париж 20-х годов нашего века был для Д. Ийеша, недавнего солдата Венгерской советской рес-

публики, молодого поэта-эмигранта, фактом не одной только жизненной, но и творческой биографии,— из всех этих сфер жизни, искусства, художественного слова черпает Дюла Ийеш, все это делая своими сферами.

Да, перед ним большой поэтический мир! Но в то же время и единый в своей закономерной эволюции.

Я не беру на себя задачу в рамках рецензии проследить эту эволюцию средствами историко-литературного анализа, раскрыть путь, которым Д. Ийеш на протяжении сорокалетия шел сквозь сложнейшие конфликты социальной, идейной, эстетической жизни своего народа к тому, чтобы стать авторитетом в искусстве нынешней, социалистической Венгрии. К тому же издательство затруднило такой анализ, допустив досадный промах, заключающийся в том, что под стихами нет указаний на годы, когда они были написаны. И тем не менее движение, развитие лирического образа, лирического характера, скрепляющего своим присутствием поэтический мир Д. Ийеша, мы ощущаем достаточно отчетливо.

С самого начала своей поэтической деятельности Д. Ийеш осознавал себя голосом Венгрии, ее полей и ее городов, ее многовековой — героической и трагической — истории и ее настоящего. Национальная тема, пожалуй, ведущая в его творчестве.

И вот со страхом я гляжу вокруг:
в какой-то миг мне показалось вдруг,
что все здесь ожидают слов моих —
и страшно мне, что я избранник их!

(Перевод Ю. Левитанского)

Этот страх — синоним ответственности за свое слово. И во благо поэту и венгерской поэзии этот страх Д. Ийеша не разоружал его, а заставлял бросаться в самый водоворот социальной борьбы и художественных поисков. Не все, что он делал и обдумывал тогда, в 20-е и 30-е годы, осталось в уме и сердце как верное, непреходящее. Но главная линия, по которой шло идейное развитие поэта, была плодотворной.

Судьба Д. Ийеша — еще один, неповторимый и весьма поучительный пример того, как происходит процесс развития художников общедемократического сознания в сторону социалистического демократизма, процесс, в котором отсеиваются ложные представления, развеиваются иллюзии абстрактно понимаемой «национальной» идеи, а укрепляется, развертывается и растет истинно *народная* (а потому и *прогрессивно-национальная*) основа мышления и творчества.

С самого начала Дюла Ийеш чувствовал себя сыном венгерской пу́сты (степи), сыном упорного в труде и горячего в борьбе за правду и свободу венгерского крестьянства. И не потому только, что родился он в семье потомственных батраков, с молоком матери впитал ненависть к землевладельцам-аристократам, богачам, угнетателям. Это не только факт биографии опять-таки, но исходный пункт творчества, позиция. И стихи его — лучшее тому доказательство. Атмосфера крестьянской, бедняцкой трудовой жизни, так красочно изображенной в поэмах «Юность» и «Слово о героях», органична для самой манеры видеть вещи. Она — не только в тематике, но и в образной плоти стиха.

Вливался резко яркий свет в оконце,
и теплый аромат от зноя шел,
ворочалось, дышало в небе солнце,
как в стойле золотой огромный вол.

(Перевод М. Зенкевича)

Это из поэмы «Юность». А вот строки из стихотворения «Добрый май»:

Он растопил на реках лед.
Вчерашний снег сгребает в кучу.
Он проплывающую тучу
за вымя теплое берет.
И звонкой влаги благодать,
как молоко в подойник, бьется.
И пьет земля, и не напьется,
но глядь — и тучки не видать.

(Перевод Ю. Левитанского)

Стихийно-природная, крестьянски-бытовая образность у венгерского поэта, как правило, внутренне динамична, тревожна, словно готова к взрыву. В замечательной «Оде картофельному полю» ему кажется:

Как мина толом, солнцем начинен
здесь каждый куст. Коснись — взорвется он.

И смелым ассоциативным прыжком (куст — взрыв, картофелины — мины) автор переходит в иной, совсем не «пантеистский», а публицистически четкий план:

О набухающие кулаки,
как вас сжимали предки-батраки!
О покажите, что бы сделал встарь
народ, когда б отважился восстать!

(Перевод В. Корнилова)

«Искорки пугачевщины» (удачное выражение автора предисловия к книге, Д. Самойлова, одного из переводчиков сборника и активного пропагандиста венгерской поэзии у нас в стране) опаляют в удивительно емкой, внешне будто нейтрально-импрессионистически начатой миниатюре «Лунный свет»; они разгораются в пламя в призывном стихотворении «Порядка!», где бушует «бунтующая, мятежная воля» батраков пусты; они жаждут иного, чем прежде, «порядка» жизни:

Чтобы не мешал, плутуя,
к черту вытолкни буржуя.
Мясо — в суп, оружье — в руку,
Землю — знавшим голодуху!

(Перевод В. Корнилова)

Подобные мотивы, выражающие настроения демократической, трудовой массы, мы ощущаем и в исторических размышлениях поэта, и в особом колорите его пейзажей (например, «Ветер», «Ветер в конце зимы», миниатюры о Балатоне), и в стихах-раздумьях о своем творчестве, в том числе очень самокритичных раздумьях («Не спасешься!», «На весах», «За более смелые истины», «Огненный трон», «Ты

будешь жить и жить» и др.). Вспоминая о вожде крестьянского восстания начала XVI столетия, знаменитом Дёрде Доже, заживо сожженном на раскаленном железном троне, поэт говорит о себе как об одном из наследников бунтарской традиции:

И хлынут из огня глаголы.
Хоть перекошен болью рот,
но ртом моим вещают села,
пророчит власть свою народ.
. . . . . .
Могу рыдать иль заикаться —
есть будущее у меня,
и будет правдой называться
все то, что крикну из огня.

(Перевод Н. Чуковского)

Будущее нации... Оно пришло как социалистическое настоящее, вобравшее в себя позитивный опыт демократических движений прошлого. Осознать связь этих, употребляя горьковские слова, «трех действительностей» было не так-то просто. До понимания этой исторической диалектики национальной судьбы, диалектики, насыщенной конкретно-социальным содержанием, надо было подняться и мыслью, и всем аппаратом чувств, настроений, переживаний, составляющих движущую силу поэтического, в особенности лирического творчества.

В тематическом и образном арсенале Д. Ийеша происходят важные новые накопления. Если раньше символом Венгрии для поэта была пуста, а родство свое с ее обитателями он персонифицировал в романтически преображенных образах бабушки, матери, отца, то теперь его «родственные связи» расширились и в стихах его действительно звучит голос Венгрии — *новой* Венгрии. Не будем придавать особенно многозначительного смысла утверждениям поэта вроде

Я — молот с прочной рукоятью,
и мною бьет мой брат-кузнец,—

но и эти строки, конечно, знаменательны, а главное, они подкреплены особым, оптимистическим мироощущением, запечатленным во многих и многих стихах. В них часто встречается теперь еще один (наряду с крестьянской землей) «сквозной» образ — *нового дома*. О нем мечтали трудовые массы — в цитированном выше стихотворении «Порядка!» есть такая строфа:

Дом наш старый стал и ветхий,
не спасешь его побелкой.
Сложим новый и просторный,
целой нации достойный.

Старый разрушен — с грозной силой детализации выражено это в стихотворении «Буда, май 1945 года». Но руки трудовых людей Венгрии возводят иное здание — для свободных, счастливых. В их труде — новая мудрость жизни. И новые ритмы. А потому — и новое вдохновение поэта:

Это застучали
наверху, вон там,
кровельщики звонко,
дружно по листам!
С высоты оттуда,
как привет, гремит
этот полнозвучный
и хороший ритм.

Ритм тот подгоняет,
чтоб я не отстал,
чтоб отбросил книгу
и стихи писал,
чтоб в соревнованье,
не жалея сил,
звучными стихами
марш я им сложил.

Чтоб, не погибая,
вновь в стихах жило
все, что проносилось
бурно и светло,
чтоб, как звон их с крыши,
полнозвучен, смел,
с высоты над миром
мой призыв гремел!

(«Кровельщики». Перевод М. Зенкевича)

Сборник «Рукопожатия» — доброе знакомство с талантливым, большим поэтом. Название книги, оправданное внутренней темой его творчества — темой родства поэзии с людьми труда (помните у Маяковского: «Труд мой любому труду родствен»?),— это название обращено и к нам, советским читателям. Мы с пониманием и благодарностью пожимаем руку венгерского поэта.

Ю. СУРОВЦЕВ

ВРЕМЯ ГОРЯ И НАДЕЖДЫ

Геза Мольнар. Одичавшие годы. Авторизованный перевод с венгерского В. Гардова. Редактор Г. Афанасьев, литературный редактор А. С. Поволоцкая. Москва, Воениздат, 1968. 255 стр.

За этими годами — первой половиной сороковых — в истории и человеческой памяти утвердилась слава тяжкой, трагической, роковой поры; Геза Мольнар называет их «одичавшими». Фашизм сделал все, дабы вернуть людей к первобытной дикости, навязывал жестокость как норму и безнравственность, как залог зыбкого благополучия. «Новый порядок», учреждаемый гитлеровским штыком для Европы, отличался баснословной щедростью на посулы. Одним предназначалась роль господ, другим — рабов, одним — палачей, другим — жертв. Но идея и практика фашизма исключали начисто возможность человеку остаться человеком. Геза Мольнар показывает, что уже поэтому гитлеризм был обречен с самого начала. С тех еще дней, когда своды пивных и площади Германии сотрясали победные возгласы, а улицы поверженных городов — торжествующий рев немецких танков.

Люди оставались людьми; хотели жить своей жизнью, любить своих жен и свою землю. Самые дерзкие из них помышляли не только о сохранении себя и близких, но и об освобождении, о социальном, гуманном совершествовании общества.

Неотвратимость протеста фашизму — главенствующий мотив романа Гезы Моль-

нара. На небольшой сравнительно печатной площади он намерен проследить многообразие форм борьбы, многообразие путей приобщения к ней.

В книге, автор которой стремится к деловитой сжатости и подчас прибегает к эскизной мозаике, не остается места для отступлений политических, экономических, исторических. Политика, экономика, этика — в людях, заселяющих разные этажи не очень-то устойчивого здания, именуемого буржуазной Венгрией эпохи второй мировой войны. Если принять термин «политический роман», памятуя о его ограниченности и условности, «Одичавшие годы» можно отнести к такому именно жанру. Однако обостренность социального восприятия, общественная определенность сочетаются у Гезы Мольнара с постижением человеческой многосложности. Ему интересен каждый, у каждого, даже у того, кто мимолетно попадает в поле зрения, своя судьба. В нее необходимо посвятить читателя. Поэтому роман густо заселен, местами перегружен подробностями личных коллизий. Ты не все и не всех запомнишь. Но почувствуешь, как и чем жили люди, почувствуешь время, уже отступившее в прошлое. Став историей — и это ты тоже почувствуешь,— оно проросло в будущем, то есть в твоем настоящем.

Геза Мольнар — лауреат премии имени Аттилы Йожефа, писатель сегодняшней темы. Таким он выказал себя в ранних рассказах, в романах «Прибой» и «Марта»; последний уже известен русскому читателю. Таким сохранился и в «Одичавших годах», когда вернулся к поре своей молодости, к поре, когда в классовом единоборстве, национально-освободительных порывах зарождалась нынешняя Венгрия.

Вероятно, с Лаци Мартином — с ним мы встречаемся на первой странице и прощаемся на последней — писатель поделился какими-то эпизодами и настроениями собственной биографии. Не зря же товарищи по подполью надеются, что когда-нибудь Лаци напишет о них и таким образом продлит их жизнь в грядущем дне. Черты ненавязчивого автобиографизма сообщают повествованию доверительность, обогащают деталями, окрашенными тонами личного восприятия, убеждают в доскональном — до мелочей — знании быта, обстановки, атмосферы, будь то быт пролетарской окраины или атмосфера коммунистического подполья. Геза Мольнар взирает на Лаци Мартина с сочувствием и пониманием, однако без умиления. Он видит и благородную горячность юноши и зеленую наивность. Лаци предпринимает лишь первые шаги: у него доброе сердце и неплохие наставники. Но доброе сердце — еще не компас в политическом море, а наставники, пусть и опытные, не гарантированы от ошибок. Даже бывалый конспиратор Шуханг может ни за что ни про что толкнуть на улице священника и категорически доказывать, будто любой священник — не лучше жандарма. Лаци не по себе от такой ожесточенности, но он не подозревает, что она чревата сектантством, способна стать помехой делу, которому беззаветно отдал себя сам Шуханг.

Главные уроки преподает жизнь, как она есть, полная неожиданностей и жестоких парадоксов. Чего стоит только судьба интеллигента, партийного активиста Пилара, отец которого — священник, а жена — тайный агент политической полиции. Сквозь все уготованные Пилару невзгоды и испытания он проносит слова, некогда слышанные от старого каменщика: нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда другие завоюют для тебя лучшее будущее.

Мерой твердости, степенью осмысленной активности определяется место каждого в «Одичавших годах». Первые герои Гезы Мольнара — коммунисты. Их еще немного. Они не могут во всеуслышание себя назвать. Не только их, любого им сочувствующего ждет тюрьма. Венгерская охранка успешно освоила опыт гестаповских коллег.

Название книги более всего, пожалуй, оправдано, подтверждено полными истинного трагизма сценами тюремных мытарств Магды, невесты Лаци, и Франци Бордаша. Творя расправу над женщинами, детьми, над беззащитными и бесправными, фашизм откровенно являет себя.

Так же откровенен он и в войне против Советского Союза.

В «Одичавших годах» кровавый абсурд захватнической войны достигает предела. Сдержанная, чуткая к фактам, их сцеплению проза Мольнара, не вдаваясь в объяснения, передает всю глубину этой абсурдности. Развязанная гитлеровцами, сунувшими в мясорубку венгерские полки и дивизии, война превращается в горячечный бред. Где-то в далеком тыловом штабе старый генерал, думающий по-немецки и диктующий по-венгерски, взывает к солдатам, требуя стойкости, наступательного духа и самопожертвования. А здесь, на фронте, царит великая бестолковщина. При первой же угрозе лишенное вразумительной цели воинство уподобляется перепуганно мечу-

щемуся стаду, охваченному паникой. Вернее — смятением. Потому что части утратили не только повиновение, но и какую-либо внутреннюю дисциплину. Венгерские офицеры, хотя и полны неприязни к нацистскому командованию, не в состоянии контролировать ни себя, ни положение. Нравственно они погибают прежде, чем от советского снаряда или пули.

Прапорщик Радаи по натуре отнюдь не кровожаден, не испытывает ни малейших симпатий к Гитлеру. Он вполне мог бы сойти за «неплохого парня». Но на фронте Радаи извлек лишь одну-единственную мудрость: убей врага, или враг убьет тебя. А раз так — писатель передает это разрушение моральной основы,— допустимо многое, допустимо трогательно мечтать о женитьбе на Марге и с пистолетом в руках изнасиловать крестьянку-украинку.

Война не принимает в расчет колебания, не считается с половинчатостью, не делает скидки на чью-либо слабость.

Захлестнутый волной отступления, незадачливый Оноди-Кенереш надеется спастись, уцепившись за скобу танка. Но срывается, падает... «Постепенно Ференца занесло тонким слоем снега; теперь это был такой же безвестный и безликий труп, как и тысячи других, разбросанных по безграничным донским степям».

Строки эти писались без замаха на многозначительность обобщения. Однако воспринимаются как некий символ. Пресловутый «простой человек», «средний человек», «обыкновенный человек» и т. д. должен делать выбор. Иначе его ждет смерть, лишенная оправдания и смысла. Это становится особенно очевидным, так как за главой, рассказывающей о гибели Ференца Оноди-Кенереша, следует глава, посвященная Тиби Грюну, одному из борцов с фашизмом. Ее тоже венчает смерть героя. Но — смерть в бою, который длится до последнего дыхания, прерванного пулей убийцы. «Гиби оттолкнул от себя руку унтера с повязкой. Он слышал слова команды, слышал лязг затворов, видел направленные на него дула стволов...»

Читатель волен принимать это как символ либо как трагический эпизод. Геза Мольнар избегает истолкований. Но непреложность фактов такова, что — хочешь не хочешь — напрашивается мысль, упрямо тянущаяся через всю книгу, мысль о неизбежности, общественной и личной необходимости противоборства фашизму.

Роман кончается прежде, чем борьба достигнет вершинной точки и принесет выстраданную победу. Исполненные надежды финальные слова Лаци и Магды — не развязка и никак не умиротворение. Всего лишь минутная пауза, смена ритма. Напористый, толчками движущийся сюжет вплоть до последних глав расширяется. В действие вгягиваются все новые и новые лица. В действие — значит, в борьбу, а недолгие остановки чаще всего означают чью-то гибель.

Такого рода построение, хоть и распыляет писательское внимание, не всегда позволяя сосредоточиться на той или иной фигуре, однако передает непрерывность, победное, несмотря на жертвы, нарастание происходящего. Коль Геза Мольнар ставил такую задачу, он ее решил. Роман об омытых кровью «одичавших годах» дышит верой в разумную справедливость грядущих лет.

В. КАРДИН

ГОВОРИТ АФРИКА

Чего стоит хлеб. Рассказы африканских писателей. Перевод с английского. Составитель и переводчик В. Б. Рамзес. Москва, «Наука», 1968. 120 стр.

Литературу африканских стран мы узнали сравнительно недавно, и мы стали духовно богаче, когда прикоснулись к ней. Борьба за независимость, ее обретение и новая борьба — за ее утверждение — вызвали рост и расцвет литератур, и теперь, называя крупных писателей мира, непременно вспомнишь и Сембена Усмана, и Киприана Эквенси, и Бираго Диопа, и Агостинью Нету, и Алекса Ла Гуму, и многие другие яркие имена. И у них были предшественники, и они работают в литературе не первое десятилетие. И все же я назову литературу Африки молодой тем более уверенно, что этот эпитет вряд ли может быть воспринят «с отрицательным зарядом».

Одним из отличительных признаков молодой литературы является ее бурное развитие, весеннее цветение. Эта литература неспокойна, острота общественных и вообще жизненных ситуаций, характерная для сегодняшнего положения в Африке, непременно должна была найти отражение в стихах и прозе ее талантливых писателей.

В сборнике «Чего стоит хлеб» собраны произведения писателей тех стран Африки, которые называются «англоязычными»; в прошлом (совсем недалеком прошлом) они были английскими колониями либо находились так или иначе в руках «владычицы морей». Писатели Ганы, Замбии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Кении и ЮАР пишут на языке, принесенном в их страны вместе с захватом и колонизацией и внедренном долгими десятилетиями. Однако написанные авторами по-английски новеллы — не английские рассказы про Африку. Английский, французский или португальский язык — это лишь форма, а точнее, часть формы. А проза эта нигерийская или ганская, кенийская или южноафриканская — по характеру мышления, по образности, по подходу к материалу.

Новеллы сборника «Чего стоит хлеб» раскрывают перед нами картины народной жизни и национального характера, познавательное и эмоциональное значение этих

новелл обратно пропорционально их краткости и сжатости.

В новелле Гэбриела Окары (Нигерия) «Простаки и проходимцы» можно было бы усмотреть влияние О'Генри — так ловко построен сюжет. Деревенские простаки оказываются хитрее городских проходимцев, однако читатель до заключительных абзацев и не догадывается об этом.

Но стоит прикоснуться к африканским сказкам и легендам, и убедишься в том, что именно они, а не известные литературные источники подсказали автору эту ситуацию и позволили с таким лукавством и юмором написать сценку из жизни.

Глубоко проникает в духовный мир своих героев Джонатан Кариара (Кения). Рассказ «Ее воин» я бы назвал концентратом большого романа. Мастерство позволило автору на четырех страницах описать историю незаурядной человеческой жизни достоверно и убедительно. У меня осталось впечатление, будто я действительно прочитал роман, который мог быть написан только кенийцем, превосходно знающим не просто быт и нравы, но и характер и историю своего народа.

Сюжеты новелл, что называется, круто заварены. Стремление к острому сюжету характерно для африканской новеллы, это ее внутреннее, а не внешнее качество.

С любовью и глубоким пониманием противоречий сегодняшнего дня и последствий колониального гнета рисуют африканские писатели портреты своих соотечественников. Пусть порой чересчур сгущены краски — быть может, нам это только кажется, что они сгущены, что слишком много смертей, крови, убийств наполняют эту маленькую книжку. Не для литературного изыска обостряют авторы ситуации и сюжеты, а потому, что драматичность, не побоюсь сказать, трагичность обстоятельств — обыденность сегодняшнего и особенно вчерашнего дня Африки. Я хочу обратить внимание читателя на гуманистическую сущность этих жестоких рассказов. Это очень важно увидеть, ибо в этом — самое главное.

Мы знаем, что в африканской литературе и в общественной жизни существуют теории и практика, согласно которым африканец, человек с черной кожей, ставится превыше всех людей на земле. Можно понять, на какой почве эта тенденция вырастает: это реакция (и, пожалуй, болезненная) на долгие годы угнетения и дискриминации. Но нельзя не видеть, что такая позиция вредна для самого художника, лишает его одного из благороднейших человеческих качеств — интернационализма и может привести к тем же последствиям, что и пропаганда расовой исключительности и превосходства любого цвета кожи.

Мне кажется, авторы произведений, составляющих сборник, потому и достигли удач в своих новеллах, что им несвойствен этот тон. Не превосходство черного (в противовес и в знак протеста против превосходства белого), а любовь к своему народу, борьба за его достоинство и признание — вот что водило этими страстными перьями.

Рассказы африканских писателей близки народным притчам, это позволяет их авторам широко пользоваться юмором, создать атмосферу увлекательную и своеобразную.

Песни гриотов, сказания и легенды — древний и новый фольклор народов и народностей «черного континента» были основой, выражаясь современным языком — стартовой площадкой для поэм и стихов, романов и новелл многих африканских писателей сегодня. Для читателя сборника «Чего стоит хлеб», знающего африканский фольклор, будет очевидно его влияние и проникновение в стиль и образы новеллистов. Для неискушенного читателя это будет черточкой отличительной и новой.

ЕВГЕНИЯ ДОЛМАТОВСКИЯ

НАРУШЕННЫЙ ПОКОЙ

Гюнтер Зойрен. Лебек. Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Предисловие Н. Вильмонта. Редактор И. Бобковская. Москва, «Прогресс», 1969, 199 стр.

В эту книгу вчитываешься постепенно — так, войдя в комнату, прислушиваешься к начатой без тебя беседе: понемногу осваиваешься, улавливаешь вперемежку имена, намеки, пока еще неясные детали, откладывая их до поры до времени «в уме»; задним числом в сознании из них начинает складываться представление о сути дела, о последовательности событий.

Некто Лебек, пожилой, грузный, чуточку суетливый господин, не без навязчивости рассказывает двум журналистам свою историю — не совсем обычную историю человека, который с ранних лет нещадно тренировал свою волю и тело, из хилого, легко уязвимого мальчика превратился в феноменального циркового силача, потом лечил внушением богатых пациентов от нервных заболеваний и от ожирения, а во время войны решился на удивительную «акцию», о которой он и хочет, наконец, поведать миру. Уклоняясь от службы в гитлеровской армии, он в течение нескольких лет с риском для жизни симулировал болезнь, так что даже недоверчивые фашистские эксперты признали его безнадежным.

Самое значительное событие в ходе этой «акции» случилось за несколько дней до конца войны: Лебек однажды видит, как в усадьбе нациста Зенкера расстреливают по обвинению в дезертирстве троих людей, попытавшихся предотвратить бессмысленное кровопролитие. Через день, собрав остаток сил, Лебек внезапно приходит в дом к Зенкеру и объявляет его соучастником убийства. «Это было убийство...— говорит он.— Знайте же, перед вами стоит человек, с которым вы можете поступить точно так же... Ну, звоните же. Скажите, чтобы те еще раз приехали». Однако Зенкер не звонит. «Вчера и позавчера,— объясняет он,—

казнь была еще возможна. А нынче? Кто нынче отдаст приказ и кто его выполнит?» Вызывающий шаг, чем-то родственный рискованным цирковым трюкам Лебека, и на этот раз оканчивается для него благополучно.

И вот через двадцать с лишним лет Лебек вместе с журналистом Кеттой и фоторепортером Шааком едет в знакомый городок, в усадьбу Зенкера. (Непосредственное действие романа — поездка и встреча с Зенкером — занимает неполные сутки; остальное — ретроспекция, обрывистые воспоминания.) Журналисты, да и сам Лебек смутно представляют, чего они ждут от этой встречи; им ясно, что Зенкер неуязвим, что воспоминания вряд ли его мучают. «Эти люди снова сидят наверху»,— негодует Лебек; столь типичный для современной западногерманской литературы мотив непреодоленного прошлого явственно начинает звучать в романе. Автор «Лебека», однако, разрабатывает эту тему по-своему.

Гюнтер Зойрен — один из представителей школы так называемого западногерманского «нового реализма», правда, не самый последовательный. Впрочем, и само это направление, к которому принадлежат главным образом молодые писатели, такие как Дитер Веллерсхоф, автор романа «Один прекрасный день», Рольф Дитер Бринкман и другие, достаточно расплывчато по своему характеру. В его концепцию входит и представление об утрате «метафизического единства мира», которая делает все факты равноценными, а все мировоззрения — лишь «разновидностями всеобщего равнодушия», и призыв использовать в литературном творчестве «объективную» методику современных наук, таких как социология и социальная психология.

Многие положения этой концепции заимствованы у теоретиков французского «нового романа». Важнейшее ее требование — подчеркнутая объективность авторского взгляда, «точная фиксация непреложных фактов окружающей действительности», по выражению Дитера Веллерсхофа. Бесстрастность описания, нанизывание неравноценных деталей — и нежелание связывать себя какой-либо предвзятой позицией, попытка отказаться от заведомых оценок — все это отчасти свойственно и роману Г. Зойрена.

В основе сюжета «Лебека» лежит история реального человека; автор узнал ее примерно таким же образом, как и его герой журналист Кетта — от самого участника событий. Он излагает услышанные факты, стараясь не упустить даже мелочи, оценку же предоставляет самим действующим лицам. В этих оценках много противоречивого, да и в самой истории немало неясного, сомнительного. Иные готовы назвать Лебека шарлатаном, иным он кажется честолюбцем, который желает теперь, чтоб о его подвигах непременно узнали. Высокие слова о своей «акции» произносит в основном сам Лебек: он называет себя «одиночкой», который «из благоговения перед человеком отказался участвовать в бойне».

Что руководило его действиями: подлинное мужество или обостренный комплекс неполноценности, протест или желание выжить любой ценой? Был ли он просто человеком, уклонившимся от борьбы, или по-своему, пассивно, но боровшимся? А может, даже прав Зенкер, намекнувший, что тот памятный приход к нему Лебека вовсе не был таким уж отчаянным шагом: Лебек сам разбирался в обстановке и уже знал, что ничем не рискует...

Автор так до конца и не отвечает на эти вопросы; не отвечает на них и Кетта. Журналист, пожалуй, все-таки симпатизирует Лебеку («Не будь мы за вас, нас бы здесь не было»,— заверяет он его), ему враждебны Зенкер и мир, который он представляет. Но чувства эти выражены неярко, они тонут в оговорках, заглушенные разъедающим релятивизмом в оценках, равнодушием, которое хочет казаться беспристрастностью. «Вы один из тех, кто любит и ненавидит вполсилы»,— не без основания заявляет Кетте Зенкер — человек, куда более определенный в своих взглядах и пристрастиях.

Спокойно, с сознанием неуязвимости принимает он непрошеных гостей, бесстрастно, с усмешечкой отвечает на вопросы; его нынешние разглагольствования, конечно же, полны либеральной фразеологии, но когда автор позволяет нам заглянуть в мысли Зенкера, мы видим, как мало изменился этот нацист. «Сказать бы ему, что двадцать лет назад, подвернись удобный случай, я сам бы вздернул его или расстрелял»,— думает Зенкер про себя и, разгулявшись, «в шутку» даже разыгрывает с Лебеком сцену несостоявшегося когда-то расстрела — одну из самых впечатляющих сцен романа.

Так вокруг истории Лебека постепенно складывается еще одна, может быть главная, тема книги, тема ответственности и равнодушия современного западногерманского общества. Общества, где нацист Зен-

кер склонен даже гордиться собой. Общества, где обыватель не хочет чувствовать себя ни в чем виноватым. «У всех у нас совесть чистая»,— говорит Кетте в случайном разговоре один из персонажей, хозяин кафе, до сих пор недоумевающий, зачем понадобилось жертвовать жизнью тем троим, что были расстреляны в парке Зенкера. «Им вовсе незачем было умирать, сидели бы сейчас здесь, угощались пивом, если бы поостереглись». Общества, нравы которого отлично усвоил веселый циник фоторепортер Шаак: ему все равно, что снимать и зачем снимать,— была бы тема «денежной». Общества, где даже мыслящая часть интеллигенции своей склонностью ко всеобъемлющему релятивизму подчас невольно способствует поддержанию этой затхлой, удушающей атмосферы,— «новый реализм» здесь с парадоксальной неизбежностью оказывается беспощадным сам к себе. Общества, где Лебек — как бы к нему ни относиться — вот уже много лет тщетно пытается сделать свою «акцию» достоянием гласности, предметом обсуждения.

Кетта все-таки напишет о Лебеке — как написал о нем Гюнтер Зойрен. «Пусть люди судят,— говорит Кетта.— Пусть выскажутся «за» или «против», но пусть знают, что такой факт был...»

Исполненный смутного беспокойства, роман молодого писателя не случайно вызвал в ФРГ споры, привлек к себе внимание.

М. ХАРИТОНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПОЭЗИЯ, МАТЕРИНСТВО, РЕВОЛЮЦИЯ

Várnai Zseni. Egy asszony a millíók közül. Regény három részben. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1966.

Недавно в газете «Непсабадшаг» был опубликован большой материал о движении Сопротивления в Венгрии. Материал был дан в каемке фотографий участников Сопротивления, среди них — Женни Варнаи.

Венгерской поэтессе Женни Варнаи в мае 1970 года исполняется восемьдесят лет, и шестьдесят из них отданы рабочему движению. Вехи ее жизни соответствуют самым значительным событиям в истории борьбы венгерского народа за лучшее будущее, за народно-демократический строй, установившийся в стране после ее освобождения Советской Армией.

«Когда я думаю о том, как нагромождались годы, как изменился мир, когда я думаю обо всех переменах вокруг нас и в нас самих, я могу только удивляться, что я, что мы, так много испытавшие, не погибли в пути,— пишет в предисловии к своим мемуарам Варнаи.— Настоящее чудо, что существуют еще глаза, которые видели, уши, которые слышали, что сердце и память хранят события и есть возможность поведать людям о прошедших годах. Мне выпало на долю дожить до новой, чудесной эры, увидеть начало возведения нового мира, формирования нового человечества»...

Мемуары Женни Варнаи, скромно озаглавленные «Одна из миллионов», повествуют нам о жизни далеко незаурядной. Три основные стороны этой жизни: революция, материнство и поэзия тесно связаны в одно целое.

Женни Варнаи принадлежит к числу поэтов, для которых стихи — жизненная необходимость. Радость или горе, самые глубокие чувства и переживания находят отражение в ее стихах. И в ее мемуарах трудно отделить женщину-мать от революционерки и поэтессы. Она много пишет о своей семье, начиная с рассказа о детстве, о родителях, сестрах и братьях, о семье мужа Андора Петерди, в котором Женни нашла не только спутника всей жизни, но и верного друга, товарища по партии. Стойкий борец революции, она сражалась и за лучшее будущее своих детей, а ее стихи призывали к верности партии, борьбе и мужеству.

В 1912 году, когда ее первенцу не было еще и двух лет, Женни написала стихотворение «Моему сыну солдату», в котором она призывала не стрелять в бастующих рабочих.

И если против братьев и друзей
Тебя пошлет кровавый властелин,
Не забывай о матери своей:
Я буду с ними — не стреляй, мой сын!

(Перевод И. Миримского)

Стихотворение было написано в дни, когда волна забастовок и демонстраций прокатилась по всей стране и Австро-Венгерская монархия для усмирения своего младшего партнера по двуединой империи решила послать на помощь полиции и жандармам еще и войска.

В годы первой мировой войны листовки со стихотворением «Моему сыну солдату», переведенным на все языки народов Австро-Венгрии, распространялись среди солдат на фронте, а его припев «Я буду с ними, не стреляй, мой сын!» стал лозунгом в период революционных боев 1918 и 1919 годов и в дни Венгерской советской республики, когда некоторая часть солдат, поддавшись буржуазной пропаганде, выступила против Советской власти. В Советской России стихи Женни Варнаи были впервые опубликованы в газете венгерских интернационалистов «Форрадалом» («Революция») в Омске в номере от 10 марта 1918 года, тогда же они были переведены на русский язык.

На весть о революции в России Женни Варнаи откликнулась стихотворением «Жизнь! Свобода!»:

Сейчас наш пылающий взор прикован
к Петрограду!
Сейчас крылатые вести нам посылает
Москва!

(Перевод И. Миримского)

Много стихов посвятила Женни Варнаи пролетарской революции и Венгерской советской республике.

Строки, в которых Женни Варнаи описывает разгром Венгерской советской республики, проникнуты тем же горем, отчаянием поражения, как и стихи на смерть сына. Одни и те же злые силы виноваты в смерти ребенка, погибшего от бедности и лишений, и в крахе Венгерской советской республики. Но в этих стихах звучит не только отчаяние, но и гнев.

В день, когда за Женни Варнаи пришли жандармы, чтобы арестовать ее, как автора стихов и статей, печатавшихся в газете «Непсава» в дни Венгерской советской республики, она лежала в постели с новорожденной дочерью. Муж Женни уже был арестован, дома кроме нее находилась старуха мать и второй сынишка, Габор. То ли дрогнуло огрубевшее сердце жандарма, то ли террор не вошел в полную силу, только Женни оставили дома, взяв с нее подписку о невыезде. Начинались тяжелые годы неуверенности, скитаний, лишений и подпольной работы.

В мемуарах много имен, главным образом друзей прогрессивных венгерских писателей, таких как Дюла Круди, Шандор Броди, Фридеш Каринти и другие, соратников по подпольному антифашистскому движению и позже по движению Сопротивления в годы второй мировой войны. Симпатии всей прогрессивной венгерской интеллигенции были на стороне антифашизма, хотя далеко не все вступали в ряды активных борцов.

Последние месяцы перед освобождением были особенно трудными. Семья была разделена: Женни, ее муж Андор Петерди и дочь Мария (сын в это время находился за границей) скрывались в разных местах с чужими документами, почти все явки были провалены, о друзьях и товарищах по Сопротивлению — никаких сведений.

Женни страстно хочет дожить до дня освобождения, встретиться с родными и близкими, увидеть начало новой жизни. Пером поэта описывает она наступившую в городе после грохота боев тишину, встречу с первым советским солдатом. Женни прижимает к сердцу молодого паренька в солдатском мундире, называет его сыном, а он, словно поняв неизвестное ему венгерское слово «fiam», отвечает ей: «Мама». На этом и кончается книга ее воспоминаний.

Мемуары Женни Варнаи — человеческий документ большой силы, написанный женщиной с душой поэта, сердцем матери, настоящей, преданной делу Ленина революционеркой.

Е. БОЧАРНИКОВА

ПОЭТ ЭРИХ АРЕНДТ

Erich Arendt. Aus fünf Jahrzehnten. Gedichte. Rostock. Hinstorff Verlag, 1968.
Erich Arendt. Ägäis. Leipzig, Insel-Verlag, 1967.
Erich Arendt. Unter den Hufen des Winds. Ausgewählte Gedichte. 1926—1965. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag, 1966.

Эрих Арендт возрождает в Германии традицию высокой философской оды, начатую еще в XVIII столетии и замершую в годы нацизма. Именно ода стала поэтическим призванием Арендта; если Стефан Хермлин нашел себя как поэт в обновленной балладе, Франц Фюман — в поэтической притче с фольклорной окраской, Иоганнес Бобровский — в элегии и в созданных им новых стихотворных жанрах, где успешно применены законы музыкальной композиции,— то Арендт восстановил в правах «большое стихотворение».

В Германии придворная монархическая ода оказалась эфемерным явлением: в сущности, немецкая ода началась с «Прометея» Гёте, с его вызова владыке Олимпа, исполненного гордости и непокорства: «Мне чтить тебя? За что?» В творчестве Фридриха Гёльдерлина вольнолюбивый дух немецкой оды, ее философский интерес к вопросам истории и бытия получил наиболее законченное выражение.

Арендт остался верен этим лучшим заветам немецкой литературы. С годами голос его окреп. Арендт подтвердил вольнолюбивые стихи делом: вступил в коммунистическую партию, при нацизме эмигрировал, из мирной Швейцарии уехал в Испанию и сражался в рядах Интернациональных бригад.

Еще в двадцатые годы Арендт начал печататься в журналах, пытавшихся в непостоянном политическом климате Веймарской республики продолжить мятежную традицию революционного крыла экспрессионизма.

Экспрессионизм Арендта оказался недолгим и непрочным. Молодой поэт слишком наивно усваивал чужие образцы; его бунтарские восклицания нередко выглядели бессвязными и малооправданными. Зрелость пришла к нему позже, в Испании, после нескольких лет молчания. Именно тогда, в строках долгого эпического дыхания и в суровой краткости сонета (эта форма у Арендта оказалась не столь долговечной, как у Бехера), Арендт впервые нашел точные слова. Непримиримая в своей ненависти к социальному злу, поэзия Арендта счастливо сумела избежать какой бы то ни было плакатности. Его слово конкретно, зрительный образ ясен. Краски его испанских пейзажей горячи. Наряду с сонетами и балладами об Испании он в те же годы создает стихи, где события испанской войны обобщены и возвышены до уровня поэтической легенды.

В деревнях, не пощаженных
артиллерийским обстрелом,
Девушки спят. Звезды южные видят их
сон сквозь окно
И, плывя над оливой, над камнем горячим
и белым,
Замечают отцов, что на страже застыли
давно.

. . . . . .

Им приснился любимый. На плечи ложатся
ладони,
Только взор его темен, как грозного моря
набег.
Девушки плачут во сне. И сквозь горькие
стены, на склоне
Видят могилы пустынные Сьерры, где падает
снег.

В деревнях, не пощаженных
артиллерийским обстрелом,
Девушки спят. Похоронно рыдают над
селами ветры равнин,
И на страже отцы, и матери ждут, чтобы
целым
И с великой победой домой возвратился
их сын.*

Отчетливость поэтического мышления, завоеванная Арендтом в Испании, останется в его стихах навсегда. Арендт никогда не пытался быть «вне политики»; в каждом стихотворении он ясно и твердо называл своих врагов и своих друзей по имени. Но, как показали новые стихи Арендта, и экспрессионистский эпизод, при всей его краткости, не был случайным. Свойственное большинству экспрессионистов нередко смутное, но искреннее по своей природе сочувствие к презираемым, слабым, гонимым, уже определившись в точных терминах классовой борьбы, не исчезает в сознании коммуниста Арендта. Этим же объясняется и его явное тяготение к мощной, первозданной природе. И интерес к словесной новизне, к ярким, подчас чрезмерным и ослепительным краскам, временами напоминающий о художниках из группы «Голубой всадник». Как и его любимый герой, Ван-Гог, родившийся на севере, в хмурой Голландии, как и другой его любимый герой, Артюр Рембо, выросший в захолустном Шарлевилле,— северянин Арендт чувствует, что его темпераменту ближе природа юга. (И Рембо, и Ван-Гогу посвящены отличные стихотворения.)

Эта встреча с югом действительно состоялась — сначала в Испании, затем в Южной Америке, куда Арендт бежал от нацистских палачей. Здесь, в Колумбии, рождаются прекрасные баллады и песни о трагическом уделе негров и индейцев; здесь же Арендт приобрел тот опыт, который ему пригодился впоследствии для перевода на немецкий язык эпоса Неруды и лирики Гильена. Новая глава в поэзии Арендта открывается позднее, с его возвращением на родину.

В той Германии, в которую он вернулся накануне своего пятидесятилетия, уже была создана новая государственность. Дело жизни Арендта и его товарищей по борьбе обрело здесь реальные контуры. И вот еще на серой и грубой бумаге первых послевоенных лет выходят книги стихов с именем Арендта. Арендт понимал, что происшедшие события являются не сменой шатких декораций,— нет, совершился глубокий поворот во всей более чем тысячелетней истории немецкого народа. Ход событий неизбежно опережал любую хронику. Отсюда порыв Арендта к историко-философской лирике, к поэзии больших идей и резких контрастов, открытого борения старого и нового миров.

Арендт углубляет эту новую для него историко-философскую тему от книги к книге, от цикла к циклу, работая с удивительной целеустремленностью. После «Песни семи островов» (1957), где эта тема уже намечена, появляются знаменитые «Оды полета» (1959), и уже недавно Арендт достойно завершает свой замысел новой книгой стихов «Эгейский архипелаг» (1967). Не следует думать, что Арендт работал в этом направлении один: и поздняя лирика Бехера, и почти вся поэзия Георга Маурера, и «Поэма о человеке» безвременно умершего Кубы — в равной мере немыслимы без исторических горизонтов.

Арендт и до сего дня остался верен од-

* Здесь и дальше стихи Эриха Арендта даются в переводе Г. Ратгауза.

ной теме. Или, вернее, своему кругу тем. Именно этим объясняется и постоянство жанров, которыми пользуется Арендт: он сам делит все свои стихи на оды и элегии.

«Человек во времени и в пространстве»— таков подзаголовок «Од полета», отличающихся большой смелостью идейного замысла. От времен Эхнатона и Нефертити, от древней Эллады до наших дней поэт прослеживает одну и ту же драматическую тему: силы смерти, уничтожения, социального зла борются с живой и неистребимой творческой волей человека. Эта борьба разрешается лишь в последней, Десятой, оде торжеством «непобедимой Розы свободы» и лишь после того, как поэт воспел «новый закон», явившийся в «боли и пламени Авроры».

Одновременно развивается другая, философская тема. Зачем рожден человек? — спрашивает поэт. И будет ли земля наконец «родиной человека»? Ответ он ищет в «Эгейском архипелаге», у волн того моря, над которым мчались когда-то на крыльях Дедал и Икар, вырвавшись из рабства и плена моря, которое помнит и осаду Трои, и остров, где, по преданию, родился Гомер. Он ищет ответа на земле Греции, где прозвучали — на все времена — пророческие слова древнего трагика:

Много в мире сил великих,
Но сильнее человека
Нет на свете ничего.

(Софокл. «Антигона»)

Арендт проявил себя в этой книге как кузнец и труженик стиха. Ни одна строка не случайна, каждая обладает тяжестью и блеском чистого металла; и каждая обработана на совесть, так что невольно вспоминаешь воспетого Гомером искусника Гефеста. А богатство цветов, от белого до расплавленного лилового, хлынет на каждого со страниц этой книги.

В лучших стихотворениях этой книги — «Час Гомера», «Гавань Эмпедокла» и другие — Арендт утверждает высокое представление о достоинстве человека. Эмпедокл, «оборванный странник и бог», поэт и философ — в немецкой поэзии до Арендта уже воспетый Гёльдерлином,— знающий слова, которые будут услышаны пустынными островами и скалами «этой тесно замкнутой дали», и Гомер, эпос которого прозвучал после кровавых бед и распрей, встают перед нами как мощные свидетели творческого начала, искусства и разума, рождающегося в суровых испытаниях. Проклятие войне звучит в стихотворении «Троя».

Но самое сильное и значительное стихотворение в книге — политическая ода «После процесса Сократа». Избегая прямых аналогий и лишь осторожно сближая события разных времен, Арендт не устает призывать своего героя к мужеству («Не становись на колени!»). Одновременно он исследует природу общественной несправедливости. Процесс Сократа для него как бы прообраз всех позорных судилищ прошлого и будущего, «где правда и радость подло убиты в застенках истории»:

Шагая по кругу
истерзанных мыслей
(о, каким было вольным
дыханье твое!),—
крепче сожми
свой рот, чтобы сгусток
крови не выдал тебя!

Философская ода Арендта, освободившись от стеснений твердого ритма и строфики, обрела подлинную свободу дыхания. Арендт учился не только у Гёте и Гёльдерлина, но и у греческой, олимпийской оды Пиндара. Но иногда эта свобода стеснена самим поэтом, который, словно радуясь редкому дару своей изобретательности, громоздит одну метафору на другую. Некоторые образы кажутся надуманными.

Эта метафорическая усложненность, как и глубокий трагизм его поэзии, выкованной в тяжелых испытаниях, нисколько не помешали молодому поколению социалистической Германии полюбить поэзию Арендта, как свою, увидеть в ней близкое себе. Лучшее доказательство тому — новое, ростокское издание («За пятьдесят лет»), где с любовью и вниманием собраны стихи Арендта — от юношеских опытов до наших дней. Ценность издания увеличивает вдумчивое послесловие Гейнца Чеховского, где об Арендте говорится как об одном из учителей нового поколения поэтов.

Оправдана ли такая оценка? Да, целиком и полностью. Ее диктует прежде всего та дерзость и страсть, которые Арендт пронес через всю свою долгую жизнь. Дерзость литературного новатора, который в каждой новой книге не устает удивлять всех, привыкших к прежнему Арендту,— и страсть мечтателя, борца за политическую справедливость, никогда не изменявшего своим убеждениям.

Его творчество особенно близко молодежи, которая сейчас, в обновленной Германии, вступает во владение великим наследи-

ем прошлого. Как Томас Манн в двадцатые годы в знаменитом манифесте «Социализм и культура» (1929), так Эрих Арендт в наши дни мечтает о синтезе духовного наследия Маркса и Гёльдерлина, прочно связывая в своем творчестве историю с будущим.

Г. РАТГАУЗ

ДЕБЮТ ВЬЕТНАМСКОГО ДРАМАТУРГА

Trần Quán Anh. Tiên tuyên goi. Hà-nôi. Văn hoc. 1968.

В течение года после премьеры пьесы «Фронт зовет» молодого драматурга Чан Куан Аня, поставленной на сцене Ханойского театра осенью 1967 года, было дано более ста спектаклей, кроме того, по пьесе отснят фильм. И в то время, когда зажигались огни рампы и начинался спектакль, нередко прерываемый воздушным налетом американской авиации, автор пьесы находился в госпитале. Нет, его не мучили недуги, не донимали раны, просто доктор Ань был на своем посту, который военное время сделало боевым.

Современный вьетнамский драматический театр молод, начало ему было положено в 1920 году постановкой на любительской сцене мольеровского «Мнимого больного». Первый успех окрылил энтузиастов; в 20-е годы сформировалась современная национальная драма, именуемая во Вьетнаме «разговорной». Традиционный же вьетнамский театр был по преимуществу музыкальным, само вьетнамское слово — «театр» (ня хат) означает «дом, в котором поют». Кроме того, существовало старинное искусство кукольного театра и театра кукол на воде: представления устраивались на озере, сценой служили плот и водная гладь, кукловоды управляли куклами с берега, куклы смело ныряли и плавали на ладьях.

Современный драматический театр, влачивший до Августовской революции жалкое существование (профессиональных коллективов по существу не было), сделал в ДРВ за последние 20 с лишним лет большие успехи, и совершенствованию мастерства актеров, режиссеров, художников способствовали контакты с деятелями советского театра. У кассы Ханойского городского театра выстраивались в 1962 году длиннейшие «хвосты» по случаю постановки арбузовской «Иркутской истории», а газеты писали тогда, что лучшего подарка, чем билет на этот спектакль, и придумать невозможно.

И вот «Фронт зовет». Пьеса захватила зрителя актуальностью, остротой поставленных в ней нравственно-этических проблем: как должен поступить в критический момент истории своего народа человек в белом халате медика, где сейчас место вьетнамского интеллигента новой формации, взращенного революцией, каков путь внутренней перестройки, порой мучительной, которой потребовала от людей война; «Фронт зовет» — рассказ о вьетнамских врачах, которые возвращают к жизни своих соотечественников, ставших жертвами американских воздушных пиратов. Для человеконенавистников из Пентагона Вьетнам всего лишь испытательный полигон, а вьетнамец — только цель, на которой «испытывают» разные бомбы.

В дни пиратской воздушной войны против ДРВ медики из Ханойского института — студенты и преподаватели — надевали форму военных врачей и выезжали в самые опасные зоны. Оставив любимую научную работу, уехал доктор Ву Кхием. Многие часы ежедневно оперируя раненых, спасая человеческие жизни, он вместе с товарищами разрабатывает методику оперирования пораженных шариковой бомбой. А его коллега по институту, сын профессора, доктор Ле Хюи, способный, но амбициозный ученый, не желает даже в этот критический для всего народа момент расстаться с личными честолюбивыми планами. Назревает неизбежный конфликт его с окружающими, с отцом, с младшей сестрой Хыонг Зянг, студенткой-медичкой, влюбленной в Ву Кхиема.

Драматичен в пьесе образ старого профессора, вынужденного вступить в конфликт с сыном, в котором он видит и своего способного ученика. «Наука не родовое наследство»,— горько упрекает профессор сына.

Автор показывает, что жизнь свидетельствует о несостоятельности моральной позиции молодого ученого, пытающегося отгородиться от выполнения долга патриота и гражданина. И, веря в нравственную силу своего героя, драматург намечает первый его шаг к осознанию собственной неправоты.

Из среды людей гуманнейшей профессии — врачей — вышло на протяжении истории вьетнамской литературы много писателей и поэтов, традиция эта не прерывается и сейчас, в середине XX века; еще один пример тому — доктор Чан Куан Ань, драматург.

Н. НИКУЛИН

НОВЫЙ РОМАН ГЮНТЕРА ГРАССА

Günter Grass. Örtlich betäubt. Roman. Neuweid und Berlin, Luchterhand, 1969.

Роман Грасса «Под местным наркозом» во многом непохож на его предыдущие произведения.

Прежде всего, некоторые части романа даны в манере строгого реализма. Другие — «чисто грассовские» — все же менее «темпераментны» и, я бы сказала, менее «физиологичны», чем это было раньше. «Швы» между этими разными по манере частями заделаны довольно небрежно — преимущественно путем чисто внешних мотивировок.

Но несмотря на все это в романе — объективно — сквозь всю свойственную автору идейно-политическую двусмысленность порою просвечивает весьма убедительная правда о прошлом и настоящем ФРГ: о традициях реваншизма, о «рефлексии» и бездейственности либеральной интеллигенции, о «пене» и «сущности» в бунтарстве молодых, о сложных отношениях «отцов» и «детей».

Взаимоотношения «старших» и «младших» — это, пожалуй, самое существенное в романе. Поэтому неслучайна и главная линия произведения — судьба Эбергарда Штаруша, учителя немецкого языка и истории в выпускном классе средней школы. Причем большую, может быть, решающую роль в этой судьбе играют именно его взаимоотношения с «молодыми».

Разобраться в судьбе и пути Штаруша не так-то просто — в романе у него две биографии, одна—подлинная, отражающая действительную историю сорока прожитых им лет, и другая — пестрый хоровод фантастических событий, летопись того постоянного «бегства в фикции», которому он предается.

Обе биографии автор разбил вдребезги и перемешал, так что читатель вынужден заниматься работой Золушки — отделять реальность от «мифа». Возникающая при этом сложность сюжетного построения романа — несомненно плод вполне обдуманных намерений автора. Еще Стивенсон в знаменитой повести «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» с чрезвычайной остротой поставил вопрос о том, что, собственно, сидит в самой глубине души добропорядочного буржуазного интеллигента. Доктор Джекиль — человек почтенный, пассивный, внешне лишенный страстей — искусственно, путем научного эксперимента выделяет из себя двойника — активное, страстное, действенное начало своей личности. Но это второе «я», мистер Хайд, оказывается воплощением звериных законов жизни буржуазного общества — себялюбцем, холодным злодеем, убийцей. И если в первой, реальной своей биографии Эбергард Штаруш столь же порядочен, как и мистер Джекиль, то в фантастических приключениях второй биографии он порою приобретает несомненное сходство с мистером Хайдом.

Биография Штаруша № 1 — во многом схожа с биографиями героев других произведений современной литературы ФРГ о гражданах третьего рейха, родившихся где-то в конце двадцатых годов. Из сопоставления дат следует, что Штаруш — человек года рождения 1927-го и к концу второй мировой войны он, глава подростковой «банды», прозванный Штертебеккером, был арестован и сдан в штрафной батальон, где и занимался разминированием под огнем противника. Затем — краткий плен, освобождение, учеба и наконец должность преподавателя гимназии — штудиенрата — в Западном Берлине.

Биография № 2 — так сказать, «мифическая», — создается постепенно, «толчками». Штаруш как бы «примеряет» к себе различные события и ситуации, которые дает ему действительность ФРГ, радио, телевидение, журналы, газеты. Он как бы делает частью своей биографии и крикливый отчет об убийстве, и телевизионную рекламу усовершенствованного холодильника, и газетную заметку о возвращении из плена домой отбывшего срок генерала, и многое другое. «Мифотворчество» облегчает (и отчасти объясняет) тот факт, что «бегство в фикции» происходит преимущественно в зубоврачебном кресле и перед телевизионным экраном, должествующим отвлечь пациента от испытываемых неприятностей. Чередование боли и местного наркоза, омертвляющего нёбо и язык, создают благоприятные предпосылки для всякого рода мрачных фантазий. К тому же операции с зубами и челюстями Штаруша настолько сложны, что прием больших доз наркотиков неизбежен и вне врачебного кабинета. Таким образом, «мифотворчество» не ограничивается часами пребывания у врача.

«Фикции» сложной системой ассоциаций связаны также и со всем процессом зубоврачевания: винный камень, обнаженный нерв, щипцы, гипс, цемент — все это вплетается в «миф» второй судьбы. Так, например, мифический отец мифической невесты Штаруша Зигелинды становится не только фельдмаршалом гитлеровской армии, но и владельцем крупнейшей фабрики цементно-гипсовых стройматериалов, и цементная пыль густым серым слоем ложится на деревья парка, где происходит знакомство Эбергарда и Зигелинды.

Что фельдмаршал Кринге — чистый миф, выясняет зубной врач (в целях отрезвления Штаруша), ставший за долгие часы лечения своеобразным другом своего пациента. По-видимому, «миф» — и «Линдалиндалинда», выступающая во «второй судьбе» то как почти уличная девка, то как воплощение чистоты и прелести, то как юная «козочка», то как разжиревшая наседка — мать двоих сопливых ребят. Она — то невеста Штаруша, то его жена, то любовница старшего электрика Шлотау, с которым она изменяла жениху с самого начала, то его же законная супруга.

Применяя к себе свои газетно-книжно-журнальные и радио-телевизионные впечатления, Штаруш то душит ее велосипедной цепью (заметка в газете!), то едет с ней в путешествие по Франции (книга о романской архитектуре!), то убивает ее мать, их ребенка и ее саму выстрелами из револьвера (журнал «Квик»!). А в общем она покоится на самом дне усовершенствованного холодильника (реклама по телевидению!) вместе с телячьими почками, удостоверением А — военнопленного Штаруша и богатым витаминами шпинатом.

Однако самые дикие «фикции» насыщены реальным содержанием, определяющим действительность ФРГ.

Дух реваншизма в чрезвычайно выразительном ракурсе встает в маниакальном стремлении фельдмаршала Крингса вновь — но с другим исходом! — разыграть в ящике с песком все сражения, проигранные им на Восточном фронте.

А разве все способы разрешить «личные конфликты» с помощью ножа, веревки, револьвера не отражают мораль, лежащую в основе семейных и любовных отношений капиталистического мира?

«Вторая биография» тает, уходит из романа в период «отпуска» Штаруша — перерыва (на несколько недель) в зубоврачебных процедурах. Тут в повествование входит главная тема, и оно становится на путь реализма.

Не все «коллоквиумы» в зубоврачебном кресле уклонялись в сторону «мифа». Оба собеседника — поклонники стоической философии — неоднократно делились и своими мыслями о формировании человеческой личности, о значении этого для общественной жизни. Причем оба они пришли к неким гуманистическим утопиям, которые выступают в романе в остраненном и пародийном обличье.

Несмотря на это легко увидеть, что теория всеобъемлющей «одонтологической профилактики», построенная зубным врачом,— это всего лишь «маска», «внешняя оболочка» выношенной им мысли о том, что все люди, в сущности, больные и с детства, так сказать, «с молочных зубов» о них должны взять заботу врачи, освобождая их от будущих физических страданий, которые неизбежно извратят и их нравственную природу.

Утопия врача — «всемирная больница», утопия учителя — «всемирная школа», воспитание с колыбели терпимости, стоического отношения к невзгодам.

Впрочем, у обоих утопистов хватает разума делиться своими домыслами (чисто теоретическими) лишь друг с другом, и притом в ироническом ключе.

Однако мобилизация этих теорий происходит тогда, когда в жизнь одного из «постепеновцев» врезывается сторонник «прямого действия».

Писатели ФРГ — ровесники или почти ровесники Грасса — очень любят жалеть своих героев, а также гордиться тем самоуспокоенным чувством вины, которое заставляет их без конца возвращаться к былым грехам. Надо сказать, что в данном романе Грасс в этих слабостях не повинен. И «безжалостность» его к Штарушу (также и к его ровесникам) опирается на сопоставление их с младшими, с семнадцатилетними. Для Штаруша его прошлое — банда, арест, штрафной батальон — стало чем-то вроде морального капитала, на проценты с которого он хочет сейчас купить авторитет у своих учеников — семнадцатилетних бунтарей. Но если Штарушу это «моральное рантьерство» все-таки не мешает любить молодых — своих учеников,— болеть за их судьбу, то Ирмгард Зейферт, учительница музыки в той же гимназии, в том же классе, не видит и не чувствует ничего, непрерывно и самоупоенно погружаясь в сознание своей преступности и греховности. Двадцать пять лет назад — ей в ту пору было шестнадцать — она, фанатически преданная идеям гитлерюгенда, совершила донос на одного крестьянина. Правда, донос действия не возымел, крестьянин продолжал благополучно существовать и умер много лет спустя естественной смертью, но «донос» остается единственной козырной картой экзальтированной дамы, дающей ей возможность думать о себе и считать все бунтарские устремления молодых всего лишь средством для искупления ее «греха».

Ну, а как же обстоит дело не с рефлектирующими «постепеновцами», а с молодыми сторонниками прямого действия? Грасс не был бы собой, если бы ответ здесь не был двусмысленным. И все же сквозь скептицизм, гротеск, стремление избежать прямых и точных выводов в романе порою просвечивает объективная правда о молодых, их делах и устремлениях.

Класс, в котором преподают Штаруш и Зейферт, представлен в романе дружеской парой. Это Филипп Шербаум — Флип,— семнадцатилетний мальчик с детскими ямочками на щеках, с гитарой, поэт-песенник, ученик Брехта. Он спокоен, насмешлив, вежлив и к учителю своему — old Hardy — относится снисходительно и терпимо. Вторая представительница этого класса — Вероника Леванд, Веро, шестнадцатилетняя девчонка в ярко-зеленых колготках. На стене ее комнаты портрет Че Гевары сменил Боба Дилана, и вся она охвачена стремлением к «ультрареволюционному» хэппенингу. Ни Флип, ни Штаруш, ни автор эту «вспышкопускательницу» всерьез не принимают.

Иначе обстоит дело с самим Флипом. На первый взгляд, тот способ, каким он хочет выразить протест против преступлений американской военщины во Вьетнаме,— это всего лишь образец дикости и недомыслия. Флип собирается вывести на Курфюрстендамм Макса — свою любимую таксу, облить ее бензином и сжечь всенародно — дабы жвачные твари в мехах и бриллиантах, которые жрут сладости на террасе модного отеля «Кемпински» воочию увидели, что такое горящая живая плоть.

Штаруш справедливо зовет эту затею глупой и зверской. Не менее справедливо

говорит он и о том, что делать мучеником за идею нельзя никого, даже собаку,— такую задачу можно брать только на себя.

На это Флип находит страшноватое и довольно убедительное возражение. Он бы сжег себя сам. Но не только печи Освенцима и Майданека, но и телевизионные экраны, на которых обыватели Западного Берлина ежедневно, крупным планом видят заживо горящих стариков, женщин, детей Вьетнама, приучили «жвачных» к тому, что человек есть нечто «приспособленное» для сожжения. Эмоциональная реакция погасла. Они могут возле экрана пить кофе, приговаривая «нехорошо, нехорошо, нехорошо». Огненная смерть пса вновь пробудит эмоциональную реакцию этих обывателей — животнолюбов, а возле террасы Флип водрузит плакат — «вот так горят люди во Вьетнаме».

Штаруш опять-таки справедливо говорит, что Филиппа затопчут, растерзают. К этому он готов, отвечает мальчик.

Нет, дикая затея Филиппа — отнюдь не хэппенинг. Но думается, что все же она «подкинута» герою автором. В процессе напряженных споров со своим учеником Штаруш узнает о нем очень многое. В комнате Филиппа не висит портрет какого-либо современного пророка «прямого действия». С газетной полосы на стене на учителя смотрит лицо подростка — так похожего на его, Штаруша, сверстников. Это шестнадцатилетний Гельмут Хюбенер — член подпольной антифашистской организации молодежи, которая в течение двух лет печатала и распространяла листовки, обращенные к рабочим, военнопленным и солдатам немецкой армии. Хюбенер был арестован, подвергнут пыткам и казнен в тюрьме Плётцензее 27 октября 1942 года.

«Вот как оно было,— говорит Флип учителю.— И что же по сравнению с этим ваша подросточья банда!.. Тут не было никакого ребячьего анархизма... И он не был дилетантом. Он даже умел стенографировать и работать на аппарате Морзе». Думаю, что вот здесь, вероятно, даже помимо воли автора пробилась настоящая правда о том *лучшем,* что есть в устремлениях молодых. И, честно говоря, трезвость Флипа, спокойствие, холодная умная беспощадность в критике ХДС и ее «сребро-язычного пророка» Кизингера, внутренняя присяга традициям *организованной борьбы* против фашизма — все это никак не вяжется с его фантастическими самоубийственными проектами.

Веро — это «пена» молодежного движения. Флип (таким он раскрывается в период наиболее интенсивного общения со Штарушем) — это носитель той «сущности», которая в этом движении все-таки существует.

Конечно, и «пена» есть выражение сущности, но отождествлять их никак нельзя.

Мне думается, что «прямое действие» Флипа автор облек в такую гротескную форму, так сказать, с заранее обдуманным намерением. Тем самым внутренне не только оправдана, но и вознесена победа главного мудреца и «постепеновца» — зубного врача,— утописта, которому удалось то чего не мог добиться более эмоциональный учитель. Врач отговорил мальчика от его дикого плана, убедил его перейти к мирным, плавным формам общественного воздействия.

Но и это торжество, так сказать, «социал-демократического» пути не остается в романе без оговорки. А не подвергли ли мы также «местиому наркозу», то есть частичному омертвению, и волю Филиппа, закрыв тем самым для него путь «прямого действия»?

Этот вопрос Штаруша как бы замыкает в романе линию «семнадцатилетних».

Зыбкость идейно-эстетических позиций — это коренное свойство творчества Грасса. Но существенная правда истории просвечивает в этом романе о «старших и младших» интеллигентах ФРГ.

Е. КНИПОВИЧ

РВЕТСЯ НИТЬ АРИАДНЫ

Pierre Daix. Nouvelle critique et art moderne. Essai. Paris, Collection "Tel Quel" aux Editions du Seuil, 1968.

Появилось еще одно исследование, посвященное специфике современного искусства, соотношению традиций и новаторства, актуальнейшей сегодня проблеме «авангардизма» Книги, стремящиеся разрешить этот вопрос, выходят и в Советском Союзе, и за рубежом. Каждую открываешь с интересом: проблема не проста, далеко не все ее аспекты кристально ясны.

Ключевое слово эссе Пьера Дэкса «Новая критика и современное искусство» — rupture, то есть разрыв, перелом. О том, что современное искусство охотно вбирает опыт предшествующих веков, автор говорит достаточно ясно. Поэтому множественность синонимов — rupture, cassure, coupure — поначалу воспринимается как выражение главной задачи автора: оттенить грани понятия «новаторство». Намерение вполне естественное. Но каковы же эти самые крупные грани, позволяющие, по мнению Дэкса, воочию увидеть перелом, качественный скачок?

Прежде всего обостренное, возросшее стократ в наши дни внимание художника к слову, принципам художественной выразительности, структуре образа. Язык художественного произведения, справедливо утверждает Дэкс, одновременно индивидуален и социален, концентрирует в себе общественный опыт писателя, его строй чувств, впечатления, сохраненные памятью; при таком условии полного взаимодействия между творческой личностью и языком произведения благоприятствует многообразию манер письма (multiplication des écritures).

Наблюдение Дэкса касается здесь яркой особенности современной культуры. Искусство XX века действительно необычайно богато контрастными эстетическими формами, разноплановыми художественными экспериментами.

Логика дальнейших рассуждений ведет, однако, от многообразия к жесткой схеме отбора «самого» современного. Вторым критерием «современности» назван переход (хронологически где-то между Курбе и импрессионистами) от искусства «имитирующего» к искусству «воссоздающему»,— от того, что увидено художником, к тому, что им понято (ср. Пикассо: «Не лучше ли рисовать действительность такой, как ты ее знаешь, а не такой, как ты ее видишь»). Этот эстетический признак описан за последние годы во многих литературоведческих трудах — достаточно вспомнить работы Пьера Франкастеля, Мишеля Сейфора, Марселя Арлана, Бернара Дориваля, Алена Боске, Мишеля Рагона...

В самом противопоставлении того, что видишь, тому, что знаешь, скрыт философско-оптический обман. Знание художника о действительности тем полнее, чем больше им увидено и глубже рассмотрено. Вне осмысления увиденного нет концепции реальности. Дэкс верно определяет творчество как «единство познания и художественного воссоздания»; отбрасывая «механистическое, эмпирическое понимание отражения», он не ставит прямо под сомнение саму теорию отражения, что случается с иными защитниками «концептуального», нефигуративного искусства. Но отражаемой действительности автор постоянно высказывает недоверие, познанию отводит лишь условно-вспомогательную роль. На знамя авангарда XX века Дэкс выносит образы, максимально удаленные от реальности,— например, «Гитару» Пикассо 1926 года, гораздо меньше «сообщающую» о действительности, чем хотя бы знаменитая «Герника».

Вопрос о взаимодействии в искусстве XX века форм жизнеподобных с условно-аллегорическими сам по себе достаточно сложен; явное предпочтение, отдаваемое одному из путей поисков, уводя в область идеалистических абстракций, может лишь мешать раскрытию многообразных, сугубо индивидуальных форм выражения. Здесь критический метод Дэкса откровенно механистичен. Критик собирался рассмотреть момент «разрыва» в истории искусства, но принцип «разрыва» определяет и метод подхода исследователя к материалу. Система его доказательств строится на взаимоисключающих дефинициях. Так, подражание природе (соотносимое Дэксом с эстетическим кредо Аристотеля), оказывается, несовместимо с ее художественным воссозданием. Абсолютизация границы между «теоретической моделью» и моделью-имитацией заводит исследователя в густой лес противоречий.

В определенный момент, согласно Дэксу, после Стендаля, Гюго, Курбе перестал действовать закон правдоподобия и вступил в силу закон интерпретации, «теоретического осмысления» жизни. Итак, по одну сторону от точки отсчета — добросовестная имитация окружающего мира, а по другую — теоретическое представление об этом мире, внешне ничем не воспроизводящее его черты. Если следовать этой схеме, придется доказывать, что, передавая на фасаде Руанского собора оттенки знойного полдня и мерцающего заката, Клод Моне не стремился запечатлеть ничего «похожего», а Гюстав Курбе, автор «Водопада в Конше», напротив, блестяще имитирует переливы струй, блеск капель и т. д.; придется отнести к «достоверным» приключения Гаргантюа и Пантагрюэля, Дон Кихота и Неистового Роланда.

Весьма сложно связать все эти явления нитью правдоподобия, но еще труднее отказать их создателям в концептуальном осмыслении эпохи, человеческой психологии. Кто согласится признать историю Жюльена Сореля только добросовестной имитацией случая из судебной практики, а «Возмездия» Гюго фактографическим отражением изъянов буржуазного миропорядка? Какие аргументы привести для демонстрации — как того требует логика мысли Пьера Дэкса,— что «Раненый кирасир» или «Плот Медузы» Теодора Жерико, напугавшие в свое время художественное жюри «возведением принципа перемен в искусстве в закон общественной жизни», несут меньшую концептуально-философскую нагрузку, чем «Роскошь, спокойствие, сладострастие» Анри Матисса? Отчего «имитаторское» полотно Делакруа «Свобода на баррикадах» торопливо убирали из залов Лувра едва ли не всякий раз, когда на парижских улицах начинались беспорядки?.. Не оттого ли, что Делакруа, как всякий великий художник, даже предпочитая жизнеподобие,— отнюдь не имитатор, а «провидец... чье отношение к реальности — гениальное восприятие всего, что движется».

Слова эти принадлежат Дэксу, опубликовавшему семь лет назад книгу «Делакруа-освободитель». Теперь Дэкс хотел бы строже провести водораздел между верностью внешним приметам реальности и выражением ее сокровенной сути. Но ни «сущность», ни «внешность» не определены критиком как эстетические категории, что и вынуждает его к терминологическим подстановкам.

Сначала «имитация», «правдоподобие» соотносятся с определенной исторической эпохой; затем правдоподобие уже «код, требующий уважать приличия, то есть социально приемлемую картину мира»; имитация нужна «тому, кто не выносит реальности»; а традиционная скульптура и живопись — искусство «соглашательское... изображение генералов-победителей», элементарное «удовлетворение вкусов публики».

При такой размытости основных понятий смысл «перелома» неизбежно ускользает. Тем более, что мимикрия под реализм автором справедливо осуждена, а мимикрия под новаторство ему словно неизвестна. Дэкс

пишет об «эпидемии модернизма», как о чем-то столь же неумолимом, сколь плодотворном. Думается, что писатель-католик Жак Маритен, автор солидного труда «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» (1966), ближе к истине, намечая два направления в развитии модернизма. Одно приводило, при всех утратах, к нарастанию «поэтической энергии» (Маритен называет здесь Руо, Шагала, Сати, Дебюсси, Аполлинера, Пьера Реверди, Т. С. Элиота, С.-Ж. Перса); другое обернулось самообманом — для Маритена таков урок сюрреализма, поскольку «отторгнутый от света интеллекта, автоматизм подсознания не способен открыть что-либо действительно *новое*» (курсив автора). Дэксу, напротив, именно сюрреализм кажется теоретическим и практическим «обобщением» новаторства.

Утверждение автора о единстве формы и содержания («Произведение не может быть авангардным только по форме или только по содержанию») остается в состоянии теоретической невесомости: Дэксу одинаково дорого новаторство Эйзенштейна, Маяковского, «Герники» Пикассо, «Лицом к лицу с немцами» Поля Элюара, «Французской зари» Арагона и самоцельное экспериментаторство дадаистов или «нового романа».

Третий признак «перелома», сформулированный автором, если бы получил теоретическую завершенность, мог бы укрепить мысль о гармонии революционной идеи с новаторским словом, смягчить противоречивость аргументов в защиту «концептуального» творчества. «Современным искусством,—пишет Дэкс,—пересмотрено значение времени. Искусство хочет теперь уловить мир, который рождается, который придет». Оно «сообщает о будущем», создает «модель реальности».

Модель грядущей реальности не построить без анализа закономерностей настоящего, без социального предвидения. Кажется, держась за эту нить, мы вот-вот подойдем к определению границы между новаторством истинным и мнимым. Но автор рвет эту нить, противопоставляя «модель художественную» и «модель политическую», объявляя их не только разноплановыми, но чаще враждующими. В результате «революционная модель», родившаяся в творчестве Горького, отвлекла его, как утверждает Дэкс, от «контроля за средствами выражения», помешала кристаллизации модели художественной, а литература социалистического реализма, якобы всегда принимавшая желаемое за сущее, потерпела эстетическое поражение. Подобное же фиаско потерпели, по мнению Дэкса, «эстетические критерии, унаследованные от литературы Сопротивления»,— вывод более чем неожиданный для участника Сопротивления, автора ярких романов о героической эпохе. Критик словно мечтает направить революционную литературу в эстетское русло аполитизма. Странное противопоставление модели революционной модели художественной заставляет критика перекрашивать факты из истории советского литературоведения. В статье, появившейся уже после книги, Дэкс уверяет, что в СССР «самый термин «авангард» автоматически связывается с мыслью о капиталистическом разложении».

Предвосхищая изумление тех, кто помнит другие его работы, посвященные современному реализму, автор демонстративно объявляет еще об одном «разрыве» — с самим собой, автором «Семи веков романа» (1955) и «Размышлений о методе Роже Мартен дю Гара» (1958). Поправлять себя — дело, достойное уважения. Почему бы, например, не уточнить некоторые оценки модернизма, которые в конце 50-х годов звучали у Дэкса слишком безоговорочно-суммарно, недиалектично: «накопленный веками упадок», «эстетика отвращения» и т. д. Но разве не подтверждены литературным развитием последних десятилетий многие суждения Дэкса того времени? Дэкс писал тогда:

«Социалистический реализм — осознание главного противоречия нашей эпохи и способ разрешить его эстетически»; «занять современную позицию в искусстве — значит исследовать рождающееся: новый гуманизм, новый человеческий мир»; «на путях социалистического реализма могут возникнуть решения самые смелые, произведения, глубоко и патетично передающие драму, которая затрагивает всех нас...» Почему сегодня многие из этих произведений, «глубоко и патетично передающих драму» современного человека, передвинуты Дэксом с почетного плацдарма новаторства на ступеньку «соглашательской» имитации? Какие ветры истории так сместили имена и факты?

В данном случае виновата не история, а историк — историк литературы, решивший подогнать развитие искусства под модную концепцию «разрыва». Андрей Платонов, автор, которого любят и охотно переводят во Франции, словно предвосхищая расцвет такой лжеконцепции, напоминал: «...есть преимущество и абсолютная ценность в том, куда человек или исторически решающая часть народа обратит фронт своих сил: если в правильно понятое будущее, то такой народ (и даже отдельный человек) останется современником, товарищем и собеседником всего человечества на все время существования последнего на земле. Забудутся лишь те, кто пытался прервать или бросил во тьму лабиринта нить Ариадны, кто хотел оставить нас амебой».

Дэкс, добровольно вступая во тьму лабиринта, пытается осветить путь новому поколению критиков. Он вовсе не ошибается, полагая, что серьезные перемены в искусстве требуют и от критика принципиально иного подхода к художественным явлениям. Законы современных взаимоотношений между исследователем и произведением полезно уточнять, научно обосновывать, претворять в практике. Многие советы автора — изучать самую категорию «литературности», то есть понимать, «как это сделано», внимательно относиться к стилю, не «перескакивая» пренебрежительно сферу языка — вызывают полное доверие. К тако-

му синтетическому взгляду всегда тяготели самые яркие литературоведческие работы и в Советском Союзе, и за рубежом. Задача нового литературоведческого синтеза, который вобрал бы и завоевания историко-литературного метода, и опыт иных аналитических направлений, почетна и трудна. Лучшие произведения XX и прошлых веков ждут нового прочтения, внимательнейшего исследовательского взгляда, проникающего в святая святых творческого процесса. Но, к сожалению, структуралистской школе «новой критики», на которую Дэкс возлагает такие надежды, это как раз и не удается. Мешает именно антиисторизм, произвольное отвлечение от порождающих книгу общественно-социальных и субъективных факторов.

Симпатии Дэкса к этому направлению критической мысли сложились, вероятно, под влиянием иных причин, чем заинтересованность сферой языка. «Новую критику» и книгу Дэкса, ей посвященную, сближает равнодушие к содержательности художественной «модели», недоверие к революционной идейности, произвольность критериев при оценке изменений, происходящих в искусстве.

Десять лет назад Дэкс советовал поставить «критику и эстетику с головы на ноги; исходить из произведений, не строить априорно по шаблонам теории литературные образцы, с которыми сравнивалось бы все написанное». Он считал необходимым «разрушить прокрустово ложе» модернистской эстетики, чтобы понять смысл истинного новаторства. Теперь он предлагает нечто диаметрально противоположное. Но у литературного процесса XX века свои законы, познанию которых поможет лишь движение вперед, а не возвращение к априорным схемам.

Т. БАЛАШОВА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ БЕХЕРА — СОВЕТСКИМ ПЕРЕВОДЧИКАМ

Совет Министров Германской Демократической Республики вынес решение о присуждении литературной премии имени Иоганнеса Р. Бехера за 1969 год двум советским поэтам-переводчикам — Л. В. Гинзбургу и В. В. Левику. Премия имени Бехера — высшая литературная награда, присуждаемая раз в два года за выдающиеся достижения в области поэтического творчества. До сих пор ею отмечались только деятели культуры ГДР. Граждане другого государства ее удостоены впервые.

Почетные грамоты и медали лауреатам были недавно вручены в Москве послом Германской Демократической Республики в СССР Хорстом Биттнером. В тексте почетной грамоты сказано, что премия имени Иоганнеса Р. Бехера «присуждается в знак признания выдающихся заслуг в области перевода поэзии Бехера, способствующих укреплению дружбы между нашими народами».

На торжественной церемонии вручения премии в посольстве ГДР в Москве присутствовали видные деятели культуры Советского Союза. Посол Хорст Биттнер обратился к собравшимся с приветственной речью, в которой он, в частности, сказал: «Я рад, что имею возможность вручить здесь, в Москве, эту высшую поэтическую премию ГДР товарищам Льву Владимировичу Гинзбургу и Вильгельму Вениаминовичу Левику. Их выдающиеся переводы произведений нашей литературы, особенно поэзии Бехера, сделали близким для советских людей творчество нашего великого поэта и революционера и способствовали углублению дружбы между нашими народами, укреплению их культурных связей и их духовному сближению.

Творческий труд в области перевода значительных произведений нашей классической и современной литературы имел и имеет неоценимое значение для развития и укрепления германо-советской дружбы. Он имел немалое значение и в годы господства фашизма, когда переводы произведений немецких писателей-антифашистов, проникнутых духом пролетарского интернационализма, давали советским людям подлинную картину жизни и борьбы их братьев по классу в Германии; он имеет немалое значение и в годы после разгрома гитлеровского фашизма».

Далее посол отметил, что этому способствовали и товарищ Левик, первым в Советском Союзе опубликовавший в 30-е годы собрание поэтических переводов из произведений Бехера, и товарищ Гинзбург своими переводами поэзии Кубы, Циммеринга и Вайнерта, своими значительными публицистическими работами последних лет, которые наглядно свидетельствуют, что германо-советская дружба последовательно превращается в кровное дело всех людей в ГДР, и, с другой стороны, на конкретных примерах разоблачают возрождение фашизма в капиталистической Западной Германии, государстве — члене НАТО.

«Награждение советских товарищей важно еще и потому,— сказал далее посол,— что оба они отмечены премией имени Бехера в связи с 20-й годовщиной ГДР, и это ясно показывает, какое значение мы придаем их работе, а тем самым — взаимным переводам литературных произведений в деле сотрудничества наших стран.

Вручая эту высокую государственную награду Германской Демократической Республики товарищам Гинзбургу и Левику, мы в то же время отмечаем заслуги руководства Союза советских писателей, которое именно в последние годы многое сделало для дальнейшего развития и укрепления нашего взаимного сотрудничества.

Творческие контакты с многонациональной советской литературой с каждым днем приобретают для нас все более важное значение. Всего несколько дней назад был согласован рабочий план 1970 года о сотрудничестве Союзов писателей наших стран, которое целиком будет проходить под знаком 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 25-летия освобождения немецкого народа от фашизма».

Переводчики В. В. Левик и Л. В. Гинзбург в ответном слове поблагодарили посла и прочли стихи Бехера в собственных переводах. Выступившие советские писатели С. В. Михалков и С. А. Баруздин отметили важное значение факта награждения советских поэтов-переводчиков премией имени Бехера в деле укрепления дружбы между ГДР и Советским Союзом.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ПЯТНАДЦАТЫЙ РОМАН КРОНИНА

Вышел в свет пятнадцатый по счету роман — «Полный карман пшеницы» — известного английского писателя Арчибальда Кронина, вот уже десять лет живущего в Швейцарии. В интервью корреспонденту американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» в связи с выходом книги Кронин, которому сейчас 73 года, вначале вспомнил о том, как он вступил в литературу. По его собственному выражению, работа над первой книгой проходила «со скрипом»...

— Написав половину, я с ужасом подумал: неужели этот бред написал я?

— Этот «бред» стал «Замком Броуди» — одной из самых популярных книг, переведенной на 21 язык,— заметил корреспондент.— По этой книге ставились спектакли в театре и на телевидении, снимались фильмы. Сейчас общий ее тираж достиг почти 5 миллионов экземпляров.

На вопрос корреспондента, кто герой его новой книги «Полный карман пшеницы», Кронин ответил, что это — молодой врач.

— А его имя, случайно, не Лоуренс Кэррол?

— Да. Но это не случайность,— заметил Кронин.— «Полный карман пшеницы» — продолжение «Песни о шестипенсовике». С тех пор этот герой возмужал, он сумел и разобраться в самом себе, и лучше понять жизнь... Думаю, вы найдете книгу вполне современной, как принято теперь говорить — «то, что надо».

— Что вы считаете главным в работе над романом? — спросил корреспондент.

— Прежде всего, книга должна «выкристаллизоваться». Основное — четкость характеров, от них зависит успех или провал книги... Хороший роман существует написанным в голове до того, как писатель берется за перо,— ответил Кронин.

— Каковы ваши творческие планы?

— Как всякий пожилой писатель, я пишу автобиографию.

«СЕРЕБРЯНАЯ КИСТОЧКА» — СПУСТЯ СОРОК ЛЕТ

После сорокалетнего перерыва на сцене лондонского театра «Олдвич» силами «Королевского Шекспировского театра» осуществлена постановка антивоенной пьесы великого ирландского драматурга Шона О'Кейси «Серебряная кисточка», с одобрением встреченная прогрессивной печатью и критикой.

Критик Джек Сазерлэнд писал в газете «Морнинг стар», что О'Кейси обратился в этой пьесе к теме трагедии первой мировой войны, осудив уничтожение многих миллионов людей. «Он создал «Серебряную кисточку» в 1928 году, когда ни литература, ни драматургия в Англии еще не осмеливались дать определение сущности этой войны. О'Кейси сделал это с необычайной смелостью и силой»,— отмечал критик.

Главный герой пьесы, как известно, дублинский рабочий Гарри Хиган, искалеченный войной,— образ безусловно собирательный. Роль

Хелен Мирен в роли Сюзи Моникэн в спектакле «Серебряная кисточка» на сцене театра «Олдвич».

(Газета «Морнинг стар»)

Гарри талантливо, по мнению критиков, исполняет Ричард Мур. Столь же высоко оценивается игра Пейшенс Коллиер в роли матери Гарри. Джек Сазерлэнд высказал в «Морнинг стар» мнение, что работа режиссера-постановщика Дэвида Джоунса «заслуживает самых горячих похвал».

БОЛГАРИЯ

«КНИГА НА СЛУЖБЕ МИРА И ПРОГРЕССА»

Под таким девизом в Софии проходила международная выставка книги, в которой приняли участие издательства 18 стран. Содержание и оформление выставки, по отзывам обозревателей болгарской печати, в значительной степени определялось двумя большими историческими событиями: 100-летием со дня рождения В. И. Ленина и 25-летием социалистической революции в Болгарии. Существенное место в экспозиции занимал также раздел, посвященный 1100-летию создания славянской письменности.

45 книготорговых и издательских фирм, принявших участие в выставке, показали продукцию более 450 издательств. Советский Союз был представлен объединением «Международная книга», ГДР — внешнеторговым предприятием «Дейчер бухэкспорт», ФРГ — фирмами «Кубон Загнер» и «Гросхаус Вегнер», Венгрия — внешнеторговым предприятием «Культура», Польша — «Арс Полона» и «Рух», Румыния — «Картимекс», Чехословакия — «Артия», США — фирмой «Макгроу хилл», Англия — фирмой «Колетс» и издательствами «Тренсис хилл» и «Кэмбридж юниверсити пресс», Франция — издательствами «Ларусс», «Кие», «Фламмарион», «Дюно», «Атис»; в выставке участвовали также фирмы Бельгии, Голландии, Италии, Швейцарии и др.

Болгарская печать писала об успехе на выставке книг социалистических стран. Болгарские книги, в частности, как отмечали обозреватели, имеют спрос в социалистических странах, а также в США, Канаде, Аргентине, Чили, ФРГ, Пакистане, арабских странах и т. д.

ОБ ИСКУССТВЕ ПЕРЕВОДА

Издательство «Народна култура» выпустило книгу «Искусство перевода» — первый в Болгарии сборник статей по теории и практике переводческой деятельности. «О теории перевода существует значительная литература,—пишет во вступительной статье главный редактор сборника член-корреспондент Болгарской Академии наук профессор Емил Георгиев.— Однако у нас эта литература бедна. Необходимо, чтобы она заняла соответствующее место в нашем литературном творчестве и вошла в быт наших переводчиков и литераторов».

Задача вышедшей книги, как сказано в предисловии,— уяснить и сформулировать основные положения теории и практики перевода. В ней объединены усилия языковедов, литературоведов и переводчиков, стремящихся к усовершенствованию искусства перевода.

Авторы статей сборника рассматривают в осиовном проблемы художественного перевода литературных произведений на болгарский язык (Ив. Васева «Болгарские переводы «Анны Карениной», С. Флорин «О переводе с английского», Ст. Станчев «П. Славейков как переводчик немецких поэтов» и др.). Значительное место в то же время отведено и анализу перевода произведений болгарских современных писателей и классиков на русский язык. Р. Макреева-Василева в статье «Поэзия Е. Багряны на русском языке» высоко оценивает переводы стихотворений Елисаветы Багряны, сделанные Анной Ахматовой. В статье «Поэзия Яворова в русском переводе» Е. Метева и Ив. Васева анализируют сборник стихотворений П. К. Яворова «Избранное», вышедший в Москве в 1958 году.

Авторы сборника «Искусство перевода» затрагивают множество других важных вопросов теории и практики перевода. О непереводимом в текстах пишут С. И. Влахов и С. Флорин, о степени точности перевода — А. Людсканов, количественному анализу перевода посвящает свою статью Св. Иванчев. Переводчик и его словарь, автор и переводчик, перевод и редактор, индивидуальный стиль и перевод — вот далеко не полный перечень вопросов, рассматриваемых в сборнике.

Редколлегия сборника выразила надежду, что вышедшая книга не останется единственной в своем роде, что за ней последуют другие подобные издания, которые будут содержать разработки теоретических положений и суммировать переводческую практику.

О героях антифашистской борьбы рассказывает новый фильм «Восьмой», получивший на фестивале болгарских фильмов в Варне основную премию — «Золотую розу». Главную роль борца-антифашиста исполняет заслуженный артист Георгий Георгиев (на снимке).

(Еженедельник «Народна култура»)

ВЕНГРИЯ

ОПЕРА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

У Будапештской оперы в последние годы сложилась традиция — в каждом театральном сезоне давать премьеру новой венгерской оперы. Любители музыки помнят успех одноактной оперы «C'est la guerre» Эми-

Эндре Ютё в роли Раскольникова.

ля Петровича, а также опер молодого композитора Шандора Соколаи «Кровавая свадьба» и «Гамлет» (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 2, 1965; № 8, 1965; № 4, 1968 и № 3, 1969).

И вот — еще одна премьера. Эмиль Петрович написал оперу «Преступление и наказание», в основу либретто (автор Дюла Маар) положен одноименный роман Ф. М Достоевского.

«Петрович создал психологическую драму,— пишет музыкальный критик Имре Фабиан в еженедельнике «Фильм-синхаз-мюжика», — его опера, по существу, представляет собой огромный монолог, повесть о внутренних терзаниях Раскольникова». Критик отмечает «мастерство композитора в построении монолога и эпизодических сцен, которые не только способствуют достижению музыкальных контрастов, но и обогащают образ главного героя».

Музыкальные критики пишут также о своего рода «кинематографичности» либретто и динамики самой оперы. Это подтвердил Эмиль Петрович, который сказал в интервью еженедельнику «Фильм-синхаз-мюжика»: «Я убежден, что киноискусство во многих отношениях родственно оперному искусству, хотя между ними большая «возрастная» разница. Понятие синхронности в опере сегодня ассоциируется лишь с кино. А ведь синхронность, то есть полифонию на сцене, когда необходимо, например, выразить душевное состояние нескольких персонажей одновременно, открыл и впервые применил еще Монтеверди. Композитор может прекрасно пользоваться также техникой плана, ведь музыка, как и кинокамера, способна сосредоточить внимание на определенной фигуре или ситуации, давать их, так сказать, крупным планом. Порой голос солиста, играющего в моей опере ведущую роль, слышится в записи на магнитофон, особенно когда мысли главного героя противоречат ходу событий. Этот голос, выражающий сомнения и внутреннюю борьбу Раскольникова, повторяется несколько раз, отражая сложный и противоречивый характер героя».

Опера «Преступление и наказание» в постановке режиссера Андраша Мико заслужила высокую оценку критики. Театральные обозреватели отмечают, что эта постановка, наряду с «Кровавой свадьбой»,— лучшая работа режиссера.

По сложившейся традиции, исполнение ролей в Будапештской опере дублируется: партию Раскольникова поочередно исполняют Эндре Ютё и Ференц Бегани, партию Сони — Эржебет Хази и Мария Судлик.

ИСКУССТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Как повлияет техническая революция наших дней на судьбу и роль искусства, угрожает ли ему застой и деградация или, наоборот, перед ним открываются неограниченные возможности, возрастает сила его воздействия на человека, на формирование его вкусов, взглядов, интересов? Поискам ответов на эти вопросы была посвящена дискуссия в еженедельнике «Фильм-синхазмюжика», в которой приняли участие писатели, работники театра, кино, ученые, социологи.

Одно из наиболее аргументированных высказываний, как отмечается в редакционной статье, принадлежит сотруднику Научно-исследовательского института театра и кино Беле Тароди-Надю, который обработал и обобщил более ста тысяч интервью с представителями разных профессий о влиянии искусства на массы. Он считает, что роль искус-

Сцена из оперы «Преступление и наказание».
(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

ства в условиях научно-технической революции и демографических сдвигов значительно возрастает. «В 2000 году,— сказал Тароди-Надь,— информацией придется обеспечивать значительно больше людей (население земного шара к тому времени удвоится), и, кроме того,— более квалифицированной информацией. Прежний монополист в области распространения знаний и культуры, школа, не в состоянии одна справиться с такой грандиозной задачей. Все возрастающую часть новейших знаний люди будут приобретать путем так называемого «общественного самовоспитания», через посредство систем дальней связи и искусства».

Участники дискуссии говорили о важном значении телевидения в распространении культурных ценностей. Главный режиссер венгерского телевидения Миклош Синетар подчеркнул, что телевидение в наши дни — не только техническое средство передачи произведений, но и само — одно из видов искусства.

Благодаря новейшим техническим достижениям, сказал профессор Мате Майор, произведения изобразительного искусства, сохраняя свои оригинальные художественные качества, стали доступны широким слоям населения.

Главный режиссер Театра имени Мадача Отто Адам в свою очередь выразил тревогу в связи с усиливающейся тенденцией нагнетания театральных эффектов с помощью современных технических средств. «В сильных импульсах нуждаются только слабые,— заявил он.— Насильственное нагнетание эффектов снижает восприимчивость людей. В этой стимуляционной оргии, особенно процветающей на Западе, искусство, театр не нуждаются».

Участники дискуссии пришли к единому мнению о том, что в эпоху стремительного развития науки и техники роль искусства возрастает, его воспитательные и познавательные функции усиливаются.

ГДР

В ГДР создан телевизионный фильм в четырех частях по роману Мартина Фиртеля «Санкт Урбан» (см. «Иностранную литературу» №№ 9 и 11, 1969), удостоенному премии Свободных немецких профсоюзов. Рецензенты дают высокую оценку игре актеров, исполняющих главные роли: Гюнтера Наумана, Юргена Рейтера, Ангелики Валлер, Лиззи Темпельхоф. На снимке: кадр из фильма.

(Еженедельник «Зонтаг»)

РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ ОБЫКНОВЕННЫХ

Сборник рассказов Вернера Бройнига под названием «Обыкновенные люди» удостоен премии Свободных немецких профсоюзов.

Сюжеты рассказов Бройнига взяты непосредственно из жизни, отмечает рецензент журнала «НДЛ» Уве Кант. Главное, к чему стремился автор,— рассказать о людях, в которых, на первый взгляд, нет ничего героического, о людях нашей эпохи — и в этом заключается успех его замысла.

Рассказ, давший название сборнику, и рассказ «Прекрасный месяц август», по мнению рецензента,— лучшие из опубликованных здесь и очень близки друг другу: в них частично действуют одни и те же персонажи. Первый рассказ — о любви, второй — о жизни «обыкновенной» семьи.

Все рассказы Бройнига, пишет далее рецензент, объединены писательскими раздумьями о жизни, о ее смысле, о людях. «Что остается, когда умирает рабочий,— думает герой рассказа «Консервация» Урбан, только что похоронивший своего старого друга.— Работа, его работа».

«Главное не в том, чтобы выделяться среди людей,— говорит герой другого рассказа Трумпетер,— главное в том, чтобы создавать для других больше возможностей жить разумно, принимать разумные решения, больше возможностей исправлять то, что было сделано неправильно».

ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ ГЕЙНЕ

Министр культуры ГДР Клаус Гизи вручил премии имени Гейне за 1969 год. Их удостоены писатель Гельмут Гауптман, редактор журнала «Нейе дейче литератур» (за эссе и репортажи), и поэт Ио Шульц (за сборник «Между весной и морозом»).

«Дух Гейне живет в нашем искусстве социалистического гуманизма,— сказал в своей речи во время торжественной церемонии Ио Шульц.— Он живет в нашем свободном государстве, где писатели продолжают его дело».

ФРГ

«ГЛАДИАТОРАМ XX ВЕКА» ПОСВЯЩАЕТСЯ

Недавно вышел роман «Выброшенный» западногерманского писателя, члена «группы-61» Класа Эверта Эфервина, посвященный закулисным махинациям вокруг профессионального футбола в ФРГ.

«Нередко футболистов-профессионалов называют у нас «гладиаторами XX века»,— пишет рецензент газеты «Дейче фольксцейтунг».— И хотя побежденного не предают немедленной смерти, как некогда в Древнем Риме, однако нередко на карту ставится судьба отдельных игроков и команд. Лишь считанные «звезды» более или менее длительно выдерживают суровую атмосферу коммерческого футбола. Большинство же, не выдержав потрясений, в один прекрасный день исчезает с футбольного небосклона, растворившись в людском океане. И хорошо еще, если померкнувшая «звезда» успела кое-что отложить на черный день... Тренеры, меценаты и боссы футбольных клубов пускаются во все тяжкие, чтобы выстоять не только в спортивных поединках, но и — что для них еще важнее — в закулисных сражениях, где играют без правил... У кого больше денег, тот и победитель. Босс профессиональной футбольной команды ничем не отличается от древнеримского рабовладельца. Аферы в мире коммерческого футбола вынуждены рассматривать суды.

Эта бесславная область спорта,— пишет далее рецензент,— до сих пор едва удостаивалась внимания литераторов. Тем значительнее заслуга Класа Эверта Эфервина, показавшего в своей книге драматическую судьбу молодого футболиста Тео Вебера, который в начале спортивной карьеры был «яблоком раздора» нескольких клубов, а в конце — оказался выброшенным за борт федеральной лигой футбола».

ДАНИЯ

ЭКСПЕРТЫ ИЗУЧАЮТ СКАНДИНАВСКУЮ КУЛЬТУРУ

В Ведбеке близ Копенгагена состоялось совещание экспертов, посвященное изучению скандинавской культуры. Задача 17 участников совещания (историков, лингвистов, социологов, архитекторов, деятелей кино и театра), в соответствии с резолюцией XV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состояла в разработке программы углубленного изучения культуры Скандинавских стран от эпохи викингов до наших дней.

Участники совещания обменялись мнениями по двум основным темам: история Скандинавских стран и их нынешнее культурное развитие. Было обсуждено и принято несколько предложений относительно проведения предстоящих исследований и публикации их результатов. Предусматривается составление каталога новейших исследований о вкладе викингов в искусство мореплавания, а также о характере влияния их набегов на развитие общественной и культурной жизни соседних стран. Намечается опубликование собрания арабских и персидских текстов (IX—XII вв.), в которых упоминаются северные страны. Большое внимание будет уделено методам распространения просвещения, литературы и искусства в Скандинавских странах с их разбросанным населением до развития современного транспорта и связи.

Проблемы современной Скандинавии будут изучаться специалистами по самым различным отраслям знания: историками, искусствоведами, психологами, социологами. Вопросы создания и использования культурных ценностей в настоящее время будут изучаться с учетом противоречивых оценок этих процессов в печати, а также с учетом общественного мнения. В числе этих вопросов будут: роль кино и телевидения в системе школьного образования; самодеятельный театр, его исторические традиции и общественное значение в условиях современности; развитие профессионального театра и тенденция привлечения зрителей и актеров к участию в драматургии. Среди прочих — исследование скандинавского стиля в архитектуре, градостроительстве и внутреннем оформлении зданий.

ИНДИЯ

ПЬЕСА О В. И. ЛЕНИНЕ

В Калькутте с успехом прошла премьера пьесы писательницы Ниведиты Дас «Октябрьская революция и Ленин». В ее основу положен советский фильм «Ленин в Октябре» и книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Как отметила печать, впервые на бенгальской сцене была осуществлена постановка спектакля, в котором показаны исторические события Октябрьской революции, создан образ ее вождя В. И. Ленина.

«Над пьесой мы работали два года, — рассказал корреспондентам режиссер и постановщик спектакля Бирешь Муккерджи. — Это была интересная, но трудная работа. Мы хорошо понимали ту ответственность и тот риск, которые связаны с воплощением на сцене такой эпической темы, как Октябрьская революция, и особенно образа В. И. Ленина, поэтому старались использовать все, что могло бы помочь нам в работе, — просмотрели все демонстрировавшиеся в Индии советские кинофильмы о бурных днях 1917 года, прочитали много исторических книг».

Исполнитель роли В. И. Ленина актер Судхир Дей

«Кто был Галиб?» — так называется опера, которая была поставлена в «Дели арт тиэтр» режиссером Шейлой Бхатия в связи с празднованием, по решению ЮНЕСКО, 100-летия со дня рождения выдающегося индийского поэта Мирзы Галиба. В главной роли — Мохамад Айяк. На снимках: сцены из оперы.

(Фото Вирендры Кумара)

взволнованно сказал после премьеры: «Я еще никогда за всю свою жизнь не переживал такого подъема, как сегодня».

«ПИСАТЕЛЬ ОБЯЗАН БЫТЬ БОРЦОМ»

Около пятидесяти писателей и ученых собрались в Дели на симпозиум «Общинно-религиозная вражда и проблемы национального единства», созванный Ассоциацией прогрессивных писателей Индии. Еженедельник «Нью эйдж» напечатал отчет об этом форуме писателя и общественного деятеля Саджада Захира.

Открывая симпозиум, писатель Мулк Радж Ананд говорил об отрицательных явлениях в социальной, политической и экономической жизни современной Индии. Он резко осудил «коммуналистскую» политику, поддерживаемую сторонниками партий Джан Санг и Сватантра (общинно-религиозные столкновения летом 1969 года в Ахмадабаде, Бомбее и других местах, вызванные этим курсом, привели к человеческим жертвам), говорил об оскорбительном отношении к неприкасаемым, о подстрекательских действиях реакционных организаций Шив Сена, вызвавших массовые волнения в 1967—1968 годах в связи с языковой проблемой, в результате чего погибло множество людей. Ананд рассказал о чудовищной нищете миллионов безземельных крестьян, о бедственном положении подавляющей части населения Калькутты и Бомбея, о растущей безработице среди интеллигенции.

«Только подлинный гуманизм и демократия,— заявил писатель,— в сочетании с коренными экономическими переменами могут привести страну на путь социалистического переустройства». Подчеркнув огромную роль в этом процессе литературы, кино и театра, Мулк Радж Ананд призвал индийскую интеллигенцию направить свои усилия на достижение этой благородной цели.

Выступивший затем видный историк, социолог и писатель Нихар Ранджан Рай заявил, что отнюдь не считает гуманизм панацеей от всех бед страны. Одна добрая воля, по мнению Рая, не может разрешить классовых противоречий, ликвидировать причины классовых столкновений или изменить условия жизни людей. Долг творческой интеллигенции, и в первую очередь писателя,— дать глубокий анализ действительного положения вещей, воспитывать своими произведениями людей. «Мы живем в такое время, когда каждый писатель обязан быть борцом»,— сказал в заключение Рай.

Писатель Манматх Натх Гупта сосредоточил внимание на общинно-религиозной проблеме, которую, по его убеждению, нельзя сегодня решать старыми методами. «Вред религии прекрасно понимал великий индийский классик Прем Чанд, в романах которого беспо-

щадно разоблачаются лживость, лицемерие и продажность ревнителей культа»,— сказал Гупта. К сожалению, сегодня еще встречаются в Индии писатели, чьи произведения проповедуют расистские теории, сеют вражду между людьми, продолжал оратор. Долг прогрессивного писателя — бороться против вредного влияния таких книг. По примеру СССР и других социалистических стран, терпеливо проводя антирелигиозную пропаганду как среди индусов, так и среди мусульман, возможно прийти к решению этой сложной проблемы.

Была принята резолюция по основным вопросам, обсуждавшимся на симпозиуме, и заявление о современном политическом положении в стране. Заявление призывает творческую интеллигенцию к поддержке прогрессивной политики Индиры Ганди в борьбе против реакционных сил, требует, в частности, запрещения всех политических партий, проповедующих общинно-религиозную вражду, предоставления равных демократических прав национальным меньшинствам, мобилизации под контролем правительства всех средств массовой информации для достижения этих целей.

ИТАЛИЯ

ХУДОЖНИКИ БРОСАЮТ ВЫЗОВ МАФИИ

В местечке Траппето недалеко от Партинико на Сицилии находится Центр по изучению планирования южных районов Италии, созданный по инициативе известного писателя и борца за развитие итальянского юга Данило Дольчи. Недавно там состоялось торжественное открытие большой настенной росписи, выполненной художниками-муралистами Этторе Де Кончилисом и Рокко Фальчано. Роспись, названной «Борьба справедливости и добра со злом», заняты три стены большого зала.

Зло изображает фигура, символизирующая власть капитала, тиранию, мафию. Вокруг нее — фигуры поменьше: политические деятели, священники, спекулянты, гангстеры,— те, кого в народе называют «мафиози». Любопытно, что их лица — портреты реальных людей, тех, против кого ведут борьбу прогрессивные силы Сицилии.

Фигура, символизирующая зло, из стенной росписи в Траппето.

(Газета «Унита»)

На противоположной стене — триумф жизни над смертью, разума над безумием. Между ними находится роспись, изображающая единоборство добра со злом.

Художники работали над росписью шесть месяцев, не требуя вознаграждения. Их работа привлекла внимание общественности и рассматривается ею как мужественный акт. «Символично,— писал корреспондент газеты «Унита»,— что стенная роспись, изображающая торжество добра над злом, появилась именно на Сицилии, где некогда жители безропотно сносили бесчинства мафии. Теперь здешние крестьяне и батраки ведут самую активную борьбу за свои права и нередко добиваются успеха».

НЕОФАШИСТЫ СПАСАЮТСЯ БЕГСТВОМ...

Одно культурное событие в Италии недавно превратилось в событие политическое. Театральная труппа «Компанья делла коммедиа» поставила на сцене театра Бранкаччо пьесу Марко Мариани для подростков «Четвертый день весны», повествующую о борьбе бойцов Сопротивления против фашизма и о событиях, связанных с одним из преступлений фашизма — расстрелом 335 мирных жителей в Ардеатинских пещерах. Как сообщает печать, неофашисты попыталнсь помешать представлению, ворвавшнсь в зал театра. Однако провокация не удалась: молодые зрители, не дожидаясь прихода полиции, обратили неофашистов в бегство.

Корреспондент газеты «Унита» беседовал с юными зрителями после спектакля. Молодые итальянцы, учащиеся школ и лицеев, сказали, что эта пьеса помогает им лучше понять опасность неофашизма, разобраться в сложных явлениях новейшей истории страны.

«Спектакль «Четвертый день весны»,— писал корреспондент,— особенно важен потому, что воссоздает события, о которых ничего не говорится в школьных учебниках истории, а если и говорится, то с искажением фактов».

ЙЕМЕН

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Марокканский еженедельник «Аль-алям аль-усбуи» поместил обзор, посвященный состоянию кинематографии в арабских странах. Отдельные статьи этого обзора рассказывают о киноискусстве ОАР, Алжира, Туниса, Ирака, Иордании и Сирии, в частности, о фильмах, показанных этими странами на VI Международном кинофестивале в Москве.

Обширная статья посвящена Йемену — стране, которая пока только приступает к созданию своей кинематографии. До антимонархической революции 1962 г. в Йемене кино находилось под запретом; смотреть фильмы было привилегией короля и его приближенных. Ныне Йеменская республика ввозит ежегодно около 150 фильмов из ОАР, Ливана, Индии, Советского Союза, Италии и других стран, которые демонстрируются в 23 кинотеатрах страны.

До сих пор в Йемене не выпущено ни одного собственного фильма. Однако, как сообщает марокканский еженедельник, йеменский деятель кино Абд аль-Кафи Сафьян, возглавляющий кинопрокатную фирму, готовится к съемкам первого национального фильма под названием «Я была врачом в Йемене». В основу сценария фильма положена одноименная книга француженки Клод Файенн, которая шесть лет проработала врачом в дореволюционном Йемене.

КАМБОДЖА

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В ПНОМПЕНЕ

В столице Камбоджи прошел второй международный кинофестиваль. На конкурс были представлены художественные полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы. Среди стран-участниц помимо Камбоджи были Республика Южный Вьетнам, Чехословакия, Советский Союз, Франция, США, Япония и другие.

Международное жюри определило победителей конкурса. Главный приз фестиваля — «Золотая Апсара» (Апсара — легендарная танцовщица, персонаж камбоджийского фольклора.— *Прим. ред.*) был присужден камбоджийскому художественному цветному фильму «Сумерки», поставленному принцем Нородомом Сиануком. «Золотую Апсару» за лучший короткометражный фильм получила картина кинематографистов Республики Южный Вьетнам «Искусство детям».

Чехословацкий фильм «Тринадцатая комната» был удостоен «Серебряной Апсары».

Специальной премией жюри — «Золотой башней Байона» (изображение храма Байон, шедевра древней кхмерской архитектуры) отмечен советский полнометражный художественный фильм «Аннычка». Советский короткометражный фильм «Язык животных», показанный вне конкурса, отмечен серебряным кубком.

КАНАДА

«Фестивал-тиэтр» осуществил в Стратфорде постановку «Алхимика» Вена Джонсона, современника Шекспира. Это — комедия о трех шарлатанах, дурачащих невежественных людей посулами превратить кухонную посуду в золотую и серебряную утварь. Режиссер спектакля Жан Гаскон писал в театральной программе, что пьеса весьма актуальна сейчас, поскольку представляет собой сатиру на общество, «обуреваемое эпидемической страстью к деньгам и к власти». На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Кенздиен трибюн»)

КАМЕРУН

ПЬЕСА О МАРТИНЕ-ПАУЛЕ САМБЕ

Событием в культурной жизни страны называет местная печать историческую драму камерунского журналиста Абеля Зомо Бема «Мартин-Пауль Самба, смерть за Камерун». Пьеса воскрешает мрачные дни немецкой колонизации Камеруна и повествует о том, как 8 августа 1914 года по приказу немецкого губернатора по обвинению в подстрекательстве к мятежу был расстрелян народный герой Мартин-Пауль Самба.

Произведением «огромной важности и большого гражданского звучания» называет пьесу корреспондент местной газеты «Юните». «Драма Абеля Зомо,— подчеркивает он,— появилась в острой обстановке, когда апартеид свирепствует в Южной Африке, когда клика Яна Смита пытается создать новый очаг расизма в Родезии, а в Анголе и Мозамбике португальцы угнетают наших братьев».

КУБА

«ЛЕНИН ИН МЕМОРИАМ»

К столетию со дня рождения В. И. Ленина Национальной библиотекой

имени Хосе Марти в Гаване подготовлен большой библиографический труд «Ленин ин мемориам» («Памяти Ленина»). В нем собраны подробнейшие сведения о публикациях произведений Ленина на Кубе, а также о распространении там ленинских работ, изданных за границей начиная с 1917 года. Книга «Ленин ин мемориам» включает наименования и библиографические данные разнообразных материалов о Ленине, опубликованных на Кубе как в периодических, так и в непериодических изданиях, выходивших до и после победы кубинской революции. Отдельные главы этого труда посвящены темам: «Ленин в произведениях кубинских прозаиков и поэтов», «Ленин в кубинской живописи и скульптуре», «Ленин в кубинской филателии», «Ленин в кино на Кубе» и т. д.

Данные, включенные в этот библиографический труд, были собраны как в Национальной библиотеке, так и в Национальном архиве, в архивах Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы и в некоторых частных собраниях.

В приложении публикуется информация о симпозиумах, выставках, конкурсах и других мероприятиях, проводимых на Кубе в связи с ленинским юбилеем.

ЛИВАН

К ЮБИЛЕЮ АР-РЕЙХАНИ

Общественность Ливана готовится отметить тридцатилетие со дня смерти классика новой арабской литературы Амина ар-Рейхани (1876—1940).

Уроженец Ливана, Амин ар-Рейхани, прозванный «философом из аль-Фурейки», сыграл значительную роль в возрождении арабской культуры и арабского литературного языка в начале нынешнего столетия. Он стал основоположником новых жанров в арабской литературе — стихотворений в прозе и эссе. Ар-Рейхани был поборником самостоятельного развития арабских народов, осуждая, однако, проявления национальной ограниченности. Писатель враждебно относился к капиталистической «цивилизации», с которой он хорошо познакомился в США, куда эмигрировал с семьей двенадцатилетним мальчиком.

Произведения ар-Рейхани переводились на многие языки мира. Он был одним из первых арабских литераторов, с которым познакомились читатели России: в 1917 г., накануне Октябрьской революции, в Петрограде вышли его «Избранные сочинения» в переводе известного востоковеда И. Ю. Крачковского.

К юбилею писателя ливанское издательство «Дар ар-Рейхани» («Дом ар-Рейхани») выпустило новое издание его повести «Погонщик мулов и священник», впервые опубликованной в Нью-Йорке в 1904 г., а также — повторно — книгу ар-Рейхани «Свет Андалусии», представляющую собой заключительную часть его путевых очерков о Марокко, под названием «Дальний Магриб».

МАРОККО

«ПУТЕШЕСТВИЯ ИБН БАТТУТЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

По сообщениям печати, министерство по делам молодежи и спорта приступило к изданию серии книг для детей под названием «Детская историческая серия».

Недавно в этой серии вышла книга «Путешествия Ибн Баттуты». Уроженец Марокко, Ибн Баттута, живший в XIV веке, был крупнейшим арабским путешественником. Он побывал почти во всех странах мира, где было распространено мусульманство,— от Северной Африки и Гранадского эмирата в Испании до Индии и Малайского архипелага. Ибн Баттута посетил также среди других стран Крым, причерноморские и волжские степи, которые входили тогда во владения золотоордынского хана Узбека, а также Бухару и Самарканд. Занимательное описание этих путешествий, записанное со слов Ибн Баттуты, переведено на многие языки мира.

НОРВЕГИЯ

СИМПТОМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИЗИСА

В норвежской прессе все чаще встречается выражение «литературный кризис». Один из наиболее тревожных его симптомов, как пишут литературные обозреватели, состоит в том, что с каждым годом в стране издается все меньше художественных произведений. Сейчас наибольшим спросом у читателей пользуется специальная литература, а также художественные произведения зарубежных авторов. Соответственно увеличился выпуск переводной литературы.

Сложившемуся положению находят разные объяснения. Одни считают, что современный читатель вообще «охладел» к литературе, так как в его быт прочно вошли кино, радио, телевидение. Другие, видимо не без оснований, говорят о том, что многие норвежские писатели, в отличие от своих знаменитых предшественников, ушли от реальной действительности в мир фантазии и пустого сочинительства, создавая литературу для «элиты», неприемлемую для массового читателя.

Между тем, как отмечают критики, удел писателя в стране не так-то легок. «Быть писателем в Норвегии — значит столкнуться с целым рядом проблем»,—писал обозреватель газеты «Дагбладет». Среди этих проблем — отсутствие контакта с читателем, сложности в деле сотрудничества с учебно - просветительными учреждениями, жалкие гонорары.

Критик Гюри Тудаль писал, что одно из крупнейших издательств сейчас выпускает практически одну переводную литературу. Немалую долю ответственности за создавшееся положение, по его мнению, несут и

ПОЛЬША

Как уже сообщалось в печати, в Польше состоялось подведение итогов национального конкурса на лучший плакат к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Первую премию получил воспроизводимый здесь плакат Якуба Эроля и Павла Ударовецкого из Варшавы.

критики, разделенные на группы и подчас безответственно восхваляющие одних писателей и поносящие других.

«Капиталистическая система воспитывает в людях лишь жажду к материальному обогащению и плотским удовольствиям и не заботится об обеспечении грудящихся духовной пищей,—заявил писатель Гюннар Люндэ.— Отсюда — серая, «бестемпераментная» подача литературы в основных средствах информации — в печати, на радио и телевидении. Плохо обстоит дело и с постановкой изучения литературы в школе».

Газета «Арбейдербладет» приводит в пример одну из «новинок» норвежского книжного рынка — сборник рассказов «Моя жизнь» с многообещающим подзаголовком: «Рассказы, которые касаются нас всех». Разврат, кровосмешение, садизм — вот «главные темы» этих «произведений».

Подобные издания, писал рецензент «Арбейдербладет», свидетельствуют о наличии серьезных кризисных явлений в современной норвежской литературе.

ОАР

ЛУЧШИЙ ЕГИПЕТСКИЙ РОМАН

Египетский клуб новеллы организовал конкурс на лучшее произведение в жанре романа. Первое место на конкурсе, как сообщает журнал «Аль-адиб», занял роман «Дни без страха» начинающей писательницы Азми Лабиб Ахмад. Действие романа происходит во время тройственной агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта в 1956 году. Роман будет вскоре опубликован Государственным издательством.

«БИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ»: ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ

Издательство польского агентства «Интерпресс» подготовило к выпуску документальную книгу краковского журналиста Яна Адамчевского — «Ленин в Польше». Это своего рода «биографический репортаж» о 1912 — 1914 годах, когда В. И. Ленин, находясь в эмиграции, переехал поближе к русской границе. Ленин предстает в этой книге как великий вождь революции и мыслитель. В ней приведены воспоминания людей, встречавшихся с Ильичем, фрагменты из научных работ о деятельности вождя мирового пролетариата в те годы».

В процессе работы над книгой Ян Адамчевский неоднократно бывал в Советском Союзе, консультировался с сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Немало

автор ездил и по родной стране, собирая материалы для главы книги о живом воплощении ленинских идей в Народной Польше. В книге содержится информация о музеях В. И. Ленина в Варшаве, Кракове, Поронине и Белом Дунайце.

СЪЕЗД МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Кельцах прошел Всепольский съезд молодых писателей. В интервью для печати член президиума Союза польских писателей Юзеф Ленарт рассказал: «На съезде шел серьезный разговор о творчестве писателей всех поколений. В докладах и прениях подчеркивалось, что произведения молодых писателей составляют неотъемлемую часть литературы в целом. Были затронуты творческие и практические вопросы труда писателя, проблема героя в польской литературе за минувшие 25 лет, а также вопросы ответственности писателя перед обществом. В прениях основное место заняли вопросы идеологии, общественного призвания литературы, ее роли в жизни народа. Молодые писатели стремятся быть активными участниками всех важнейших событий в стране. Об этом говорили почти все выступавшие».

Далее Ленарт рассказал о литературной молодежи разных польских городов: «По-моему, в первую очередь нужно отметить молодых писателей Вроцлава, сотрудничающих в университетском журнале «Агора». Эта группа молодых литераторов проявляет много творческой изобретательности, очень энергична... Не менее деятельны краковяне, а также варшавяне. Абстрагируясь от «географии», хотелось бы отметить наиболее интересные темы, разрабатываемые писателями молодого поколения. В первую очередь следует назвать тему, связанную с сельской проблематикой, рожденную огромным интересом к народной культуре, миграционным процессам, к людям, вышедшим из деревни, но еще не «вросшим» в город. Здесь следует назвать цикл Эрнеста Брыля «Отец», «Тетка», «Можжевельник», романы Юлиана Кавальца «К земле приписанный» и «Танцующий ястреб» (опубликованы в «Иностранной литературе» № 6, 1964 и №№ 1—2, 1969), повесть Тадеуша Новака «А как будешь королем, а как палачом», а также произведения более молодых прозаиков: Эдварда Редлинского — «Письма из Рабарбара», Веслава Мысливского — «Голый сад» и Ежи Ваксманского — «Черная голубика».

Я думаю, что это поколение писателей необычайно богато талантами,— сказал в заключение Ленарт.— Среди молодых писателей наблюдается тяготение к традиционным литературным формам. Они не обращаются ни к новым художественным формам, ни к «модернизированным» языковым средствам для описания новых явлений. Думаю, что молодые писатели успешно справятся с этими трудностями, найдут новые формы, введут в литературу нового героя. Я надеюсь также, что материал для своих произведений они будут черпать не из книг, а из собственного жизненного опыта, что они окончательно изживут все еще бытующее кое-где мнение, будто «голые» знания — источник литературы, и примут за основу то, что единственный ее источник — действительность. И если молодые писатели справятся с этими задачами, наша литература обогатится произведениями, которые сыграют важную роль в формировании социалистического сознания народа».

В ЕДИНОМ СТРОЮ

В Варшавском издательстве министерства национальной обороны вышла книга «В едином строю», подготовленная к печати совместно научными сотрудниками Института истории партии при ЦК Коммунистической партии Белоруссии, Института истории Академии наук БССР и Варшавского военно-исторического института. В ней собраны воспоминания советских и польских патриотов — бывших партизан и подпольщиков, совместно сражавшихся против гитлеровцев в Белоруссии. Воспоминания эти воссоздают атмосферу подпольной борьбы, рассказывают о героизме и самопожертвовании, о боевой дружбе поляков и белорусов, явившейся залогом победы.

Во вступлении к книге приведены данные о широком размахе движения Сопротивления и партизанской борьбы в Белоруссии. В годы войны почти 450 000 человек оказывали вооруженное сопротивление гитлеровской армии. За три года борьбы в тылу врага, сообщается во вступлении, с июня 1941 года по июль 1944 года, белорусские партизаны убили и ранили более полумиллиона гитлеровцев, вывели из строя много боевой техники. Это была ощутимая помощь Советской Армии.

В белорусских партизанских отрядах боролось свыше 3000 поляков. Подчас они составляли самостоятельные национальные взводы и даже — отряды.

В книгу вошли воспоминания поляков — Влодзимежа Бартошука, бывшего партизана специальной группы, действовавшей в районе Барановичей и Белостока; Влодзимежа Осташевича, бывшего руководителя молодежной подпольной антифашистской организации, действовавшей в Бельском повяте Белостокского воеводства; Яна Онацика, бывшего партизана десантной разведочно-диверсионной группы «Дальние» в районе Бреста и Белостока; Чеслава Шеляховского, бывшего командира польской роты в партизанском отряде им. Г. Жукова, входившем в бригаду им. Владимира Ильича Ленина (Брестская область).

В приложении даются краткие биографии и фото авторов, а также документальные снимки, запечатлевшие важнейшие события времен партизанской борьбы в Белоруссии, указатель имен и подпольных кличек.

США

ДРАЙЗЕР В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В издательстве «Интернэшнл паблишерс» вышла книга Рут Кеннел «Драйзер и Советский Союз, 1927—1945 гг.». Автор описывает поездку Теодора Драйзера в Советский Союз в 1927 году в связи с 10-й годовщиной Октябрьской революции. Писатель провел в Советском Союзе 77 дней, побывал во многих городах.

Рут Кеннел некоторое время работала личным секретарем писателя и сопровождала Драйзера в его поездке. Она описывает встречи с официальными лицами, с деятелями культуры, в том числе — с К. Станиславским, В. Маяковским, С. Эйзенштейном, а также с рабочими ленинградских предприятий, с украинскими шахтерами, с грузинскими крестьянами. Он видел трудности, которые переживала молодая Страна Советов, но за ними сумел рассмотреть нового человека-созидателя.

Именно поэтому Драйзер заявил корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс», когда вернулся в США в начале 1928 года: «Мне непонятно, почему в такой богатой стране, как Америка, бедняки стоят в очередях за хлебом, который раздают им благотворительные организации. Нигде в России мы не видели людей, которые стояли бы на холоде без пальто в очереди за хлебом, ожидая подачки».

Рут Кеннел осталась в Советском Союзе, где провела еще несколько лет. Драйзер поддерживал с ней длительную переписку, оборвавшуюся со смертью писателя. Эта переписка легла в основу второй части книги, она помогает понять, как формировались политические взгляды Драйзера, как он пришел к участию в борьбе трудящихся в 30-е годы и наконец принял решение вступить в Коммунистическую партию США.

«Я считаю, что последние 18 лет жизни Драйзера принесли ему больше душевного удовлетворения, чем вся предыдущая жизнь,— пишет в заключение книги Рут Кеннел.— В последние десятилетия Теодор Драйзер нашел самого себя».

«ХОВАНЩИНА» В МЕЖДУНАРОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Чикагская «Лирическая опера» открыла очередной сезон постановкой оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» в оформлении главного художника миланской «Ла Скала» — Николая Бенуа.

Как отмечает пресса, в «Хованщине» на чикагской сцене, исполнявшейся на русском языке, выступило международное «созвездие» певцов. Роль Досифея исполнял приглашенный в США народный артист СССР солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова Б. Штоколов. В спектакле были также заняты болгарские певцы Николай Гяуров и Любомир Бодуров, югославская певица Постинов-Балдани и англичанин Г. Тейярд. На всех шести спектаклях в этом составе зал был заполнен до отказа.

Театральные обозреватели обращают внимание на тот факт, что последние восемь лет «Лирическая опера» трижды открывала свой сезон произведениями русских композиторов. В прошлые годы здесь с неизменным успехом шли оперы «Борис Годунов» и «Князь Игорь».

ТУРЦИЯ

С НОЖАМИ ПРОТИВ КАРТИН

Интерес посетителей в различных городах Турции вызвала выставка новых картин известного крестьянского художника и писателя Ибрагима Балабана (о нем см. «Иностранную литературу» № 5, 1966). Из Стамбула художник отправился с выставкой на юг, в город Адану. Здесь во время церемонии открытия в помещение ворвалась вооруженная ножами и палками банда фашиствующих молодчиков. Эти банды, созданные в последнее время по всей стране, именуют себя «коммандо».

В связи с нападением «коммандо» на выставку Ибрагим Балабан сделал для печати следующее заявление: «Как вы уже слышали, около тридцати разъяренных фанатиков ворвались на выставку, разорвали и уничтожили все мои картины и книги. Дорогие коллеги, журналисты, прошу вас об одном, сообщите турецкому народу о новом преступлении реакции, которая страшится правды, справедливости и красоты. Нет такой мерзости, такого преступления, на которое они не пошли бы. Они разрушали памятники Ататюрку, нападали на театры, громили конференции. И вот теперь стали нападать на картины, отражающие жизнь народа... То, что полиция в это время блистательно отсутствовала,— недобрый признак. Где же была эта самая полиция, которая, хотя за мной не было никакой вины, не раз нацепляла на меня наручники под тем предлогом, что рога у волов на моих картинах были, дескать, похожи на серп без молота, а месяц — на усы Сталина? Или, быть может, погромщики будут вознаграждены? Отчего бы тем силам, которые издали указ содрать живьем кожу с нашего средневекового народного поэта Несими, не приказать: «Отрубите художнику Балабану руки, которые писали эти картины!»?

Как художник, вышедший из народа и работающий для него, я заранее был готов ко всему. Потому-то я без страха пишу картины. Не испытывая страха, устраиваю и буду устраивать выставки. Пусть они рвут картины. Я лишился нескольких своих работ, а реакция будет заклеймена историей... После всего происшедшего меня утешает лишь одна мысль: раз они стали бояться моих книг и картин, значит, их конец недалек».

ФРАНЦИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Французская пресса, как всегда, широко обсуждала итоги присуждения главных литературных премий. Обозреватели отмечали, что с каждым годом жюри премий все меньше считаются с традициями их присуждения. Уже не впервые, например, не соблюдается условие братьев Гонкуров о том, что основанная ими премия должна присуждаться молодым начинающим писателям за первое выдающееся произведение.

Гонкуровская премия за 1969 год, вопреки традиции, присуждена известному писателю Фелисьену Марсо (литературный псевдоним Луи Каретта), родившемуся в 1913 г. в Бельгии, произведения которого и раньше отмечались литературными премиями.

Обозреватели еженедельников «Франс нувель» и «Юманите-диманш» подчеркивали, что жюри не смутило то обстоятельство, что у себя на родине, в Бельгии, Луи Каретт был осужден за сотрудничество с гитлеровскими оккупантами на 15 лет принудительных работ и уехал во Францию, чтобы избежать наказания.

Премии удостоен роман Марсо «Кризи», вызвавший разноречивые отклики. Непосредственное действие романа охватывает всего полчаса. За это время его герой, который смотрит на мертвое тело своей возлюбленной, вспоминает всю историю их недолгой любви и пытается понять причины трагической развязки.

...Кризи была манекенщицей, снимавшейся для рекламы. На цветных фоторепродукциях, расклеенных по городу, она казалась воплощением счастья, красоты, удовлетворенности. Но в действительности такой жизни у Кризи не было. Поэтому в душе у нее жили тоска и страх, она жаждала счастья, любви, надеясь обрести в ней наконец самое себя. Однако тот, кого она любила, был человеком с прочным положением в обществе и в семье, он не был расположен ни от чего отказываться ради нее.

«Фелисьен Марсо блистательно владеет тонким искусством дозировки. Немного нежности, немного цинизма, чуть-чуть иронии — все это покрыто легкой вуалью кроткой горечи, необходимой для того, чтобы скрыть за белозубой светской улыбкой самый ужасающий пессимизм... Книга в конечном счете говорит о нашем времени не больше, чем морская пена о глубине моря»,— таково мнение о романе «Кризи» Мартины Моно, высказанное в «Юманите-диманш».

Вторая по значению премия — Теофраста Ренодо, которой обычно удостаиваются произведения писателей, ведущих поиски в области формы, присуждена Максу-Оливье Лакану за его первый роман «Пламя гнева». По свидетельству критиков, в этой книге нет ничего новаторского. В знак протеста три члена жюри этой премии вышли из его состава.

Лакан в течение 30 лет был корреспондентом агентств Гавас и Франс-пресс, затем — газеты «Фигаро». Роман Лакана «Пламя гнева» воссоздает историю восстания камизаров (гугенотов-крестьян) на юге Франции в начале XVIII века. «Читатель с интересом следит за развитием сюжета. Но никаких иных эмоций роман не вызывает,— писал Серж Жилль во «Франс нувель».— Это честная книга во всех отношениях, но, спрашивается, что награждает жюри — унылую и посредственную честность или литературные качества?»

Большой Национальной литературной премии удостоен прогрессивный писатель Жюль Руа за романы «Солнечные лошади», «Женщина с именем звезды» и «Вишни Ишеридена» — три книги из задуманного писателем 9-томного цикла романов о французском господстве в Алжире (об этих книгах см. сообщение в «Иностранной литературе» № 10, 1969). На русский язык переводились романы Руа «Штурман» и «Алжирская война».

Удостоенные премии романы описывают события в Алжире и во Франции с 1830 по 1871 г. «Изображение войны в Алжире в романах Жюля Руа,— писал Робер Кантерс в «Фигаро литтерер»,— невольно вызывает у читателя ассоциации с недавними памятными событиями в этой стране. Руа показывает, что «умиротворение» в Алжире всегда достигалось ценой неисчислимых насилий, преступлений, невыразимого ужаса».

Печать сообщает также о присуждении других премий: «Фемина» — Хорхе Семпруну за роман «Вторая смерть Рамона Меркадера»; «Медичи» — Элен Сиксу за роман «Внутри»; «Энтералье» — Пьеру Шендерферу за книгу «Прощание с королем»; Большой премии французской Академии — Пьеру Мустьеру за роман «Стена».

Присуждение основных литературных премий во Франции вызвало на этот раз, по мнению обозревателей, значительно больше разочарованных откликов в прессе, чем даже в прошлом году, когда кто-то пустил в обращение фразу о «девальвации» премий. Еще до их присуждения газета «Монд» провела дискуссию по вопросу о том, нужны ли вообще литературные премии. Сторонники отмены премий заявили, что премии приобрели в основном коммерческий характер и служат рекламой, в которой главным образом нуждаются издатели и писатели для увеличения сбыта книг.

«ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЬ» СЮРРЕАЛИЗМА

В 1966 году, когда умер Андре Бретон, французская пресса писала, что вместе с ним прекратил свое существование и сюрреализм, основоположником и неизменным приверженцем которого был скончавшийся поэт. Более того, по мнению Жана Годона, высказанному в газете «Монд», «это направление изжило себя уже после второй мировой войны, и

В связи с опубликованием нового «манифеста» сюрреалистов газета «Монд» воспроизвела картину Валентина Юго «Созвездие», созданную в 1935 году. На ней изображены поэты, примыкавшие в ту пору к сюрреалистическому течению: Поль Элюар, Андре Бретон, Тристан Тцара, Бенжамен Перэ, Рене Кревель, Рене Шар.

только поэтому его рискнули включить в школьную программу как одно из литературных течений прошлого».

Тем удивительнее, что недавно на страницах «Монд» был опубликован... новый, четвертый по счету манифест сюрреалистов под названием «Четвертая песнь». Что же вызвало к жизни эту «новую волну» сюрреализма? Автор манифеста Жан Шустер увязывает это своего рода возрождение сюрреализма с майскими событиями 1968 года во Франции; он пишет: «Надежда сюрреалистов на коренные изменения в обществе, неизбежно связанные с преобразованием человеческого духа, эта надежда, долгое время казавшаяся несбыточной и в конце концов превратившаяся в абстракцию, возродилась вновь». Таким образом, считая современную политическую обстановку во Франции благоприятной для возрождения деятельности сюрреалистов, Жан Шустер предлагает новый вариант сюрреализма, отличный от прежнего, «исторического», ибо, по его словам, «было бы полнейшим идеализмом думать, что предшествующий вариант сюрреалистического направления когда-либо можно было бы назвать «вечным». Мы предполагаем,— говорит далее автор «Четвертой песни»,—внести свой вклад в разрешение кризиса едва ли не более серьезного, чем недавний политический,— кризиса воображения. В связи с этим нам предстоит, с одной стороны, критически проанализировать ситуацию, сложившуюся во Франции после майских событий, с другой — посвятить себя поискам новых средств общения между людьми».

Каким образом надеются неосюрреалисты разрешить эти сложные задачи, собираются ли они изменить прежнему принципу «автоматического письма», диктуемого подсознательными импульсами,— пока неизвестно. Об этом, очевидно, поведает читателям новое издание энтузиастов возрождения сюрреализма — журнал «Купюр». Что касается плодотворности этого искусственно оживляемого течения, которое, как известно, один за другим покидали лучшие его представители, то, по словам Жана Годона, «акция, предпринятая группой приверженцев сюрреализма, в данный момент кажется парадоксальной, и непостижимой остается причина, побудившая их пойти на столь явный риск скандального провала».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ЧАЙКОВСКОГО

Пражский Национальный театр осуществил новую постановку оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Русская оперная классика занимает видное место в репертуаре пражского Национального театра. Впервые опера «Евгений Онегин» была поставлена на его сцене еще в 1888 году.

ШВЕЦИЯ

ПОПУЛЯРНОСТЬ РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ

Русская балалайка в Швеции — не новость, но она завоевывает все большую популярность. Один из самых известных ансамблей балалаечников, насчитывающий сорок человек, функционирует в Седра Бергеис — южной части Стокгольма. Работой ансамбля, в состав которого входят люди разных профессий и разных возрастов, руководит знаток и поклонник русской народной музыки Ундердаль.

Жители шведской столицы имеют возможность часто

слушать выступления ансамбля балалаечников Ундердаля в городских парках и на эстраде. Ансамбль выступает с концертами и по телевидению. Артисты ансамбля — частые гости на советских теплоходах, прибывающих в Стокгольм, у советских туристов, приезжающих в Швецию.

Недавно руководитель ансамбля посетил Советский Союз, где познакомился с работой самодеятельных художественных коллективов.

ЭКВАДОР

Освальдо Гуайясамин известен во всей Латинской Америке. Один из выдающихся художников современности, он обличает в своих работах беспощадную эксплуатацию, которой подвергается народ Эквадора со стороны монополий США. Здесь воспроизводятся две картины Гуайясамина под названием «Плачущие женщины».

(Газета «Дейче фолькскцейтунг»)

НОВЫЙ ЖУРНАЛ: «ЮНЕСКО-АЗИЯ»

В Токио начал издаваться на двух языках (французском и английском) ежеквартальный журнал «ЮНЕСКО-Азия». Инициатор издания — Национальная комиссия Японии по делам ЮНЕСКО.

Цель журнала — информировать читателей стран Азии о деятельности их национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, наладить и развить культурные контакты со странами других районов земного шара. В первом номере журнала «ЮНЕСКО-Азия» наряду с отчетами и информацией опубликованы обращение Генерального директора ЮНЕСКО, а также статьи, представляющие интерес для читателей азиатских стран.

О ПРАВЕ НА ТИШИНУ

«Тишина — одна из основных потребностей человека, как и возможность сосредоточиться, подумать. Невозможно создать что-либо ценное, когда человека со всех сторон осаждает невообразимый шум. Я надеюсь, что право на тишину будет признано столь же существенным для человека, как право на воду или на свежий воздух»,— с этими словами обратился знаменитый скрипач Иегуди Менухин к участникам XIII сессии Генеральной ассамблеи Международного совета по музыке, состоявшейся в здании ЮНЕСКО в Париже. 150 музыкантов и музыковедов почти из 30 стран, которых объединяет эта организация, впервые единодушно выразили на этом заседании мнение о праве человека на тишину как в общественных местах, так и в жилых помещениях. Это было сформулировано как «Право человека на свободу своего слуха».

Одновременно Ассамблея поручила своему Исполнительному комитету изучить проблему шума с научно-технической, медицинской и юридической точек зрения, не упуская при этом из виду художественного и воспитательного аспектов, а также поручила наметить мероприятия, призванные «положить конец чрезмерному и произвольному использованию музыки», которое представляет собой, по мнению участников, посягательство на свободу человеческой личности.

Авторы этого номера

БЕЛА ИЛЛЕШ — ILLÉS BÉLA (род. в 1895 г.).

Известный венгерский писатель, дважды лауреат премии имени Кошута. Участвовал в боях за Венгерскую советскую республику в 1919 г. После поражения революции эмигрировал в Вену; с 1923 по 1945 г. жил и работал в Советском Союзе. Наши читатели хорошо знают имя Белы Иллеша. В 1929 г. в СССР был впервые издан его роман «Тиса горит», в котором нашла отражение борьба венгерских трудящихся в 1917—1919 гг. за республику Советов. Роман переведен на многие языки. В нашей стране издана также его трилогия «Карпатская рапсодия», сборник рассказов «На распутье», роман «Обретение родины» — самое крупное произведение писателя послевоенного периода, повествующее о событиях второй мировой войны и освобождении Венгрии. В советской периодике печатались его рассказы, очерки, статьи, воспоминания.

Предлагаемый вниманию читателей рассказ взят из сборника «Истории, встречи, рассказы» («Anekdoták, találkozások, történetek», 1964).

БЕЛА БАЛАЖ — BALÁZS BÉLA (1884—1949).

Видный венгерский писатель—поэт, прозаик, драматург, автор ряда трудов по искусству кино. Был участником венгерской пролетарской революции. С 1919 по 1945 г. жил в эмиграции в Вене, Берлине, в Советском Союзе. Многие его произведения в 30-е и 40-е годы издавались на русском языке: роман «Невозможные люди», повесть «Генрих начинает борьбу», рассказы «Живая лазурь», «Песнь возмездия», пьесы «Моцарт», «Баллада о потерянном сердце», книги для детей: «Карл Брюннер», «Карл, где ты?», работа «Искусство кино» и др.

Публикуемый рассказ был напечатан в газете «Непсабадшаг».

МАТЭ ТИМАР — TIMAR MATÉ (род. в 1922 г.).

Венгерский писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Его первый роман «Хроника Адама Майороша» («Majoros Adám krónikája») издан в 1958 г. С тех пор вышли романы «Рассвет» («Hajnal hasad», 1960), «Судная пора» («Ítéletido», 1969), повесть «Вестовой Карчи» («Karcsi, a csicskás», 1961), несколько сборников рассказов.

Рассказ «Поправка к судьбе» взят из сборника «Длина ста игл» («Száz tü hossza», 1960).

ЙОЖЕФ ЛЕНДЬЕЛ—LENGYEL IOZSEF (род. в 1896 г.).

Венгерский писатель, участник венгерской пролетарской революции 1919 г.; после ее поражения жил в Советском Союзе, в 1956 г. вернулся на родину. Его основные произведения: «Вышеградская улица» — (хроника венгерской революции, впервые была опубликована в СССР в 1932 г., в Венгрии вышла в 1957 г.); роман «Беспокойная жизнь Ференца Пренна» (также переведен на русский язык в 1961 г.); сборники рассказов «Колдун» («Igézö», 1961), «Просроченный долг» («Elévült tartozás», 1964) и др.

За литературную деятельность в 1963 г. удостоен премии имени Кошута.

Рассказ «Голуби» был напечатан в сборнике «Древо познания» («A tudas faia», 1968).

ИШТВАН ЭРКЕНЬ — ÖRKÉNY ISTVAN (род. в 1912 г.).

Венгерский писатель. Начало его литературной деятельности относится к предвоенным годам. Первый сборник рассказов «Пляска моря» («Tengertánc») вышел в 1941 г.; повести и рассказы послевоенного периода приносят ему известность и признание венгерских читателей. За сборник рассказов «В пургу» («Hóviharban») он в 1955 г. был удостоен премии имени Аттилы Йожефа. Наиболее значительные сборники последних лет: «Принцесса Иерусалима» («Jeruzsálem hercegnöje», 1966), «Молодожены на липучке» («Nászutasok a légypapiron», 1967), повесть «Семья Тотов» («Tóték», 1966), которая была инсценирована и с успехом шла в венгерских театрах, затем экранизирована. В 1968 г. И. Эркень вторично был награжден премией Аттилы Йожефа.

Публикуемые в этом номере рассказы взяты из сборников «Молодожены на липучке» и «Одноминутные рассказы» («Egyperces novellák», 1968).

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — ERNESTO CARDENAL (род. в 1925 г.).

Известный никарагуанский поэт, священник. Его литературные труды включают лирические стихи, исторические поэмы, исследования в области фольклора латиноамериканских индейцев, переводы древних и современных поэтов. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Эпиграммы» («Epigramas», 1961), «Псалмы» («Salmos», 1964), «Гетсемани, Кентукки» («Getsemani, Ky», 1964), «Пролив сомнений» («El estrecho dudoso», 1967) и др.

В этом номере мы публикуем фрагменты его эпической поэмы «Час О» («La hora O», 1960), которая была напечатана в сборнике «Стихи Эрнесто Карденаля» («Poemas de Ernesto Cardenal», 1967), изданном в Гаване.

■

ШЕЙХ ШАРЛЬ ТИУБ — CHEIKH CHARLES THIOUB (род. в 1933 г.), **ШЕРИФ АДРАМЕ СЕК — CHERIF ADRAME SECK** (род. в 1940 г.), **ФРАНСИС-КЛОД ЗОБЕЛЬ — FRANÇIS-CLAUDE ZOBEL** (род. в 1945 г.) — молодые сенегальские поэты. Их стихи, опубликованные в этом номере, взяты из сборника «Антология новой поэзии» («Florilege de la nouvelle poésie et littérature»).

■

ДЖЕЙМС АЛАН МАКФЕРСОН — JAMES ALAN McPHERSON.

Молодой американский писатель. Окончил факультет права Гарвардского университета. Преподает английский язык и литературу в университете штата Айова. Рассказ «Золотой берег» («Gold Coast») был напечатан в 1968 г. в журнале «Атлантик» и отмечен премией этого журнала.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ — ROBERT LOWELL (род. в 1917 г.).

Известный американский поэт, лауреат премии Пулитцера, видный представитель современной поэзии США. Перу Р. Лоуэлла принадлежит несколько книг стихов, в том числе «Неповторимая страна» («Land of Unlikeness», 1944), «Вариации» («Imitations», 1961), автобиографический сборник «Этюды из жизни» («Life Studies», 1959), включающий прозу и поэзию; пьесы «Древняя слава» («The Old Glory», 1966), «Прикованный Прометей» («Prometheus Bound», 1967) по мотивам трагедии Эсхила и другие произведения.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Павшие за союз» («For the Union Dead», 1964).

■

БЕЛА КЕПЕЦИ — KÖPECZI BÉLA (род. в 1921 г.).

Венгерский литературовед и историк, член-корреспондент Венгерской Академии наук. Автор ряда работ, посвященных истории Венгрии XVIII века и проблемам социалистического реализма в венгерской и зарубежной литературах.

Статья «В атмосфере споров и исканий» получена редакцией в рукописи.

ЙОЖЕФ ДАРВАШ — DARVAS JÓZSEF (род. в 1912 г.).

Известный венгерский романист, драматург, публицист и общественный деятель, председатель Союза венгерских писателей, лауреат премии Кошута. Среди произведений Й. Дарваша последних лет выделяются «Пьяный дождь» — многоплановый роман с широким охватом событий, в котором писатель рассказывает о разных жизненных судьбах людей своего поколения; драма-репортаж «На карте не значится» («A térképen nem található», 1969) о жизни небольшого венгерского села, быте и нравах людей, об их достижениях и помехах в строительстве новой жизни.

В нашей стране были изданы романы Й. Дарваша «В сентябре я вышел в путь», «Пьяный дождь», пьесы «Небо в копоти», «Пожар на рассвете» и другие произведения.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 05763. Сдано в производство 4/I-1970 г. Подписано к печати 17/II-70 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. л. 28,70. Зак. 1.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394